

6

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

6

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Собрание сочинений
в десяти томах



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Собрание сочинений

ТОМ ШЕСТОЙ

МАЛЕНЬКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ
В СТЕНЕ

СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ

ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

КУБИК



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

Р2

К 29

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

К $\frac{4702010200-432}{028 (01)-84}$ подписное

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1984 г.

**МАЛЕНЬКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ
В СТЕНЕ**

Однажды мы засиделись до трех часов ночи у Эльзы Триоле и Луи Арагона, которые тогда еще жили недалеко от Оперы на старинной улице Де-ля-Сурдьер, и они пошли нас проводить до стоянки такси. Когда мы, держась за холодные стены и боясь разбудить консержку, с которой Арагон состоял в одной партийной ячейке, спустились по темной винтовой лестнице, а затем вышли на темную улицу, поэт показал нам на противоположной стороне старый дом, как-то по-оперному освещенный одиноким фонарем, бросавшим на дряхлый фасад свой слабый световой веер.

— Обратите внимание на эти четыре окна во втором этаже,— сказал Арагон.— Здесь жил Максимилиан Робеспьер. Он был мой сосед.

«Мой сосед Робеспьер» — это было сказано совсем по-парижски. Кажется, в мире нет ни одного великого человека, имя которого не было бы связано с Парижем. В Париже жил Маркс, в Париже жил Ленин. И подобно тому как Арагон сказал: «Робеспьер — мой сосед», — мне хочется сказать: «Ленин — мой современник».

Тема Ленина огромна, необъятна, а эта книга не исторический очерк, не роман, даже не рассказ. Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания, точнее всего — лирический дневник, не больше. Но и не меньше.

Мы привыкли представлять себе Ленина по наиболее распространенному фотографическому портрету двадца-

того года: В. И. Ульянов (Ленин) — глава Советского правительства, первый Председатель Совета Народных Комиссаров, а также по изображению Ленина в театре и кино. Но как бы ни был талантлив, гениален актер, разве может он полностью перевоплотиться в Ленина? Может быть, получится значительный, даже глубокий исторический образ, но не будет живого, подлинного Ленина, такого неповторимо-оригинального, со всеми его внутренними и внешними особенностями. Думаю, это невозможно.

«Если верно, — говорит Кржижановский, — что самая сущность движения пролетариата исключает внешнюю фееричность и показной драматизм в действиях главного героя этих революций — народной массы, то не вправе ли мы ожидать выявления особой, так сказать, простоты и в тех лицах, на долю которых выпадает крупная историческая роль истинных вождей пролетариата? Во всяком случае, это отсутствие внешнего, показного блеска было отличительной чертой Владимира Ильича».

...Почти все, знавшие Ленина, свидетельствуют, что нет хороших портретов Владимира Ильича. Это общеизвестно. Например, тот же Кржижановский пишет: «Большинство портретов Владимира Ильича не в состоянии передать того впечатления особой одаренности, которое быстро шло на смену первым впечатлениям от его простой внешности, как только вы начинали несколько ближе всматриваться в его облик».

Для того, чтобы представить себе живого Ленина, лучше всего обратиться к свидетельствам современников.

Вот, например, очень интересный портрет Ленина 1889 года, питерского периода, когда он под конспиративным именем Николая Петровича читал лекции в рабочих кружках.

«Открыв дверь, — вспоминает В. А. Князев, — я увидел мужчину лет тридцати, с рыжеватой маленькой бородкой, круглым лицом, с пронизательными глазами, с нахлобученной на глаза фуражкой, в осеннем пальто с поднятым воротником, хотя дело было летом, вообще — на вид этот человек показался мне самым неопределенным по среде человеком...

— Дело в том, что я не мог прийти прямым сообщением... Вот и задержался. Ну как, все налицо? — спросил он, снимая пальто.

Лицо его казалось настолько серьезным и повелительным, что его слова заставляли невольно подчиняться...»

Г. Куржижановский пишет о приятном смуглом лице с несколько восточным оттенком, но стоило «вглядеться в глаза... в эти необыкновенные, пронизывающие, полные внутренней силы и энергии темно-темно-карие глаза, как вы начинали уже ощущать, что перед вами человек отнюдь не обычного типа».

«Аронсон, увидев голову Ленина,— находим у Луначарского,— пришел в восхищение и стал просить у Ленина позволения вылепить, по крайней мере, хотя медаль с него.

Он указал мне на замечательное сходство Ленина с Сократом. Надо сказать, впрочем, что еще больше, чем на Сократа, похож Ленин на Верлена. В то время карьеровский портрет Верлена в гравюре вышел только что, и тогда же был выставлен известный бюст Верлена...

Впрочем, было отмечено, что и Верлен был необыкновенно похож на Сократа. Главное сходство заключалось в великолепной форме головы.

Строение черепа Владимира Ильича действительно восхитительно. Нужно несколько присмотреться к нему, чтобы оценить эту физическую мощь, контур колоссального купола лба и заметить, я бы сказал, какое-то физическое излучение света от его поверхности...

Рядом с этим, более сближающие с Верленом, чем с Сократом, глубоко впавшие, небольшие и страшно внимательные глаза. Но у великого поэта глаза эти мрачные, какие-то потухшие (судя по портрету Каррьера); у Ленина они насмешливые, полные иронии, блестящие умом и каким-то задорным весельем. У Ленина глаза так выразительны, так одухотворены, что я потом часто любовался их непреднамеренной игрой.

У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорей выпуклые.

В нижней части лица опять значительное сходство, особенно когда Ленин носит более или менее большую бороду. У Сократа, Верлена и Ленина борода росла одинаково, несколько запущенно и беспорядочно. А совсем не так, замечу в скобках, как у некоторых артистов, играющих Ленина,— прилично подстриженная в парикмахерской, даже немного клинышком, как у процветающего присяжного поверенного».

«Пронизывающий блеск слегка косящих глаз», — говорит Кржижановский в другом месте. «Вспыхивающие огоньками сарказма», — прибавляет П. Лепешинский. «Он своим видом напоминал счастливого охотника, который долго выслеживал и охотился за редкой птицей и наконец поймал ее в свои силки».

Вот впечатление М. Васильева-Южина: «...умные, живые, провидательные глаза и большая, характерная, уже тогда лысая, голова с огромным лбом сразу приковывали к себе внимание, но лукавая усмешка, искрящаяся в прищуренных глазах, вынуждала вместе с тем подтягиваться и держаться настороже.

«Хитрый мужик!» — невольно подумал я.

Горький дает Ленина еще более резкими чертами:

«...Лысый, картавый, плотный, крепкий человек...»

Подобных свидетельств можно набрать сколько угодно: маленький, коренастый, рыжий, лысый, со смуглым скуластым лицом, с карими узкими выразительными глазами, сверкающими иронией и сарказмом, с заразительным, несколько гортанным смехом, настоящий физкультурник: велосипедист, конькобежец, неутомимый пешеход, пловец. Примерно таков был Ленин по свидетельству людей, хорошо его знавших.

Ленин часто менял свою внешность. Возможно, это была выработанная привычка конспиратора, а быть может, его наружность менялась потому, что он слишком быстро старел.

«...Никогда я не видела Ильича таким озабоченным, осунувшимся, как тогда, — вспоминает Р. Землячка 1909 год в Париже. — Травля меньшевиков, отход многих близких и дурные вести из России преждевременно состарили его. Мы, близкие ему, с болью следили за тем, как он изменился физически, как согнулся этот колосс...»

Обратите внимание на альбом ленинских фотографий. Почти на каждой он совсем другой, странно непохожий на себя. Как, например, не схожи между собой Ленин парижских лет и тот Ленин в Закопане, мечтательно-грустный, с мягкой бородкой и нестриженными усами, одетый в какую-то старомодную визитку с закругленными полями, с папавой, опущенной на глаза, и с альпийской палкой-топориком в руке — на фоне горного пейзажа. Или вот два Ленина: один четырнадцатого года, постаревший, морщи-

ныстый, в мягком, широком пиджаке, с невеселыми, погасшими глазами, а другой — Ленин семнадцатого года, помолодевший, в парижском полосатом пиджаке, с узкими, невероятно блестящими глазами, готовый в любую минуту в бой. Я уж не говорю о Ленине в кепке и парике, загримированном под рабочего Сестрорецкого оружейного завода К. П. Иванова, и Ленине первых дней Октября в Смольном, когда бритая борода только еще отрастала, а кепка оставалась все та же, прежняя, конспиративная — рабочего Иванова, — и сам Ленин был уже главой первого в мире рабоче-крестьянского Советского правительства.

В конце 1908 года Ленин и Крупская переехали из Женевы в Париж — тогдашний центр русской эмиграции. Но перед этим Ленин ненадолго заезжал к Горькому, которому еще в Лондоне, на Пятом съезде, дал слово побывать у него на Капри.

«Удивительно соблазнительно, черт побери, забраться к Вам на Капри! Так Вы это хорошо расписали, что, ей-богу, соберусь непременно и жену постараюсь с собой вытащить, — писал Ленин Горькому в начале того же 1908 года. — Только вот насчет срока еще не знаю: теперь нельзя не заняться «Пролетарием» и надо *поставить* его, наладить работу во что бы то ни стало. Это возьмет месяц-другой, *minimum*. А сделать это необходимо. К весне же закатимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь и болтать с Вами».

Наступила весна, однако до последнего дня Ленин колебался: ехать или не ехать? Ситуация сложилась чрезвычайно острая. Буквально накануне своего отъезда на Капри Ленин раздраженно написал Горькому из Женевы: «Ехать мне бесполезно и вредно: разговаривать с людьми, пустившимися проповедовать соединение научного социализма с религией, я *не могу* и не буду... Я уже *послал в печать* самое что ни на есть формальное объявление войны. Дипломатии здесь уже нет места...»

Речь шла о статье Ленина «Марксизм и ревизионизм», где в грозной сноске все было названо своими словами. Вот эта сноска: «См. книгу «Очерки философии марксизма» Богданова, Базарова и др. Здесь не место разбирать эту книгу, и я должен ограничиться пока заявлением, что в ближайшем будущем покажу в ряде статей или в особой брошюре, что *все* сказанное в тексте про неокантианских

ревизионистов относится по существу дела и к этим «новым» неюмистским и необерклианским ревизионистам».

Разумеется, ехать после этого на Капри к Горькому, окруженному этими самыми ревизионистами, в логово идеалистов-богостроителей, эмпириокритиков и прочих махистов, с которыми Ленин находился в состоянии войны не на жизнь, а на смерть, ему было бесполезно и вредно. Однако у Ленина имелись другие очень важные для партии дела относительно газеты «Пролетарий», требующие его поездки на Капри, к Горькому, и он колебался. В конце концов он решил поехать, но «только под условием, что о философии и о религии я не говорю».

Но из этого твердого решения Ленина не говорить о философии и религии ничего не получилось.

В апреле Ленин по просьбе А. М. Горького посетил его на острове Капри. И здесь объявил Богданову, Базарову и Луначарскому о своем *безусловном расхождении с ними по вопросам философии*.

Очевидно, философский спор не только состоялся, но и протекал весьма бурно, что, впрочем, не помешало Ленину выполнить всю деловую программу своего пребывания на острове Капри.

Мне ни разу не довелось быть на Капри весной, в апреле, то есть в самое цветущее время года, имеющее здесь особенную прелесть.

Вот как описывает Бунин каприйскую весну:

Вид на залив из садика таверны.
В простом вине, что взял я на обед,
Есть странный вкус — вкус виноградно-серный —
И розоватый цвет.

Пью под дождем, — весна здесь прихотлива,
Миндаль цветет на Капри в холода, —
И смутно в сневатой мгле залива
Далекие белеют города.

Теперь Ленину предстояло увидеть всю эту прелесть воочию. У Горького осталось, как он пишет в своих воспоминаниях о Ленине, очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях: «Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток».

...Удивительно ясно представляется мне апрельское утро на Капри, пристань, а за ней в несколько ярусов розовые, лиловые, голубые, палевые, малиновые домики, как живая мозаика, отраженные в мелких волнах под сходящими только что прибывшего из Неаполя пароходика. Вижу в толпе Максима Горького, худого, сутулого — желтые усы вниз, — в круглой широкополой вызывающе демократической шляпе, а рядом с ним небольшого роста, непреклонного крепыша Ленина в новом костюме, спитом в Женеве, и в твердом котелке на голове.

Есть известная фотография Ленина, относящаяся примерно к этому времени: полосатая тройка, широко завязанный шелковый галстук, стоячий, твердый крахмальный воротничок, высоко подпирающий гладко выбритый подбородок, резкая подкова немного свисающих усов, лысая голова и пронзительный настороженный взгляд.

...Вижу, как Ленин нес туго затянутый ремнями дорожный портплед с подушкой, который пытались выхватить из его короткой, крепкой руки местные факино — носильщики, а он не давал. Горький вел Ленина, пробиваясь сквозь толпу, по пристани мимо лежащих на боку моторных лодок и скуластых яликов, которых шпаклевали суриком и красили, готовя к туристскому сезону. Пахло жареной рыбой, горячим кофе, анисом, лимонами, винной сыростью из дверей трактирчиков. Тут же стояло несколько одноконных экипажей с курортно-красными колесами. Стройные, вышколенные лошадки — каждая с очень высоким страусовым пером над капризной головкой и в нарядной сбруе — имели совсем цирковой вид, и, видимо, это смешило Ленина: его темно-карие глаза весело сверкали. Горький шел рядом, продолжая своим глухим басом говорить сквозь опущенные просяные усы о Богданове, Луначарском, Базарове:

— Очень крупные люди. Отлично, всесторонне образованные. Не встречал в партии равных им.

Словом, всячески старался примирить непримиримое. И сам понимал, что это — дело безнадежное. Он смотрел

на себя как бы со стороны, чувствуя себя отчасти Лукой из собственной пьесы. Смущенно усмехался, отводя глаза в сторону, густо покашливал.

— Допустим, — коротко бросал Ленин. — Ну, и что же отсюда следует?

Горький говорил, что в конце концов считает их — Луначарского, Богданова, Базарова — людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философские противоречия.

Ленин на миг остановился и непримиримо посмотрел на Горького.

— Значит, все-таки надежда на примирение жива? Это зря, — сказал он. — Гоните ее прочь, и как можно дальше, дружески советую вам!

Он любил Горького, считал его великим писателем, но истина была для него дороже.

Недавно он начал работать над «Материализмом и эмпириокритицизмом», был полон страстного, нетерпеливого желания поскорее разгромить махистов. С тех пор как он получил богдановские «Очерки философии марксизма», он с каждой прочитанной статьей, по собственному выражению, «прямо бесновался от негодования».

«Нет, это не марксизм! — писал Ленин. — И лезут наши эмпириокритики, эмпириомонист и эмпириосимволист в болото».

И вот примирить Ленина именно с этими товарищами, «идущими архиневверным, не марксистским путем», делал теперь безнадежные попытки Алексей Максимович.

Ленин уже жалел, что приехал. Напрасно, зря, ничего хорошего не выйдет.

Вслед за Горьким он протиснулся со своим портпледом через турникет, щелкавший стальным языком, и они уселись в узком отделении косою, ступенчатого вагончика совсем недавно открытого электрического фуникулера — новенького, лакового, с иголочки. Вагончик тронулся вверх, а ступенчатые террасы садов, каменные заборы, цветущие миндальные деревья, виноградники, прикрытые кое-где от трамонтаны камышовыми матами, косо полезли вниз. Проехала вниз глухая плитняковая стена с маленькой железной дверью и нишей, где стояла раскрашенная статуэтка мадонны, вся в цветах, и светился огонек лампы. Все это сползало по диагонали вниз, и глубоко внизу уже виднелся совсем маленький порт с дымящимся пароходиком, собравшимся в обратный путь в Неаполь,

с моторными лодочками, парусами яхт, и совсем крошечным маячком, и молом, и голубым загадочным силуэтом острова Искья на горизонте.

Горький сидел рядом с Лениным, сузив глаза, и задумчиво подергивал кончики усов над бритым, солдатским подбородком. Выжидательно помалкивал. А Ленин уже овладел собой, был спокоен, холоден, насмешлив и настроен далеко не мирно.

Есть известная фотография «В. И. Ленин у М. Горького на о. Капри», где Владимир Ильич, в зимнем костюме, в котелке, бритый, играет с Богдановым в шахматы, а Горький в своей знаменитой, сдвинутой набок демократической шляпе, сидя на перилах террасы и как бы выходящая над всей группой, подпирает подбородок рукой, но смотрит не на игроков, а прямо в объектив фотографического аппарата; сзади видна волнистая линия гор и кое-где угадывается туманная полоса Неаполитанского залива.

Недавно я побывал на Капри. Мы отправились разыскивать виллу и террасу, где свыше полувека тому назад Ленин играл в шахматы. В воспоминаниях Андреевой говорится, что это происходило на вилле «Бэдус». Оказывается, это или ошибка, или опечатка. Виллы «Бэдус» не существует. Была вилла «Блезус» (Villa «Blaesus»). Милейший доктор Марио Массимино, глава местной туристской организации, большой знаток истории своего острова, рассказал мне, что «синьор Массимо Горький» жил в разное время на трех виллах на Капри: на вилле «Беринг», которая сейчас называется отель «Геркуланум», затем на вилле «Пиерина» на Via Mulo и, наконец, на вилле «Блезус», которая перешла к другому владельцу и называется в настоящее время «Пансион, кафе и ресторан Крупп». Именно на этой, последней вилле и жил Горький, когда у него гостил Ленин. Это оказалось совсем недалеко от нашего отеля, на обратном, южном склоне острова, лицом к бухточке Марина-Пиккола.

Мы прошли по узкой каприйской улочке — то вниз, то вверх, — и вот перед нами, с левой руки, открылась синяя мгла безмерного морского пространства. К берегу Марина-Пиккола террасами сползал сад Адриана с его живописными древнеримскими развалинами, зонтичными пиниями, оранжереями, цветниками и кинематографом под открытым небом. Глубоко внизу, вдали, мы увидели мыс Фаралионе и три громадные скалы, стоящие в воде, словно серые каменные паруса. Между первой скалой и двумя

другими были ворота, казавшиеся совсем узкими, а на самом деле сквозь них мог свободно пройти корабль. Далеко за горизонтом была Сицилия, Африка, мерещились великие пустыни земного шара. Мы стали подниматься по каменистой тропинке в сосновой роще, скользя по опавшим иглам, потом среди агав с острым хищным когтем на конце каждого мясистого, узкого листа высотой в полтора человеческих роста, с шипами по бокам, как у рыбы пилы, потом мимо зарослей исполинских кактусов, покрытых колючими бородавками, похожими на маленьких ежей. Мы с наслаждением вдыхали бальзамический воздух — сухой и легкий, — между тем как вокруг нас громко, деревянно стрекотали дневные цакады.

Потом мы увидели крутую лестницу из дикого камня и в начале ее доску с надписью: «Caffé ristorante Krupp». Мы поднялись вверх и очутились перед тем самым домом, где Ленин гостил у Горького. Открыв стеклянную дверь, мы вошли в гостиничный холл. Там с сигарами и коктейлями в глубоких кожаных креслах сидело несколько элегантных господ — жителей отеля. Они посмотрели на нас с тем корректным любопытством, которое всегда вызывается появлением в пансионе новых лиц. Из-за конторки вышла приветливая дама и спросила, что нам угодно.

Узнав, что мы всего лишь просим позволения осмотреть виллу, она, не переставая быть любезной, — но уже несколько в другом роде, — сказала нам по-французски:

— S'il vous plaît.

— Наверное, вы слышали, мадам, — сказал я, — что в этом доме некоторое время жил Ленин?

— Конечно, — ответила она все с той же любезностью другого рода, — вы, наверное, поляки или русские? — и покосилась на мой детский американский фотоаппарат.

— Русские, — сказал я.

— S'il vous plaît, — повторила она и сделала гостеприимный жест, означавший, что мы можем осматривать и фотографировать все, что пожелаем, а сама удалилась за свою конторку и перестала обращать на нас внимание.

Мы прошли по коридору, куда выходило несколько дверей («Ага, — подумал я, — здесь, наверное, милейшая Мария Федоровна Андреева помещала своих гостей, лекторов будущей Каприйской школы, а быть может, и самого

Ленина»), и мы неожиданно очутились на той самой террасе, где некогда Ленин играл в шахматы. Я сразу узнал эту террасу по очертанию гор, видневшихся вдаль, и по балюстраде, на которой тогда сидел Горький.

И вдруг я испытал ощущение как бы внезапно остановившегося и повернувшего вспять времени.

Мне представилось, что на террасу вышел маленький, энергичный, резкий Ленин в котелке, слишком глубоко надетом на его скульптурную голову, за ним появилась сутулая фигура Горького и рядом с ней красивая, нарядная дама — знаменитая актриса Художественного театра — Мария Федоровна Андреева, погромыхивая шахматной коробкой. Затем — Анатолий Васильевич Луначарский, молодой, в пенсне на черной ленте, в рубахе «апаш» с раскрытым воротом, в очень широком эластичном поясе с кожаными карманчиками и колечками — по моде тех лет. А там и Богданов... И я услышал грассирующий тенор Ленина, который говорил Горькому, несколько смущенному неясностью своей философской позиции, продолжая спор, начатый в коридоре:

— Вы явным образом, уважаемый Алексей Максимович, начинаете излагать взгляды одного течения... Я не знаю, конечно, как и что у вас вышло в целом...

— Вы мне уже об этом писали.

— Совершенно верно, я вам уже об этом недавно писал. А кроме того, я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества вам все книги в руки и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта, и из философии, хотя бы идеалистической...

— Хотя бы идеалистической? — спросил Горький не без торжества. — Я не ослышался?

— Ничуть. При критическом к ней отношении, хотя бы и идеалистической, — твердо ответил Ленин, — потому что вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу. Огромную!..

Лицо Горького посветлело. Улыбка крепко сжала и выперла его небольшие круглые скулы. Он удовлетворенно подергал усы.

Мария Федоровна была в восторге, что на этот раз все обошлось благополучно.

— В шахматы, в шахматы! Довольно философии. Мы же договорились не спорить на философские темы до ужина.

Она встряхнула шахматной коробкой; потом зажала в каждой руке по пешке и протянула кулаки в разные стороны — один Лепину, другой Богданову. Ленин небрежно коснулся правой руки Андреевой. Она разжала кулак. На розовой прелестной ладони лежала черная пешечка.

— Вам начинать, — любезно, но суховато сказал Ленин Богданову и сноровисто расставил фигуры: по всему видно, что опытный игрок.

Вдруг все это исчезло, ушло в прошлое. Передо мною была пустая терраса с горкой мусора в углу, сохнувшие на веревке розовая мохнатая простыня, купальный костюм, и старик обойщик в синем фартуке, с гвоздями в губах и молотком в руке, который починял полосатый пружинный матрас, поставленный боком на тот самый шахматный столик, за которым некогда Ленин играл с Богдановым...

Мы спустились вниз по каменной лестнице, по которой не раз спускался и поднимался своей быстрой, энергичной походкой Ленин, любуясь с лестницы мысом Фаралионе, его скалами, дыша бальзамическим воздухом каприйской весны и прислушиваясь к звукам упруго хлопающих ружейных выстрелов, которые время от времени доносились откуда-то снизу. Ленин долго не мог понять, что это за выстрелы, пока Горький не объяснил ему, что это вовсе не выстрелы, а звук волны, хлопающей в устье одного из многочисленных каменных гротов каприйского побережья.

В это время будущая книга «Материализм и эмпириокритицизм», как любил выражаться Ленин, была уже у него в чернильнице. Споры на Капри с Богдановым, Луначарским, Базаровым и прочими организаторами фракционной каприйской школы, еще только проектируемой в то время, школы, впоследствии нарочно спрятанной от партии на отдаленном острове, «чтобы прикрыть ее

фракционный характер», — как считал Владимир Ильич, еще сильнее разожгли его, окончательно доказали, что примирение невозможно, война объявлена, и теперь, больше чем когда-либо, необходимо как можно скорее разделиться с этой новой, «богостроительски отзовистской фракцией».

В общем, как Ленин и предполагал, псевдка на Капри оказалась почти бесполезной, за исключением разве того, что Ленину удалось решить с Горьким кое-какие очень важные технические вопросы относительно издания «Пролетария», а также повторить партийное поручение Марии Федоровне насчет нелегальной доставки в Россию «Пролетария», который должен был скоро выйти в Париже. Инструкции, еще раньше данные Лениным Андреевой письменно, были исчерпывающе точны и по-ленински конкретны: «1) Найти непременно секретаря союза пароходных служащих и рабочих (должен быть такой союз!) на пароходах, поддерживающих сообщение с Россией. 2) Узнать от него, *откуда и куда* ходят пароходы; *как часто*. Чтобы непременно устроил нам *перевозку ежедневно*. Сколько это будет стоить? Человека должен найти нам *аккуратного* (есть ли итальянцы аккуратные?). Необходим ли им адрес в России (скажем, в Одессе) для доставки газеты или они могли бы *временно* держать небольшие количества у какого-нибудь итальянского трактирщика в Одессе? Это для нас *крайне важно*». И так далее.

На этом Ленин и распрощался с Алексеем Максимовичем и Марией Федоровной. Вскоре после возвращения с Капри в Швейцарию, не теряя золотого времени, он снова переезжает Ла-Манш, с тем чтобы поработать в Лондоне, в Британском музее, где находились источники, необходимые ему для быстрейшего завершения «Материализма и эмпириокритицизма». И лишь после этого Ленин и Крупская переехали в Париж, куда переводился «Пролетарий».

Париж окружает кольцо внешних бульваров, носящих имена наполеоновских маршалов: Лефевр, Массена и т. д. В конце ноября, в начале сырой парижской зимы, приехав из Женевы, Ленин и Крупская — «Ильичи», как их называли друзья, — наняли квартиру в Четырнадцатом округе, недалеко от парка Монсури.

В то время здесь кончался город. Дальше начинались поля и фермы. По вспаханной земле ходили грачи, кото-

рые зимуют во Франции и никуда не улетают. На горизонте виднелись холмы и чернели голые рощи.

В представлении «Ильичей», которые всегда жили более чем скромно, новая парижская квартира на улице Бонье показалась слишком роскошной: большая, светлая, в каждой комнате камин с мраморной доской и высоким зеркалом, в котором отражались лепные потолки и окна, доходящие до пола, с решетчатыми жалюзи и низкой железной оградой наружного балкончика.

«...Эта довольно шикарная квартира весьма мало соответствовала нашему жизненному укладу и нашей привезенной из Женевы «мебели». Надо было видеть, с каким презрением глядела консьержка на наши белые столы, простые стулья и табуретки. В нашей «приемной» стояла лишь пара стульев да маленький столик, было неуютно до крайности».

Так описывает первую парижскую квартиру Ленина Надежда Константиновна Крупская.

Я думаю, что в передней, наверное, стояли еще не распакованные из рогожи велосипеды, что усугубляло неуютность. Это были те самые велосипеды, о которых упоминает в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич:

«Одно время, после Второго съезда, Владимир Ильич жил в городе Лозанне, на Женевском озере. Мне часто приходилось там бывать по делам нашей организации. И вот однажды, когда Владимир Ильич собирался отправиться в двухнедельное путешествие по Швейцарии, я приехал к нему, чтобы переговорить о многих делах и наших изданиях, а также условиться, куда пересылать самую экстренную почту и газеты. Встретил я Владимира Ильича весьма оживленным.

— Пойдемте-ка, — сказал он мне, — я покажу вам, какой замечательный подарок мама прислала мне с Надей! — И он быстро, увлекая меня, пошел к выходной двери.

Мы спустились вниз, во дворик дома. Здесь стояли только что распакованные новенькие, прекрасные два велосипеда: один мужской, другой женский.

— Смотрите, какое великолепие! Это все Надя сделала. Написала как-то маме, что я люблю ездить на велосипеде, но что у нас своих нет. Мама приняла это к сердцу

и коллективно со всеми нашими сколотила изрядную сумму, а Марк Тимофеевич (это был Елизаров, муж Анны Ильиничны) заказал нам в Берлине два велосипеда через общество «Надежда», где он служил. И вот вдруг — уведомление из Транспортного общества: куда прикажете доставить посылку? Я подумал, что вернулась какая-либо нелегальщина, литература, а может быть, кто выслал книги? Приносят — и вот вам нелегальщина! Смотрите, пожалуйста, какие чудесные велосипеды! — говорил Владимир Ильич, осматривая их, подкачивая шины и подтягивая гайки на винтах. — Ай да мамочка! Вот удружила! Мы теперь с Надей сами себе господа. Поедем не по железной дороге, а прямо на велосипедах.

— Рад, как ребенок! — шепнула мне Надежда Константиновна. — Ужасно любит мать, но не ожидал такого внимания от всех наших и сейчас прямо в восторге...

Обо всем переговорив и условившись об адресе для телеграмм и писем, мы спустились по парадной лестнице вниз.

— До свидания, товарищи! Надя, садись! — крикнул Ильич и быстро вскочил на велосипед.

Надежда Константиновна, раскланиваясь с нами, уверенно выехала за ним, и они быстро скрылись за поворотом шоссе, утопающего в цветущей зелени».

Не могу удержаться, чтобы не привести этой живой сценки, тем более что в дальнейшем Ленин неоднократно будет фигурировать в качестве велосипедиста, что весьма типично для его парижского быта.

...В Париже, по выражению Надежды Константиновны, жилось очень «толкотливо». В то время сюда со всех сторон съезжались эмигранты, социал-демократы. Париж стал партийным центром. Ленин очень быстро применился к Парижу. По внешности в нем не было ничего похожего на русского интеллигента, социал-демократа. Настоящий средний парижанин. Скорее всего какой-нибудь клерк или коммивояжер в котелке и с тросточкой, в узком пальто с бархатным воротником, из числа тех, которых в эти годы можно было встретить во всех больших городах Европы.

Мне рассказывал И. Ф. Попов, хорошо знавший Ленина парижского периода, что он просто ахнул, впервые увидев Ленина в таком преображенном виде.

— Владимир Ильич! На кого вы похожи? Вы же типичный французский коммивояжер!

— Нет, в самом деле? — спросил Ленин с любопытством. — Похож на коммивояжера?

— Не отличишь. Как две капли воды.

— Не выделяюсь в толпе?

— Совершенно не выделяетесь.

— Так это же замечательно! — воскликнул он. — Просто великолепно! Именно то, что и требовалось доказать, так как здесь, несмотря на хваленую французскую свободу, легко можно налететь на шпика из русской охранки, что было бы весьма нежелательно. А в таком виде я легко растворюсь в толпе и, как любит говорить Надя, своевременно смоюсь.

И он захохотал своим глуховатым, несколько гортанным смехом.

Среди прочих социал-демократических эмигрантов, до поздней ночи просиживающих в кафе «Орлеан», своей штаб-квартире, появился также и товарищ Инок (Иосиф Дубровинский), недавно бежавший из сольвычегодской ссылки. Он приехал в ужасающем состоянии: по пути в ссылку кандалы почти до кости натерли ему ноги; образовались зловещие раны. Эмигрантские врачи — социал-демократы — решили, что надо без промедления удалить ногу. Для Инока это была катастрофа. Он был близок к самоубийству.

Но Ленин, по свойству своего характера никогда не отступать перед трудностями и не сдаваться, решил испытать все средства для того, чтобы спасти товарища от ампутации ноги, которая в его положении была равносильна смерти.

Ленин бросил все дела и немедленно повез Инока к парижскому профессору-хирургу Дюбуше, который во время революции пятого года работал в качестве врача в России.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что я тоже знал знаменитого хирурга. Я даже был знаком с ним лично. Мы жили в Одессе, на так называемой даче «Отрада», где совсем недалеко от нас находилась больница Дюбуше, весьма популярная в городе, так как сам доктор Дюбуше слыл не только выдающимся хирургом, делавшим буквально чудеса, но также и очень «красным», как назывались в то время революционеры. Было известно, что в девятьсот пятом году, во время бар-

рикадных боев, он оказывал медицинскую помощь раненым дружинникам и часто прятал их в своей больнице от полиции.

О нем ходили легенды. Шепотом передавали друг другу, что после подавления одесского вооруженного восстания в мертвецком покое больницы Дюбуше одесские революционеры-боевики прятали оружие, а охранка будто бы напала на след, и мы, мальчики из «Отрады», или, как нас называли, «отрадники», по целым дням торчали на полянке против больницы Дюбуше, с ужасом ожидая, чем все это кончится. А кончилось очень странно: однажды ночью, как утверждали очевидцы, из больницы Дюбуше какие-то люди вынесли черный гроб и в сопровождении факельщиков отнесли на Второе христианское кладбище. В том, что из больницы вынесли покойника, не было ничего удивительного, но зачем это сделали глухой ночью, при факелах?

Некоторые мальчики, в том числе Мишка Галий, ставший впоследствии известным под именем Гаврика Черновиваненко, под страшной клятвой доверили мне тайну, о которой слышали от взрослых: в гробу лежало оружие боевиков-дружинников — браунинги, «смит-вессоны» и «лефшо», — которые перенесли куда-то в более безопасное место, на Сахалинчик, а может быть, даже действительно похоронили на кладбище. Не знаю, была ли это правда. Знаю только, что утром на тротуаре возле больницы Дюбуше я сам, своими глазами, видел смоляные капли, которые вели из «Отрады» на Французский бульвар, а дальше терялись. И долго еще мне снилась зловещая похоронная процессия, большой, страшно тяжелый гроб и в руках людей в глухих капюшонах дымящиеся смоляные факелы, с которых падали на тротуар черные расплавленные капли. Вскоре полиция произвела в больнице Дюбуше обыск, но, конечно, ничего не нашла: по своему обыкновению, опоздала. Доктора Дюбуше взяла на заметку.

Познакомился же я с доктором Дюбуше при следующих обстоятельствах. Не нужно говорить, что я был отвратительный мальчишка, который постоянно доставлял массу неприятностей. Это само собой понятно. Так вот однажды мне пришла в голову мысль научиться вязать. Почему-то я был уверен, что это «пара пустяков». Я мечтал удивить свое семейство, связав в один прекрасный день салфетку, занавеску или какую-нибудь другую полезную для хозяйства вещь.

Я выкрал у старенькой бабушки — папиной мамы — стальной вязальный крючок и клубок черных ниток, из которых старушка постоянно вязала себе на голову кружевные нашлепки, похожие на сетку паука, и принялся за дело. Но не прошло и минуты, как дом огласился моими воплями, так как я воткнул вязальный крючок в указательный палец, во внутренний стиб между первой и второй фалангами. Крючок крепко засел в мясе, и никакими силами и хитростями его нельзя было оттуда извлечь: не пускала проклятая насечка. При малейшем прикосновении к крючку я визжал как зарезанный, обливался потом, дрожал, и у меня уже начали синеть губы.

Тогда тетя надела шляпку, схватила меня за здоровую руку и потащила в больницу Дюбуше. Мы мучительно долго сидели в сумрачной приемной, где стояли устойчивые зловещие запахи карболки и эфира, не предвещавшие ничего хорошего, и я продолжал рыдать и дрожать, так как о докторе Дюбуше ходила слава как о большом грубияне. Больные приходили к нему на прием, содрогаясь от страха, и ожидали от знаменитого француза каких-нибудь ужасных поступков.

Свободной рукой я размазывал по лицу слезы, а тетя, дрожа, поддерживала висячий на пальце крючок и бормотала:

— Этот мальчик когда-нибудь нас всех уложит в гроб.

Вдруг перед нами появился громадный — как мне тогда показалось — мужчина в модном заграничном костюме, просторном и вместе с тем удивительно хорошо сидящем на его плотном теле, в блестящих штиблетах, с коротко остриженной, большой, круглой, по-бычьей опущенной головой и эльзасски голубыми, бычьими глазами, выпукло и грозно глядевшими на меня и на тетю из-под стекол наимоднейшего парижского пенсне — золотого с пружиной.

Это был сам Дюбуше, спустившийся к нам, как некое божество. Тетя начала быстро и пространно объяснять, при каких обстоятельствах произошла катастрофа, и умоляла профессора немедленно положить меня в больницу и оперативным путем под хлороформом удалить вязальный крючок, причем, ломая пальцы, умоляла великого хирурга сделать операцию лично, не доверяя своим ординаторам. «Чего бы это ни стоило, чего бы это ни стоило», — повторяла она, и нос ее на самом кончике покраснел, как клубничка.

Но Дюбуше не обратил на нее внимания. Я не уверен даже, что он ее вообще заметил. Он повернулся ко мне, с нескрываемым отвращением взглянул на мое замурзанное лицо с такими лиловыми губами, как будто я напился школьных чернил, затем взял меня одной рукой выше локтя, так что я почувствовал все пять его железных пальцев, а другой поймал крючок и, не обращая внимания на мои предсмертные крики, в мгновение ока вырвал из пальца окровавленный крючок, брезгливо отдал его тете и, сказав «ведите этого соплика домой», удалился, не только не пожелав сделать перевязку или хотя бы, на худой конец, помазать крошечную ранку йодом, но даже не взглянул на трешку, которую тетя судорожно сжимала в сухом кулачке.

Так состоялось мое первое и единственное знакомство с доктором Дюбуше.

Возможно, что образ Дюбуше, сохранившийся в моей памяти, был нарисован фантазией перепуганного насмерть мальчишки. Может быть, не было ни голубых, «эльзасских» глаз, грозно глядевших из-за стекол наимоднейшего парижского пенсне. Быть может, не было даже этого самого «пенсне — золотого с пружиной». А было только умное саркастическое лицо, показавшееся мне в ту минуту ужасным, как лик Петра Великого во время Полтавской битвы.

...Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.

Не знаю, не знаю... Знаю только, что вскоре одесская полиция его арестовала, а затем выслала из России, где торжествовала реакция.

Так вот именно к этому человеку и поехали Инок и Ленин через весь Париж на метро, которое тогда еще не доходило до Порт-д'Орлеан.

Услышав рассказ Ленина о том, каких страстей наговорили про натертую ногу Инока, и бегло осмотрев ее, Дюбуше спросил:

- Так они советуют ампутацию?
- Да. Ампутацию, — ответил Ленин.
- А что это за врачи? — спросил Дюбуше.
- Наши, русские, эмигранты, социал-демократы.
- Революционеры? — спросил Дюбуше.
- Революционеры, — сказал Ленин.
- Так ваши товарищи врачи, — прорычал Дюбуше, —

может быть, и хорошие революционеры, но как врачи — они ослы!

Таким образом нога Инока была спасена.

Ленин хохотал до тех пор, пока слезы не выступили у него на глазах, и потом часто повторял эту фразу, применяя ее к разным случаям эмигрантской жизни. Фраза Дюбуше стала у него поговоркой:

— Может быть, они и хорошие революционеры, но как врачи — ослы.

Ленин уже и раньше бывал в Париже и составил о нем определенное мнение: «Париж — город очень неудобный для жизни при скромных средствах. Но побывать ненадолго, навестить, прокатиться — нет лучше и веселее города».

Но в данном случае Ленину и Крупской при скромных средствах пришлось надолго засесть в этом неудобном городе. Однако делать нечего — этого требовали партийные задания. Жить в шикарной квартире на улице Бонье оказалось совсем не по карману. И через некоторое время «Ильичи» переменили местожительство. Теперь они поселились в том же районе, на небольшой тихой улочке с милым, несколько сентиментальным названием — Мари-Роз, в двухкомнатной квартире с кухней и газом, во втором этаже, с окнами, выходившими в какой-то сад. Теперь этого сада уже давным-давно нет, а на его месте стоит скучный кирпичный дом. Но тогда, при Ленине, был сад. И Ленин смотрел на него в окно.

Несколько лет назад один старый писатель, знавший Ленина парижского периода, нарисовал в моей записной книжечке план, по которому я мог бы сам, без посторонней помощи, добраться до улицы Мари-Роз: сначала на метро до станции «Алезия», рядом с церковью святого Петра, а там рукой подать, пешком. Нам хотелось именно самим, никого не спрашивая, найти дом, где жил Ленин. В этом была какая-то особая прелесть. И вот, выйдя из метро на станции «Алезия», мы пошли по «ленинскому району», то и дело справляясь с чертежиком в записной книжке.

Чувствовалось, что это уже рабочий район, где-то недалеко от окраины. А в то время, когда здесь жил Ленин, это была, конечно, настоящая окраина, которая только что стала застраиваться новыми доходными домами, непохожими на старинные парижские дома, с высокими графитными крышами, под которыми зачастую помещались

уступами одна над другой две мансарды. Новые дома были скорее какого-то универсального общеевропейского стиля модерн начала XX века, и, в отличие от темных, узких, старинных парижских домов, в них можно было найти маленькую, но вполне приличную двух- или трехкомнатную квартирку со всеми удобствами, даже с ванной. Именно такой, не вполне французский, наждачно-серый, еще не успевший как следует почернеть от фабричной копоти дом № 4 увидели мы на середине совсем коротенькой улицы с эмалированной табличкой «Мари-Роз». Под балкончиком одного из окон второго этажа мы увидели мемориальную доску с маленьким профилем Ленина.

Улочка Мари-Роз, или, по-русски говоря, переулок, была пуста, и ветер волок по чистым тротуарам кучи пожелтевших платановых листьев. Шел почтальон в мундире и твердом кепи, делавшем его похожим, по крайней мере, на офицера, если не на генерала. Из чрезмерно раздутой кожаной сумки, которую он с трудом тащил на ремне через плечо, торчали бандероли, пакеты, свернутые в трубку журналы, свертки с книгами, длинные конверты, испещренные множеством штемпелей и марок — заграничных и французских. Громко насвистывая, по обычаю всех парижских почтальонов, ядовитую политическую песенку из последнего ревью монмартрского театрлика «Два осла» — «Вив Дебре, вив Дебре, вив Дебре, Дебре, Дебре», — почтальон вошел в «ленинский» подъезд дома № 4. И вдруг я испытал то же ни с чем не сравнимое ощущение, которое испытал недавно на Капри в тот миг, как увидел ленинскую террасу на вилле «Крупп»: на один короткий миг мне показалось, что время переместилось назад, на пятьдесят лет, и почтальон несет в адрес m-eur Oulianoff, на второй этаж, заказную бандероль из России.

Мы вошли в парадное. За стеклянной дверью с белыми кружевными занавесками виднелись комната консьержки и она сама, сидевшая в старом кресле лицом к двери. В руках у нее была чашка кофе. Типичная парижская консьержка: пожилая, но бодрая дама с южными, бдительными глазами и, конечно, небольшими черными усиками на венозно-фиолетовом лице. Она потянула за пнурок, задвижка щелкнула, дверь приоткрылась.

— Мадам, мосье? — каркнула она, как ученая птица, и вопросительно-внимательно взглянула на нас.

Я стал объяснять ей цель нашего визита, но она, не дослушав, кивнула головой и указала рукой в черных кружевных митенках с отрезанными пальцами на лестницу.

— Второй этаж, налево. Но, кажется, профессора нет дома, он с утра ушел в библиотеку. Впрочем, поднимитесь. Я думаю, мадемуазель дома. По-моему, она еще никуда не выходила.

По-видимому, консьержка не считала квартиру Ленина настоящим музеем, а рассматривала скорее как частную квартиру, где живет какой-то профессор из «красных», который, как и все эти социалисты и радикалы, бегаёт утром в библиотеку, как будто это поможет ему разбогатеть. Париж — город традиций. Весьма возможно, что еще со времен Ленина повелось, что в этой квартире постоянно жил какой-нибудь бедный ученый, радикал, бегавший по утрам в библиотеку. Так и сложилась традиция, незабываемая в глазах консьержки.

Проводив нас глазами до самой лестницы, эта почтенная дама закрыла дверь и затем неторопливо взялась за фаянсовый кофейник, с тем чтобы подлить в толстую, объемистую чашку горячего кофе. Было заметно, что она чувствует себя опорой порядка и власти и живет в полное свое удовольствие.

Мы стали подниматься по витой лестнице, сделанной из легкого, музыкального дерева, до зеркального лоска натертого парафином. Эта типично парижская лестница начиналась внизу, у первого витка, легким столбиком с медной, ярко надраенной шишечкой, от которой шли вверх спиралью круглые перила с изящно выточенными, легкими балясинками. Не только звуки наших ботинок, но даже наше дыхание никуда не улетали, а оставались тут же рядом с нами и резонировали, как будто мы шли внутри какого-то деревянного, хорошо настроенного музыкального инструмента. Наконец мы остановились возле хорошо натертой двери, и я нажал кнопку маленького электрического звонка.

Было очень тихо, и мы боялись нарушить эту почти церковную тишину, для того чтоб обменяться впечатлениями и мыслями, которые явились в одно и то же время и были одинаковыми: а что, если вдруг откроется дверь и мы увидим на пороге живого Ленина или, вернее всего, Надежду Константиновну Крупскую с еле заметными признаками начинающейся базедовой болезни, гладко причесанную, с узлом волос на затылке, в домашнем платье,

вроде тех, какие носили тогда русские учительницы: белая кофточка, шерстяной сарафан с широкими бретелями, козловые башмаки на пуговицах или прюнелевые туфли?

Дверь открылась, и молодая француженка в модных очках, сотрудница музея, пригласила нас войти. Эту квартиру уже много раз описывали, хотя, собственно, как музей она не представляет другого интереса, кроме того, что именно в ней жил Ленин. Несколько фотоконий с общеизвестных афиш о парижских лекциях Ленина, фотографий, портретов, диаграмм. Подлинных вещей Ленина — мебели, книг, рукописей — не имеется. Обыкновенная, очень аккуратная, чистенькая, по-французски распланированная двухкомнатная квартирка с коридором, прихожей и кухней, окнами на две стороны и хорошо натертыми паркетными полами, теми самыми, по которым ходил Ленин. Вся магическая, притягательная сила этого места заключалась в безусловной его подлинности: это именно та самая квартира, где жил Ленин, сидел, писал, говорил, спал, думал, смотрел в эти самые окна, открывал эти самые двери, зажигал эти электрические лампочки.

«Несмотря на малые размеры,— вспоминает Т. Людви́нская,— квартира не казалась тесной благодаря царившему в ней образцовому порядку... Быт этой маленькой семьи представлял собою загадку для парижских мещан. Крайняя скромность и идеальная чистота. Множество посетителей — и полное отсутствие шума, суеты».

Именно здесь, в этой квартире, провел Ленин самые тяжелые годы эмиграции. «О них Ильич всегда вспоминал с тяжелым чувством,— пишет Крупская.— Не раз повторял он потом: «И какой черт понес нас в Париж!» Не черт, а потребность развернуть борьбу за марксизм, за ленинизм, за партию в центре эмигрантской жизни. Таким центром в годы реакции был Париж».

В самом же центре этого центра, думаю я, именно и была маленькая квартирка в доме № 4 на улице Мари-Роз — подлинный центр русской революции.

Мы осмотрели компаты.

Спальню «Ильичей» можно было представить себе заранее. Две узкие кровати, покрытые либо белыми, тисненными, так называемыми «марсельскими» одеялами, либо вечными ульяновскими пледами, побывавшими и в Англии, и в Швейцарии, и в Бельгии, и в Финляндии, и в Германии, и в Швеции... Спальня «Ильичей» была всюду одинакова: в Шушенском, в Подольске, в Женеве, в Гер-

мании и в Швеции... Спальня «Ильичей» была и здесь, в Париже. В другой комнате, где постоянно работала Надежда Константиновна, стоял простой некрашенный стол, заваленный почтой — «секретариат» Ленина, его подпольное бюро, куда сходились все наши организации и откуда во все стороны шли ленинские письма, инструкции, шифровки. Здесь же, вероятно, изготовлялись и фальшивые паспорта для подпольщиков-большевиков, или, как их тогда называли, «агентов Ленина».

Ленин же работал главным образом в кафе, в читальных залах, в библиотеках.

В кухоньке пили чай и принимали гостей — местных, парижских единомышленников и приезжих из России. Кухня была салоном в квартире на Мари-Роз. Здесь кипели жаркие споры совсем так, как где-нибудь в деревянном провинциальном домике с мезонином в занесенной снегами России. Отсюда на весь мир звучал голос Ленина, откликавшегося на все общественно-политические события земного шара, — был ли это конгресс III Интернационала в Копенгагене или смерть Толстого, контрреволюция в Персии, победа революционного движения младотурок или рост «нового духа» в Азии... Не было ничего великого или малого в области революции, что бы не аккумулировалось здесь, в этой крошечной квартирке на Мари-Роз, и, конечно, это был в первую очередь главный штаб русской революции, куда сходились все нити грядущего переворота, который планировался именно здесь Лениным и его помощниками. Здесь было будущее России. Здесь всегда царил ленинский, истинно партийный дух простоты, человечности, глубочайшей принципиальности и неподкупности... И конечно, дух чудесного, тонкого юмора, столь свойственного всей глубоко интеллигентной ульяновской семье, а также и Надежде Константиновне Крупской.

В своих воспоминаниях Т. Людвинская рассказывает, как она после тюрьмы и ссылки приехала в Париж и поспешила к Ленину, для того чтобы рассказать ему о том, что делается в России.

«Наша беседа подходила к концу. Прощаясь, Владимир Ильич посмотрел на меня и лукаво заметил:

— Так вы говорите, что Париж вас ошеломил. А мне кажется, что вы ошеломили Париж!

И, добродушно посмеиваясь, обратился к Надежде Константиновне:

— Посмотри-ка на нашу парижанку!»

Что же произошло? Оказывается, на Т. Людвинской, тогда еще молоденькой девушке, было напялено длинное, широкое платье с пышными рукавами, допотопная широкополая шляпа и вдобавок длинные косы. Эта противостественная смесь Анны Карениной, леди Гамильтон и тургеневской Лизы Калитиной, вероятно, казалась молоденькой революционерке-конspirаторше последним криком парижской моды, в то время как уже давно никто в Париже не носил широких платьев и рукавов с буфами, а, наоборот, были в моде узкие платья и прямые рукава, так что прелестная конspirаторша, изо всех сил старавшаяся «слиться с толпой» и не обращать на себя внимание царских шпигов, которыми кишел Париж, достигла совсем обратного: не было на улице человека, который бы не поворачивался с удивлением вслед этой хорошенькой девушке, похожей на куклу, сбежавшую из музея восковых фигур.

«Так, — замечает Людвинская, — Владимир Ильич преподал мне урок конспирации».

Драбкина, автор прелестных мемуарно-исторических повестей, которая в те годы была совсем маленькой девочкой, рассказывала мне, что довольно отчетливо помнит кухню в квартире на Мари-Роз и стол, покрытый клеенкой, за которым Надежда Константиновна поила гостей чаем. Большой чайник кипел тут же на газовой плите.

Однажды во время подобного чаепития Надежда Константиновна вслух пожаловалась, что ужасно устает от вечной мойки чайной посуды. Тогда бородатый, неряшливый, с волосами, зачесанными на лоб, с сонными глазами, философичный Мартов поднял пустой стакан, повертел его перед глазами и бодро воскликнул:

— В чем, собственно, дело, товарищи? Мойка посуды — это с философской точки зрения пережиток. При социализме, когда общественное производство будет поднято на недостижимую высоту, такой, например, примитивный предмет, как чайный стакан, почти ничего не будет стоить, так что его, вместо того чтобы мыть, гораздо выгоднее будет просто выбросить за окно и взять другой, чистый.

При этом Мартов сделал широкий жест, как бы действительно желая выбросить стакан в окно. Однако Владимир Ильич как-то сбоку весьма скептически посмотрел на Мартова и холодно заметил:

— Но поскольку у нас еще не социализм, предлагаю товарищу Мартову самым буржуазным образом вымыть

свой стакан самому и не обременять Надюшу сверхурочной работой. Мойте, мойте, товарищи, не стесняйтесь,— весело обратился он к гостям,— милости просим к раковине.

«Когда, бывало,— вспоминает Кржижановский,— по гулким коридорам дома предварительного заключения на Шпалерной улице царского Питера, где мне пришлось одновременно с Владимиром Ильичем отбывать тюремное заключение по делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса, по временам было слышно, как охранники волокут тяжело груженные книгами корзины, я знал, что этот книжный груз последует в камеру Владимира Ильича... Можно ли более образно и убедительно показать отношение Ленина к чтению и значение, которое он придавал книгам... Для своей фундаментальной работы «Развитие капитализма в России» он проделал поистине циклопический труд личной переработки и проверки фолиантов земской статистики... Подобно Марксу, Владимир Ильич был большим знатоком крупнейших европейских книгохранилищ».

Для занятий Ленину всегда была необходима хорошая библиотека. Крупская пишет, что заниматься в Париже Ленину было чрезвычайно неудобно. Национальная библиотека была далеко. Ездил туда Владимир Ильич обычно на велосипеде, но езда по такому городу, как Париж,— не то, что езда по окрестностям Женевы,— требует большого напряжения. Ильич очень уставал от этой езды.

На обеденный перерыв библиотека закрывалась. С выпиской нужных книг была также большая бюрократическая канитель... В конце концов у него украли велосипед.

Надо заметить, что с велосипедами Владимиру Ильичу вообще не везло. Но об этом — в дальнейшем.

Итак, каждое утро Ленин ездил на велосипеде в Национальную библиотеку работать. Расстояние туда и обратно — километров пятнадцать.

Осторожно, держа за твердое седло, Ленин сводил по ступеням лестницы подпрыгивающий велосипед, стараясь, чтобы педаль не задела за точеную балясину. Внутри кожаной треугольной сумки на раме под седлом глухо погромыхивали велосипедные инструменты, аккуратно завер-

нутые в полотняную тряпочку. Мимо приоткрытых дверей консьержки, которая бдительными глазами провожала «красного» русского профессора, о котором уже несколько раз ее спрашивал комиссар полиции, Ленин выводил машину на улицу и прислонял ее к фонарю. Затем он вынимал из кармана маленькие сине-стальные браслетки и надевал их на концы брюк, обернутых вокруг щиколоток. Теперь он приобретал внешность настоящего завязанного велосипедиста. Он брался крепкой рукой за руль, легко заносил ногу и трогался без разбега, прямо с места, как отличный спортсмен, привыкший много ездить по городу.

Вижу позднюю парижскую осень, темное, сырое утро и мглистый воздух рабочих кварталов, кое-где насыщенный слабыми запахами светильного газа и каменноугольного дыма с небольшой примесью чего-то особо парижского: мягкого, каштанового, ванильного, бензинового. На улице Мари-Роз пусто. Но едва Ленин, минуя несколько таких же безлюдных переулков, выехал на прямую широкую Порт-д'Орлеан, как сразу попал в людской поток. Это парижский пролетариат идет на работу.

В пальто с низкой талией, с бархатным воротником, в уже знакомом нам котелке, широкоплечий, приземистый, выставив гладко выбритый подбородок, Ленин медленно пробирался вперед, лавируя среди пешеходов, велосипедистов, фургонов, грузовиков, тележек, почтовых трехколесных «гупмобилей», плотно забивших улицу.

Он привык начинать свой трудовой день при низком звуке фабричных гудков, которые как бы стоят в этот ранний, неприятный час вокруг всего Парижа, производя странное впечатление прутьев толстой решетки — звучащие, густые, навевающие на душу уныние.

...Он привык по утрам видеть вокруг себя кепки, шерстяные шарфы, потрепанные пиджаки, куртки, традиционные синие рабочие блузы, опущенные усы, мокрые от наскоро выпитого кофе. Он привык слышать звук медленно движущейся толпы парижских пролетариев, напоминающий неотвратимый тяжелый гул мельничного жернова. Из них, наверное, многие — сыновья коммунаров, а некоторые, быть может, и сами дрались на баррикадах — старики с худыми, как бы выточенными из крепкого дерева галльскими лицами, с орлиными носами и седыми эспаньолками. Знают ли они, что среди них едет на ве-

лосипеде человек, который через несколько лет возглавит первую в мире социалистическую революцию и, главное, доведет ее до полной, окончательной победы?..

Иногда он позванивал в свой велосипедный звоночек, а когда людской поток останавливался на перекрестке по мановению белой дубинки ажана, он упирался одной ногой в обочину тротуара или держался вытянутой рукой за борт какого-нибудь фургона с мебелью или пивом. Пока толпа стояла, он отдыхал, разглядывая звездообразный перекресток, где пересеклись не две и не три, а пять или даже семь улиц, так что каждый угловой дом напоминал узкий треугольный кусок торта. Подобным образом нарезан весь Париж, в котором почти невозможно найти две параллельные улицы. Все они где-нибудь да пересекаются. Можно сказать, что Париж — наглядное отрицание Эвклида и триумф геометрии профессора Казанского университета Лобачевского с его острейшими углами. Кстати, в Казанском университете учился и Ленин.

На каждом углу — кафе или бистро, крошечный отельчик, ресторан с полосатым желто-красным тентом, синема и непременно три золотые лошадиные головы над лавкой, где продается конина. Цветочный магазин. Афишная тумба. Газетный киоск, сверху донизу увешанный разноцветными журналами, приключениями американских сыщиков Пинкертона, Ника Картера, любовными похождениями красавиц... и газеты, газеты, газеты. Сверху вниз «Фигаро», «Тан», «Эко де Пари», «Энтрансижан», «Пти паризьен», «Аксион франсез»... бесконечное множество газет...

«Юманите» Жореса небось засунули в самый конец. А русского «Пролетария» не видно — держат под прилавком, говорят: никто не берет, потому что русская газета, однако это не мешает на самом видном месте держать архиреакционное суворинское «Новое время» и кадетскую «Речь». Черт бы их побрал с их квазисвободой печати!

Чем ближе к центру, тем заметнее изменялся характер города: редела толпа рабочих, постепенно уступая место пешеходам другого рода. Сквозь туман стало очень слабо просвечивать утреннее солнце; розовато-медный свет — нежный, грустный до слез — ложился на тротуары; обнаженные платаны начинали отбрасывать на стены домов и на витрины еле заметные голубые тени своих обнаженных ветвей, даже не тени, а какой-то сонный

намок на тени, кружевной рисунок, как бы с трудом угадываемый сквозь верхний слой переводной картинки в полоскательнице с водой. Но это ненадолго. Минута — и туман сгущается, поглощает крыши и мансарды домов, превращая семиэтажный Париж в трехэтажный. Сеется дождик, тонкий, как пудра. В тумане проплыл силуэт тюрьмы Санта — высокая стена с маленькими решетчатыми окошками, глухие ворота, из-под которых наружу выбегают рельсы какой-то странной узкоколейки, которые вдруг обрываются и дальше никуда не ведут. По этим рельсам в дни казней выкатывают зловеще-высокое, ни на что не похожее деревянное сооружение, одно название которого вызывает дрожь отвращения, — гильотина, или, на парижском уличном аргю, «вдова». Во Франции казнь должна происходить публично, вне стен тюрьмы. Кого же казнят? Инструмент, изобретенный доктором Гильотеном для целей великой революции, попал в руки контрреволюционной буржуазии. Косой нож гильотины охраняет основы ее государства, его мораль, институты, законы.

Затем Ленин миновал обсерваторию. За высокой глухой стеной еле виден в тумане характерный купол, большие часы, памятник мечтателю-идеалисту Фламариону, создателю божественной Урании. И все же Камиль Фламарион приемлем как создатель сказки, в которой содержится зерно истины — безначальность, бесконечность мирового пространства.

На углу улицы Обсерватуар и бульвара Монпарнас характер Парижа снова изменился. Это уже Париж богемы. До последнего времени богема населяла Монмартр. Но совсем недавно, едва ли не в год приезда Ленина в Париж, началось великое переселение богемы с монмартрских высот на левый берег, в район Монпарнаса. Раньше здесь было лишь одно всемирно знаменитое литературное кафе «Клозери де лила», что в переводе некоторых русских декадентов звучало приблизительно как «Сиреневые уюты». Здесь некогда царил великий Поль Верлен и его молодой друг, тоже великий, Артюр Рембо, почти мальчик. Это была Мекка, куда стремились правоверные всего самого нового и самого утонченного в области французской поэзии. Для каждого уважающего себя поэта-декадента или просто любителя новейшего искусства было совершенно невозможно, даже неприлично приехать в Париж и не посидеть в «Клозери де лила», хотя ни

Верлена, ни Рембо уже не существовало в природе, а лишь царил их дух, и царил, быть может, даже еще сильнее, чем при их жизни. Вот почему наши русские символисты — Бальмонт, Брюсов, Макс Волошин и прочие — считали своей священной обязанностью, сдвинув набок цилиндр и взбив неряшливую бороду а-ля Верлен, сидеть за крошечным мраморным столиком и при свете газовых рожков, от которых лысеют, тянуть через соломинку «тигровый абсент», разбавленный ледяной водой, — довольно живописный напиток мутно-опалового цвета и тошнотворного вкуса ипекакуаны, но почему-то считавшийся самым изысканным и самым опьяняющим напитком XX века.

Ленину приходилось посещать это знаменитое кафе, назначая в нем серьезные конспиративные встречи. Здесь легче, чем в другом месте, можно было уйти от слезки и раствориться среди разноликой международной богемы, среди всех этих странных людей в беретках, цилиндрах, барсалинах, котелках, каскетках и даже кепках, которые тянули разноцветные напитки со льдом, дымили сигарами или трубками и так сильно жестикулировали первыми руками, что крахмальные манжеты то и дело с треском выскакивали из скруточных рукавов, и они их запикивали обратно, а то и, пользуясь случаем, тут же записывали на них карандашом только что пришедшую великую мысль или гениальную метафору.

Гораздо чаще Ленин бывал в кафе «Ротонда», на том же бульваре Монпарнас, но ближе к вокзалу. Там происходили менее конспиративные встречи с французскими социалистами, впоследствии членами Французской коммунистической партии. Здесь между французскими социалистами и русскими социал-демократами велись оживленные дискуссии, в то время как за соседними столиками ораторствовали художники, покинувшие одряхлевшие улья Монмартра и теперь роившиеся на вошедшем в моду Монпарнасе. Они делились на «достигших» и «еще не достигших». Здесь можно было встретить множество интереснейших людей, приходивших сюда выпить перед обедом рюмку аперитива, — но уже не выходившего из моды абсента, а входящего в моду мартини или мандаринкюрасо. Здесь в 30-х годах я застал еще примерно такую же обстановку, как при Ленине, даже тех же самых людей, завсегдатаев «Ротонды» и «Дома». Париж медленно меняется! Здесь же, на Монпарнасе, в кафе «Куполь» я,

между прочим, познакомился с парижской знаменитостью — Шарлем Раппопортом, постоянным посетителем палаты, прирожденным полемистом, одним из самых остроумных парижан своего времени. Неряшливый, стремительный, со своими сверкающими саркастическими глазами под захватанными стеклами страшных, громадных очков, осыпанный пеплом и перхотью, он был неиссякаемым источником различных партийных историй и анекдотов из жизни французских политических деятелей. С нежной любовью и поистине трогательным благоговением говорил он мне о Ленине как о своем учителе и о величайшем человеке земного шара. Шарль Раппопорт пользовался всеобщей любовью, как во всех отношениях блестящий человек. Может быть, он даже был первым парламентским оратором своего времени. Даже, говорят, Бриан уступал ему. Когда-то Бриан был социалистом и дружил с Раппопортом. Потом Бриан предал свою партию и стал ренегатом. Бриан и Раппопорт сделались политическими врагами, всю жизнь продолжая оставаться личными друзьями. Во Франции это бывает. Однако с парламентской трибуны они громили друг друга с яростью и страстью.

За спиной Раппопорта его друзья любили рассказывать историю о том, как Бриан отомстил Раппопорту. Дело было так. Однажды в палате депутатов Раппопорт с исключительным блеском выступил против Бриана и произнес грозную филиппику в стиле Марата. Левые скамьи и даже часть центра устроили Раппопорту овацию. Тогда взял слово Бриан и произнес всего несколько слов, нежно глядя на Раппопорта:

— Мой друг Шарль Раппопорт выступил здесь против меня, воистину как Марат. Я отдаю ему должное. Он сказал, что, как Марат, готов отдать свою жизнь за республику. Но я думаю, что мой друг Шарль Раппопорт напрасно так волнуется. Он может быть совершенно спокоен. Ему не угрожает участь Марата. Он никогда не умрет в ванне.

Это была страшная месть, так как все знали о крайнем отвращении, которое испытывал Шарль Раппопорт к умыванию. Палата депутатов полчаса хохотала и рукоплескала Бриану, причем аплодировали все, даже крайние левые, и, конечно, больше всех неистовствовали ближайшие друзья Шарля Раппопорта... во главе с самим Шарлем Раппопортом. Все это я рассказываю для того,

чтобы дать хоть какое-нибудь представление о районе Монпарнаса, который миновал Ленин по дороге в Национальную библиотеку.

Дальше дорога Ленина шла через весь бульвар Сен-Мишель, или, на студенческом жаргоне, Бульмиш. Широкая, прямая и многолюдная улица длиной километра в полтора тянулась вниз до самой Сены, поглощенной холодным туманом. Это уже район Сорбонны — целая страна науки, студенческой богемы — Латинский квартал, так непохожий и вместе с тем чем-то очень родственный богеме Монпарнаса, с которым сливается возле «Клозери де лила», у памятника воинственного маршала Нея, «победителя Москвы», размахивающего своей маленькой шпагой.

Здесь уже вместо бородатых художников с большими этюдниками через плечо, вместо девушек-натурщиц в игривых шляпках, которые, подобрав юбки, торопливо бежали на работу, вместо рамочников, на пороге своих магазинчиков среди штабелей золоченых багетов мастеров мольберты разных фасонов и приколачивавших к подрамникам еще не загрунтованные холсты, Ленин был окружен студентами в блестящих от дождя макинтошах с небрежно поднятыми воротниками, студентками в бархатных беретах, с клеенчатыми книгоносками в руках, под мокрыми зонтиками, которые вместе со своими отражениями сплошной массой, как лава, текли вниз по Бульмишу, сталкиваясь и упруго отскакивая и цепляясь друг за друга спицами. В окнах многочисленных студенческих кафе виднелись с торопливым достоинством завтракающие молодые люди — юноши и девушки. Их силуэты, обращенные лицом друг к другу, были как бы соединены попарно деревянными подносиками с завтраком: круассанчиками, игрушечными баночками сливочного джема, кусочком масла, двумя кукольными кувшинчиками кипяченого молока и двумя большими, толстыми чашками кофе.

Ленин любил этот район. Он иногда работал тут в библиотеке Сорбонны и тогда чувствовал себя совсем студентом. Здесь все было насыщено наукой. Повсюду — школы, лицеи, институты, курсы, общежития, лаборатории. В витринах магазинов уже не пестрые, резко красивые полотна постимпрессионистов, а учебные пособия, химическая посуда, пробирки, реторты, колбы, спиртовые горелки. Карты звездного неба и таблицы Менделеева, скелеты, теллурии, где вокруг зажженной свечи, изображающей

Солнце, вращается маленькая планета Земля, а вокруг нее бегают на проволоке совсем маленький серебряный шарик Луны, наполовину черный, наполовину ярко-белый.

Слева решетка Люксембургского сада — черные пики с золочеными остриями, в отдалении, направо, мокрые газоны Клюни; в пролетах поперечных улиц то исчезало, то появлялось пепельное видение Пантеона, его светлые колонны, его громадный купол, под которым в холодных каменных криптах лежат Вольтер и Жан-Жак, так что в этом мире молодости и науки как бы вечно присутствует дух революции.

Дух революции всегда присутствует и на лестнице Пантеона, и на площади перед ней, всегда зловеще пустынной, как безмерно громадная каменная зала, откуда вынесли всю мебель и забаррикадировали окна, готовясь к последнему штурму.

Для Ленина — философа, революционера, историка, теоретика и практика вооруженного восстания — Парижская коммуна была одной из самых главных тем. Он читал о Парижской коммуне лекции, писал о ней статьи, всегда связывал ее с русской революцией 1905 года. Для Ленина Париж был городом Коммуны. Ленин в совершенстве знал ее историю и, проезжая по улицам Парижа, живо представлял себе все ее фазы. Пантеон всегда вызывал в его воображении весну 1871 года, те дни, когда Коммуна приняла решение о сооружении баррикад внутри Парижа. Было намечено построить несколько обособленных крепостей, цитаделей, в том числе у Пантеона, мимо которого сейчас, через сорок лет, проезжал на велосипеде Ленин. Началась защита Парижа от версальцев в целом. Однако меры, принятые Коммуной, опоздали. Версальцы уже ворвались в Париж. Шло отчаянное сопротивление.

Гибель Парижской коммуны и разгром Пресни навсегда оставили в сердце Ленина незаживающую рану.

Ленин ехал мимо Пантеона по бульвару Сен-Мишель, представляя себе майский Париж времен Коммуны, повсюду перегороженный баррикадами, охваченный дымами горящих зданий, потрясенный взрывами, дробными, раскатистыми залпами митральез. В небе горело жаркое майское солнце, отцветали каштаны, осыпаясь на тротуары сухими бело-розовыми цветами. Опустевшие, без-

людные улицы отливали свинцовым блеском. Из окон на раскаленные тротуары сыпались стекла. И на всем — тень смерти.

Оборона — смерть вооруженного восстания. На левом берегу Сены второй корпус версальцев под командованием генерала де Сиссэ в составе трех дивизий наступал в общем направлении на Люксембург — Пантеон, где коммунары так и не успели построить основательных укреплений.

(Ага, вот почему площадь возле Пантеона до сих пор кажется так незащитно-пустой, тягостно-безлюдной!)

Теперь уже Ленин как бы находился в самом центре баррикадных боев на подступах к Пантеону. Версальцы рассчитывали атаковать Пантеон, обойдя его с севера. Развивая свой успех, дивизия Лакретеля после упорного боя выбила коммунаров, оборонявших баррикады площади и улицы Сен-Сюльпис, из Медицинской школы и улицы Расина. Но, достигнув бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель, по которому теперь Ленин уже доехал почти до самой Сены, версальцы были остановлены анфиладным огнем артиллерии, расположенной у моста Сен-Мишель. Но, увы, поздно! Поздно, слишком поздно... Батарея коммунаров продержалась только до четырех часов дня и была подавлена, после чего версальцы пересекли бульвар Сен-Мишель и, круто свернув на юг, выбили коммунаров с баррикад возле лицея Людовика Великого и севернее его.

По всем этим местам, рассекая их, проезжал Ленин, и перед его глазами неподвижно стояла картина Пантеона, как бы добела раскаленного майским послеполуденным зноем, серая лестница, на которой в луже крови раскинулся головой вниз господин в темном пиджаке, с окровавленной, слипшейся бородой — социалистический публицист Жан-Батист Мильер, депутат Национального собрания. Он не принимал непосредственного участия в деятельности Коммуны. Но он не скрывал своего сочувствия к ней. По приказу генерала де Сиссэ его должны были расстрелять на ступенях Пантеона, на коленях, в позе человека, публично умоляющего о прощении у общества за то «зло», которое он причинил ему. Мильер отказался подчиниться. Тогда его силой заставили встать на колени. Последними его словами были: «Да здравствует Республика! Да здравствует народ! Да здравствует человечество!»

А ведь он был просто беспартийный, сочувствующий. «Коммуна должна была действовать более решительно против всех своих врагов,— думал Ленин, выезжая на набережную Сены.— А парижский пролетариат старался морально повлиять на них, он пренебрег значением чисто военных действий в гражданской войне, и, вместо того чтобы решительным наступлением на Версаль увенчать свою победу в Париже, он медлил и дал время версальскому правительству собрать темные силы и подготовиться к кровавой майской неделе».

Может быть, потому, что всегда и даже сейчас, прозвывая по Латинскому кварталу, Ленин думал об ошибках Парижской коммуны, он в 1917 году не совершил их сам, не дав Керенскому, бежавшему из Петрограда, окопаться в Царском Селе — русском Версале,— и разгромил контрреволюцию, увенчав тем самым Октябрьскую победу в Петрограде.

Далеко направо, за парапетом Сены, рундуки буклистов. Там и теперь еще можно было найти литографии времен Парижской коммуны с карикатурами на страшного, жабоподобного карлика Тьера или гравюрами Саида: на фоне восходящего солнца Коммуны рабочий с киркой на плече говорит: «Дела хороши!» — а согнувшийся в три погибели богач в цилиндре, но без сапог на паучьих ножках кричит: «Дела плохи!» Возле рундуков, несмотря на ранний час, уже толпились любители антикварных книг, бородатые чудаки в крылатках, вроде Анатоля Франса, а может быть, и он сам. Над парапетом Сены возникло на три четверти скрытое в тумане видение Нотр-Дам — две плоско срезанные готические башни, круглая роза витража и позади рыба кочка еле видного шпиля. Явление из средневекового мира — легендарный собор Парижской богородицы, с фигурами химер на карнизах, так роскошно описанный Виктором Гюго, гениальным поэтом и многословным прозаиком.

Налево Новый мост с конной статуей Генриха IV, которую Коммуна так и не успела снести, а за ним серая, невероятно длинная громада Лувра — дворца, крепости, музея, его непомерно высокие иссиня-серые цинковые крыши, как бы вечно отражающие сирень майской грозы, и мокрые резко-зеленые газоны.

Набережные Вольтера, Малаке, Де Конти, Сен-Ми-

пель, Де Монтебелло. Два яруса старых деревьев: один вверху, на высокой набережной, а другой внизу, у самой воды,— могучие, ветвистые, по-осеннему голые, с косо паклонившимися к воде стволами, волшебным образом отраженными в синеватой, как бы мыльной поверхности Сены с черными буксирными катерами и длинными угольными баржами. И все это — как бы сильно размытый рисунок тушью, кое-где совсем легко тронутый сангиной и мелом.

В мае 1871 года здесь, вдоль набережных на Сене, стояли канонерки Коммуны — целый лес высоких железных труб, извергавших густые клубы черного дыма и белого пара.

Между ними сновали лодки, подвозя снаряды, и время от времени с палуб канонерок стреляли пушки, посылая шипящие гранаты в сторону Гренель, откуда наступали версальцы.

Ленин пересек остров Сите, проехал по мостам мимо средневековых островерхих башен Консьержери с их зловецкими шпилями. Это были тени Великой французской революции, которые уже почти не вызывали живого отзвука в душе современного человека, но зато другие тени, более близких революционных событий, ни на минуту не ослабевали и не рассеивались, на каждом шагу вызывая в памяти дни Парижской коммуны.

Короткий Аркольский мост привел Ленина на правый берег Сены. Ленин увидел хорошо знакомую городскую ратушу («Отель де Виль»), где 28 марта была провозглашена Коммуна и откуда она руководила восставшим пролетариатом Парижа до того дня 24 мая, когда в десять часов утра было принято решение немедленно эвакуировать штаб Коммуны и перенести его в мэрию Одиннадцатого округа, за площадь Бастилии, после чего ратуша была подожжена ее комендантом. Впоследствии ее восстановили примерно в том же виде, какой она имела раньше. Ленин видел восстановленную ратушу, и он представлял себе, как горела старая ратуша Коммуны, как валил дым из ее высоких крыш, как из лопавшихся окон вырывались снопы огня, выбрасывая вверх клочья обгоревших бумаг и папок с делами Коммуны, устилая Гревскую площадь черным пеплом, и как в узких улицах грохотали интендантские повозки, нагруженные имуществом Коммуны. Коммуна еще сопротивлялась, но уже не надеялась на победу. Коммуна догорала. Ленин вспомнил сло-

ва Энгельса: «Бесспорно, во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным, но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча? В революции всякий, кто, занимая решающую позицию, сдает ее, вместо того чтобы заставить врага отважиться на приступ, всегда заслуживает того, чтобы к нему относились как к изменнику».

Коммунары геройски боролись до последнего момента, а не сдались без боя. Это явилось вдохновляющим примером того, как надо сражаться за освобождение трудящихся даже в крайне трудных и рискованных условиях.

Ленин именно так и понимал уроки Коммуны, когда писал: «Маркс умел оценить и то, что бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба *масс* даже за безнадежное дело *необходима* во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к *следующей* борьбе».

Продолжая думать о последних днях Парижской коммуны, Ленин повернул налево и проехал по правому берегу Сены до площади Шатле с высокой готической башней святого Якова, как бы третьей башней Нотр-Дам, отколовшейся от собора и перенесенной какой-то волшебной силой с острова Сите сюда, на перекресток Севастопольского бульвара и улицы Риволи, в сквер Святого Якова, одинокой и непонятной, как выходец из другого мира.

Здесь в дни Коммуны тоже были выстроены баррикады, но не из случайных материалов — ящичков, бочек, магазинных прилавок, матрасов, опрокинутых дилижансов, — а солидно, прочно выстроенные из парижского камня или кирпича лучшими каменщиками Бельвиля и Батиньоля. Это были и впрямь маленькие уличные крепости, форты с очень толстыми стенами и узкими бойницами, откуда можно было спокойно вести прицельный огонь из ружей и артиллерийских орудий. Теперь от этих укреплений не осталось и следа. Только чугунно-синие камни мостовых, мокрые от тумана, — быть может, и даже наверное, те самые камни брусчатки, из которых тогда строились баррикады, — напоминали о сражении на площади в пространстве между двумя парижскими театрами: театром Шатле, где во время кровавой недели судили коммунаров, и театром Сары Бернар.

В Шатле гастролировал прославленный русский балет Дягилева, а у Сары Бернар каждый день играли

нашумевшую пьесу Эдмона Ростана «Шантеклер». На крыше театра забыли погасить электрическую рекламу, и слово «Шантеклер» светилось в туманном парижском небе бело-ртутным, бледным сиянием. Шантеклером называлось главное действующее лицо пьесы Ростана — петух, возомнивший себя не только глашатаем нового дня, но повелителем солнца, которое каждый день появлялось, как только он пропоет. Однажды самонадеянный петух нарочно не пропел свое «ку-ка-ре-ку», желая показать собственную власть над солнцем. Но солнце все-таки появилось, и точно в назначенное время, *вопреки* Шантеклеру. Знаменитый петух был посрамлен. Действие пьесы Эдмона Ростана происходило на птичьем дворе, и действующими лицами были куры, гуси, утки и прочая домашняя птица.

Налево — Умиравший Лебедь, Сильфиды; направо — самовлюбленный петух Шантеклер и оболстительные курочки, а между ними — мокрая брусчатка площади, где сравнительно не так давно лилась кровь коммунаров и визжала картечь митральез.

В Париже русский сезон. Блистательные премьеры. Цветы. Брильянты. Рауты. Банкеты. Платят сотни франков за кресло на дягилевский спектакль. Анна Павлова, Шаляпин, Карсавина, Фокин. Афиша работы великого русского художника Валентина Серова: воздушная стрекоза Сильфида — Анна Павлова на пуантах, вся движение, вся грация, вся музыка. Тамара Карсавина, красавица Жар-птица в огненном платье, в русских самоцветах и павлиньих перьях. По всему Парижу крупные надписи: «Théâtre du Chatelet. Grande saison de Paris. Ballet russe». Бармы и шапка Мономаха, из-под которой смотрят грозные глаза Федора Шаляпина. Ленин проезжает мимо театра Шатле, слегка косясь на старые дягилевские афиши, фотографии, электрические рекламы... «А там, во глубине России... Там вековая тишина». Тишина ли? Шутить изволите! Там, во глубине России, уже орудует не старый упырь Победоносцев, а некто более страшный и современный — шталмейстер Столыпин с его отрубам и крестьянскими банками, при помощи которых из российских кулаков и мироедов с божьей помощью будут печь российских фермеров, новых помещиков, лендлордов — опору трона, душителей революции, палачей пролетариата. Вот где настоящий, что ни на есть подлинный русский сезон, *grande saison russe*, черт бы его побрал! А тем временем

«революционный» Париж, центр мира, прекрасная Франция — свобода, равенство, братство — быстро залечивает раны, нанесенные ей последней войной с Пруссией. Франция готовится к реваншу, что не мешает парижанам каждый вечер наполнять театр Сары Бернар и хлопать чисто галльскому остроумию Эдмона Ростана, его хлестким стихам, бульварному шику рифмованных афоризмов, а главное, костюмам актрис, исполняющих роли курочек. Сначала Париж, а потом и весь мир охватил род массового безумия: новая мода «шантеклер». Шляпки «шантеклер» — крошечные, как куриная головка с пикантным гребешком, вроде шлемов, сделанных из золотистых фазаньих крылышек. Блузки «шантеклер». Юбки «шантеклер» — широкие в бедрах и очень узенькие в подоле, что делает походку женщин мелкой, семенящей, вроде походки китаянки на миниатюрных, изуродованных ножках-копытцах...

Характер города снова изменился. Теперь вокруг Ленина уже не рабочие Монсури и не студенты Латинского квартала, а клерки, приказчики, мелкие чиновники, девушки-продавщицы, бегущие семенящей походкой, в своих шляпках и юбках «шантеклер», вниз по Риволи в знаменитые «большие магазины» — «Лувр» или «Самаритен». Показались и загулявшие кутилы с лимонными лицами — монокль, цилиндр, черная бальная пелеринка на белой шелковой подкладке, полосатое кашне, заброшенное через плечо за спину. Пробегали мидинетки с полосатыми картонками в руках. Проезжали высокие каретки автомобилей, фыркая и наполняя улицу синими облаками бензинового дыма.

Направо и налево уходила в перспективу большая торговая улица Риволи, с ее мануфактурными и ювелирными магазинами, за решетками которых блестели золотые, брильянтовые и серебряные вещи, целые гирлянды низкопробных ручных часов, мещанские чайные сервизы. Аркады и лоджии, где вечно горят язычки газовых фонарей и дымятся жаровни, возле которых старухи в теплых платках, завязанных на спине, крючконосые, как ведьмы, в громадных тазах, охваченных паром, пекут обуглившиеся каштаны, с жарким шорохом шуруют их железными совками, а каштаны иногда вдруг вспыхивают синими огоньками и лопаются, наполняя воздух сытным ароматом печеной мякоти.

Здесь все еще продолжали бежать почтальоны, на всю улицу насвистывая модные шансонетки. Среди этих шансонеток музыкальное ухо Ленина уловило знакомый мотив одной из песенок довольно популярного парижского шансонетчика Монтегюса, которого Владимир Ильич недавно слушал, кажется, в «Бобино». Песенка называлась «Привет Семнадцатому полку». Утренние почтальоны насвистывали:

Привет, привет тебе,
Привет, Семнадцатый стрелковый!
Ты нам помог в борьбе,
В борьбе, открытой и суровой¹.

Песенка эта очень понравилась Ленину, и он стал ее громко, как бы соревнуясь с почтальонами, насвистывать — на свой манер — сквозь зубы:

Привет, восставший класс!
Теперь мы не пойдем вразброд...
Ах, друзья, убивая нас,
Убили б вы свою свободу!

Все-таки у трудящихся никогда не умирает дух свободы. Молодцы почтальоны!

Для того чтобы кратчайшим путем попасть в Национальную библиотеку, следовало наискось пересечь Центральный рынок. Надо было проехать мимо всех его павильонов, а затем по узким, невероятно запутанным переулкам выбраться на площадь Победы, откуда до библиотеки было уже рукой подать.

Под шинами велосипеда хрустели капустные листья, свекольная и морковная ботва, усыпавшая грязную сырую мостовую узкой улицы, ведущей к рынку. Улица была черна, холодна и странно пустынна, хотя по всей ее длине у подъездов маленьких безымянных отельчиков виднелись неподвижные фигуры женщин.

Это были утренние проститутки, промышлявшие в переулках вокруг Центрального рынка. Их клиенты — мясники, шоферы грузовиков, ломовики, грузчики, фермеры — громадные, с винно-красными лицами силачи в брезентовых фартуках, запачканных кровью животных, в синих комбинезонах, в фуфайках с короткими рукавами,

¹ Стихи Монтегюса здесь и в дальнейшем даю в переводе А. Б. Гатова. (Примеч. автора.)

обнажавшими страшные, волосатые, мускулистые руки с голубой татуировкой, усатые, с трубками и кожаными кошельками через плечо,— были заняты всю ночь тяжелой физической работой, а теперь, когда оптовая торговля кончилась и рынок опустел, они разбрелись по кофейным и бистро, чтобы съесть закопченный горшочек огненного лукового супа с натертым сыром, который тянулся за ложкой, как резиновые нитки, и пропустить стаканчик кальвадоса, а потом сбегать к женщине и провести несколько минут в тесном, как каюта, номере отельчика, достойно завершив свою трудовую ночь быстрым соединением с толстой или очень худой, злой, неряшливой пожилой женщиной в кружевных панталонах и ажурных чулках с атласными подвязками.

Когда Ленин проезжал мимо, продолжая насвистывать «Привет Семнадцатому полку», женщины провожали его равнодушными взглядами, изредка переставляя ноги, как застоявшиеся старые лошади, в промокших старомодных шляпках со страусовыми перьями, в жиденьких боа или горжетках, с высокими бюстами, в широких юбках конца XIX века, со шлейфами, которые они держали в руках,— мертвенные маски скуластых прачек Тулуз-Лотрека, вымазанных свинцовыми белилами, с красными ртами и ржавыми челками, делающими их лбы еще более низменными и старообразными и вместе с тем все еще способными вызывать вождедение. Одна из них стояла в узких дверях под вывеской «Отель» и, повернувшись боком к улице, прятала в чулок деньги, в то время как ее клиент быстро удалялся, засунув руки в передние косые карманы зимней верблюжьей куртки, оставляя за собой, как пароход, едкую струю капорала,— и вся эта сцена напоминала группу восковых фигур в музее Гревен.

Кто они, эти в общем-то еще молодые женщины?.. Уж, во всяком случае, не аристократки и не буржуазки. Скорей всего, это несчастные дочери рабочих окраин, порожденные эксплуататорским строем, выброшенные на улицу... Если бы Коммуна победила, этих женщин здесь бы не было.

Но Коммуна была раздавлена. Кровь коммунаров так и осталась неотомщенной. Пока не отомщенной. Ведь историю нельзя повернуть вспять. И грядущая мировая социалистическая революция неизбежна. А для того чтобы она поскорее наступила, надо изучать уроки прошлых революций, и в первую очередь уроки и ошибки Парижской коммуны. На этих ошибках будем учиться.

Может быть, именно в этот день в голове Ленина рождались слова, которые потом появились в статье «Памяти Коммуны»:

«Как передовой боец за социальную революцию, Коммуна снискала симпатии всюду, где страдает и борется пролетариат. Картина ее жизни и смерти, вид рабочего правительства, захватившего и державшего в своих руках в течение свыше двух месяцев столицу мира, зрелище героической борьбы пролетариата и его страдания после поражения,— все это подняло дух миллионов рабочих, возбуждало их надежды и привлекло их симпатии на сторону социализма».

Была попытка создать государство нового типа, и если оно не было тогда создано, то лишь потому, что у французского пролетариата не было в то время самостоятельной рабочей партии.

И вот трагический разгром первой в мире Коммуны.

Ленин тогда увлекался поэзией Виктора Гюго. Быть может, проезжая по этой страшной улице, он повторял стихи великого французского поэта:

Там ниже всех клоак, под улицами всеми,
Не видя света днем, людские дрогнут семьи,
Там и оконца нет.
И, только я вошел, вдруг все затрепетало,
И девушка с лицом старухи прошептала:
— Мне восемнадцать лет.
...Им — золото твое. Тебе — нужда и голод.
Ты как бездомный пес, что вечно терпит холод
У запертых дверей.
Им — пурпур и шелка. Тебе — опять объедок.
Им — ласка женская. Народу напоследок
Бесчестье дочерей!..

Грустный мир. Его нужно уничтожить, и чем скорее, тем лучше. Мы его разрушим до основания.

Ленин пересек по диагонали Центральный рынок. Он уже проехал, учитывая все повороты и объезды, километров пять — расстояние для велосипедиста небольшое, но в условиях езды по городу, среди встречного, попутного и поперечного движения, среди толпы пешеходов, поминутных остановок на перекрестках — работа утомительная. Ленин устал, разогрелся, вспотел, несмотря на холодную погоду. Он снял котелок и вытер платком голову, шею, подбородок. Его светлая золотистая голова

как бы еще более светилась в утренних сумерках рышка. Он надел котелок и с новой энергией нажал на педали: надо было торопиться.

Вокруг простирался мир Эмиля Золя. «Центральный рынок, — сказал где-то Золя, — является робким проблемным XX века». Теперь XX век уже наступил. Железные павильоны, железные рифленые крыши, подземная железная дорога, грузовые автомобили на сплошных, литых резиновых шинах. Штабеля опустошенной за ночь тары: ящики из-под сыров и фруктов, винные бочонки, мешки, корзины. Целый город тары, где надо пробиться в узких переулках между ящичными и корзиночными домами. Под ногами опилки, солома, кучи мятой папиросной бумаги. Циклопические колеса деревенских двуколок. Першероны в островерхих хомутах. Тысячи рыночных запахов, от которых кружилась голова.

Впрочем, все это давным-давно описано, и лучше всего не полениться и перечесть «Чрево Парижа», а потом представить себе маленького велосипедиста XX века на его легком велосипеде со свободной передачей пересекающим рынок Золя. Ленин проехал по диагонали сквозь этот ни на что не похожий мир оптовой торговли продуктами питания, попавших в цепкие руки капиталистов-перепродавцов, которые отсюда могли диктовать цены на предметы первой необходимости миллионам трудящихся, попавших в их железные сети, как муха попадает в сети паука. А ведь и в самом деле Париж напоминал железную сеть паука-крестовика, засевавшего в самой его середине, как раз где на плане города обозначен Центральный рынок — Halles Centrales.

Туман поднялся. Над зданием центральной телефонной станции засветилось голубовато-серое небо, обещающая немного туманный, но солнечный день поздней парижской осени. На круглой провинциально чистенькой площади Победы Ленин, чтобы несколько отдохнуть от напряженной езды по скользким мостовым Центрального рынка, слез с велосипеда и пошел пешком, одной рукой ведя свою машину за седло. В круглой крышечке велосипедного звонка блеснуло серебряной звездой выглянувшее над Парижем солнце — слабое, грустное.

Ленин прошел мимо конного памятника Людовику XIV — лошадь подняла передние ноги, поджала задние

и всей своей тяжестью оперлась на могучий хвост, что делало монумент похожим на памятник Петру в Петербурге, с той лишь разницей, что конная статуя французского короля стояла на обыкновенном, традиционном прямоугольном цоколе, в то время как его царственный брат — русский император вместе со своим романтическим конем был утверждён на неотесанной финляндской скале естественной формы, что делало весь монумент неповторимым, единственным в мире. Коммуна постановила памятник Людовику XIV снять, но не успела осуществить свое решение, и король-солнце продолжал величественно восседать на лошади в своем высоком, раздвоенном наверху крупнокурчавом парике с локонами до плеч, совершенно таком, как и у его придворного драматурга, великого Мольера, за два квартала отсюда, на задах Французской Комедии.

Теперь до Национальной библиотеки было уже совсем недалеко; разогнав велосипед, Ленин вскочил на него на ходу и энергично заработал ногами, желая наверстать упущенное время, и пока он не достиг улицы Ришелье, его осыпали громкие трели канареек, которыми на весь город славилась консьержки этого района. Здесь уже попадались почтенные пожилые господа в хороших черных пальто, с красными розетками Почетного легиона в петлицах, а также бонны, одетые в траурные мантии, как вдовствующие императрицы, которые толкали перед собой наимодевейшие детские коляски на высоких рессорах. Иногда здесь проходил, звеня шпорами, воспитанник военной школы Сен-Сир в парадном кивере с трехцветным султаном. А на тесной и вечно темной улице Ришелье тянулись ряды элегантных букинистических магазинчиков с витринами, отсвечивающими тусклым золотом, марокеном и шагренью целых изящных, маленьких старинных библиотек, коллекциями драгоценных марок, старинных ассигнаций и бесценных, раскрашенных от руки гравюр на дереве с изображениями первого головастого паровоза, первого воздушного шара — монгольфьера — или же сцены свержения коммунарами Вандомской колонны.

А вот и Национальная библиотека: непроницаемые пыльные окна пристроенных к главному зданию — особняку Тюбефа — двух галерей, выходящих прямо на улицу, — галереи Мансара и галереи Мазарини. Внутренний двор, просторный и скучный, словно казарменный плац. Ленин оставил свой велосипед в парадном одном из соседних домов на попечение консьержки, вошел во двор библиоте-

ки и, предъявив при входе постоянный билет на право посещения со своей фотографической карточкой, как тогда говорили, «моментальной», снятой в электрофотографии на бульваре, быстро и упруго взбежал по старинной лестнице, где было много пространства и много воздуха, и толкнул плечом тяжелую, массивную дверь.

Однажды мы зашли в Национальную библиотеку. Нас сопровождал пожилой русский из славянского отдела. Едва мы заглянули в громадный двусветный зал центрального здания с расписанным куполом, с той особенной кафедральной тишиной, свойственной лишь соборам и большим библиотекам, с длинными скамьями и столами для работы, с высокой конторкой, откуда посетителям выдавали заказанные книги, как я сразу представил себе Ленина, быстрыми, профессорскими шажками, слегка боком, направляющегося по проходу прямо к столу с каталогами. Я снова почувствовал себя перенесшимся в Париж того времени. Париж меняется очень медленно, центр его почти совсем не изменился в течение столетий. А Национальная библиотека подавно. Вот так же точно, как сейчас, и при Ленине бесшумно двигались фигуры библиотечных служащих, точно так же, прилежно согнувшись и скрипя перьями за длинными столами, закапанными чернилами, сидели посетители — те библиотечные завсегдатаи, одни и те же во всех странах мира, — усидчивые молодые люди, бородатые старики, дамы в пенсне, которые одной рукой перелистывают книгу, а другой быстро пишут, стараясь не пропустить ни одной минуты драгоценного времени. Получив заказанные вчера книги — по философии, экономике, сельскому хозяйству, а также еще несколько справочников и словарей, — Ленин пробрался на свое обычное место, вынул из кармана блокнот в арифметическую клетку и авторучку и, положив голову на выдвинутое плечо, стал быстро писать своим беглым, бисерным почерком высокоинтеллигентного человека, — почерком, чем-то напоминавшим летучий, прелестный, стремительный почерк Пушкина.

Осматривая главный зал Национальной библиотеки, я обратил внимание на колпаки электрических настольных ламп — целое поле, покрытое круглыми голубыми колпаками. Я живо представил себе, как быстро проходит короткий декабрьский день, в зале темнеет уже в три часа, Ленину становится трудно писать, и вдруг, как по команде, вспыхивают голубые лампы. Теплый свет из-под

колпака ложится на быстро пишущую ленинскую руку, на его щеку, на кромку светло-рыжих волос, лежащих на воротнике пиджака.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал сопровождающий нас старичок из славянского отдела. — В ленинские времена здесь во избежание пожара было категорически запрещено всякое освещение, в том числе даже искусственное: считалось, что при электрическом освещении может произойти короткое замыкание, которое вызовет пожар величайшего книгохранилища Франции. Электрическое освещение разрешили сравнительно недавно. Так что ваш Ленин никак не мог здесь работать после наступления сумерек.

Осенью в три часа библиотека закрывалась. Поэтому Ленин старался попасть в библиотеку как можно раньше, чтобы не потерять ни одной минуты драгоценного времени. Кстати, должен заметить, что Ленин по преимуществу занимался не в этом главном читальном зале, а в кабинете периодических изданий, где к его услугам была почти вся мировая пресса, в том числе и русская, которую Ленин чрезвычайно быстро пробегал глазами, изредка делая короткие выписки.

Путеводители подчеркивают, что в парижской Национальной библиотеке большой интерес представляют коллекции медалей и античных монет в количестве около четырехсот тысяч, а также собрание камней, инталий и других произведений искусства; наверное, это действительно представляет большой интерес, но мы предпочли увидеть кабинет периодической печати. Это не очень большая зала с потемневшими деревянными панелями, плоскими шкафами, рабочими столиками и высоким бюро, откуда заведующий кабинетом мог озирать все свое хозяйство, записывая в громадную книгу названия газет и журналов, затребованных посетителями. Увы, посетителей было совсем мало: один, два — и обчелся.

Мое внимание обратил на себя высокомерный старик в золотом пенсне старого фасона, углубившийся в потрепанный комплект суворинской газеты «Новое время». Что он искал в ней? Быть может, забвения? Не знаю. Но, услышав русскую речь, он повернул в нашу сторону строгое лицо с римским носом, некоторое время изучал нас, видимо желая определить, к какому сорту русских мы от-

носимся, и вдруг, услышав имя Ленина, понял, что мы за птицы, слегка покраснел, величественно отвернулся и вновь погрузился в «Новое время», как в Лету.

Быть может, некогда на этом самом месте сидел Ленин, перелистывал тот же самый комплект «Нового времени» за 1907 год и, недобро сузив глаза, делал выписки из статьи Меньшикова, вызывавшей в нем чувство физической тошноты.

...Я не сомневаюсь, что настанет день, когда на деревянной панели возле того места, где обычно сидел Ленин, появится мраморная доска: «Здесь работал вождь мировой революции, великий Ленин».

Мы вышли из библиотеки. Вокруг нас был Париж первого десятилетия второй половины XX века. Мы шли по улице Ришелье, которая, вероятно, не изменилась не только со времени Ленина, но и со времени Парижской коммуны и даже, может быть, Великой французской революции. Был прохладный парижский май. В квадратном скверике прямо против ворот Национальной библиотеки под дождем дрожали цветущие каштаны. Но вот дождь прошел, облака со сказочной быстротой разошлись, растаяли, превратились в ничто, откуда-то потянуло оранжевым теплом, над черепичными трубами многочисленных каминов блеснуло солнышко, и темная щель улицы Ришелье вдруг оказалась во всю свою длину разделенной резким световым барьером: одна стороны улицы теневая, дымно-чернильная, другая — солнечная, до боли в глазах яркая, такая яркая, как будто там все время горела лента магния. По сторонам скверика, сверкавшего цветами и зеленью газонов, белели и чернели узкие фасады высоких домов, и бонна в мантии выкатила из парадного нарядную коляску с ребенком, который шевелился в кружевной пене своих нейлоновых пеленок; а следом за бонной вышла из дверей старая консьержка, села на раскладной стул, надела пенсне и стала быстро вязать серый шерстяной набрюшник, причем спицы в ее подагрических пальцах мигали, как маленькие молнии; очень возможно, что именно в этом парадном и оставлял Ленин свой велосипед до тех пор, пока его не украли. Не думаю, чтобы это была та самая консьержка, которая получала с Ленина за хранение велосипеда по десять сантимов, а потом, когда велосипед пропал, заявила, что она не бралась стеречь машину, а только разрешала ее оставлять на лестнице. Во всяком случае, эта консьержка была точной копией

той, так как известно, что все пожилые парижские консьержки похожи друг на друга, как родные сестры. Увы, с такой дамой не поспоришь, особенно если ты подозрительный иностранец, русский профессор «из красных», социалист, постоянный посетитель Национальной библиотеки. Представляю себе, как после короткого обмена любезностями с консьержкой, проворонившей его велосипед, Ленин принужден был возвращаться через весь город домой пешком, на чем свет стоит проклиная свою российскую доверчивость. Но проклинай не проклинай, а придется покупать другой велосипед. Страшный прорыв в бюджете! Что скажет Надя...

Кроме запятий в библиотеке, заседаний, лекций, публичных диспутов, чтения по ночам во время бессонницы и постоянного, ежедневного писания статей Ленин, конечно, иногда и позволял себе немного развлечься.

«Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансопетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем — и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п., — пишет в своих воспоминаниях Крупская. — Особенно нравился Ильичу Монтегюс. Сын коммунара, Монтегюс был любимец рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях, всегда с ярко бытовой окраской, не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения».

Меня заинтересовала личность Монтегюса. Помимо того что его имя упоминается во многих воспоминаниях о Ленине — что само по себе уже достаточная причина записаться Монтегюсом, — мне кажется, что он заслуживает внимания как чисто парижское явление.

Крупская пишет, что «в эти самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда говорил с какой-то досадой (уже вернувшись в Россию, он как-то еще раз повторил, что не раз говорил раньше: «И зачем мы только тогда уехали из Женевы в Париж?»), в эти тяжелые годы он упорнее всего мечтал, мечтал, разговаривая с Монтегюсом, победно распевая эльзасскую песню, в бессонные ночи зачитываясь Верхарном».

Вспоминая об отношениях Ленина с Монтегюсом, Людви́нская пишет:

«Наша организация весьма пуждалась в деньгах для печатания литературы. Деньги добывались устройством лекций, рефератов, лотерей, концертных вечеров и т. д. Один такой вечер было поручено организовать мне. Я решила пойти посоветоваться к Надежде Константиновне. Мы принялись вместе разрабатывать программу вечера. В разгар нашей беседы в комнату вошел Владимир Ильич. Он послушал нас, улыбнулся нашему спору насчет буфета (вопрос был денежного характера) и сказал:

— План должен быть не только коммерческим, но и идейным. В программу должен быть внесен агитационный элемент. Пригласите Монтегюса. Он вам и публику соберет, и агитацию проведет».

Ленин всегда, при всех обстоятельствах, даже в таком, в сущности, мелком вопросе, как устройство эмигрантского концерта, был верен себе: на первом плане — политика.

Вскоре вечер состоялся. Во время концерта, когда выступал Монтегюс, Ленин время от времени тихонько подпевал ему из зала. Монтегюс пел о восставшем полку:

...Ты восстал, и сердце всколыхнуло
Гнев и страсть, картечи горячей.
Не вести ж отца и мать под пули,
Только чтобы тешить богачей.

И Ленин вслед за Монтегюсом подхватывал своим глуховатым тенором рефрен:

Солдат! Надежны наши узы,
Ты сознаешь, что я твой брат.
Ты решил не убивать французов,
И это правильно, солдат!

Ленину нравились эти слова.

Настоящее имя Монтегюса — Гастон Брунsvик, пишет Гатов, Монтегюс — псевдоним. Он был сыном сапожника. Его отец и дед — участники Парижской коммуны. Монтегюс начал выступать на парижских эстрадах в бурную эпоху дела Дрейфуса. Конечно, он был на стороне дрейфусаров. Недавно он сам побывал в солдатах и на собственном опыте узнал, что такое французская военщина. Он ее возненавидел всей душой и в своих песенках выступал против милитаризма. Доставалось от молодого шансо-

нетчика также и всякого рода поборникам церкви. Армия и церковь были двумя сторонами одной и той же медали. Направление искусства Монтегюса полностью отражало настроение демократических кругов тогдашней Франции, как, впрочем, и теперешней.

Молодой шансонье быстро приобрел популярность. Он выступал с дерзкими куплетами, в которых однажды довольно сильно задел честь офицеров «Великой французской армии». В зале разразился неслыханный скандал. Одни свистели, другие аплодировали. Скандал перебрósился в прессу. Две распространенные реакционные газеты — «Либр пароль» и «Энтрансижан» — во главе со знаменитым памфлетистом, ренегатом Анри Рошфором, так шумно напали на Монтегюса, что в один день сделали его знаменитым. Это была поистине грандиозная реклама. Монтегюс приобрел громадную аудиторию. Он стал желанным гостем на всех социал-демократических митингах — настоящим героем дня. Он отправился в турне по Франции, и во всех городах, где бы он ни выступал, немедленно появлялось на стенах домов объявление военного коменданта, где под угрозой серьезного наказания военнослужащим запрещалось присутствовать на выступлениях Монтегюса, так как «тенденция этого шансонье — вызывать бунты и волнения в армии». Может быть, солдаты и побаивались послушаться коменданта, но зато рабочие, особенно в субботу вечером, до отказа наполняли залы, где выступал Монтегюс, и затем разносили по улицам боевые песенки, направленные против генералов, домовладельцев, фабрикантов, попов и прочих врагов и притеснителей рабочего класса.

Разумеется, Ленин не мог пройти мимо такого явления, как Монтегюс, и они познакомились. Правда, в это время слава Монтегюса уже немного потускнела. Париж не любит слишком громкой славы, но легко мирится со славой средней и часто делает ее пожизненной.

Я не знаю в точности, как произошло знакомство Ленина и Монтегюса. Но нетрудно себе представить, что однажды вечером Ленин отправился в какой-нибудь эстрадный театрик на краю Парижа.

Сестра Ленина, Мария Ильинична, свидетельствует, что за границей Владимир Ильич редко бывал в опере и концертах. Музыка слишком сильно действовала на его нервы, и когда они бывали не в порядке — это случалось так часто при трепке и суতোлке эмигрантской жизни,—

он плохо выносил ее... Мало сравнительно внимания уделял Владимир Ильич и различным достопримечательностям. «...Я вообще к ним довольно равнодушен, — пишет он в письме из Берлина в 1895 году, — и большей частью попадаю случайно. Да мне вообще плянье по разным народным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т. п.»

Впоследствии, попав в Париж, он сохранил свою любовь к разным народным вечерам, обилием которых всегда славился Париж. Ленин посещал народные кабаре и театрики Монмартра, Порт-Сен-Мартена, в особенности, я думаю, Монпарнаса, недалеко от которого он жил, например Théâtre de la Gaieté или «Бобино». Марсель Кашен говорил мне, что Ленин бывал в «Бобино».

Мне никогда не приходилось раньше посещать этот театр, но совсем недавно, когда наши парижские друзья предложили сводить нас в какой-нибудь театр по нашему выбору, я тотчас же указал на «Бобино». Наши друзья крайне удивились.

— «Бобино»? А что это за театр и где он находится? Мы о нем ничего не слышали.

Это были люди буржуазно утонченные и «высокоинтеллектуальные», и мы, по-видимому, очень потеряли в их глазах, выбрав какое-то «Бобино», о котором они не имели никакого понятия, хотя были истыми парижанами и жили на левой стороне «Rive gauche», то есть не так уж далеко от «Бобино».

— Но зачем вам понадобилось именно «Бобино»? — спрашивали они.

Я сказал, что мы хотим увидеть какой-нибудь демократический театрик на окраине. Они пожали плечами. Им это было непонятно.

— В этом театре бывал Ленин, — сказал я.

Они покорно развели руками и произнесли сакраментальную фразу французского гостеприимства:

— Comme vous voulez. (Как хотите. Если это вам нравится.)

Им был настолько чужд этот глухой район между Монпарнасским вокзалом и стеной Монпарнасского кладбища, что мы долго кружили на маленькой, экономичной машине «ситроен» по темным переулкам и пустырям, прежде чем попали на Rue de la Gaieté.

— Вообразите себе,— сказал один из наших друзей, изысканный католический поэт.— Если бы не вы, мы бы, вероятно, никогда в жизни не увидели ни этой улицы, ни театра «Бобино». Это курьез, не правда ли? — ласково спросил он, доверчиво заглядывая в мои глаза.

Это было не столько курьезно, сколько поучительно, так как наглядно показывало прочность социальных перегородок французского общества. Наши друзья с нескрываемым любопытством разглядывали одну из довольно известных парижских улиц, куда попали первый раз в жизни. Эта улица принадлежала другому миру. Они ее случайно открыли, как иногда случайно открывают новую звезду. Оставив свой «ситроенчик» у обочины, они шли по этой улице, как иностранцы, удивляясь ее барам, кафе, подозрительным отельчикам, довольно плохому освещению, одежде прохожих, узким грязно-белым и потерто-черным домам, накопец, большой ветряной мельнице над одной из крыш. До сих пор они были уверены, что ветряные мельницы сохранились в Париже только на Монмартре и на Пигаль. Оказалось, что есть еще одна мельница, на Rue de la Gaïeté. Это их очень веселило, и они благодарили нас за то, что мы открыли доселе неизвестную им часть Парижа — почти страну,— такую провинциальную и глухую.

«Бобино» оказался весьма обычным районным парижским театриком, с традиционным красным бархатом занавеса и кресел, белыми стенами, старой, докрасна потертой позолотой и лепными украшениями. Обивка кресел была пропитана застоявшимся пыльным запахом табака и духов — дешевого табака общеупотребительных сигарет «Галуаз» и духов «Коти», так что уже одни эти запахи сразу давали почувствовать всю разницу между этим пролетарским театриком и подобным же заведением где-нибудь в районе Елисейских полей или Больших бульваров, где в воздухе стоит смешанный запах гаванских сигар и духов «Герлен». Ну, конечно, и цена билетов. Если в «Бобино» кресла в оркестре стоили семь франков, то там — верных двадцать.

Зал «Бобино» был наполнен публикой самой демократической, по преимуществу девушками в очень модных, но дешевых туалетах, купленных в отделе готового платья «Самаритен» или «Галереи Лафайета», и в преувеличенно высоких прическах, придававших молоденьким личикам с умело подрисованными глазами нечто детски

порочное. Мужчины снимали пальто уже в зрительном зале и засовывали их под кресло.

Выступал новый парижский шансонье Марсель Амон, делавший свои первые шаги по пути славы пока еще на левом берегу, но уже восходящая звезда. Он быстрый, энергичной походкой молодого человека почти выбежал на сцену в костюме из синего шелкового тропикаль, при свете прожектора переливавшегося муаром, в синем галстуке, голубой сорочке и черных, сверкающих остроносых мокасинах,— этот средних лет, но все же довольно красивый плечистый мужчина, с белоснежными зубами и фарфоровой улыбкой семнадцатилетнего спортсмена... Под уверенные, банальные звуки джаза, поместившегося тут же, на сцене, Марсель Амон начал свои песенки, одну за другой без передышки, делая иногда — в виде приятного сюрприза — какое-нибудь легкое сальто-мортале, колесо или игривую пробежку по сцене вверх ногами, но так, что при этом его пиджак оставался в идеальном порядке. У него был приличный стандартный голос, хороший слух, видимо, он был очень музыкален, и какая-то девушка в маленькой вавилонской башне своей иссиня-черной прически со вздохом восхищения воскликнула, что бедный Марсель Амон окончил консерваторию, но — увы! — и так далее....

Его песенки были милы, сентиментальны, остроумны, но в них не было настоящего политического перца, а так себе — невинная фрonda. Это был типичный шансонье Франции, мастер своего дела, любимец женщин, но отнюдь не трибун, не борец за правду,— один из множества парижских шансонье такого же типа, из которых более других известен советским зрителям действительно талантливый Ив Монтан. Думаю, что и Монтегюс был чем-то в этом же роде, но только, разумеется, политически более острый, смелый, и сценическая маска у него была другая — в духе того времени.

Таким образом, я получил представление о театре «Бобино», где бывал Ленин. Представление чисто внешнее. Но мне было трудно вызвать в своем воображении образ Монтегюса. Во времена Ленина в Париже на Больших бульварах и в трущобах еще водились так называемые апаши — уличные хулиганы, отчасти «стиляги» того времени,— деклассированные молодые люди полууголовного типа. Фигура апаши, стоящего под фонарем, была неременной принадлежностью ночного Парижа. Она сдела-

лась как бы символом анархического протеста против морали, семьи и собственности, неприятный нарыв на теле буржуазной богатой Франции.

Может быть, это Шарль Раппопорт — прирожденный монпарнасец — решил в один прекрасный вечер повести Ленина «на Монтегюса». Интересно, понравится ли русскому лидеру их Монтегюс? Публика вокруг настоящая, пролетарская. Дешевенькие шляпки работниц, кепки рабочих — наверное, железнодорожников из депо Монпарнасского вокзала, — гул голосов, непринужденные шутки, возгласы. Утомительно яркий свет ртутных электрических трубок. Жарко. Запах капорала и духов «Коти». Ленин снимает пальто и по примеру прочих засовывает его под кресло, котелок ставит на пол.

— Посмотрим, посмотрим. Послушаем...

Ленин энергично потирает руки, весело щурится. Среди простой пролетарской публики предместий он чувствует себя прекрасно: рабочий народ — его стихия.

Почти все знавшие Ленина отмечают оригинальный характер его лица. Но внешность Ленина была очень изменчива, трудноуловима, и подчас характер ее делался совсем иным. В этой связи приведу еще одно свидетельство Кржижановского: «...приодевшись в какой-нибудь армячок, Владимир Ильич мог затеряться в любой толпе волжских крестьян, — было в его облике именно нечто, как бы идущее непосредственно от этих народных низов, как бы родное им по крови». Может быть, это — самое интересное из всего сказанного об облике Ленина.

Но вот свет погас. Вместо звонка раздался традиционный во французском театре сигнал — троекратный, громкий, отрывистый стук палкой по подмосткам сцены. Занавес взлетел.

Из-за кулисы прямо на рампу быстро, слегка согнувшись, — руки в карманах, — вышел Монтегюс, в костюме, напоминавшем апаша: дырявая блуза, под ней полосатая фуфайка, широкий неаполитанский пояс из ярко-красной фланели, мятые брюки, из-под козырька большой кепки — черная прядь волос; ботинки новенькие, начищенные до зеркального блеска, особый шик каждого истинного апаша.

Монтегюс исполнял свои песенки под рояль, и его аккомпаниаторша, выдержав паузу, пока публика приветствовала его дружными аплодисментами, вдруг ударила по клавишам сильными, мускулистыми руками — и Монтегюс начал программу, после каждого куплета делая небольшое полутанцевальное па. Его грубый, традиционный-хриплый голос, временами вульгарно-крикливый, как нельзя лучше подходил к его сценическому образу, маске отверженного и оскорбленного люмпена, объявившего войну обществу. Его песенки, которые он исполнял одну за другой без передышки, в общем, содержали в себе мало революционного, были в достаточной степени сентиментальными, даже мещанскими, и все же в них явственно слышался социальный протест, а временами проскальзывала даже революционная нотка.

Ленин весьма сочувственно слушал этого певца парижских фобуров, склонив голову и глядя искоса на сцену. Когда же Монтегюс начал свой коронный номер — «Привет Семнадцатому полку», его подведенные, окруженные синевою глаза угрюмо сверкнули.

Франция любима всеми нами.
Верен ты, и все мы ей верны.
Ваш мундир разубран галунами,
Но душой вы — граждане страны.

Скорей на каторгу пойдете,
Чем застрелить родную мать;
Лучше будешь в арестантской роте
Тележку грузную таскать.

Зал застонал, повторяя рефрен:

Привет, привет тебе.
Привет, Семнадцатый стрелковый!

— Ну, что вы на это скажете, мой дорогой друг? — спросил Шарль Раппопорт. — Не правда ли, недурно?

— Formidable! — воскликнул Ленин с картавостью настоящего парижанина. Его глаза блестели. Он был в восторге. — А он согласится выступить на вечерах нашего русского землячества? Конечно, не бесплатно.

— О, безусловно. Он отличнейший парень. Мы его считаем отъявленным социалистом. Может быть, он даже выступит gratis.

— Тогда еще лучше.

После спектакля в фойе театра аккомпаниаторша продавала ноты с текстом песен Монтегюса, причем на всех

нотных листах было напечатано нечто вроде девиза: «Я себя не обманываю. Я не претендую на звание литератора. Плевать я хотел на литературу. Я выражаюсь, как умею. Убежденность — мой единственный талант. Я пишу так, как народ говорит. Поэтому он меня понимает».

— В этом что-то есть, — сказал Ленин, посмеиваясь и в то же время морщась от этого вульгарного «плевать я хотел на литературу». — Гм, гм. Это смотря на какую литературу. Если на контрреволюционную — я не против. Но в общем и целом — недурственно!

Потом все вышли на улицу, полную расходящихся зрителей, и подождали Монтегюса у артистического подъезда, чтобы выразить благодарность за доставленное удовольствие. Ленин с чувством пожал его руку, слегка смазанную вазелином, которым Монтегюс, видимо, только что снимал свой легкий эстрадный грим, в особенности эффектную, какую-то порочную синеву под глазами.

После этого Монтегюса стали приглашать на вечера, которые устраивали русские социал-демократы для пополнения своей партийной кассы, и Монтегюс никогда не отказывался.

Мне захотелось подробнее узнать о личности Монтегюса. Каждый раз, приезжая в Париж, я наводил справки в разных местах: в театральном агентстве Мораццани, у знакомых актеров, поэтов, драматургов, — но ничего интересного разузнать не мог. Актеры и поэты были слишком молоды, чтобы лично знать Монтегюса, а Мораццани сказал мне, что действительно существовал такой шансонье, сын коммунара, Монтегюс, он умер в 1953 году в возрасте свыше восьмидесяти лет. Остались ли после него родственники? Где он жил? Неизвестно. Он ни с кем не общался и никому не давал своего адреса. А в Париже не существует адресного стола. И если человек не желает, чтобы знали его адрес, то его местожительство остается навсегда неизвестным всем, разумеется, кроме полиции. Родственников тоже нет. Он жил и умер одиноким, замкнутым стариком, мрачным и как бы угнетенным какой-то постоянной черной мыслью. Моя попытка достать ноты с его песенками тоже не увенчалась успехом. Да это, в сущности, не имело особого значения. Однако мне повезло в другом роде. Один из моих парижских друзей подал интересную мысль — посетить дом для престарелых

артистов эстрады, где, весьма вероятно, можно будет найти какого-нибудь старого парижского эстрадника, знавшего Монтегюса.

Помимо всего прочего, было вообще очень любопытно побывать в этой богадельне, где доживали свой век некогда прославленные звезды парижских мюзик-холлов и кабаре. Этот дом для престарелых артистов был устроен на средства знаменитого Мориса Шевалье. Он находился за городом, среди полей и лугов, где-то в районе Вильжюиф, если я не ошибаюсь. Это старый помещичий дом XVIII, а может быть, даже XVII века, в два этажа с мансардой, длинный, потемневший от времени, выстроенный в стиле французского неоклассицизма, — одно из многочисленных подражаний Версальскому дворцу, так называемый «шато», то есть замок французского дворянина.

Мы еще издали увидели над купой желтеющих деревьев его высокую чешуйчато-графитную крышу. Перед фасадом замка лежал запущенный газон некогда великолепного партера, и по свежей еще траве, среди отцветающих клумб гераней ходил большой, очень красивый, породистый французский баран с антично закрученными рогами, скульптурной головой и прелестными прозрачными глазами, полными пугающей глупости. Посередине партера стояла в виде большой мраморной скрижали с цветным мозаичным, несколько декадентским изображением печального Пьеро мемориальная доска с именами французских эстрадных артистов, погибших на поле брани за родину. Французы свято чтят имена своих героев. На пятом этаже громадного универсального магазина «Лувр», на служебной лестнице, я видел мраморную доску с многочисленными именами приказчиков магазина, погибших смертью храбрых на первой мировой войне.

Машина остановилась перед стеклянной галереей, которая занимала первый этаж во всю его длину, и мы вошли в нее через очень высокую дверь-окно со старинной ручкой давно уже не чищенного медного замка. О нашем приходе были извещены. Нас встретил любезный администратор, терявшийся в догадках, за каким чертом явились мы на своей машине с дипломатическим номером в это заведение, куда в течение многих лет не заглядывал ни один почетный посетитель, а тем более иностранец. Я объяснил цель своего посещения и был приглашен в небольшой салон, обставленный дряхлой мебелью разных стилей — креслами Людовиков, секретерами Жакоб, мозаич-

пыми столиками с медными перильцами и, конечно, бронзовыми каминными часами под стеклянным колпаком, которые отражались в высоком зеркале, потерявшем от времени свой ртутный блеск. По стенам висели ветхие зелено-коричневые гобелены, где ветвистые деревья были перепутаны с ветвистыми рогами оленей, а также портрет Чайковского, который при ближайшем рассмотрении оказался Виктором Гюго.

Два старичка и бойкая старушка вошли в салон и были представлены мне как товарищи Монтегюса по эстраде. Старички были куплетистами, а старушка — пианисткой, аккомпаниаторшей Монтегюса. Все трое казались чрезвычайно обрадованными и даже несколько возбужденными оттого, что после долгих лет полного забвения они вдруг вызвали в ком-то интерес. Они сразу как бы расцвели и на моих глазах из типичных обитателей богадельни со всеми своими маленькими интересами и еженедельными склоками превратились в обаятельных представителей великого эстрадного искусства, остроумных собеседников, любимцев парижской публики. В особенности суетилась старушка-аккомпаниаторша, показывая в лицах, как выходил на эстраду незабвенный Гастон, как он маршировал, исполняя свой знаменитый «Привет Семнадцатому полку», и как появлялась на сцене она в шикарном туалете от знаменитой Кутюр с улицы Шоссэ-д'Антенн, в прическе Клео-де-Меро и настоящими жемчужинами в ушах, а не в каких-нибудь клипсах. На вопрос, каков был собой Монтегюс, она сказала, что он был всегда бравый мужчина. Она вся преобразилась и даже стала стрелять глазками, как настоящая шантанная дева, но тут вмешался один из старичков — добродушный, кругленький, в полосатых, так называемых «штучных» брюках, которые обыкновенно надевали под визитку, в бархатном артистическом пиджачке, заметно побелевшем на локтях, плешивый, с красным носиком и танцующими движениями всего его толстенького тельца. Он сказал, что был большим другом Монтегюса, «моего дорогого Гастона», и они оба имели на эстраде громадный успех, хотя и выступали в разных жанрах.

— Мой дорогой друг Гастон — в жанре несколько романтическом и сентиментальном, с примесью политического перца, а я в более земном, — хе-хе-хе! — не без клубнички и без всякой политики, но это не мешало нам — мне и дорогому Гастону — быть большими друзьями.

— Вы знаете,— спросил я,— что Ленин слушал Монтегюса и что ему нравились его песенки?

— О, конечно! Это известно всему Парижу. Великий Ленин — я знаю его — основатель Советской республики. Он очень ценил талант бедного Гастона. И это не удивительно. Ведь Гастон тоже был очень левый. Настоящий красный. У него была одна революционная песенка — «Труба беды». Я вам сейчас ее спою, чтобы вы имели представление. Это против войны. Марш. Вот так.

Старичок в бархатном пиджачке сделал выход, подражая своему другу Монтегюсу, отбил ногой такт и запел дрожащим, но уверенным голоском:

Труба беды, труба беды
Трубит печальный марш...
Тру-ру, тру-ру, тру-ру-ру-ру...

Он забыл дальше текст и маршировал взад-вперед по ветхому ковру-обюссон, делая губами «раз-два, раз-два», и молодежато, как солдат, поглядывал на портрет Гюго.

— Это был настоящий патриот! — со слезами на глазах воскликнула старушка-аккомпаниаторша, воспользовавшись паузой. — Настоящий революционер!

— Я этого совсем не нахожу,— сердито сказал другой старичок, худой, со впалыми щеками и бровями колючими, как креветки. — Может быть, сначала Гастон действительно был красным... вернее, розовым... Но очень скоро он изменил своим идеалам и сделался ренегатом. Как Клемансо, как Бриан...

— Вы не смеете так говорить о Гастоне Монтегюсе! — напыщенно произнес старичок в бархатном пиджачке, перестав маршировать. — Монтегюс был благороднейший человек, настоящий радикал, революционер!

— Он никогда не был революционером,— сердито и решительно сказал старичок с бровями, как креветки. — Я повторяю, что он был ренегат, ваш Монтегюс. Я был его другом, но истина для меня дороже.

— О, не слушайте его, мосье! — закричал первый старичок, протягивая ко мне дрожащие ручки. — Монтегюс был красный.

— А я вам говорю, он был ренегат, реакционер и шовинист.

Услышав это, старушка-аккомпаниаторша всплеснула руками. Она металась между старичками-куплетистами,

желая восстановить мир, но ей это не удалось, и тогда она, пожав плечами, сказала, обращаясь ко мне:

— Бог мой! В этом вся трагедия Франции. Сколько людей, столько политических врагов. Французы всегда спорят между собой на политические темы. Увы, такова бедная Франция!

— Вы мне не докажете, что Монтегюс был ренегат! — кричал первый старичок.

— Докажу! — кричал второй.

— Докажите!

— В июле четырнадцатого года социализм моего друга Гастона превратился в самый вульгарный национализм.

— Вы не смеете так говорить!

— Нет, смею, сударь, смею. В то время, когда бедный Жорес пал от руки убийцы-негодяя, Монтегюс прославлял с эстрады рабочего, уходящего на фронт, и его подругу, «небесно-голубую дочь Франции», которая остается ему верна. Монтегюс толкал народ в пекло всемирной империалистической бойни. Каждый день он печатал воинственные куплеты в газете такого же ренегата, как он сам, бывшего социалиста Гюстава Эрве. Он превратился в немцеда.

— И правильно, бошей надо уничтожать. Но тем не менее вы не докажете, что Гастон был шовинист. Докажите-ка!

— И докажу. Извольте. Вот так... Двадцать пятого августа в газете подонка Эрве с фальшивым названием «Социальная война» были напечатаны стишки нашего друга Монтегюса, которые являлись блестящей формулой — отдадим ему должное — измены социалистов пролетарскому интернационализму.

И второй старичок, брызгая слюной, запел, подражая Монтегюсу:

Nous chantons la Marseillaise
Car dans ces terribles jours
On laisse L' Internationale
Pour la victoire finale,—
Ou la chant'ra au retour.

Что значило по-русски: «Мы поем «Марсельезу», так как в эти ужасные дни «Интернационал» оставлен — до окончательной победы. Его будут петь по возвращении».

— Вот что из себя представлял прославленный Монтегюс во время первой империалистической войны. Не

удивительно, что буржуазия стала петь нашему бедняге Гастону дифирамбы. Он получил свои тридцать серебряников.

— Господа! Друзья мои! Не надо ссориться! — кудахтала старушка-аккомпаниаторша. — Пойдемте, мосье, — обратилась она ко мне. — Я лучше покажу вам его фотографию. Он на ней как живой.

Старички-куплетисты остыли так же быстро, как закрепили, и мы все отправились в галерею, где висели портреты знаменитых французских эстрадников и среди них, конечно, громадный портрет масляными красками основателя этого дома, короля парижских шансопье, легендарного Мориса Шевалье — красавца мужчины в твердом соломённом канотье набекрень. Бросалась в глаза большая фотография под стеклом, где была снята во весь рост великая французская шансонетка Мистангет. Она стояла на заднем сиденье открытого автомобиля, одной рукой подхватив пенистый шлейф своего умопомрачительного платья из валансьенских кружев, а в другой руке держа полураскрытый кружевной зонтик чудной красоты и, вероятно, дьявольских денег. На голове Мистангет сверкало эспри из страусовых перьев, упизанных брильянтами, а ее задорное простонародное лицо, уже несколько поблекшее, но все еще неотразимо выразительное — лицо молодой шестидесятилетней парижанки, — повернутое в три четверти, светилось такой неувядаемой энергией любви, что я невольно забыл о ее почтенном возрасте.

— Это великая Мистангет, — шепотом сказала аккомпаниаторша, с молитвенным выражением приложив свои морщинистые пальчики к морщинистым губкам, опущенным седенькой растительностью. — Парижский муниципалитет недавно повесил на доме, где она жила, мемориальную доску. Если вы будете когда-нибудь проходить по бульвару Капуцинок, обратите внимание на эту мемориальную доску. Это где-то совсем рядом с домом, где помещался первый в мире синема братьев Люмьер. Франция умеет чтить своих великих людей. А вот и мой бедный Гастон, — прибавила она грустно.

Я увидел небольшую фотографию Монтегюса. Право же, его внешность совсем немного отличалась от той, которую я нарисовал в своем воображении, слушая рассказы о нем Марсея Кашена и Шарля Раппопорта: кепи, худые, бледные с синеваой щеки, френч. Мрачные израильские глаза, сильно подведенные и неподвижные, как

у морфиниста. Они неприятно выделялись на белизне напудренного лица. Прядь темных волос, упавшая из-под большого козырька кепки, оттянутой на затылок, как бы еще более усиливала белизну гладко выбритых актерских щек. В общем, у меня осталось какое-то странное, тягостное впечатление, и, откровенно говоря, мне почти невозможно было теперь представить себе рядом Монтегюса и Ленина, мечтающего вслух о мировой революции.

Вечером того же дня мы пили чай у Арагонов. Речь зашла о Монтегюсе. Я поделился своими впечатлениями.

— Он был агентом тайной полиции, этот самый Гастон Монтегюс,— жестко сказал Арагон.— Теперь это доказано, он действительно был сыном и внуком коммунаров, что не помешало ему стать сначала ренегатом, а потом самым вульгарным шпииком. Не будем больше говорить об этом человеке.

Мне стало многое ясно в характере Монтегюса: замкнутость, одиночество, неприкаянная старость, смерть в неизвестности. Видно, не легко было пережить свое предательство человеку, который начал жизнь социалистом, а кончил платным агентом Сюртэ Женераль. Ленин так никогда и не узнал об этом. Это был не единственный в то время случай предательства. Чего стоит хотя бы один лишь Роман Малиновский! «Царское правительство,— пишет об этом времени Крупская,— ...опутывало всю рабочую организацию целою сетью провокатуры. Это были уже не старые шпики, торчавшие на углах улиц, от которых можно было спрятаться; это были Малиновские, Романовы, Брендинские, Черномазовы, занимавшие ответственные... посты». (Ответственные партийные посты.)

Невероятно трудное, тяжелое это было для Ленина время, когда с русским ЦК дело было в 1910 году «хуже не надо»,— пишет Крупская. «Впередовцы продолжали организовываться. Группа Алексинского ворвалась раз на заседание большевистской группы, собравшейся в кафе на Авеню-д'Орлеан... Алексинский с нахальным видом уселся за стол и стал требовать слова и, когда ему было отказано, свистнул. Пришедшие с ним впередовцы бросились на наших. Члены нашей группы Абрам Скочно

и Исаак Кривой ринулись было в бой, но Николай Васильевич Сапожков (Кузнецов), страшный силач, схватил Абрама под одну мышку, Исаака — под другую, а опытный по части драк хозяин кафе потушил огонь. Драка не состоялась. Но долго после этого, чуть не всю ночь, бродил Ильич по улицам Парижа, а вернувшись домой, не мог заснуть до утра.

«Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой склоки и скандала, маеты и «накипи» тошно; наблюдать все это — тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению, — пишет Ленин Горькому на Капри. — Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее, чем было до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны».

Какие горькие слова! Ленин твердо решил не давать себя во власть настроению. Но ведь и он был человек, со всеми человеческими слабостями. Потянуло на юг. Захотелось тишины, покоя, красоты природы, солнца. В конце весны Ленин, отправившись вместе с Надеждой Константиновной и тещей Елизаветой Васильевной в небольшое местечко Порник на берегу зеленого Бискайского залива, где можно было недорого устроиться на лето, — послал к черту все эмигрантские склоки, маету и «накипь», — неожиданно для всех, и в первую очередь для самого себя, махнул на Капри.

Он не только устал от эмигрантской сутолоки, но также сильно стосковался по России. В проливе между Корсикой и Сардинией вспоминал свою родную Волгу. Во всяком случае, в открытке к матери Ленин пишет, что доехал от Марсея до Неаполя пароходом: «дешево и приятно. Ехал, как по Волге». Не забыл, значит, Волгу! Может быть, высокие, поросшие сплошным кустарником каменистые берега Корсики напомнили ему Жигули, по которым он так много полазил в свои юношеские годы — в косоворотке, в накинутой на плечи студенческой тулупке, — золотоволосый, лобастый, повернув свое смугло-румяное, молодое лицо к ветру, так вольно гулявшему по вершине Жигулей, и во весь голос пел одну из своих любимых песен — «Есть на Волге утес...».

Может быть, и теперь, стоя на спардеке пассажирского парохода и любясь скалистыми берегами Корсики, которые почти отвесно опускались в удивительно синюю, чистую воду Средиземного моря, Ленин, чувствуя себя

хоть на миг одиноким, свободным и юным, напевал вполголоса:

Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет:
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

В этой песне Ленину всегда слышалась народная мечта о смельчаке, которому утес-великан перескажет заветные думы Степана Разина. Недаром же один из интереснейших наших поэтов, Владимир Нарбут, в разгар революции, в 1919 году, писал:

Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов.

Посылая матери привет из Неаполя, Ленин сообщал, что двигается отсюда на Капри ненадолго.

По странному совпадению я тоже в 1910 году примерно в это же время, может быть, на месяц раньше, в первый раз в жизни попал на Капри. Мне было тогда тринадцать, а моему брату Жене — будущему писателю Евгению Петрову — семь лет. Отец повез нас за границу. От Одессы до Неаполя морем, дальше по железной дороге. Из Неаполя мы, конечно, ездили на пароходике на Капри, и я на всю жизнь запомнил посещение нами знаменитого голубого грота — «Гротто Азуро». Ловко перебирая смуглыми руками по мокрой железной цепи, приклепанной к скале над самой головой, лодочник изо всех сил помогал нашей лодке поскорее проскользнуть из узкого и низкого каменного туннеля, где могучий поток морской воды, то поднимаясь, то опускаясь, каждую секунду готов был разнести лодку в щепки о скалистые своды, поросшие скользкими водорослями. Мы прижались ко дну, зажмурились от ужаса и в тот же миг увидели, что лодка уже плывет внутри грота по невероятно яркой, сапфировой воде, насквозь освещенной откуда-то снизу преломленным светом каприйского ослепительного полудня. Помню стеклянно-синие изумленные лица папы и Жени, гул, стоящий в гроте, как в пустой церкви, и громкий, как выстрел, звук капель, падавших с весла в воду. Хорошо помню живописную фигуру на-

шего лодочника — мальчишку примерно моего возраста, гордого тем, что самостоятельно возит форестьеров в «Гротто Азуро», снисходительно принимая их восхищение волшебным зрелищем знаменитой на весь мир пещеры. Он был в штанах, засученных выше худых мальчишеских колен с перламутровыми ссадинами, в матросском тельнике, и мне навсегда запомнилась его красивая широколобая голова с немного вьющимися, как у бычка, темно-русыми волосами, повязанными на неаполитанский манер красным платком, и светлыми тосканскими глазами с виноградной косточкой зрачка. О, как мне хотелось тогда подружиться с этим итальянским мальчиком, сверстником, который с такой неподражаемой грацией греб стоя, поплавать вместе с ним, понырять в изумительной средиземноморской воде, попросить, чтобы он дал мне немного погрести, и объяснить, что у нас на Черном море мальчики тоже умеют грести стоя, потому что, как написано в энциклопедическом словаре, Черное море есть лишь только залив Средиземного. Но тщетно. Он как бы не замечал всех моих гримас и заигрываний и обращался только к моему отцу, взрослому человеку, который его нанял и умел с ним объясняться по-латыни. Впрочем, один раз мальчик не выдержал своей роли солидного, пожилого рыбака и улыбнулся мне дружеской озорной улыбкой, которую я запомнил на всю жизнь.

Легко можно допустить, что именно этот самый каприйский мальчик — помнится мне, его имя было Луиджи — через месяц после нас возил в «Гротто Азуро» небольшую компанию других русских: знаменитого писателя Максима Горького — скрипторе Массимо Горки, его красавицу жену, знаменитую русскую артистку, дочь Марию (в районе Неаполя принято называть даму не сеньорой, а на испанский манер — доной) и еще одного незнакомого русского. По мнению Луиджи, этот незнакомый русский со своим острым прищуренным глазом, веселым смехом и свободной манерой обращения, наверное, был один из тех русских конспираторов, бомбистов — может быть, даже самый главный из них, — которые всегда дружат с Массимо Горки и готовят здесь, на Капри, новую русскую революцию, с тем чтобы навсегда разделаться с царем, помещиками, фабрикантами и на развалинах старого мира водрузить красное знамя социализма. И Луиджи не ошибся, этот сеньор был

действительно один из самых великих революционеров мира.

Вот несколько строк из воспоминаний Горького о Ленине, относящихся к тому времени:

«...Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их зароботке, о влиянии попов, о школе — шпирота его интересов не могла не изумлять меня... Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к простым людям.

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шалапина, и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем»...

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилица. Рыбаки объяснили ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захотали и прозвали рыбака: «Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они все спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?»

Наверное, маленький итальянский лодочник Луиджи гордился тем, что ему довелось возить в «Гротто Азуро» самого Ленина, и, наверное, тоже беспокоился потом, не схватил ли его царь. А ведь Ленин провел на Капри всего восемнадцать дней. И все это время за ним с любовью следили настойчивые глаза каприйских лодочников, рыбаков, носильщиков, гидов... Они видели небольшую, крепкую, энергичную фигуру Ленина в узких каприйских улочках — между двух каменных глухих стен,

из-за которых торчали колья виноградников, красивые кроны вековых грецких орехов, серебристая листва маслин, шелковицы с кроваво-черными ягодами. Они видели, как он медленно шел возле капеллы Санта-Мария дель Соккорсо, откуда открывался глазам его потрясающий вид на Неаполитанский залив с островами Искья и Прочида, с пыльной зеленью Сорренто и с Везувием, который виднелся вдалеке над белыми кубиками городов, как полого осыпавшийся двугорбый песчаный холм с хвостом сернисто-пепельного дыма над кратером.

«На этом острове,— читаем мы в «Господине из Сан-Франциско» Бунина,— две тысячи лет тому назад жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокостей сверх всякой меры,— и человечество навеки запомнило его, и те, что в совокупности своей столь же непонятно и, по существу, столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова».

Среди прочих достопримечательностей Капри Ленин, конечно, видел и эти развалины дворца кровавого тирана. Но не думаю, чтобы они произвели на него особенно сильное впечатление или вселили в его душу ужас. Давно уже он посвятил свою жизнь борьбе со всеми и всяческими тиранами — живыми и мертвыми. Они его не пугали. Он шел на них во всеоружии своего гениального ума, чистого, горячего сердца и той святой человеческой правды, против которой бессильна власть любого тирана, как бы могуществен, непобедим ни казался он людям. Я думаю, гораздо большее впечатление произвела на Ленина тарантелла, которой угостил его Горький, устроивший поездку на ослах в Анакапри, где они всей компанией провели прелестный вечерок в маленькой деревенской траттории за бутылкой розового «тиберия». В таком сочетании имя тирана было вполне приемлемо и не мешало ни танцам, ни сердечному веселью.

В последний раз я побывал на Капри года два назад, примерно через пятьдесят с чем-то лет после первого посещения этого острова в 1910 году, и вот что со мной

произошло. Едва мы очутились на знаменитой площади Капри в толпе туристов, которые с утра до вечера толкуются на этом пятачке, в центре города, как мне показалось, что на меня кто-то пристально смотрит. На широкой лестнице, ведущей с площади к церковной паперти, в толпе гидов, носильщиков, лодочников, гостиничных комиссионеров и владельцев маленьких туристских осликов с красными чехольчиками на ушах, которые обычно дожидаются тут работы, я увидел человека, показавшегося мне странно знакомым. Коренастый, плотный, с седыми, коротко остриженными и слегка вьющимися, как у бычка, волосами, широколобый, он стоял в пестро-абстрактной рубашке навыпуск, с двумя пуговичками у ворота и короткими рукавами, обнажавшими почти до самых плеч его могучие бицепсы старого лодочника. У него было красивое лицо младожового старика, и он смотрел на меня прозрачными тосканскими глазами с виноградной косточкой зрачка. Мы прошли мимо него вслед за носильщиком, несшим на плече наши чемоданы, но он уже смотрел в другую сторону, и я тотчас о нем забыл. Но на другой день он опять встретился нам на старом месте. Он солидно, с громадным достоинством разговаривал с какими-то немцами-туристами, и я понял, что он предлагает им поездку на моторном катере в «Гротто Азуро». Теперь я готов был поклясться, что хорошо его знаю, и тем не менее никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах мы встречались. Он посмотрел в мою сторону и сдержанно улыбнулся: добродушное широкое лицо, тосканские глаза и седые волосы, постриженные а-ля Титус и начесанные на лоб. И мы снова разошлись, не сказав друг другу ни слова. И вдруг я вспомнил...

Это было вечером, когда мы обедали в роскошном ресторане нашего отеля.

На дворе разыгралась непогода, лил дождь, приводивший всех туристов в отчаяние, а по склонам Монте-Соляро в надвигающихся осенних сумерках ползли низкие грозовые тучи, и уже несколько раз гористый горизонт вспыхивал за окнами синими огнями молний. В холле по креслам и столикам были разбросаны мокрые макинтоши, а на белом фаянсовом полу, расписанном букетами удивительно красивых цветов, сушились раскрытые зонтики. В зале закрыли окна, и за черными стеклами часто вспыхивали сполохи, как демоны-глухо-

пемые Тютчева. Как почти во всех итальянских провинциальных городках, гроза ощутительно влияла на работу местной электростанции, так что люстры и торшеры по-минутно мигали, их накал ослабел, и казалось, что они вот-вот погаснут и тогда ресторанный зал со всеми обедающими погрузится во мрак. Чувствовалось, что слабая городская электростанция уже не в силах побороть натиск небесных сил, и действительно, в зале вдруг наступила полная тьма. За громадными окнами загорелись огни святого Эльма, затрепетало синее пламя грозы, лица и руки у всех людей стали как бы сделаны из синего свящегося стекла. «Принесите канделябры!» — раздался спокойный, повелительный голос метрдотеля, и вот именно в этот-то самый миг я вспомнил итальянского мальчика Луиджи, который полвека тому назад греб стоя, везя нас троих — папу, Женю и меня — в «Гротто Азуро», — нас троих, из которых остался на белом свете один только я. Сомнений не было: мальчик Луиджи и седой лодочник на лестнице возле площади — одно и то же лицо. Через пятьдесят лет мы встретились, у него оказалась зрительная память лучше, и он первый меня узнал: теперь мне стало вполне понятно дружеское выражение его лица и немного грустная улыбка, обращенная ко мне, как бы говорящая: как мы оба постарели с тобой, русский мальчик.

Пятьдесят лет. Полстолетия. Какой, в сущности, пустяк по сравнению с жизнью всего человечества! Лакеи, не мешкая, внесли зажженные канделябры, осветившие, как жаркие золотые костры, нарядный ресторанный зал со всеми его цветами, вьющимися растениями, хрустальным и фарфоровым блеском кувертов, крахмальными салфетками и бокалами, до половины налитыми льдистомерцающим белым и церковно-горящим красным вином. Увы, больше нам не удалось встретиться с синьором Луиджи и пожать друг другу руки. Лишь однажды, купаясь под сваями уже заколоченной на зиму купальни, мы увидели с берега моторный катер с туристами, направлявшийся вдоль бухты Марина-Гранде к Голубому гроту, и на носу, повернувшись лицом к публике, расставив крепкие ноги, синьор Луиджи красноречиво описывал достопримечательности Капри, стараясь перекричать треск старого мотора. Больше я его не видел, но уверен, что когда в следующий раз поднимусь на фупикулере и выйду на знакомую райскую площадь, то первый, кого я

увиджу, будет святой Луиджи, и мы молчаливо улыбнемся друг другу земной улыбкой, как старые незнакомые друзья.

Ни с чем не сравнимое сладкое ощущение потери времени, вернее, его смещения... Все чаще и чаще оно преследует меня теперь, на склоне лет. Вижу Капри таким, каким он был пятьдесят лет тому назад, в один знойный июльский день 1910 года, и Ленина, скачками идущего вниз по крутой скалистой дороге, мимо испанских агав и кактусов к бухте Марина-Пиккола, где он любил купаться.

Не мог же Ленин, живя на Капри, не купаться! Наверное, купался. Представляю себе, как, аккуратно сложив брюки и повесив пиджак на вешалку в купальне с дешевым, как бы жестяным зеркалом, где сухо пахло раскаленными сосновыми досками и узкий солнечный луч бил в овальную дырочку выскочившего сучка, пронизывая сумрак тесной кабины и рисуя на стене маленькое, цветное, перевернутое низом кверху изображение движущихся волн и скал Фаралионе, как в камере-обскуре, Ленин вышел из кабины и стал прохаживаться по веревочной дорожке, давая себе остыть, а потом спустился несколько боком по лесенке на скалы, обжигавшие подошвы ног, фыркнул и вдруг решительно бросился в воду, раскидав вокруг себя сверкающие брызги. Сначала он плыл, высунувшись из воды почти по пояс, по-волжски, саженками, или, как говорят на юге, «на размашку», а потом лег на спину, заложив крепкие руки за голову, и закачался на волне. Волна осторожно носила его туда и назад, поднимала и опускала, поворачивала его небольшое золотистое тело, освещенное неистовым итальянским солнцем. Он лежал с закрытыми глазами и сквозь рыжеватые сомкнутые ресницы видел пурпурно-красное сияние какого-то фантастического, бесформенного, почти абстрактного и вместе с тем такого осязаемо-материального мира солнечного света, пронизавшего кровеносно-сосудистую сетку его закрытых век. Ленин отдыхал от приятной, но немного утомительной жизни на вилле «Блезус», где великого Горького вечно окружали разные люди: и гости, и приезжие, и друзья, и враги, которые годами жили у Горького, «свои» и «чужие» — словом, толчея непротолченная, в которой Горький чувствовал себя преотлично: изучал характеры,

делал художественные наблюдения, обобщал. Со стола целый день не сходила еда, совершенно так, как в горьковских пьесах. Ели, пили, закусывали. Только еда была итальянская — много зелени, рыба, спагетти, рисовый суп с лимоном, розовое или белое каприйское вино, сыр гарганзола и в большой вазе серо-лиловые морщинистые фиги и зеленый миндаль, который не кололи щипцами, а разрезали ножом — так нежна была еще не затвердевшая скорлупа под мясистой сукожно-зеленой кожей, — и лакомились еще не вполне созревшими миндалинами восковой спелости. Они были упоительно вкусны, особенно после глотка прохладного розового «тиберия».

Я это описываю с такой точностью, потому что в 20-х годах гостил у Горького в Сорренто, где, конечно, трен жизни ничем не отличался от каприйского. И разумеется, целый день, начиная с часу дня — до этого времени Горький уединенно работал, — множество самого различного народа, шум, споры, дискуссии, чтение старых и новых стихов, прозы, шутки, смех, остроты, даже забавные переодевания и нечто вроде шарад. Не думаю, чтобы все это слишком увлекало Ленина, который не выносил пустых словопрений и ни к чему не обязывающих мимолетных мыслей; кроме того, наученный горьким опытом парижской эмиграции, он с величайшей осторожностью относился к знакомству с малоизвестными людьми. Вообще Ленин, по воспоминаниям Н. А. Алексеева, «совершенно не способен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях». В этом отношении жизнь у Горького, без сомнения, сильно утомляла Ленина. Он держался, сколько это было возможно, особняком.

У него был маленький тоненький карандашик и маленькая записная книжечка, куда он, отстав от шумной компании во время какой-нибудь прогулки или экскурсии, что-то быстро, но тщательно вписывал своим прелестным почерком. «Вместе с простотой и прямоотой обращения, которые привлекали к нему, — пишет А. Шаповалов, — от него веяло отчасти холодком, который ставил собеседника на некоторое расстояние от него».

Лежа на спине в море, он отдыхал. Отдыхал, разумеется, чисто физически. Отдыхало его тело, его мускулы. Но умственно он никогда не отдыхал. Его ум всегда — и во сне тоже! — работал, кипел напряженной, титанической работой мысли.

«Только через много лет, — пишет С. И. Гопнер, —

когда было издано Полное собрание сочинений В. И. Ленина, мы узнали по-настоящему; какую титаническую работу, теоретическую, политическую, организационную, проделал Владимир Ильич в те годы».

Тело его отдыхало, ум — кипел.

По всей вероятности, именно тогда окончательно созрело решение, в противовес каприйской, так называемой «партийной школе», которая ничего, кроме вреда, делу партии не приносила, как можно скорее устроить собственную, ленинскую, настоящую рабочую, большевистскую школу в Париже или, еще лучше, в целях конспирации где-нибудь под Парижем. Время не ждало, нужно было действовать. Ленин был человек действия. И он так же внезапно, как решил ехать на Капри, теперь решил незамедлительно возвращаться во Францию.

И вот последний его каприйский вечер. На вилле «Блезус» опять множество гостей. На террасе ужинают. Как в России на даче, горят свечи под стеклянными колпаками. Вокруг кружатся ночные бабочки. Внизу в черноте кричат цикады. В клетке мечется один из двух попугаев Горького, по имени Лоретта. Она никого не подпускает к своей клетке, кроме Горького. Лоретта судорожно хлопает крыльями, выкрикивает бессвязные слова пронзительным картавым голосом, как взволнованная француженка. Перья во все стороны, горбатый клюв, сумасшедшие глаза с замшевыми веками.

— Закатывает истерику, — говорит Горький Ленину, подходит к клетке и бесстрашно просовывает сквозь прутья сухой, тонкий указательный палец. — Истерическая особа. У нее личная трагедия.

Услышав знакомый голос, Лоретта постепенно замолкла, стала утробно клокотать, как квочка, успокоилась...

Ленин исчез незаметно, «по-английски». Он спустился вниз по каменной лестнице, как бы с головой окунувшись в непроглядную тьму, жаркую, тропически душную, насыщенную бальзамическим запахом раскаленных за день сосен, лавровишен, цветущих по всему острову, каперсов. Подошвы сандалий скользили по хвое, а вокруг продолжали с утроенной силой трещать, деревянно пилить

ночные цикады, оглушая и вместе с тем странно успокаивая нервы. То и дело мелькали летающие светлячки; пунктир их полета напоминал движение конькобежца елочкой: то направо, то налево, то направо, то налево, то вспыхивает, то гаснет. Потом стали слышны громкие, подмывающие звуки расстроенного фортепьяно: это в синематографе под открытым небом в парке Адриана таперша наяривала матчш. Ленин увидел среди деревьев, в листве, громадный, ярко светящийся, мигающий экран натянутого полотна, по которому в такт матчша, заглушаемого взрывом смеха, передвигались несколько удлиненные фигуры. Ленин узнал фатоватую фигуру Макса Линдера с хризантемой в лацкане фрака, в белых гетрах и лакированных ботинках, с лоснящимся цилиндром в откинутой руке и тросточкой в другой руке, с темными усиками над белозубой улыбкой, с курносым носиком и по-женски прекрасными черными бархатистыми глазами, которыми он юмористически стрелял во все стороны, избегая по винтовой парижской лестнице на второй этаж, где его уже дожидалась разъяренная дама в корсете, с половой щеткой, спрятанной за спину: «Матчш — прелестный танец, живой и жгучий, привез его испанец, брюнет могучий»... Тарам, тарам... Звуки матчша взбились на самый верх, заливались стеклянной трелью и, хромая, бежали по клавишам с непристойной отдышкой отыгрыша. Взрывы хохота с равными промежутками следовали друг за другом.

Улыбаясь в потемках себе в усы, Ленин выбрался мимо заманчиво освещенных отелей на Пьяццу, сплошь заставленную столиками четырех кафе, прошелся возле магазинчиков, сиявших золотом, брильянтами, всяческими сувенирами, флаконами французских духов, множеством розово-голубых итальянских пейзажей с Везувием и пинией на переднем плане, в несуразно широких старинных золоченых рамах и в узеньких рамках модерн. Ленин ходил по совсем узким улочкам, извилистым, таинственным, стиснутым между каменными домиками зеленщиков, бакалейщиков, портных, сапожников, ювелиров. Он шел вдоль глухих стен, увитых ползучим виноградом и глицинией, под балконами роскошных вилл, откуда временами слышалась костяная дрожь мандолины и бархатный, приглушенный голос пел «О солие мио». «О солнце мое», — думал Ленин, чувствуя то острое, нервное возбуждение — томительное и необъяснимое, —

которое всегда вызывала в нем музыка. Ему хотелось остановиться, сесть на каменный парапет, еще не остывший от дневного зноя, и всей душой без остатка отдаться этой ни с чем не сравнимой итальянской народной музыке, полной любви и страсти. Ему захотелось погрузиться в глубину этой каприйской ночи с ее цикадами, летающими искрами светляков и звездами над черным, словно китайская тушь, пространством Неаполитанского залива, где в одном месте с равными промежутками разгоралось и гасло зарево над незримым кратером огнедышащего Везувия, слабо освещаая низко висящий над Неаполем жгут сернистого дыма. О, как полна была в эти минуты его душа, как натянуты нервы! И все это от безделья, подумал он. Нет, баста, хватит, надо поскорее возвращаться в Париж. За дело, за дело!

А в это время заканчивался сеанс синематографа, и под звуки вальса на экране шел Патэ-журнал: над Боденским озером поднимался огромный, граненный, как карапдаш, дирижабль графа Цеппелина — грозное видение надвигающейся войны.

Пробыл Владимир Ильич на Капри совсем недолго, но долго после его отъезда у Горького было грустное настроение, с которым он все никак не мог справиться.

По своему обыкновению провожая приятных ему гостей до Неаполя, Горький с увлечением показывал Ленину Помпею, неаполитанский музей, где он знал буквально каждый уголок. Они ездили вместе на Везувий и по окрестностям Неаполя.

Все это я также представляю себе очень точно, потому что в 1927 году летом Горький проводил нас из Сорренто до Неаполя и также показывал нам достопримечательности Неаполя. Была адская жара, что-то выше тридцати пяти градусов в тени, и мы страшно устали от ходьбы и обилия впечатлений. А так как, по словам М. Эссен, Ленин «еле переносил посещение музеев и выставок», то нетрудно было представить его самочувствие в громадном Национальном музее в июле месяце среди сотен произведений старинной живописи и скульптуры. Ленин любил все современное, живое, «любил живую толпу, живую речь, песню, любил ощущать себя в массе». А часами ходить по музею, каждую минуту останавливаясь перед статуями римских императоров, тиранов, громадных, нечеловечески

величественных, — нет, по-моему, это никак не могло нравиться Ленину, как не могла ему нравиться римская государственность. Я думаю, что Ленин — самый человечный человек, опередивший на несколько поколений свое время, — должен был с отвращением смотреть снизу вверх на громадные мраморные фигуры низколобых цезарей с животным выражением низменных мускулистых лиц, с медальными профилями и стеклянными вставными глазами — вроде статуи Сципиона Африканского, — идола, изделия римских ваятелей — льстецов и подхалимов того времени.

Среди множества грязно-белых мраморных скульптур первого этажа каким-то образом оказалось небольшое, немного меньше, чем в рост человека, отлитое из темной бронзы изображение пьяного сатира с гроздью винограда в одной руке и чашей — в другой, — старенького, хитренького, на козлиных ножках, с умным, добродушным лицом, таким человеческим со всеми его милыми человеческими слабостями. Все же остальное, даже медная полоса меридиана, вделанная наискось в мозаичный пол громадного, как площадь, зала второго этажа, увешанного старинными полотнами, было совсем неинтересно и вызывало лишь утомление, несмотря на все старания Горького.

Зато как ошеломительно ударил в глаза нестерпимо яркий неаполитанский полдень, когда наконец вышли из музейного сумрака на улицу со звенящим трамваем, с криками мороженщиков «джелято, джелато!», с разноцветным бельем, развешанным между домами поперек темных, узких переулков, пересекающих нарядную Виа Рома. Как весело было смотреть на фонтан посередине площади Никола Аморе, вокруг которого в хорошеньких глиняных кувшинчиках продавалась чудесная неаполитанская горячая вода — «аква фреска» — по два сольдо за кувшинчик, запечатанный глиняной пробкой и покрытый матовой ледяной испариной. Приятно было очутиться на набережной в шумной толпе, среди менял, продавцов кораллов, аппетитной лапши на фанерной дощечке, среди босоногих неаполитанских мальчишек, грязных, как чертенята, которые совали в нос цветные открытки с видами Неаполя — «Карталина постале» — и выпрашивали все те же вечные два сольдо: «Due soldo, signor, due soldo». Как неповторимо, удивительно по-итальянски выглядели на фоне яркого неба потертые фасады старых домов, вы-

крашенных палевой водяной краской, с бледно-зелеными жалюзи окон, выгоревших на солнце, а если стена была глухая, то на ней были нарисованы точно такие же ложные окна! Пахло чесноком, рыбой, жаренной на вонючем оливковом масле, свежеразрезанными гранатами из Амальфи. Ленину все это, конечно, ужасно нравилось: чем-то напоминало волжские пристани. Но Помпея, куда повез Горький, опять-таки не произвела должного впечатления. Примерно в это же время Бунин написал, что «...Помпея казалась мне скучней пустых могил, мертвей и чище нового музея». Дымящийся Везувий, несколько веретен кипарисов и большая, почти черная зонтичная пиния с плоской кроной на первом плане были действительно прекрасны, не могли не волновать, несмотря на свой несколько олеографический розово-голубой колорит.

Захотелось подойти к Везувию поближе. Поехали по железной дороге до Пулианы, оттуда — десять минут на фуникулере, а следующие десять минут пешком, пока вдруг не очутились, минуя седые от вулканического пепла виноградники, на самом краю кратера, откуда по каменистой почве тяжело полз молочно-бело-желтый сернистый дым и лизал пыльные сандалии Ленина.

Потом съездили в экипаже на могилу Вергилия. Здесь Ленина опять охватила прелесть простого, дикого, деревенского пейзажа, радость милой человеческой жизни, воспетой сельским итальянским поэтом, ставшим впоследствии великим латинским писателем. Не могу удержаться, чтобы снова не вспомнить Бунина, одно из его самых прелестных стихотворений, опять-таки написанных примерно в те же годы у гробницы Вергилия. В этом стихотворении описываются дикий лавр, и плющ, и розы, дети, тряпки по дворам, и коричневые козы в сорных травах по буграм... Все это — и коричневых коз, конечно, — видел Ленин, когда приехал с Горьким на могилу Вергилия. Видел он также с высокого неаполитанского берега: без границы и без края моря вольные края... Обращаясь к Вергилию, Бунин воскликнул:

Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.

Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому — не все ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Вергилий,
Не моя и не твоя.

Обедали внизу, у самой воды, на набережной против отеля «Санта-Лючия» — съели лангусту, — а на другое утро, уезжая обратно во Францию, Ленин, быть может, и повторил ту фразу, которую Горький приводит в своих воспоминаниях о Ленине:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!

Следующей весной осуществилась мечта Ленина создать партийную школу для работников партийных организаций крупных пролетарских центров России. В ней обучалось восемнадцать рабочих-подпольщиков из Петербурга, Москвы, Сормова, Иваново-Вознесенска, из Екатеринославской губернии, Николаева, Баку, Тифлиса, Домбровского района (Польша) и других городов. Это все были подлинные пролетарии, люди от станка, революционеры до мозга костей, цвет российского рабочего класса. Один из них рассказывал мне о духе строжайшей партийной дисциплины и конспирации, которые царили в этой ленинской школе. Ничего общего не было у слушателей этой школы с большинством парижской социал-демократической организации, в достаточной мере зараженной ликвидаторством, идеологией контрреволюционного либерализма и порядком уже разложившейся вследствие самого духа парижской жизни с его шумными кафе, где подчас с утра до вечера слышалась пустая болтовня. «Эмигрантщина и склока неразрывны, — писал в это время Ленин. — Но склока отпадет; склока остается на 9/10 за границей; склока, это — аксессуар. А развитие партии, развитие с.-д. движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения».

Несмотря на эти дьявольские трудности, в ленинской партийной школе должны были готовиться рабочие революционные кадры для действия непосредственно на заводах и фабриках России, для подготовки новой революции, которая ни в коем случае не должна была повторить роковые ошибки Пятого года. Школу решили организовать в деревне Лонжюмо, в пятнадцати километрах от Парижа, в местности, где не было никаких русских, ни-

каких дачников. Короче говоря, школа была серьезно законспирирована. Лонжюмо представляло собой длинную французскую деревню, растянувшуюся вдоль шоссе, по которому каждую ночь, мешая спать, ехали возы с продуктами, предназначенными для насыщения «чрева Парижа». Один из учеников школы Лонжюмо рассказывал мне, в какой строгости держали их. В порядке партийной дисциплины им было запрещено общаться с эмигрантской публикой, среди которой подчас орудовали шпики царского правительства и провокаторы, что впоследствии и подтвердилось. Когда я спросил, что из себя представляла в то время парижская эмиграция, попросил описать обстановку кафе, где она собиралась, залы, где происходили дискуссии и всевозможные рефераты, услышал в ответ:

— Мы ничего этого не знали. Нас от всего этого держали на пушечный выстрел. Конспирация была железная. Мы ни с кем не имели права знакомиться, и с нами тоже никто не знакомился, просто не имели понятия о нашем существовании. Общались мы исключительно с тем ограниченным кругом большевиков, которые имели прямое, непосредственное отношение к школе в Лонжюмо. Всего один или два раза были в Лувре, где Луначарский давал нам предметный урок эстетики. И это все. По окончании занятий в школе мы немедленно нелегально возвратились обратно в Россию на подпольную работу. Нас называли «ленинцами» или «агентами Ленина», и мы этим очень гордились и продолжаем гордиться до сих пор, — конечно, те, которым выпало счастье дожить до наших дней.

Ленинская школа в Лонжюмо была предшественницей будущих большевистских партийных школ и коммунистических университетов.

«Когда мы нанимали квартиры ученикам, — вспоминает Крупская, — мы говорили, что это русские сельские учителя... Больше всего французам удивляло, что наши «учителя» ходят сплошь и рядом босиком (жарища тем летом стояла невероятная)».

Каждый раз, бывая в Париже, я непременно посещаю Лонжюмо. Пройтись по его непомерно длинной улице, посмотреть на маленький двухэтажный домик, каменный, почерневший от времени и от копоти местной кожевенной фабрики, домик, в котором некогда жил Ленин, сделалось для меня потребностью. Я привык к Лонжюмо, и временами мне кажется, что я его хорошо знаю с детства.

ва, что я когда-то в нем жил. Но это иллюзия, удивительный феномен смещения времени — абберация памяти, подобная абберации зрения, о которой я уже несколько раз упоминал на этих страницах.

Впервые я приехал в Лонжюмо поздней осенью, несколько лет тому назад. Крупская называла Лонжюмо деревней, теперь это скорее всего маленький захолустный городок, невероятно длинно растянутый вдоль шоссе, идущего от Парижа на юг. Это шоссе и является в пределах Лонжюмо главной и чуть ли не единственной улицей, состоящей из двух- и трехэтажных домиков, узких по фасаду, с магазинчиками, булочными, бакалейными, колбасными, зелеными, мясными, парикмахерскими с конским хвостом, табачными с красной сигарой и аптекой с зеленым крестом в первых этажах и с мансардами под графитными крышами, точно такими же, как в любом другом городе Франции и в любом парижском предместье. Эта главная улица Лонжюмо называется, разумеется, Гранд-рю, и в домике под номером 91 жил Ленин с Надеждой Константиновной. На темном фасаде, снизу до половины залитом вечной грязью из-под колес, — как все фасады, выходящие вплотную на проезжую часть улицы, — я увидел небольшую мемориальную доску с профилем Ленина. Надпись гласила:

Ici a vécu et a travaillé en 1911
V. I. Lenine
théoricien et guide
du Mouvement communiste international,
fondateur de L'Union Soviétique.

«Здесь жил и работал в 1911 г. В. И. Ленин — теоретик и вождь международного коммунистического движения, основатель Советского Союза». Невозможно было без волнения и гордости читать эти слова, полные такого громадного исторического значения и такого величия. Пройдя через узкий проход в стене, мы проникли в крошечный затхлый дворик, сырой и темный, с квадратиком пасмурного неба над головой. Затем мы поднялись по шаткой деревянной лестнице и очутились перед старой, захватанной руками дверью, которую отворила пожилая женщина в фартуке.

— Да, да, это здесь, — сказала она, не дожидаясь вопроса, закивала головой в чепчике и ввела нас в маленькую темную комнату, которая была заставлена двумя старыми деревянными кроватями, ножной швейной ма-

пиной — старомодной, неуклюжей, — столиком и креслом с продавленным сиденьем. Тут нас встретил старик хозяин, с опущенными усами, как у Кашена, в старом синем комбинезоне с цинковыми пряжками, нездорово плотный, типичный пожилой французский рабочий — слегка тугой на ухо и не слишком радушный. Узнав, что мы советские люди, он молчаливо порылся в стенном шкафчике и поставил на стол начатый литр красного вина «Ординер» и четыре толстых стаканчика. Мы заговорили о Ленине.

— Это был великий человек, — сказал хозяин, — он жил у нас со своей женой, русской учительницей Крупской, вот в этой самой комнате, где мы сейчас находимся, и они спали на этих самых кроватях, и когда товарищ Ленин подходил к этому окну, то видел то же самое, что мы видим теперь: черную грязную стену и над ней кусочек французского неба, которое не всегда, конечно, бывает таким паршивым, как сегодня. Я хорошо помню товарища Ленина. Я называю его товарищем, потому что я так же, как и он, — мы оба принадлежим к партии коммунистов. Видите, товарищи, как скромно жил Ленин? Он был вождь мирового пролетариата, основатель Советского государства, а жил, как я — простой французский рабочий-кожевник. А ел, я вам скажу, даже хуже, чем ели мы. Довольно часто товарищ Крупская жарила на керосинке на обед картошку на подсолнечном масле, и Ленин запивал этот обед русским чаем. Vous savez ça!

Осмотр комнаты был быстро окончен, потому что, по правде говоря, осматривать было нечего. Это была скромность, граничащая с нищетой.

— Расскажи им про чулан, — сказала хозяйка, когда мы уже начали прощаться.

— Да! Чулан! — воскликнул хозяин. — Я чуть не забыл. В то время, когда у нас жил Ленин, к этой комнате примыкал чулан. Потом его заделали и заклеили обоями: он портил вид. Но недавно нам снова понадобился чулан, и мы его открыли. И вы знаете, что мы в нем нашли? Шляпу Ленина!

— Да, — сказала хозяйка, — вообразите себе, старую шляпу Ленина!

— Черную велюровую шляпу, — прибавил хозяин, — с довольно широкими полями.

— Где же эта шляпа? — спросил я.

— Я сдал ее в районный комитет нашей партии. Они лучше меня сохранят эту реликвию.

Но лично я думаю, что эта шляпа вряд ли принадлежала Ленину. Он таких шляп, по-моему, не носил. Скорее всего, это была шляпа Зиновьева, который жил рядом с Лениным. Во всяком случае, на фотографиях Ленина вы такой шляпы не найдете. Впрочем, это совсем не важно. Я ничего не сказал о своих сомнениях старому рабочему, и мы дружески простились. Он жал нам руки и все время повторял:

— Ленин был великий человек. Он совершил то, чего не мог сделать до него никто. Робеспьер по сравнению с ним мальчик. Я счастлив, что знал его. Он жил у меня... Вот здесь... спал, ел, читал, писал... Это незабываемо. Передайте вашей стране, созданной его гением, привет и братство от старого французского рабочего-коммуниста.

На его глазах блестели слезы, все его морщинистое лицо, с носом и щеками, побелевшими от старости, выражало чувство гордости тем, что он так близко знал Ленина. Его руки слегка дрожали. Больше я его уже не видел. Когда через год мы снова приехали в Лопжюмо и зашли сюда, в «ленинскую квартиру», старого хозяина уже не было в живых. Вытирая передником щеки, его жена впустила нас в осиротевшую квартиру, показавшуюся нам еще более темной, тесной, запущенной. Она подняла морщинистые руки ладонями вверх и сказала:

— Voilà tout! (Вот и все!)

В застоявшемся воздухе слышался запах лекарств. Швейной машины не было. Видно, недешево обошлась этому дому смерть хозяина. Я поцеловал старую, жесткую руку хозяйки. Молчаливо мы вышли на улицу.

Сама школа находилась в противоположном конце Гранд-рю, № 17. Нужно было войти в ворота и пересечь внутренний дворик, хорошо убранный, чистенький, с выщипными растениями и клумбочками, замощенный светло-желтой щебенкой, отчего он казался во всякую погоду как бы освещенным солнцем. Видимо, владение принадлежало зажиточному хозяину. Во Франции не очень-то принято без спросу заходить в чужие дворы. Мы уже собрались позвонить в дверь небольшого флигелька, увитого плющом и отцветающими розами, как зеленая дверь открылась и к нам вышел хозяин. Он был тоже, как и хозяин ленинской квартиры, в синем комбинезоне, простроченном по швам в два ряда крепкими белыми нит-

ками, рукава его сорочки были засучены по локоть; лицо выражало строгость, сознание собственного достоинства и в то же время какую-то сухую, сдержанную любезность, которая в любую минуту могла перейти в раздражение. Мы представились и попросили его разрешить осмотреть помещение, где некогда находилась ленинская школа. Он терпеливо выслушал нас, а затем, не говоря ни слова, повел в конец двора и пригласил войти в довольно большое запущенное помещение, имевшее также выход и на другую улицу. Это был не то сарай, не то какая-то мастерская, давно уже пустующая.

— Это здесь, — сказал он. — Когда-то давно, еще до моего рождения, в нашем дворе находилась стоянка дилижансов, а помещение, где вы находитесь в данное время, являлось не чем иным, как местом, где отдыхали кучера дилижансов. Здесь также могли подковать лошадь и произвести небольшой ремонт дилижансов или тележек, в которых местные фермеры возили масло на Центральный парижский рынок. Видите, от тех времен здесь сохранился небольшой кузнечный горн. Вот он. Им еще иногда пользуются. Но редко.

Мы осмотрели старый почерневший горн, источавший слабый угарный запах каменноугольного дыма. Ржавые железные обручи висели на кирпичной выбеленной стене. Таково было единственное классное помещение ленинской школы в Лонжюмо.

— Где же сидели ученики? — спросил я.

— Не помню, — ответил хозяин. — Я был тогда слишком мал. Где-то сидели. Я смутно помню, что они где-то сидели. Вероятно, на скамьях, которые тогда здесь стояли. Я помню, что некоторые из них что-то записывали в тетради.

— А преподаватели?

— Кажется, преподаватель сидел за столиком на плетеном стуле, который каждый раз брал у нас в кухне. Это я хорошо помню.

— А вы помните Ленина?

— Не могу этого утверждать. Я был слишком мал. Я думаю, их было несколько, преподавателей. Среди них даже была женщина. Дама. Даму я запомнил. Впрочем, может быть, женщин было две или три. Одну из них я особенно запомнил. У нее была французская фамилия. Мадам была не красива, но очаровательна: великолепные каштановые волосы и черные красивые глаза. Я был

совсем маленьким мальчиком, но я до сих пор помню эти прелестные, теплые глаза. Она была настоящая француженка. От нее пахло хорошими духами. Я думаю, это были духи «Вэра-Виолетт» фабрики Пивера или что-нибудь в этом роде, цветочные духи, а не абстрактные, как теперь. Она была чем-то вроде инспектора классов.

— Инесса Арманд? — спросил я.

— Не знаю. Я только помню, как она приносила расписание уроков и отмечала в списке опоздавших. Иногда она делала им замечание, что явились босиком. Это было очень смешно — целый ряд босых ног.

— Но неужели вы не помните Ленина?

— Мосье, я сам рабочий, социалист. Но я не принадлежу к партии коммунистов. И я не разделяю доктрину Ленина. Я ее считаю в лучшем случае бесполезной. Во всяком случае, для французов. Для русских она, может быть, и годится. Для славян, для поляков — может быть. Но я не могу не считаться с фактом существования Ленина, и я даже вполне думаю, что он был выдающимся человеком. Поэтому я охотно пускаю сюда посетителей. Но лично мне совершенно безразлично, была ли здесь когда-нибудь школа или не была. Прошу вас, осматривайте! Я не буду вам мешать. Я уважаю чужие убеждения.

Но больше осматривать было нечего.

— И много у вас здесь бывает посетителей? — спросил я.

— Не слишком много, — ответил он. — Но и не очень мало. Почти каждый день кто-нибудь наведывается из Парижа. Все больше иностранцы, славяне. Но, конечно, бывают и французы: студенты, рабочие...

Вдруг его лицо оживилось.

— До войны сюда приезжал один ваш знаменитый советский авиатор. Красивый человек с широкими плечами, в очень хорошем костюме. Войдя сюда, он снял свою фетровую шляпу — в знак уважения к этому месту. И долго стоял молча. Этот русский большевик мне, признаться, очень понравился. Вы, наверное, его хорошо знаете. Его имя трудно для произношения: мосье Чкалов, — с усилием произнес он.

— Так здесь был Чкалов! — воскликнул я.

— Да. И он, так же как и вы, расспрашивал меня о Ленине и о его школе, но я ничего не мог ему сказать интересного, потому что я не политик, хотя и читаю

«Либерасьон». «Либерасьон», конечно, не «Юманите», но все-таки... Для меня она достаточно левая. До свиданья, мосье. Рад был оказать вам услугу, хотя, по правде сказать, меня утомляют эти постоянные посещения. А bientôt!

Он скрылся в своем домике, как бы втянулся в него, как улитка в свою хорошенькую раковину, а я еще некоторое время стоял возле старого горна, представляя себе лето 1911 года, невероятную жару и Ленина без пиджака, в рубашке «апаш», с открытой шеей, который, вытирая мокрую лысину носовым платком, входил в единственный класс своей партийной школы, садился за столик на кухонный стул и клал перед собой маленькие исписанные листочки — план лекции.

Мы знаем, каков был Ленин на трибуне. Об этом много написано. «Никакого оратора не слушали так, как Ленина, — пишет, например, М. Эссен. — Впервые я увидела его на трибуне в 1904 году в Женеве, когда он делал доклад о Парижской коммуне. Ленин на трибуне весь преображался. Какой-то весь ладный, подобранный, точно сделанный из одного куска. Вся сила сосредоточена в голосе, в сверкающих глазах, в чеканной стальной фразе.

Мне приводилось тогда слышать очень крупных ораторов, которые говорят точно для того, чтобы поразить слушателей, блеснуть яркой фразой, остроумной шуткой, умеют использовать силу и гибкость голоса, плавный жест, красивую позу. Таковы были Плеханов, Жорес, Вандервельде, считавшиеся мировыми ораторами. В их выступлениях было много эффектного, но мне никогда не удавалось отрешиться от впечатления какой-то искусственности их речей.

Не то Ленин. Непередаваема сила его речей. В них нет как будто никакого внешнего блеска, они просты и ясны, но, слушая Ленина, забываешь обо всем. Он овладевает слушателем всецело. И тут разница между Лениным и Плехановым разительна.

Плеханов любил красиво отточенные фразы. Он знал цену своему таланту, знал, когда повысить и понизить голос, умел вовремя блеснуть остроумием, поднять утомленное внимание аудитории к стати рассказанным анекдотом. Но его слушали спокойно, он волновал в меру.

У Ленина нет этого внешнего блеска, он не оттачивает фразы, по тем не менее именно его слушают... так, точно

он раскрывает твои самые сокровенные мысли, заветные мечты. Другие ораторы восхищают, но слушаешь их точно со стороны, — Ленин зовет к действию. Его речи зажигают энтузиазмом и желанием действовать. Речи Ленина нельзя забыть: все чувствуют, что он сказал самое важное и нужное.

Ленин говорил о Коммуне, и мы ощутили ее могучее дыхание, ее пафос, ее трагедию, ее мировое значение. Парижская коммуна встала перед нами, как сверкающая заря новой жизни, как первый опыт рабочих взять власть в свои руки. Мы мысленно видели осажденный Париж, трусость и предательство господствующих классов, продажное правительство, сбежавшее в Версаль и предавшее родину, мы видели героический рабочий класс, взявший на себя защиту отечества и задачу построения государства на новых началах. Ленин показал все трудности выполнения этих задач, вскрыл все противоречия, ошибки Коммуны, рассказал о ее гибели.

Я до сих пор помню и эту речь, и тот энтузиазм, какой она вызвала. Из всей речи Ленина, такой вдохновенной и огненной, стало ясно, что Парижская коммуна — не только героический эпизод истории, показывающий силу и мощь рабочего класса, но и вдохновляющий пример для нас.

С собрания возвращались небольшой компанией, все были радостно возбуждены. Я спросила Ленина:

— Неужели мы доживем до того времени, когда Коммуна снова встанет в порядок дня?

Ленин встрепенулся.

— А вы сделали такой вывод из моего доклада?! — спросил он.

— Да, и не одна я, а все, кто слушал вас сегодня.

Слушать Ленина на собраниях, видеть его за работой, углубленного в книги, или за разрешением политических вопросов, слушать его планы поражения противников, его уничтожающие характеристики — все это давало яркую картину его многогранности...»

Отличная характеристика Ленина — трибуна, полемиста, политического оратора, «вдохновенного и огненного». Но до сих пор еще мало написано о Ленине — не лекторе, не политическом ораторе, не революционном трибуне, а о Ленине-учителе. Учителе не в высоком, философском значении, а об учителе-преподавателе. В Лонжюмо Ленин был учителем в самом прямом, бытовом смысле этого сло-

ва. Он не только «читал лекции», но и просто «давал уроки», как это делается в народных школах и гимназиях, хотя эти уроки и назывались лекциями.

Занятия в партийной школе Лонжюмо происходили регулярно. Владимир Ильич был загружен больше всех преподавателей: двадцать девять лекций по политической экономии, двенадцать — по аграрному вопросу, двенадцать — по теории и практике социализма в России. Семинарскую работу по политической экономии вела Инесса Арманд.

Надежда Константиновна Крупская говорила мне, что лекции Ленина больше всего напоминали самый обыкновенный школьный урок, и Ленин был в это время не вождь, не трибун, даже не профессор, а простой русский учитель, старающийся как можно яснее и доходчивее растолковать свой предмет взрослым ученикам. Он объяснял, спрашивал с места, заставлял иногда повторить только что сказанное им, сердито стучал карандашом по столу, если замечал, что кто-нибудь невнимателен.

...Представляю себе Ленина, как он сидел, сторбившись, и слегка покачивался на кухонном стуле с плетеным сиденьем, поджимая под себя крепкую ногу, иногда вставал и ходил перед учениками взад-вперед, разминаясь и тревожно поглядывая на босые ноги некоторых своих взрослых учеников.

— Присягин, повторите, что я только что сказал?

— Вы сказали, Владимир Ильич, что старые экономисты обманывали себя и других, любили ссылаться на Бельгию. А новоэкономисты, то есть ликвидаторы, любят ссылаться на мирное получение конституции Австрией..

— В каком году?

— В тысяча восемьсот шестьдесят седьмом.

— Хорошо! — одобрительно кивал Ленин. — Но что же из этого следует?

— Из этого следует, что и старые экономисты, и наши ликвидаторы выбирают такие примеры, случаи, эпизоды из истории рабочего движения и демократии в Европе, когда рабочие бывали в силу тех или иных причин слабы, бессознательны, зависимы от буржуазии, и подобные примеры выставляют как пример для России.

— Хорошо, — еще более одобрительно кивнул Ленин. — Какой же вывод мы должны сделать для себя как для партийных работников, большевиков, подлинных революционеров?

— Должны сделать тот вывод, что и экономисты и

ликвидаторы есть проводники буржуазного влияния на пролетариат. Верно, Владимир Ильич?

— Абсолютно так. Прекрасно, товарищ Присягин. Запомните же это все и никогда и ни при каких обстоятельствах во время вашей практической революционной работы в России не поддавайтесь этому гнилому буржуазному влиянию, ибо оно может привести к гибели все наше дело. Садитесь, пожалуйста, Присягин.— Ленин с улыбкой произнес эту старорежимную, какую-то унтер-офицерскую фамилию.— Пойдем дальше.— И Ленин, поставив в записную книжку против фамилии Присягина птичку своим тоненьким карандашиком, перешел к столыпинской реакции.

Крупская пишет, что Ильич был очень доволен работой школы.

«В свободное время ездили мы с ним по обыкновению на велосипеде, поднимались на гору и ехали километров за пятнадцать, там был аэродром. Заброшенный вглубь, он был гораздо менее посещаем, чем аэродром Жювизи. Мы были часто единственными зрителями, и Ильич мог вволю любоваться маневрами аэропланов».

Ленина привлекало все новое, небывалое, революционное. Как раз недавно в мире произошла техническая революция, открывшая для человечества новую эру: люди научились летать на аппаратах тяжелее воздуха. Это еще были пока лишь первые попытки, но они уже не казались робкими. Каждый день приносил новые победы. Уже на весь мир прогремело имя французского авиатора Луи Блерио, перелетевшего на своем аппарате через Ла-Манш из Кале в Дувр — расстояние свыше тридцати километров по воздуху, над бурным проливом, что казалось тогда прямо-таки невероятным, во всяком случае, гораздо большим чудом, чем чудо Христа, согласно легенде прошедшего пешком по воде Генисаретского озера. Авиационная лихорадка охватила весь мир, в особенности Францию. Под Парижем, в Исси-ле-Мулино, устраивались шумные, напоминающие карнавал авиационные недели, где демонстрировались последние модели аэропланов. В Мурмелоне состоялись международные гонки аэропланов. Туда съехались богачи со всего земного шара. Названия аэродромов «Ле-Бурже», «Исси-ле-Мулино», «Жювизи» прогремели на весь мир и бесчисленное количество раз повторялись в газетных отчетах и агентских телеграммах. Любимым развлечением парижан стало ездить «на полеты».

Пользуясь малейшей возможностью, «Ильичи» садились на свои издавшие виды велосипеды и отправлялись «на полеты».

Как здесь уже упоминалось, Ленину ужасно не везло с велосипедом. Во время одной из поездок «на полеты» — в Жювизи — Ленин попал под автомобиль, сам по счастливой случайности уцелел, но велосипед его превратился в груды обломков. Марсель Кашен с восхищением и чудесным юмором рассказывал мне слышанную им историю о том, как Ленин после аварии, отряхнувшись от пыли и обмахнув носовым платком ботинки, искоса посмотрел своими живыми, темно-карими глазами на жалкие остатки велосипеда и будто бы сказал, обращаясь к Крупской:

— Видишь, Надя, от одного толчка извне велосипед превратился в свою противоположность, полностью сохранив количество своей материи. Качество в один миг перешло в количество. Теперь это уже не велосипед, а нечто совсем другое. Качество «велосипед» перешло в количество — «стальной лом».

«Товарищ Ленин,— заметил Кашен, поглаживая свои характерные усы,— никогда не пропускал случая на реальном примере показать непреложность законов диалектического материализма. Он был одновременно и практик и теоретик, кроме того, обладал настоящим высоким юмором, без чего нельзя себе представить истинно великого человека».

...Ленин и Крупская сели на велосипеды и поехали по длиннейшей и скучнейшей Гранд-рю Лонжюмо, мимо церкви с вечным петушком над крестом колокольни, где музыкально перезванивали жиденькие воскресные колокола, возвещая анжелюс, мимо крошечной чистенькой площади, окруженной официальными зданиями времен империи: полицией, судом и мэрией с трехцветным флагом над фронтоном ампир. Площадь была окружена маленькими, очень коротко остриженными тополями с узловатыми ветками, а посредине стоял крошечный провинциальный памятник, воздвигнутый жителями Лонжюмо знаменитому композитору Адольфу Адану, автору оперы «Почтальон из Лонжюмо», балета «Жизель». Цоколь памятника был украшен лирой и пальмовой веткой. Проезжая мимо него,

Ленин и Крупская переглянулись и засмеялись: было действительно курьезно, что на местном постоялом дворе, где, по-видимому, разыгрывалось действие оперы Адольфа Адана, теперь разместилась русская партийная школа социал-демократов — большевиков. Времена меняются!

Они проехали по мостику над речкой с мопассановским названием Иветта, над неподвижной, заросшей камышами водой, на которой листья водяных лилий лежали, как палитры. В воде отражались глухие каменные стены домов, старая водяная мельница и задние дворы главной улицы, а дальше виднелись зелено-голубые, туманные луга, и барбизонские рощи, и мутные июльские дали, изнемогающие от полуденного зноя. Улица была пустыня. Все население, видимо, находилось в церкви, откуда долетали грозвые звуки органа. Наконец выехали из Лонжюмо на простор, в поле, и помчались в облаке горячей пыли по проселку между двух стен поспевшей пшеницы, в чаще которой кое-где на декадентских стеблях ярко алели атласные чашечки дикого мака с черными газовыми пятнами сердцевины. Иногда попадались родные русские васильки, которые здесь, во Франции, напоминали маленькие голубые иностранные ордена. В небе заливались жаворонки. Тоже родные, русские. Стало весело. «Ильичи» припустили. Впереди мчался Владимир Ильич, как машина работая своими крепкими ногами, за ним с трудом попевала Надежда Константиновна, в шляпке, сбитой ветром набок, в старых ботинках, с юбкой, зажатой между колен, чтобы не попадала в передачу. Они одним духом отмахали пятнадцать километров среди полей и рощиц — для них это были сущие пустяки — и наконец очутились на большом лугу глухого, отдаленного аэродромчика.

Полеты уже начались. Один аэроплан выводили из дощатого ангара, а другой уже находился в воздухе над острой колокольней сельской церкви, скрытой за холмом, так что виднелся только ее шпиль с крестом и петушком. Ленин пристально посмотрел на аэроплан, прикрыл глаза ладонью от солнца.

— Мы очень удачно попали. Это «фарман-4». Посмотри, Надя, как он устойчиво держится в воздухе. А? Это тебе не какой-нибудь Вуазен!

Аэроплан сделал крутой вираж и выровнялся. Вслед

за тем слабенький, стрекозиный треск мотора прекратился. Мотор еще несколько раз чихнул и окончательно смолк. Наступила зловещая тишина.

— Падает! — слабо ахнула Крупская.

— Нет, нет, не волнуйся. Все в порядке. Смотри: сейчас авиатор будет делать планирующий спуск, так называемый «воль планэ».

Теперь биплан довольно высоко и, казалось, неподвижно висел над парком замка, повернутый ф́асом, так что обе его плоскости — верхняя длиннее, нижняя короче — с фигуркой авиатора между ними и с бензиновым медным баком, в пачищенной поверхности которого желтой звездочкой отражалось солнце, отчетливо, во всех подробностях, рисовались на ф́оне летнего неба с несколькими белыми облаками, такими самыми, как где-нибудь в Шущенском или Уфе. Быстро увеличиваясь, аэроплан, как на салазках с высокой горы, поехал круто вниз, пролетел так низко, что едва не задел колесами шляпу Надежды Константиновны, и, обдав ветром и шумом крутящегося по иперции пропеллера, коснулся луга и тотчас покатился, слегка подсакивая на своих велосипедных колесах по цветущему клеверу.

— Чудесно! — воскликнула Крупская.

— Каково мастерство! — воскликнул Ленин. — Ты обратила внимание, как он перед самой землей выровнял машину? А как великолепно сел? Изумительно! Но самое главное: кто бы мог подумать, что человек в такой короткий исторический срок научится летать? Летающий человек... Гм, гм... Это — принципиально новое качество человека. Правда, пока летают только избранные и аэропланы принадлежат богатым людям. Но когда пролетариат экспроприрует у капиталистов летательные аппараты и сделается хозяином не только земли, но и воздуха, тогда ого-го! Только держитесь, господа капиталисты!

И тотчас Ленин вернулся к мыслям о судьбе Парижской коммуны, которые неотступно преследовали его. «Еще не известно, — подумал он, — как бы обернулось дело Парижской коммуны, если бы у парижских рабочих было в руках такое средство, как современная авиация. А то баллоны! На баллонах далеко не улетишь».

— Десяток-другой таких вот «фарманов» пустить на Версаль, — сказал он. — Да начать сверху бомбардировку. Как ты думаешь, Надя? Эх, не было у нас в руках в пятом году летательных аппаратов тяжелее воздуха. Мы бы

не допустили разгрома Пресни и всыпали бы по первое число господину Дубасову!

Пока опустившийся «фарман-4» вводили в ангар и возились с другим аэропланом, пробуя капризничаящий мотор, Ленин и Крупская положили свои велосипеды на траву, а сами сели на разостланные носовые платки. Ленин посмотрел на часы и, увидев, что стрелка показывает час, заметил, что пора завтракать. Крупская извлекла из велосипедной сумочки промаслившийся сверток с двумя сдобными рогаликами — круассанами, а Ленин вынул из бокового кармана две плитки молочного швейцарского шоколада «Сюшар» в сиреневой глянцевиной обертке с головой сенбернарской собаки с бочоночком на ошейнике. Это был их любимый завтрак во время вылазок за город. Старая швейцарская привычка. «Дешево и сердито», — как любила говорить Надежда Константиновна. Тем временем приготовили для полета второй аэроплан. Вокруг него ходили несколько человек, одетых в элегантные полуспортивные костюмы. Среди них был один маленький, черненький, в синем замасленном комбинезоне, с гаечным ключом в руке — механик, а другой — в желтых кожаных крагах и в клетчатой кепке, повернутой козырьком на затылок, с великолепными нафиксатуаренными усами и римским носом с чуть заметной галльской горбинкой — сам авиатор. Он ходил вокруг своего аппарата, время от времени пробуя, хорошо ли натянуты тонкие стальные тросы креплений, и поглаживал покрытую особым лаком поверхность несущих плоскостей, сделанных из натянутого тончайшего желтоватого полотна с темными пятнами касторового масла, покрытыми пылью. Крылья приходились по грудь авиатору. Это был моноплан с пропеллером впереди. Ленин с живым любопытством рассматривал маленький звездообразный, пластинчатый мотор, вращающийся вместе с пропеллером.

— По-моему, это мотор «гном», — сказала Крупская, рассматривая аэроплан в маленький театральный бинокль, взятый у матери.

— «Гном-рено», — уточнил Ленин. — Шестьдесят лошадиных сил. Они его поставили на «блерио». Это что-то новое.

— Контакт! — крикнул маленький моторист.

— Есть контакт! — ответил сурово авиатор.

«Гном-рено» зафыркал, зачихал и стал быстро крутиться вместе с поблескивающим лакированным пропеллером.

Ветер побежал по лугу, прижимая к земле цветы и травы. Теперь авиатор сидел на своем месте, опустив на глаза полумаску больших очков, и пробовал контакт, а трое господ и моторист держали аэроплан за хвост, чтобы он не улетел раньше времени. Один из господ, по-видимому собственник аэроплана, был в серой визитке и сером твердом котелке. Ветер сорвал с его головы котелок и покатил по траве. Мелькая серыми элегантными гетрами и полосатыми брюками, господин побежал за котелком, пытаясь его поймать ручкой бамбуковой трости, и наконец поймал. Ветер трепал на его лысой голове черную ленту крашенных волос. Авиатор встал во весь рост на своем сиденье, повернул назад.

Он сделал немного театральнй жест рукой в кожаной перчатке, приказывая отпустить аэроплан, поправил свои страшные квадратные очки, поудобнее уселся на своем сиденье, маленьком, как решето, и привязался ремнями. Мотор закружился изо всех сил, как поющий волчок. Господа, придерживая головные уборы, бросились врассыпную, маленький моторист некоторое время бежал рядом с аэропланом, давая последние наставления, и посылал воздушные поцелуи авиатору.

— *Вonne chance!* Счастливого полета!

— *Merci, mon ami!*

Аэроплан вырулил на прямую. Ленин вскочил с травы и побежал к тому месту, где, по его расчету, аэроплан должен был оторваться от земли. Если сам по себе полет к тому времени уже перестал казаться чудом, то самый взлет, тот сокровенный миг, когда между бегущим колесом аппарата и поверхностью земли вдруг оказывался еле заметный просвет, все еще продолжал восхищать, как волшебство, к которому существу земному не так-то легко было привыкнуть.

Ленин стремительно пробежал метров сто и совсем по-мальчишески упал животом в траву, измеряя живым и острым глазом пространство.

— Надя, сюда! Здесь он оторвется от земли. Скорее, не упusti момент!

Крупская прибежала, шумя юбкой, и легла рядом с мужем, не выпуская из рук крошечный бинокль. Жужжа мотором, моноплан бежал по лугу, приближаясь сбоку к «Ильичам».

— Наедет на нас,— прошептала Крупская.

— Не наедет,— уверенно сказал Ленин.

Теперь уже аэроплан бежал совсем близко мимо них. Прижавшись к земле и вытянув шеи, они видели велосипедные колеса с новенькими шинами, бегущие по траве. Они чуть подскакивали. Аэроплан поравнялся с Лениным и Крупской. Колеса слегка подпрыгнули и уже не сразу опустились, как бы повиснув в воздухе на высоте каких-нибудь двух дюймов от земли, но все-таки опять коснулись луга, затем снова подпрыгнули и уже на этот раз не возвратились на землю, хотя и находились пад ней совсем низко.

— Бежит, но еще не летит; затем бежит, но в то же время и летит; потом летит, хотя в то же время и продолжает бежать; и наконец... стоп! Критическая точка... летит и уже не бежит. Количество перешло в качество. Смотри, Надя: летит! — радостно закричал Ленин, провожая оживленно блестящими глазами удаляющийся моноплан, между колесами которого и землей аэродрома уже виднелся широкий просвет и на горизонте дымчато-голубой парк с графитными крышами замка над купами деревьев.

Почему я так ясно представляю себе этот пейзаж, типичный для Иль-де-Франс лета 1911 года: знойный ветерок, шелковый блеск клеверного поля, брошенные в траву сиреневые обертки швейцарского шоколада «Сюшар», серебряные бумажки, до рези в глазах блестящие на солнце, аэроплан, косо повисший над дальней колокольней, его полупрозрачные желтые крылья с полосатыми, ребристыми тенями, напоминающими рентгеновский снимок? Почему я так ясно слышу и теперь стрекозиный треск слабенького «гнома», чувствую запах касторки, пыли, бензина? Почему мне так приятно об этом писать? Вероятно, потому, что в то время почти абсолютно все увлекались полетами, и я сам, четырнадцатилетний мальчик, затаив дыхание, лежал в поляни, ловя тот сокровенный миг, когда в глазах совершалось волшебство полета, превращение тела, бегущего по земле, в тело, летящее по воздуху. Только это было не под Парижем, а под Одессой, на стрельбищном поле, где в то время тоже почти ежедневно происходили полеты.

В степи были выстроены новенькие ангары, из их широких ворот выводили аэропланы, вокруг суетились господа в парижских полуспортивных костюмах, в серых визитках, в цилиндрах, как у Макса Линдера, в светлых гетрах на пуговицах, ни дать ни взять как под Парижем, где-нибудь в Ле-Бурже или Исси-ле-Мулино, с той лишь

разницей, что господа были местные, одесские богачи, банкиры, промышленники — Анатра, Ксидиас, барон Рено. Что касается самих авиаторов, то они были хорошо известные всем нам, одесским мальчишкам, местные знаменитости, кумиры Пересыпи и Молдаванки, — парикмахер Хиони, рабочий Костин, портовый грузчик Ефимов, гонщик-велосипедист Сережа Уточкин, — люди простые, большей частью жители рабочих окраин, летавшие на чужих аэропланах, зарабатывая себе этим на хлеб насущный.

Так же как и под Парижем, в одесском летнем небе стрекотал слабенький мотор «гном-рено», и совсем низко над землей, за мачтами роты искрового телеграфа, почти по кромке стрельбищного поля со старыми мишенями и мешками, набитыми песком, медленно летел аэроплан, казавшийся мне в то далекое время улучшенным и более конструктивным вариантом какого-то искусственного насекомого, вроде обыкновенной стрекозы. Хотя с тех пор прошло больше пятидесяти лет, но и теперь всякий раз, когда я подъезжаю к Парижу и слышу слова «Ле-Бурже» или «Орли», в моем воображении возникают картины первых лет авиации, и я со стереоскопической точностью представляю себе на месте ультрасовременного, громадного, белого международного аэровокзала, откуда можно за час долететь до Рима и за шесть часов до Нью-Йорка, маленький захолустный аэродромчик с полотняными ангарами, летний полдень и лежащего в траве Ленина, ловящего прищуренными глазами тот момент, когда бегущее тело превращается в тело летящее. И в воздухе не шелестящий, почти космический свист реактивных двигателей межконтинентальных лайнеров, а слабое стрекотание маленького самодельного мотора.

Ужасно захотелось снова увидеть аэропланы моего детства, все эти летательные аппараты тяжелее воздуха, которыми некогда так увлекался Ленин. Нетрудно было достать их фотографии, посмотреть на них в старой кинохронике, но я мечтал увидеть их в подлиннике: те же самые, которые я видел тогда, потрогать их руками. Моя мечта казалась мне несбыточной. Вряд ли от них, от этих первых аэропланов, что-нибудь осталось, ведь они были так непрочны: дерево, тонкое, пропитанное лаком полотно, проволока... Трудно было представить, что все эти материалы могли сохраниться в течение полувека,

тем более что за это время мир потрясали войны и революции, на Париж падали бомбы, бушевали пожары. Я никак не предполагал, что где-нибудь могут сохраниться хрупкие летательные аппараты начала века. И вдруг оказалось, что в Париже есть музей, где хранятся аэропланы того времени, не копии и не макеты, а те самые аппараты, эволюцией которых, несомненно, любовался Ленин. Было не так-то легко отыскать этот музей, который не значился в путеводителях, тем более что нет людей менее любознательных, чем парижане, в особенности если дело касается какой-нибудь достопримечательности Парижа. Вам непременно ответят: не знаю, это, наверное, где-то в другом аррондисмане.

Мы всюду разыскивали этот музей. Побывали в Иссиле-Мулино, где, как нас уверяли, по всей вероятности, и находится эта достопримечательность. Мы даже вошли в указанное нам здание, но оно оказалось пустым. Совершенно пустым. Это было как во сне, когда ты кого-то догоняешь, а он странным образом ускользает у тебя из рук и медленно удаляется, не оглядываясь и не показывая своего лица, а ты, задыхаясь, бежишь за ним и громко окликаешь его, но он не слышит, как будто между тобой и им непроницаемая, но совершенно прозрачная стена. Мы блуждали по пустым залам, по зашарпанным, старым паркетам, наступая на какие-то шпагаты, бумажные обрывки, гвозди. Мы заглядывали за фанерные перегородки, делавшие это помещение чем-то похожим на советское учреждение 20-х годов, и мне все время казалось, что вот-вот я вдруг открою еще какую-то, самую главную дверь и вдруг увижу «фарман-4» или «блерио» моего детства. Напрасно. Наконец нам встретилась старая толстуха в пенсне с розовым поролоновым ведром и синтетической щеткой в руках — типичная парижская уборщица. Она сказала, что мы опоздали: здесь действительно еще на прошлой неделе были выставлены старые аэропланы, но потом их куда-то увезли. Музей переехал.

— Куда?

— Не могу вам точно сказать. По-моему, куда-то в Медон-Вальфлери. А может быть, и не туда. — Она задумалась. — Нет, туда. Теперь я вспомнила: именно туда, в Медон-Вальфлери. Их забрало военно-воздушное ведомство. У него там целое поместье. Аэродинамическая труба и все такое. Если вам непременно нужно видеть эти старые аэропланы, то поезжайте туда. Но я не понимаю, кому

они нужны? А там спросите у кого-нибудь, где поместье военно-воздушного ведомства. Вам кто-нибудь из местных граждан скажет. Это уже наверно. Местные жители хорошо знают такие вещи.

Медон-Вальфлери. Военное ведомство. Аэродинамическая труба. Расспросы населения. Государственная тайна. Это показалось нам слишком сложно и даже, быть может, опасно. Благоразумнее было отказаться от столь рискованного предприятия. Но мною уже овладело непреодолимое желание увидеть «те самые аэропланы». У меня не было сил бороться с этим желанием, напоминающим нечто вроде навязчивой идеи, настоящего безумия. Мы поскорее отправились на площадь Инвалидов, спустились в подземный вокзал и оттуда на электрическом поезде поехали в сторону Версаля. Сначала поезд мчался под землей, потом выскочил на поверхность, и некоторое время за окном, мешая видеть пейзаж, бежали высокие парапеты Сены, переплеты мостов, эстакады, виадуки, фабричные стены с саженными буквами надписей и длинные крыши цехов с вентиляционными трубами. Но потом все это ушло куда-то вниз по диагонали, и сквозь солнечный туман поздней осени мы увидели мутную панораму Парижа: Сену, мосты, Эйфелеву башню, Монмартр с белым куполом Сакре-Кёр, возвышенности Пер-Лашеза и Монт-Валерьяна. Поезд огибал Париж по окраинам среди старых и новых домов, трущоб, газгольдеров, пустырей, заваленных автомобильным ломом. Именно по этой самой железнодорожной ветке Париж — Версаль в 1877 году ходили бронепоезда коммунаров с головастыми паровозиками, обстреливая позиции версальцев, и мне даже казалось, что я вижу языки орудийных выстрелов и разрывы снарядов на синих высотах Монт-Валерьяна. Не доезжая Версаля, мы сошли на станции Медон-Вальфлери. Здесь черное железнодорожное полотно было врезано глубоко между двух крутых откосов и дальше уходило в каменную подкову туннеля. Мы поднялись по лестнице и очутились в маленьком дачном городке, пустынном в этот грустный час неравного утра. Слабое солнце золотило туман, и влажный воздух был не холоден, не тепел, а так, комнатной температуры: можно ходить без пальто, но в шерстяном костюме и пуловере. У вокзала находились лавки и магазинчики, аптека, кафе, бюро по продаже недвижимого имущества с витриной, сплошь залепленной разноцветными билетиками — объявлениями

о продаже домов и земельных участков, доктор, адвокат, контора нотариуса и все прочее, необходимое для нормальной жизни обитателей этого тихого уголка, в полной неприкосновенности сохранившегося с XIX, если не с XVIII века. Несколько пустынных каменистых переулков шло в гору, а вдоль хорошо утрамбованных щебеночных тротуаров тянулись железные и каменные ограды маленьких хорошеньких коттеджей и вилл с массой хризантем в палисадниках. Запах влажного, глубоко вскопанного чернозема, смешанного с запахом первых дней листопада и тончайшим похоронным ароматом хризантем — белых, сиреневых, сизых, желтых, тигровых, коричневых, щекотал ноздри и придавал особую грустную остроту свежему загородному воздуху. Где-то впереди и вверху слышался таинственный гул аэродинамической трубы, и мы шли по направлению гула, поднимаясь вверх, в то время как из большого открытого окна каждого коттеджа за нашим восхождением молчаливо наблюдали местные прислуги в передниках, с тростниковыми вышивалками в руках, в большинстве жирные и недоброжелательные, с энергичными лицами пожилых провинциальных сплетниц, строгих блюстительниц нравственности.

— Лучше вернемся,— сказала негромко жена, ежась под огнем подозрительных глаз, влажных, как свежие черносливы.

— Вперед! — скомандовал я.

Мы навели справку у прохожего, верно ли мы идем. Прохожий был, кроме нас, единственным человеком на всей улице, бодрый старик без пальто и шляпы, в темно-сером шерстяном костюме, черных ботинках и в легком шарфе, с особенным, чисто парижским щегольством заправленном под застегнутый на все пуговицы пиджак с крошечной, как булавочная головка, розеткой Почетного легиона. Он гордо держал свою сухую горбоносую голову с полуседыми, серебряными волосами и нес под мышкой целую оглоблю свежего, поджаристого французского хлеба, так называемого «багет», а может быть, и «фантази».

— Вы идете правильно. Это там,— сказал он, показывая оглоблей хлеба в конец улицы, откуда продолжал доноситься тревожно-напряженный гул аэродинамической трубы. Затем он объяснил, что мы должны войти в ворота и получить в бюро пропусков специальное разрешение.—

Но это простая формальность,— успокоил он нас, заметив волнение моей жены.

Он слегка поклонился и, открыв ключом ажурную калитку, скрылся в своем садике, поскрипывая безупречными ботинками по несимметричным плитам дорожки, между которыми зеленела газонная травка.

— Умоляю, вернемся! — взмолилась жена.

— Нельзя же быть такой трусихой!

Мы вошли в открытые ворота, куда упирался переулок. Мы очутились в старом парке или, вернее, в роще столетних диких каштанов и вошли в сторожку, где помещалось бюро пропусков. Мы увидели перед собой за высоким прилавком трех офицеров — военных летчиков французской армии в полной форме — со знаками различия и внушительными планками боевых орденов на груди. У них были мужественные, прекрасные, галльские лица — строгие и пронизательные, — и они, все трое, смотрели на нас с холодным достоинством, как судьи некоего неподкупно высокого трибунала, обладающего неограниченной властью над каждым человеком, представшим перед ним. Подавленные, мы долго молчали.

— Итак, мадам и мосье? — сказал один из офицеров, первый, которому надоело так многозначительно молчать. — Что вам угодно?

На ужасающем французском языке я попытался выразить наше желание. Они, эти три боевых офицера, вполголоса посоветовались, после чего осмотрели нас со всей тщательностью с головы до ног и, по-видимому, остались не слишком довольны.

— Вы иностранцы?

— Да.

Они так нахмурились, что все их шесть бровей как бы соединились, превратились в одну жирную прямую линию, под которой решительно блестели три пары разных глаз. Затем тот офицер, который находился посередине, так сказать, средний среди равных, протянул к нам руку и отрывисто сказал:

— Ваши паспорта.

— Мы пропали! — чуть слышно ахнула жена.

Я отважно пошарил в боковом кармане и положил на прилавок две наши краснокожие книжечки с буквами «СССР». Ни один мускул не дрогнул на лицах офицеров, когда они, передавая друг другу, стали перелистывать и

рассматривать наши «серпастые и молоткастые паспорта», испещренные визами разных стран.

— Прошу вас присесть и подождать, — сказал наконец средний среди равных, в то время как крайний слева взял телефонную трубку на скрученном, как пружина, шнуре и сказал несколько слов, показавшихся нам зловещими.

— Ну, вот мы и сели, — вздохнул я.

— Я тебя предупреждала.

Мы были уверены, что сейчас в помещение со стуком ружей войдет караул и потащит нас в кордегардию, но вместо этого появился старичок в увеличительных очках и берете, в синем комбинезоне авиамеханика — вежливая, серенькая мышка Микки-Маус, — и крайний справа офицер представил нас друг другу, и мы поняли, что старичок-механик не кто иной, как член Общества друзей авиации, что-то вроде нашего ДОСААФа. Затем с любезной улыбкой нам возвратили паспорта, и мы отправились вслед за старичком в глубину каштановой рощи, которая с каждым шагом делалась все гуще, чернее, сказочнее. А шум аэродинамической трубы слышался уже совсем недалеко, но несколько в стороне.

Пишу так подробно потому, что едва мы сели в вагон на площади Инвалидов, как тотчас я снова стал ощущать приближение знакомого мне чувства потери времени. Все предметы вокруг как бы начали медленно перемещаться в другие измерения.

Каштановый парк, ронявший свои крупные, рубчатые семипальные листья, резко пожелтевшие по краям, как будто от ожогов какой-то едкой кислоты, превратился вокруг нас в романтический лес, где в любую минуту мы могли встретить доброго короля Дагобера и услышать медные звуки волшебного рога Оберона, пересчитывающие гигантские черные стволы вековых деревьев, каждое вышиною в четыре трехэтажных деревенских дома, считая за третий этаж мансарду под графитной крышей. Я не удивился, если бы встретил здесь щетинистого, горбатого и узкорылого вепря, убегающего от борзых собак, красивых, как страусовые перья, или амазонку в вишащем до земли бархатном платье и шляпе с огромным пером, отбившуюся от королевской охоты. Но вот среди стволов показалась громадная кирпичная стена какого-то глухого строения с маленькой железной дверью. Мы по-

дошли к ней по толстому ковру опавших листьев и колючих расколовшихся плодов, где, как в гнездышке, лежали плоские, лакированные, как бы сделанные из красного палисандрового дерева орехи конского каштана. В то время как старичок вставлял крошечный плоский ключик в скважину американского замка, я понял, кто он такой. Весьма возможно, это был именно тот самый моторист, который пятьдесят лет тому назад готовил к полету аэропланы на маленьком глухом аэродроме в пятнадцати километрах от Лонжюмо. А почему бы и нет? Тогда ему было двадцать лет, а сейчас семьдесят пять. Как большинство французских стариков, он хорошо сохранился, тем более что был спортсменом, авиатором, мотористом и много времени проводил на свежем воздухе за городом. Теперь он член Общества любителей авиации, в старости владеющий ключом от музея, быть может единственного в мире.

— Скажите,— спросил я,— где вы работали пятьдесят лет назад?

— Я был мотористом на одном маленьком частном аэродроме под Парижем.

— Жювизи?

— Нет, вы его не знаете. Это примерно на том месте, где сейчас Орли.

— Недалеко от Лонжюмо? — спросил я.

— Да, километрах в пятнадцати,— ответил он и открыл маленькую железную дверцу, выкрашенную в зеленый цвет. Судя по тому, как она завизжала на петлях, можно было заключить, что сюда редко приходят посетители.

Старичок пропустил нас вперед, и вдруг мы очутились в удивительном мире первых летательных аппаратов, построенных человеком.

Это были не копии и не макеты, а те самые, подлинные, которые со слабеньким треском тех моторов медленно летали над лугами моего детства, моей юности. На них можно было бы полететь хоть сейчас. Они окружали нас в этом громадном кирпичном павильоне — совсем небольшие, почти игрушечные: уже не змеи, но еще не вполне машины, сделанные руками столяров и обойщиков из самых легких материалов и теми же самыми простыми инструментами, какими делали мебель. Первым летательным аппаратом, который я здесь увидел, были легендарные «крылья Отто Лилиенталя», надевавшиеся на человека, как воздушный

панцирь. Они висели прямо передо мной на уровне моих глаз, и я хорошо видел их рубчатую, выпуклую поверхность китайского змея. Теперь бы это назвали планером. Но тогда это называлось летательным аппаратом без двигателя. Двигателями были человек, ветер и сила земного притяжения. Отто Лилиенталь надел его на себя, просунул руки в петли раскинутых крыльев, пробежал, ринулся с возвышенности навстречу ветру, несколько мгновений парил и метался в воздухе, как летучая мышь, а потом рухнул на землю и погиб под обломками своего летательного аппарата, как Икар. Затем я увидел в двух шагах от себя моноплан Блерио, тот самый, подлинный, который полвека назад под темными тучами и над темными волнами перелетел через Ла-Манш и благополучно сел где-то за меловыми берегами Англии, недалеко от Дувра, а рядом с ним я узнал, как доброго старого знакомого, «фарман-16», и, если бы я увидел на его сиденье, похожем на лубяное решето, в котором обычно продают клубнику, волжского богатыря, чемпиона мира, борца Ивана Заикина в желтом кожаном пальто и шлеме, добродушного человека с кукурузными усами над солдатским подбородком, то я бы, пожалуй, ничуть не удивился, потому что это был аэроплан моего детства. Обладая волшебной способностью мысленно перемещаться во времени, я переходил, как очарованный, от первого аппарата братьев Орвилля и Уилбура Райт, «сумасшедших из Огайо», где авиатор не сидел, а лежал на крыле, держась руками за кожаные петли, к очень щегольскому, но довольно грузному моноплану «антуанетта» с фюзеляжем в форме красивой лодки из красного дерева, с длинными крыльями и вычурным хвостом, делавшим аэроплан чем-то отдаленно похожим на ласточку, а главное, со стационарным многоцилиндровым мотором. Я узнавал «латамы», «спрингвельды» и т. д. Они окружали меня со всех сторон. Иные висели на тросах. Иные стояли на полу на своих велосипедных колесах, совсем маленькие, до смешного легкие, но все же готовые в любой миг поднять человека над землей и полететь, с крыльями, покрытыми пятнами засохшего касторового масла и пылью полувековой давности. Первые наивные моторы — двигатели внутреннего сгорания. Первые пропеллеры — деревянные, трехслойные, ручной работы лучших столяров. Первые карбюраторы и контактные кнопки. Медные бензиновые баки. Палки рулей управления. Элеоны легкие, как крылья бабочки. Все это было похоже на

громадную детскую комнату человечества, полную страшно дорогих летающих игрушек начала века. Всем этим я увлекался в ранней юности, и всем этим увлекался и любовался Ленин на аэродромах под Парижем.

Но Ленин не был бы Лениным, если бы, увлекаясь зрелищем первых полетов, он мысленно не ставил авиацию на службу революции. Всего только через восемь лет, в девятнадцатом году, обдумывая способы ликвидации прорыва конного корпуса Мамонтова на Южном фронте, Ульянов (Ленин) обратил внимание Реввоенсовета на возможность применения авиации на бреющем полете против белой конницы. Можно не сомневаться, что, наблюдая за первыми аэропланами, Ленин уже тогда предвидел возможность поставить летательные аппараты тяжелее воздуха на службу пролетариату для борьбы с врагами революции. Я уверен, что еще тогда, лежа в траве глухого, малопосещаемого аэродрома недалеко от Лонжюмо, Ленин мысленно отметил явление бреющего полета, восемь лет держал это в памяти и, как только потребовала ситуация, пустил в дело для разгрома мамонтовского рейда.

Мы возвратились на электрическом поезде в современный, вечеряющий Париж второй половины XX века, полные живых впечатлений от этого удивительного музея. Кроме подлинных аэропланов начала века, там было еще множество других летательных аппаратов — подлинных, копий, маленьких, изящных макетов — все, что относится к материальной истории авиации и воздухоплавания, от бумажного монгольфера времен Людовика XVI и до шарообразной кабины с круглыми иллюминаторами знаменитого советского стратостата «СССР-1». Здесь мы видели «баллоны» Парижской коммуны, которые выпускали с Монмартра, и макет русского четырехмоторного самолета «Илья Муромец» времен первой мировой войны, который я сразу узнал, потому что некогда, в 1916 году, под Минском наша батарея охраняла полевой аэродром, где базировались «Ильи Муромцы», и я частенько туда заходил и лазил в закрытую кабину, похожую на внутренность трамвая, и трогал громадные бомбы, подвешенные под крыльями. Здесь же косо висел под потолком подлинный советский боевой «ястребок» времен Великой Отечественной войны — зелено-коричневый, обожженный, проды-

рваненный осколками, с красными звездочками — счетом сбитых фашистских самолетов.

Мы приближались к Парижу... Мне очень хочется прибавить — городу Ленина, потому что я всегда ощущаю Париж как город Ленина. В этот вечер президент Франции де Голль во всем своем скромном величии промчался мимо нас — по-видимому, обедать — с небольшим эскортом мотоциклистов из Елисейского дворца через мост Инвалидов по эспланаде и скрылся, как видение, сторбившись в своей небольшой, элегантной машине — в окне мелькнул его профиль, — провыли сирены, промигал воспаленно-красный колпачок первого мотоциклиста, и кортеж пропал из глаз, растворился в сумерках, там, где в небе синел высокий купол собора Инвалидов над куском русского гранита с высохшим телом французского императора в середине. Париж уже начал дружно светиться, и в Сене извилисто отражались фонари мостов и набережных.

А мой Ленин-пешеход (пешеход, потому что у него велосипед был в ремонте) перебирался с правого берега на левый по разным мостам, чаще всего по Новому мосту или по мосту О-Шанж, а затем Сен-Мишель. Но бывало, что ему приходилось идти по мосту Александра III. Вижу, как он идет по этому новому, сравнительно недавно открытому мосту шикарно буржуазного стиля — триумф дурного вкуса — *mauvais goût*. В городе Нотр-Дама и Сен-Шапеля, Лувра и Консьержери этот мост выглядел бы чудовищно, если бы Париж не был повсеместно заражен подобной же эклектикой конца века, этим «стиль сан стиль», к которому с течением времени привыкли. Он стал необходимой принадлежностью буржуазного Парижа.

В узком пальто с бархатным воротником, в котелке, быстрый и маленький, Ленин немного боком пробирался в толпе среди фиакров и автомобилей, обдававших вонючим бензиновым чадом. Между двух рядов электрических фонарей, многоруких, как канделябры, блестели шелковые цилиндры, нежно белели дамские боа из страусовых перьев, пахло вечерними уличными духами, хорошими сигаретами... Ленин почти бежал, стараясь поскорее вырваться из потока всех этих богатых, нарядных людей, которые торопились в разные места обедать. Свет экипажных и автомо-

бильных фонарей скользил по лицу Ленина, и его глаза по временам фосфорически светились...

Сколько бы раз ему ни случалось переходить через мост Александра III, он никогда не мог не думать о том, что этот фешенебельный парижский мост носят имя русского царя, повесившего его старшего брата, Сашу. Мост имени убийцы Александра Ульянова. Ленин никогда не мог примириться с казнью любимого брата. Мысль об этом жгла его всю жизнь. Сам Ленин никогда не был террористом. Он принципиально отрицал индивидуальный террор. И все же иногда ему было трудно совладать со своим сердцем, со своим неукротимым темпераментом бойца-революционера. С. Невзорова-Шестернина вспоминает о том далеком времени, когда она была курсисткой, а Ленин молодым адвокатом и как она возвращалась с ним однажды из библиотеки. Это было в Петербурге в 90-х годах, и Ленину тогда было немногим больше двадцати лет... «...Нам было по пути, он жил в Казачьем переулке, недалеко от Измайловских рот. Помню, раз мы бежим быстро по Невскому, мимо Аничкова дворца. Это было в начале декабря. Он прищурил свои острые, блестящие глаза, посмотрел на дворец и, весело, шутливо смеясь, говорит: «Вот бы сюда хороший апельсинчик бросить!»

«Весело, шутливо...» Ну, не думаю. Не знаю. Не верю. Но даже если в самом деле «весело и шутливо», то, во всяком случае, веселье это было невеселое, а шутки нешуточные. И вероятно, в то время, когда он, молодой, неизвестный, только «полуразгаданный», так его тогда определял его друг Кржижановский, сквозь злую декабрьскую вьюгу бежал, подняв воротник утлого пальтишка, по ослепительно сверкающему гоголевскому Невскому проспекту, его пронизательные глаза недобро вспыхивали. Всю жизнь ненавидел он богатство, дворцы, блеск буржуазного города со всеми его соблазнами и красотами. Для него, вероятно, были одинаково враждебны и зимний, брильянтовый блеск императорского Санкт-Петербурга, Аничкова моста с полузасыпанными блистающим снегом лошадьми барона Клодта, и освещенный сильными электрическими фонарями парижский мост имени убийцы брата Ленина. Может быть, и здесь также думал он об апельсинчиках: «Вот бы трахнуть, чтобы только огонь брызнул во все стороны», — сухо улыбаясь про себя, и смуглая кожа морщилась на его скулах. Кто бы мог подумать тогда, что семь лет спустя имя этого полуразгаданного человека прогре-

мил на весь мир, а через пятьдесят — его идеи восторжествуют более чем на одной трети земного шара, — слава, которой до него не достигал еще ни один человек! А он и не думал о ней, об этой мировой славе! У него для этого просто не было времени. Все его время было отдано целиком и без остатка делу рабочего класса, пролетарской революции.

...Возле палаты депутатов он мог бы сесть в метро и с пересадкой на «Монпарнасе» доехать до «Алезии», почти до самого дома. Но во-первых, финансовые дела обстояли плохо: приходилось экономить даже на транспорте, а во-вторых, хотелось пройтись после утомительной работы в библиотеке. Ему хорошо думалось на ходу, и он хотел еще раз продумать все те материалы, которые наскоро пробежал в читальном зале. Он шел вверх по бульвару Распайль, мимо военной тюрьмы, между двух рядов еще не вполне облетевших молодых платанов с пятнистыми зелено-коричневыми стволами, которые недавно посадил парижский муниципалитет вдоль всего бульвара. Карманы Ленина были набиты выписками, которые он сделал в библиотеке. Вялая листва металась при свете редких фонарей и витрин. Мокрый ветер бил в лицо, пролетая, как время, которое невозможно остановить. Быть может, впервые Ленин задал себе простой человеческий вопрос: что ждет его впереди? Он задал себе этот вопрос, погрузился в размышления и — уже где-то в районе улицы Вано, недалеко от монпарнасской церкви Нотр-Дам де Шам — сам себе очень просто ответил: революция. А что же другое могло его ждать впереди? Дома он узнал о смерти Поля и Лауры Лафаргов. Лаура Лафарг была дочерью Маркса. Поразила ли его эта внезапная двойная смерть?

История личного знакомства Ленина с Лафаргами коротка.

У Лафаргов, как и вообще в семье Маркса, всегда был силен интерес к России, читаем мы в книжке О. Б. Воробьевой и И. М. Синельниковой «Дочери Маркса». Еще в 70-х годах Лафарг установил связи с русским революционным движением и выступал со статьями в прогрессивных органах печати России. Лафарг приветствовал возникшую в 1883 году первую русскую марксистскую организацию — группу «Освобождение труда». Дом Лафаргов часто посещали русские политические деятели — эми-

гранты: П. Лавров, Г. Лопатин и другие. Часто бывал у них русский журналист Русанов; он рассказывал, что его поражало, как хорошо Лафарги знакомы с событиями русского революционного движения. Когда в России в 1905 году разразилась революция, Лаура восторженно приветствовала ее: «В общем, революция началась, и Россия... с ее доблестным пролетариатом, мужчинами и женщинами, которые так мужественно борются, вступает в новую эру!» После смерти Энгельса Лафарги получили небольшое наследство. Они купили себе дом в Дравейле, местечке в двадцати пяти километрах от Парижа.

Год назад Шарль Раппопорт помог Ленину возобновить знакомство с Лафаргом, после чего в один прекрасный день Владимир Ильич и Надежда Константиновна отправились на велосипедах в Дравейль. Лафарг был знаменитый революционер, сподвижник Маркса и Энгельса, один из немногих оставшихся в живых от Марксовых времен, один из виднейших деятелей Интернационала, который потом вместе с Гедом создал и возглавил Французскую рабочую партию, посвятив всю свою дальнейшую жизнь борьбе за чистоту этой партии и пропаганде революционного марксизма во Франции. Ленин относился к Лафаргу с громадным уважением и очень ценил его мнение. Лаура Лафарг была во всех отношениях дочерью своего великого отца и верной подругой, помощницей своего мужа Лафарга — одна из самых выдающихся женщин своего времени. Если бы не сложные семейные обстоятельства — двое маленьких детей на руках, — она, возможно, также была бы в 1871 году среди борцов Коммуны. «Я практикуюсь в стрельбе из пистолета в здешних полях и лесах, так как я вижу, как хорошо сражались женщины в недавних боях, и никто не знает, что еще может произойти», — писала она своему великому отцу, Карлу Марксу.

Вот к этим-то двум замечательным людям и приехали однажды Ленин и Крупская с визитом, отмахав по пыльным шоссе добрых двадцать пять километров. Еще совсем недавно в Дравейле было очень оживленно, особенно по воскресеньям. На обедах у них постоянно присутствовало несколько человек — товарищей по партии и просто хороших знакомых, часто бывал Жюль Гед, русские эмигранты, много молодежи. Обеды всегда проходили в интересных, дружеских беседах, воспоминаниях; возникали и горячие диспуты на политические и литературные темы... Но время шло, они старели, в доме становилось все тише, все мол-

чаливее. Гостей приезжало все меньше. Лафарги — Поль и Лаура — уже отошли от непосредственной работы. Им уже было под семьдесят.

«Лафарги встретили нас очень любезно, — пишет Крупская. — Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Я очень волновалась — дочь ведь это Маркса была передо мной; жадно вглядывалась я в ее лицо, в ее чертах искала невольно черты Маркса...»

Крупская не пишет, нашла ли она эти черты. Но я думаю, нашла, хотя и считается, что Лаура гораздо больше походила на мать, чем на отца. Стоит всмотреться в портрет Лауры, в ее женственно-круглое лицо, в ее карие глаза под красивыми дугами бровей, в ее нежный рот с толстоватыми губами, как вы сразу увидите хотя и слабое, но явственное фамильное сходство с Марксом, которого друзья называли Мавром. Все же было видно, что Лаура — его дочь. В молодые годы она была тонкая, стройная, теперь же, в старости, отяжелела, расплылась, хотя и была по-прежнему «строгая, спокойная, с бледным лицом и нежными глазами, с тихим, слегка приглушенным голосом». Молодая, совсем не светская, немного потерявшаяся оттого, что разговаривает с дочерью великого Маркса, стесняясь своего пыльного от велосипедной езды костюма и дешевой шляпки, Крупская сначала никак не могла найти тон, чувствовала себя провинциалкой. «В смущении, — вспоминает она, — я лопотала что-то нечленораздельное об участии женщин в революционном движении, о России; она отвечала, но разговора настоящего как-то не вышло».

Представляю себе, как радушная и гостеприимная, но по-парижски сдержанная с новым человеком мадам Лаура Лафарг водила русскую революционерку-марксистку по парку, показывая ей сельские живописные виды, такие типичные для Иль-де-Франс: Сена, которая, отражая яркосинее сентябрьское небо и разноцветные лодки спортсменов-«лягушатников», блестела, извиваясь между тростников, а на противоположной стороне виднелся лес, но не синий русский еловый лес, а бледно-зеленый, пронизанный теплыми солнечными лучами, веселый французский лиственный лес Коро и барбизонцев; и видно было, как французские деревенские мальчишки в беретах спибают палками с деревьев настоящие — не дикие — каштаны и набивают ими карманы своих плисовых штанов; а в небе стоял еще совсем белый, еле заметный дневной месяц. Лаура

Лафарг показала Крупской свой фруктовый сад. Она подвяла с травы длинный шест с ножичком и срезала на самой верхушке старого, красивого дерева созревший плод, который, прошумев в листве, твердо стукнулся о землю. Лаура, глубоко вздохнув, медленно нагнулась и с доброй улыбкой подала Крупской шафранно-желтую айву.

— Мерси, мадам, — сказала Крупская.

— Камарад, — поправила Лаура.

— Камарад, — сказала Крупская, с восхищением глядя на эту старую, усталую женщину с такими нежными, лучистыми глазами и бровями, как у Маркса.

Женщины пожали друг другу руки. Это было не рукопожатие двух светских дам, а крепкое рукопожатие двух революционеров, членов одной партии. Потом они еще немного прошлись, как бы смущаясь своего порыва, и некоторое время стояли перед маленьким кирпичным домиком-садком, где за проволочной сеткой сидели, каждый в своем отделении, толстые кролики с дрожащими усами. Крупская шла, держа Лауру за руку, и смотрела в ее лучистые глаза, полные какой-то очень глубокой, молчаливой грусти, казавшейся тогда необъяснимой. А в доме перед камином спорили мужчины.

Еще прежде чем войти в комнату, Крупская услышала так хорошо ей знакомый, любимый смех Владимира Ильича — совсем по-детски чистосердечный, слегка гортанный и глуховатый. Он смеялся таким смехом, когда собеседник был ему симпатичен. Крупская услышала фразу, сказанную Лениным по-французски сквозь смех, своим грассирующим альтом:

— Вы это мастерски сформулировали в своем «Материализме Маркса и идеализме Канта» лет десять назад в «Le Socialiste».

— Я уже не очень-то помню, что я там такое сформулировал, — сказал голос Лафарга.

— Зато я хорошо помню.

— Oh là-là!

— Вы изволили написать, дорогой Лафарг, что рабочий, который ест колбасу и который получает пять франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что он (рабочий) питается свиным мясом, а также то, что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. «Ничего подобного, — говорит буржуазный софист, все рав-

но зовут ли его Пирроном, Юмом или Кантом, — мнение рабочего на этот счет есть его личное, то есть субъективное, мнение; он мог бы с таким же правом думать, что хозяин — его благодетель и что колбаса состоит из рублевой кожи, ибо он не может знать вещи в себе...» Это великолепно, восхитительно! — Ленин захохотал. — Вот именно: вещи в себе. Не мешало бы это хорошенько зарубить себе на носу Богданову и компании.

— Да, я писал нечто подобное, — сказал Лафарг. — Но я не помню, чтобы я писал о Богданове и компании.

— А о Богданове как раз писал я, — еще пуще хохотал Ленин.

— Он опять о своем Богданове! — в шутливом ужасе воскликнула Крупская, подымая вверх руки.

— О да, — подхватила Лаура, — колбаса в себе — это гораздо вкуснее и полезнее.

По-видимому, речь шла о новой книге Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», авторский экземпляр которой в мягком переплете лежал на столе. Высокий, элегантный Лафарг стоял, опираясь локтем о каминную доску, и его уже по-старчески сухощавая спина и великолепная голова с копной белоснежных волос на затылке отражалась в высоком каминном зеркале с докрасна потертой золоченой рамкой, между двух матовых абажуров старинных масляных ламп с медными цилиндрическими резервуарчиками. Вся фигура старого революционера с орлиным носом, огненными глазами креола, черными бровями, так чудесно контрастировавшими с белой как снег головой, как нельзя лучше соответствовала всей старофранцузской обстановке этого небольшого провинциального салона со старыми бумажными обоями, бархатной мебелью, кружевными салфеточками, фотографиями и дагерротипами в узеньких черных рамках с крестообразно выступающими концами или в овальных золоченых — со снимками Маркса, Энгельса в клетчатых панталонах, романтической Женни, Элеоноры — самой хорошенькой и вместе с тем, как это ни странно, больше всех сестер похожей на отца. Несмотря на преклонные годы, у Лафарга сохранились еще все повадки политического оратора, пламенного пропагандиста социализма; от него веяло духом Интернационала, Парижской коммуны. Иногда он выхватывал из жилетного карманчика серебряное пенсне и размахивал им, делая энергичные дирижерские жесты. Хирург, врач, аналитик, материалист до мозга костей, человек без предрассудков,

Лафарг чем-то напоминал тургеневского Базарова. Ленин любовался этим великолепным экземпляром человека, сидя в низком мягком кресле лицом к камину, откинув голову на кружевную салфеточку, пришпиленную к валику спинки, временами жмурясь, как на известной социал-демократической карикатуре под названием «Как мыши кота хоронили», где Ленин был изображен в виде кота, хватающего меньшевистских мышей. И профессорским жестом он потирал руки; он испытывал громадное удовольствие оттого, что разговаривает с таким приятным человеком, настоящим революционером-марксистом, которого глубоко и нежно уважал. Женщины вошли и сейчас же включились в разговор, без всякого труда поймав его нить. О, как много было высказано драгоценных мыслей в этом маленьком деревенском салоне и как важно было Ленину еще и еще раз проверить цепь своих доказательств в книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая для него все еще была раскаленной, как только что выкованная вишнево-красная подкова в щипцах кузнеца! Со всех сторон наступал идеализм, самый обыкновенный, старый, как мир, церковный, религиозный идеализм, вульгарная поповщина, берклианство, только надевшее на свое лицо более современную маску, которую нужно было во что бы то ни стало сорвать, разоблачить истинную суть всех этих бесчисленных махистов, бернштейнцев, богостроителей, эмпириокритиков, ревизионистов революционного материализма, а по сути дела, обыкновенных контрреволюционеров, полезших изо всех щелей, как тараканы. Для того чтобы совершить социалистическую революцию, надо создать истинно революционную марксистскую партию, а для того чтобы ее создать, нужно прежде всего очистить ее от всяческого идеализма.

— Мы боремся с малейшими проявлениями идеализма в нашей партии,— сказал Ленин.

— И вы правы! — воскликнул Лафарг, энергично выбрасывая в сторону руку, в которой держал пенсне.— Вы тысячу раз правы, дорогой товарищ Ильин!

Углубляясь в самую суть вопроса об организации настоящей, подлинно революционной русской рабочей партии, доходили до самых глубоких социальных, философских корней.

— Оторвать движение от материи равносильно тому, что оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, то есть пе-

рейти на сторону идеализма,— говорил Ленин, засовывая руки в карманы и вытягивая ноги,— тот фокус, который продельвается обыкновенно с отрицанием материи, с допущением движения без материи, состоит в том, что умалчивается об отношении материи и мысли.— Ленин сел на своего конька и стал волноваться. Он особенно сильно волновался всегда, когда доходил до этого места своего спора с идеалистами.

— О, материя и мысль! — воскликнул Лафарг и вдруг глубоко задумался. Лицо его стало отрешенным.

— Материя исчезла, говорят нам,— торопливо продолжал Ленин.— Материя исчезла, говорят нам, желая делать отсюда гносеологические выводы. «А мысль осталась?» — спросим мы. Если нет, если с исчезновением материи исчезла мысль, с исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения,— тогда, значит, все исчезло и (в том числе) ваше рассуждение как один из образчиков какой ни на есть «мысли» (или недомыслия).

Теперь Ленин как бы обращался к какому-то воображаемому собирательному противнику и громил его логикой и сарказмом, как делал это всегда на философских диспутах. В эти минуты он был неотразимо прекрасен. Крупская залюбовалась им.

— С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения,— вдруг негромко повторила Лаура и с грустной задумчивостью посмотрела на мужа. Он поймал ее взгляд и одобрительно, медленно кивнул своей романтической, серебряной головой.

— Да, мой друг, именно так. Исчезнут представления и ощущения.

Прощаясь с Лениным и Крупской у калитки, через которую они выводили на дорогу свои велосипеды, Лаура негромко произнесла, дотронувшись пальцами до плеча Лафарга:

— Скоро он докажет, насколько искренни его философские убеждения.

И они, Поль и Лаура, опять как-то странно переглянулись. Тогда ни Ленин, ни Крупская не обратили на это внимания. Но вот прошло не так много времени, и, возвратившись домой на Мари-Роз, Ленин вдруг узнал о смерти Лафаргов: они покончили с собой. Оказывается, эту новость принес днем Шарль Рапполорт, взволнованный,

убитый. Он крепко пожал руку Крупской и, не снимая мокрого пальто, выбежал вон. Крупская передала Ленину то немногое, что рассказал ей Шарль Раппопорт: сегодня утром садовник дома в Дравейле, зайдя в салон, обнаружил мадам и мосье Лафаргов мертвыми перед остывшим камином, каждого в своем кресле. Накануне они поздно вернулись из Парижа, где провели вечер. Они были нарядно одеты. Причина смерти — укол цианистого калия, который они, по-видимому, сделали друг другу. А может быть, Лафарг, как врач, сделал это один. Шприц лежал на камине.

Ленин никак не мог опомниться. Он все время ходил по своей маленькой квартирке, останавливался у окон, смотрел в непроглядную черноту ноябрьской ночи, то и дело потирал лысину то одной рукой, то другой.

— Невероятно, невероятно...

Слух уже распространился по Парижу. Прибежала в накинутах на плечи осеннем пальто с буфами Инесса, которая жила в соседнем доме по улице Мари-Роз, № 2. На ее великолепных волосах блестели ртутные капельки дождя.

— Вы слышали?

— Да, приходил Шарль.

— Подробности знаете?

— Укол цианистого калия.

— А письмо?

— Значит, есть письмо?

— Да, Лафарг оставил предсмертное письмо. Пишет, что решение умереть в семьдесят лет было принято им давно. Уйти из жизни, когда ему исполнится семьдесят лет, он решил потому, что считал эту дату как бы рубежом, за которым последует неумолимая старость, и он станет балластом для партии, так как у него нет детей и средств к существованию.

— Детей и средств к существованию... Балластом для партии...

Ленин всплеснул руками.

— Невероятно, невероятно... Инесса, ты понимаешь, что это чудовищно?

У них, у Инессы Арманд и у Ленина, были дружеские, товарищеские отношения: иногда они говорили друг другу «ты», иногда «вы». Чаще «вы». Но сейчас, как это всегда случалось, когда Ленин был взволнован, он обратился к Инессе на «ты».

— Но Лаура, Лаура...— проговорила Крупская и замолчала, не находя слов.

Глаза Инессы блеснули. Кажется, только глаза и волосы были у нее красивы. Но они делали ее неотразимой.

— Лаура в течение всей их совместной жизни,— строго сказала Инесса,— делила с Полем все трудности, радости, всю борьбу, и она с тою же верностью последовала за ним в его решении добровольно умереть. Иначе она не была бы дочерью Маркса.

— Он казался на десять лет старше ее,— заметила Крупская.

— Только казался,— сказала Инесса.— На самом деле он был старше ее всего на три года.

— Володя, ты помнишь, как он обращался к ней? — спросила Крупская.— Всегда с нежной улыбкой: «Лора, дочь моя...»

— Лора, дочь моя,— грустно сказала Инесса.

— Теперь их нет.— Крупская представила себе Дравейль, кроликов в кирпичном домике, айву, покрытую серебристым пушком, на ладони Лауры, пенсне Лафарга в откинутой руке...

В этот вечер была очередь Ленина готовить чай; он сунул спичку в горелку газовой плитки, послышалась тупая вспышка, и Ленин поставил на зеленоватое пламя парижского газа большой русский чайник. Потом они сидели на кухне и молча пили чай, как в ссылке, по-сибирски, вприкуску, представляя себе маленький салон в Дравейле, два кресла перед остывшим камином и в этих креслах — друг против друга — нарядных, неподвижных Лауру и Поля с открытыми, как бы искусственными глазами, устремленными друг на друга в нечеловеческой решимости умереть вместе и как бы в ожидании чего-то непонятного.

Разошлись рано. Завтра предстоял беспокойный день. Ленин лег, укрылся старым шотландским пледом, подаренным ему матерью, но понял, что не заснет. Часто в бессонные парижские ночи, по свидетельству Крупской, Ленин «зачитывался Верхарном». В последнее время Верхарн стал его привычкой. Еще недавно он был под обаянием Виктора Гюго. Огненные строфы «Возмездия» звучали в его душе. Теперь Эмиль Верхарн — великий новатор поэтической формы, революционер слова, обличитель капиталистического мира. Его образы-символы, доходя до

величайшего обобщения, становились вещественно видимыми, неотразимыми в своей материальности. Они не уводят читателя от действительности, не увлекают в зыбкий мир символизма, а помогают познать сущность вещи, проникнуть в ее философский смысл. Верхарн изображал мир, исторический отрезок времени, в котором жил и мыслил Ленин. «Лики жизни», «Города-спруты», «Многоцветное сияние», наконец, только что вышедшая книга «Державные ритмы».

Прикрыв маленькую электрическую лампочку газетой, чтобы свет не тревожил Крупскую, Ленин перелистывал Верхарна. Многие стихи он уже знал наизусть. Теперь его внимание снова задержалось на стихотворении «Статуя буржуа». Главные строфы этой маленькой поэмы, бьющие наповал, приводили Ленина в восторг своей мощью и точностью. Читая их в подлиннике, на французском языке, Ленин восхищался их каким-то неотвратимым ритмом, их бронзовым звоном:

Он глыбой бронзовой стоит в молчанье гордом,
Упрямы челюсти, и выпячен живот,
Кулак такой, что с ног противника собьет,
А страх и ненависть на лбу застыли твердом.

Это был давний, вечный враг Ленина — буржуа, империалист.

Как мастер, опытный в искусстве подавления,
Он тигром нападал и крался, как шакал,
А если он высот порою достигал,—
То были мрачные высоты преступленья.
...И вот на площади, над серой мостовою,
Он, властный, и крутой, и злобствующий, встал
И защищать готов протянутой рукою
На денежный сундук похожий пьедестал.

В Париже, где поставлено более восьмисот разных памятников и монументов, подобного памятника, конечно, не было. Это была могучая фантазия великого поэта. А напрасно! Ленин беззвучно засмеялся — зло, ядовито, с той иронией, которая иногда охватывала все его существо. А напрасно! Такой монумент в центре Парижа, например, где-нибудь посредине площади Согласия, против палаты депутатов, вместо Луксорского обелиска, очень бы не помешал как *memento mori* капитализму. А стихи Верхарна все текли и текли, потрясающие в своей силе и яркости. Ленин листал то одну книжку, то другую.

...В предместьях, где нужда кишит
И где слезами каждый шаг омыт,
Где перебранки вечные в лачугах,
Где взгляды ненависть скрестила, как клинки,
Где отнимают друг у друга
Кусок последний бедняки,
Где чадом горизонт закрыт —
Рычание печей звучит
Среди кирпичных стен заводов симметричных...

...Автоматично и без слов
Толпа рабочих у станков
Заботливо блюдет
Их равномерный, четкий ход,
Который полон исступленья злого,
Который жадными зубами в ключья рвет
Ненужное отныне слово.

...Здесь зори даже
Черны от слоя сажи,
Здесь солнце и в полдневный жар
Слепцом бредет сквозь чадный дым и пар.
Лишь час, когда потемкам в дар
Неделя принесет закатный шар,—
Как молот поднятый, на миг замрет
Дыханье мощного усилья,
И золотой туман над городом прострет
Свои сверкающие крылья.

За черным окном, в щелях жалюзи, с темной улицы Мари-Роз светился одинокий газовый фонарь, а над мансардами Парижа был простерт золотой туман и слышался не утихающий ни днем, ни ночью, странный, утомительный гул громадного города. Перед Лениным появлялись могучие фигуры — символы из «Державных ритмов»: Геракл, Персей, Мартин Лютер, наконец, Город с большой буквы:

....Расстаться был бы рад ты с вековым укладом,
Чтоб слиться наконец,— своих богов губя,—
С неистойвой душой, исполнившей тебя
Огромным электрическим зарядом.

Ленин чувствовал в себе этот огромный электрический заряд, не дававший ему спать, измучивший напряженный мозг бессонницей, мозг, устремленный в грядущее.

Грядущее! Я слышу, как оно
Рвет землю и ломает своды в этих
Городах из золота и черни, где пожары
Рыщут, как львы с пылающей гривой.

Единая минута, в которой потрясены века,
Узлы, которые победа развязывает в битвах,
Великий час, когда обличья мира меняются,
Когда все то, что было святым и правым,
Кажется неверным,

Когда взлетаешь вдруг к вершинам новой веры,
Когда толпа — носительница гнева, —
Сочтя и перечтя века своих обид,
На глыбе силы воздвигает право.

Ленин быстро листал страницы Верхарна, хотел и не мог забыть. И в это же время перед его глазами стояла все та же неподвижная картина: перед остывшим камином два пустых кресла. «С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения». Для Поля и Лауры теперь навсегда исчезли представления и ощущения. Исчезла комната, зеркало, камин, свет солнца, восходящего за Сеной, так нежно тронувший край кружевной оконной занавески, золотой голос утреннего петуха. Для них исчез мир. Но для нас, живых, они, Поль и Лаура, существуют в своей вечной неподвижности, бедные старики, которые так много сделали для счастья живых. Неужели они вот сейчас, в эту самую минуту лежат на мраморных плитах морга, обложенные кусками искусственного льда, и холодная вода методично каплет на их лбы? О, как трудно это себе представить! Ленин прислушался. Теперь к постоянному, почти неощутимому гулу Парижа прибавился еще какой-то другой, более определенный шум, грубый, как гул мельничных жерновов. Это по Порт-д'Орлеан сплошным потоком, как лава, текли повозки, фургоны, грузовые автомобили, тележки, двуколки с продуктами для Центрального рынка. Приближалось утро. Вот оно наконец забрезжило. Теперь в воздухе как бы вырос знакомый органный лес фабричных гудков, от которых тонко гудели оконные стекла и позванивал на лестнице велосипед Крупской. Внизу щелкнула задвижка в комнате консьержки, затем распространился тонкий, колониальный запах горячего кофе. Начался день, полный забот: экстренное партийное собрание, выработка общей линии поведения в связи со смертью Лафарга. Было принято решение, что на похоронах Лафаргов от имени Российской социал-демократической рабочей партии выступит Ленин. Запись ораторов происходила в редакции «Юманите» у Жореса, наплыв ожидался громадный. И нужно было не опоздать, чтобы попасть в списки выступающих. Прямо с партийно-

го собрания Ленин через весь город отправился в редакцию «Юманите», которая помещалась в то время недалеко от Биржи.

Площадь вокруг Биржи чернела толпой. Биржевой день только что кончился. Биржевики расходились завтракать. Вооруженные швабрами и метелками, сторожа в форменных тужурках с энергичной поспешностью выметали бумажный мусор, мыли гранитные ступени, круглые железные писсуары, запирали решетки, окружавшие здание Биржи. Площадь напоминала поле битвы, откуда уже успели вынести убитых и раненых, остались лишь ключья амуниции, и уцелевшие живые, шатаясь от усталости, перестраивают свои ряды и уходят на биваки, к палаткам маркитантов. Ленин торопился пробраться сквозь толпу. Его толкали, в знак извинения наскоро приподняв над вспотевшей, взъерошенной головой цилиндр или котелок. На углу среди фиакров и автомобилей он грудь в грудь столкнулся с человеком, который шел, ничего не видя перед собой, с остановившимися глазами, сжимая в руке биржевой бюллетень, и на его лице был написан ужас. Потухший, мокрый окурок сигары торчал изо рта, и капля пота текла из-под цилиндра по лбу, по носу... Вся эта картина, как бы стремительно и неряшливо написанная пером Эмиля Золя, стояла перед Лениным во всей своей обнаженной неприглядности, казавшейся особенно мерзкой и оскорбительной в этот траурный день, сделавший Париж похожим на мокрый газетный лист с сетками траурных клише и полосками некрологов.

В начале 30-х годов, однажды поздней осенью я зашел в редакцию «Юманите», для того чтобы пожать руку Марселю Кашену, с которым я познакомился в Москве, в садике Дома Герцена. Он тогда редактировал «Юманите». Кажется, газета помещалась в том же самом доме, что и до первой мировой войны, а Кашен занимал кабинет Жореса, сидя за большим письменным столом, спиной к большой политической карте Европы, претерпевшей со времени Жореса так много трагических перемен.

Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних,
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта.

Пока я, по парижскому обычаю, не снимая макинтоша и присев боком на край редакторского стола, рассказывал

Кашену о наших пятилетках и о чудесах строительства гигантского Магнитогорска, где я провел последние четыре месяца в качестве специального корреспондента, а он время от времени с загоревшимися глазами восклицал: «О ля-ля! Если бы это видел наш Ленин!» — в кабинет запросто, как старый товарищ, вошел бравый старик метранпаж в традиционной синей, крепко накрахмаленной рабочей блузе, из-под которой выглядывал твердый воротничок с шелковым галстуком. У него в руках были сырые газетные гранки с крепко вдавленными оттисками строчек и большая типографская щетка, на весь кабинет распространявшая какой-то волнуяще-редакционный, резкий запах керосина. Слушая мой рассказ, Кашен быстро делал на полях гранок корректурные иероглифы, а старый метранпаж сел на другой угол редакторского стола и, дружески положив на мое плечо смуглую руку с тонким, стершимся обручальным кольцом на безымянном пальце, кивал головой с редкими, напوماженными черными волосами, аккуратно расположенными по всей лысине.

— Ça va bien! C'est une grande victoire du communisme mondial. Не так ли, товарищ? Завтра мы даем о Магнитогорске в «Юма» большую информацию. Вы знали товарища Ленина? — спросил он меня.

— К сожалению, лично не приходилось.

Старый метранпаж сочувственно посмотрел на меня.

— А я видел Ленина. Он однажды заходил к нам в «Юма», к бедняге Жоресу. Но не застал. Бедняга Жорес в это время как раз завтракал. И Ленин пошел к нему в кафе «Дю Круассан». Вы должны гордиться вашим Лениным, — со строгостью заметил он. — Это был великий человек; гораздо более великий, чем наш Робеспьер и, может быть, даже чем Жан-Жак.

— А я его прекрасно знал, — сказал Кашен, нежно улыбнувшись из-под своих нависших бровей. — Мы с ним были большие друзья. Это был острый человек, настоящий революционер... И вместе с тем парижанин... О, если бы ему удалось увидеть окончательный триумф своих идей в Советской России!

...Мне легко было представить темный парижский день конца ноября 1911 года, пустые редакционные коридоры и мраморную зашарканную лестницу, покрытую клочьями грязного газетного срыва, по которым с сырым

свернутым зонтиком под мышкой бегал Ленин, разыскивая Жореса и вдыхая теплый воздух, поднимающийся откуда-то снизу, из линотипной: острую смесь горящего светильного газа, расплавленного металла стереотипов, типографской краски, мазута. Не найдя Жореса в редакции, по совету метранпажа Ленин поспешно отправился в кафе «Дю Круассан», где Жорес всегда завтракал.

Ленин нашел Жореса внизу переполненного зала, на его обычном месте, возле громадного окна, с одной салфеткой, разложенной на коленях, а другой — завязанной высоко под бородой. Жорес кончал завтракать и намазывал острым ножичком кусок очищенного от корочки камамбера на хрустящую корку хлеба.

— А, дорогой Ленин! — воскликнул он и с живостью положил обе салфетки на столик. — Рад вас видеть. Садитесь. Но какая грустная встреча, не правда ли? Наш друг Лафарг ушел от нас, кто бы мог подумать? С этим трудно примириться.

— Я заходил к вам в «Юма», — сказал Ленин.

— Я завтракал. Но я уже кончил, — ответил Жорес. — Может быть, чашечку черного кофе? — спросил он Ленина.

Ленин отказался. У него было еще много дел. Он сел боком на стул, подвернул под себя ногу и коротко объяснил цель своего визита.

— Я прошу слова от имени Российской социал-демократической рабочей партии. Вот мои полномочия.

Ленин положил на столик бумагу.

— У нас громадный список ораторов, мы очень стеснены, — сказал Жорес, — но вам, как представителю великой революционной России, конечно, будет предоставлено слово на похоронах несчастных Лафаргов. Только не слишком длинно!.. — умоляюще сказал Жорес. Он вынул из кармана записную книжку и вписал туда несколько слов. — Но вечером, дорогой Ленин, я прошу вас все-таки еще раз зайти ко мне в «Юманите», чтобы оформить все строго официально. Итак, до вечера.

Они попрощались. Ленин торопился. Жорес увидел сквозь мокрое стекло витрины, возле которой он сидел, как на улице появилась маленькая фигура лидера русских социал-демократов Ленина и как он быстро прошел мимо ларька, где бородатый нормандец в клеенчатой зюйдвестке продавал разложенные в плоских ящиках, среди лимонов, водорослей и мха, устрицы, розовые креветки,

чернильно-черные морские ежи, мидии, бургундское эскарго, и ветер качал над ним декоративный морской фонарь и спасательный круг с надписью «Устрицы». Жорес видел, как по стеклу витрины извилисто текли мелкие капли ноябрьского дождя, и это была та самая витрина, сквозь которую в июле четырнадцатого года выстрелом из револьвера он был убит, в то время когда наливал себе в стакан из маленького графина красное бордо.

Время было насыщено трагическими событиями: гибель «Титаника», выстрел в Сараеве, убийство Жореса, начало первой мировой войны, все последствия которой нельзя было тогда даже вообразить.

Недавно я зашел в знаменитое кафе «Дю Круассан», где был убит Жорес, и видел на стене дома мраморную доску с именем Жореса, а также рельефное изображение фригийского колпака с раскрашенной трехцветной кокардой, похожей на маленькую стрелковую мишень, и буквами «R. F.» — Републик Франсез.

Вечером Ленин еще раз отправился в «Юманите», чтобы подать официальное заявление, но только поздней ночью, и то с большим трудом, смог попасть туда, так как на улице перед редакцией уже собралась громадная толпа. Это была тревожная, траурная ночь. Остаток ее Ленин провел дома на Мари-Роз, работая над текстом своего завтрашнего выступления. Он отлично владел французским языком, но на этот раз сначала решил написать по-русски. Инесса переводила на французский. Она знала французский лучше Ленина. Это был ее родной язык. Ленин очень щепетильно относился ко всем своим публичным выступлениям на иностранных языках, в особенности же к этой речи на похоронах Лафаргов: когда предстояло выступить перед лицом всего революционного Парижа, язык его речи должен быть безукоризненным.

В воскресенье 3 декабря на кладбище Пер-Лашез с раннего утра из трубы крематория уже густо полз черный, жирный каменноугольный дым, смешиваясь с низкими городскими тучами и черной сетью мелкого дождя, зарядившего надолго. В подвале крематория, в печах бу-

шевало адское пламя раскаленного дробила антрацита, бежали синие волны газа, и все было готово для того, чтобы испепелить трупы двух атеистов.

Траурные, черные колесницы, покачиваясь на высоких рессорах, одна за другой въехали в ворота Пер-Лашез. Качались круглые французские венки с красными муаровыми лентами. За колесницами шел весь революционный Париж, десятки тысяч французских пролетариев — фобуры Сен-Дени, Сент-Антуан, Бельвиль, Иври, Батиньоль, Монмартр — под красными знаменами, делегаты международного социализма, среди которых между Крупской и Инессой Арманд с обнаженной головой шел сосредоточенный Ленин. Зал крематория не мог вместить всего народа, и траурный митинг прошел под открытым небом по дороге в колумбарий. Перед темной, неподвижной толпой, окружавшей со всех сторон траурное возвышение, выступали Каутский, Брак, Эдуард Вайян, Харди, Жорес — самые блестящие ораторы мира. Когда очередь дошла до Ленина, он решительно шагнул вперед и остановился на краю помоста. Он держал в руке сложенный пополам листок из блокнота, помявшийся в кармане, с французским текстом речи, но ни разу не взглянул на него. Ализариновые чернила автоматической ручки расплылись под дождем, пачкали пальцы фиалковыми пятнами.

— Товарищи! — раздался в тишине небольшой грасирующий голос Ленина. — Я беру слово, чтобы от имени Российской социал-демократической рабочей партии выразить чувство глубокой горести по поводу смерти Поля и Лауры Лафарг.

Ленин усилил голос, соразмеряя его с величиной толпы, наполнявшей почти все громадное кладбище, расположенное на холмах. Быть может, впервые в жизни Ленину приходилось выступать под открытым небом перед таким громадным скоплением народа, при монотонном шуме затяжного осеннего дождя, который упруго барабанил по раскрытым зонтикам, шуршал по красным знаменам, потемневшим от влаги. Дождь дымился в черных ветвях кипарисов, пробежал по мраморным крышам часовен и мавзолеев, по готической усыпальнице Элоизы и Абельяра, по крестам, обелискам, скамейкам и статуям этого безмолвного города мертвых, по его тесным улицам, откуда доносился тонкий, настойчивый запах гниющих георгинов и хризантем. Голос Ленина звучал над живыми

и над мертвыми. Кто-то раскрыл над обнаженной головой Ленина зонтик, и капли дождя падали с его черных спиц на бумажку в руке Ленина.

— Сознательные рабочие и все социал-демократы России еще в период подготовки русской революции научились глубоко уважать Лафарга как одного из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма, столь блестяще подтвержденных опытом борьбы классов в русской революции и контрреволюции.

Голос Ленина еще усилился. Теперь в тишине этого громадного траурного митинга каждое слово Ленина долетало до самых отдаленных уголков Пер-Лашез.

— Под знаменем этих идей,— говорил Ленин,— сплотился передовой отряд русских рабочих, панес своей организованной массовой борьбой удар абсолютизму и отстаивал и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии вопреки всем изменам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии.— Тут Ленин непроизвольно бросил быстрый взгляд на Каутского.

Ленин сделал небольшую паузу. Он видел перед собой парижский пролетариат, его боевые красные знамена, быть может те самые, которые некогда развевались на баррикадах Коммуны, он видел аллеи кладбища, где шли последние бои коммунаров с версальцами. Быть может, в этот миг в сознании Ленина мелькнуло, как снаряды шестиорудийной батареи версальцев, установленной на Тронной площади, громят ворота Пер-Лашез. Летят щепки, камни, куски железа. Огонь бьет в глаза. Преодолевая героическое сопротивление коммунаров и слабый огонь их митральез, версальцы врываются в глубину кладбища. В течение двух часов коммунары вели ожесточенный бой буквально за каждый памятник и каждую могилу. Как ясно представлял себе Ленин теперь, стоя на траурном помосте, страшное кровопролитие, происходившее *тогда среди этих самых* склепов и обелисков, белевших перед ним в черной зелени кипарисов... Дальше, среди голых зимних деревьев, он угадывал оббитую пулями стену, из которой как бы выступали раскинутые крестом руки трагической женщины и гордо закинутые головы расстрелянных коммунаров. Все это было так недавно! Ленин чувствовал, как из толпы на него смотрят старые парижские коммунары, а один из них — знаменитый Эдуард Вайян, парижский корреспондент Маркса, делегат по просвещению Коммуны, друг знаменитого поэта, автора

«Интернационала» — Эжена Потье, друг Курбе, Эдуарда Мане, Коро, Милле, Домье и других деятелей Коммуны — знаменитых французских художников, реформатор системы народного образования Франции, — стоит теперь рядом с ним на траурном помосте в старомодном сюртуке — рукава с буфами, в узком черном галстуке, — с гордой, поседевшей головой, блистающей каплями дождя. Ленин и Вайян — две эпохи — стояли рядом друг с другом в этот траурный день похорон Лафаргов.

— В лице Лафарга, — продолжал Ленин, — соединились — в умах русских социал-демократических рабочих — две эпохи: та эпоха, когда революционная молодежь Франции с французскими рабочими шла, во имя республиканских идей, на приступ против империи, и та эпоха, когда французский пролетариат под руководством марксистов вел выдержанную классовую борьбу против всего буржуазного строя, готовясь к последней борьбе с буржуазией за социализм.

Ленин уже полностью и безраздельно овладел вниманием толпы. Все глаза ее были прикованы к небольшой, энергично подвижной фигуре этого еще не вполне разгаданного русского лидера, который, делая сдержанно-страстные жесты, лишённые какого бы то ни было расчета на эффект, так просто, точно и вместе с тем с такой экспрессией раскрывал перед толпой самую суть мирового политического положения.

— Нам, русским социал-демократам, испытывающим весь гнет абсолютизма, пропитанного азиатским варварством, и имевшим счастье из сочинений Лафарга и его друзей почерпнуть непосредственное знакомство с революционным опытом и революционной мыслью европейских рабочих, — нам в особенности наглядно видно теперь, как быстро близится время торжества того дела, отстаиванию которого Лафарг посвятил свою жизнь.

Теперь в словах этого маленького, скромного русского лидера звучало пророчество. Ленин совсем просто, как будто речь шла не о величайшем историческом открытии, а о самой обыкновенной, всем известной вещи, произнес пророческие слова:

— Русская революция открыла эпоху демократических революций во всей Азии, и восемьсот миллионов людей входят теперь участниками в демократическое движение всего цивилизованного мира. А в Европе все больше множатся признаки, что близится к концу эпоха

господства так называемого мирного буржуазного парламентаризма (Жорес неодобрительно помотал головой)... чтобы уступить место эпохе революционных битв организованного и воспитанного в духе идей марксизма пролетариата, который свергнет господство буржуазии («Не так скоро, не так скоро», — пробормотал Каутский, сердито взглянув на Ленина)... и установит коммунистический строй.

С этими словами Ленин решительно стряхнул пальцами капли дождя с бархатного воротника своего пальто и отошел в сторону. Он кончил. Коммуна, раздавленная и расстрелянная сорок лет тому назад на кладбище Пер-Лашез, вновь провозглашена на этом же самом месте.

С кладбища возвращались домой на метро, когда уже совсем стемнело. Наступили так называемые часы «пик». Нужно было пересечь почти весь город. Страшно устали. Пересаживались на станции «Реомюр — Севастополь». Толпа стиснула их и потащила за собой по грязно-кафельным подземным коридорам, по темным каменным лестницам, поблескивающим под ногами, как бы посыпанным селитрой. Они шли, подчиняясь приказаниям многочисленных надписей и стрелок. Тяжелый углеродистый воздух, то жаркий до головокружения, то сырой, холодный, врывается откуда-то из боковых ходов и проносился по бегущей толпе, которая вдруг останавливалась перед шипящими пневматическими дверцами; они неотвратимо медленно закрывались перед самой грудью, не пуская на перрон опоздавших к очередному, быстро приближающемуся поезду. Щелкали громадные никелированные щипцы в подагрических руках старух контролерш, пробивая картонные билеты с буквой «v», и из щипцов все время сыпались на пол кружочки и полумесяцы, устилая каменный пол безрадостным конфетти. А старуха контролерша, сидя на складном стульчике, все щелкала и щелкала щипцами — младшая парижская сестра Парки, — как бы «считая дни и не давая отсрочки». Подошел поезд. Пять вагонов. Средний, полупустой, белого цвета — первого класса. С тугим пневматическим шипением двери плавно закрылись; сами собой, со стуком заперлись медные щеколды; поезд помчался, вагон мотало, валя на поворотах пассажиров друг на друга,

сбивая с ног, как кегли. Но Ленину это, видимо, даже нравилось: быстро, сравнительно недорого, сердито. Демократично. Правда, тесновато и могло бы быть дешевле, но ничего не поделаешь: капитализм. Многомиллионный пролетарский город. Столица мира. Для того чтобы угнаться за потребностями его быстрорастущего населения, необходимо плановое социалистическое хозяйство. Капиталистическая анархия промышленного производства не угонится. А вообще-то метрополитен — вещь невредная. Когда русский пролетариат прогонит царя и возьмет власть в свои руки, одним из первых мероприятий должна быть постройка в наиболее крупных рабочих центрах хорошего, удобного, быстрого и дешевого метрополитена. Кое-чему не мешало бы поучиться и у буржуазии. Например, народное питание. Побольше всевозможных демократических закусовых, быстро, ресторанчиков, молочных. На каждом предприятии. Цены по себестоимости. Дешево и сердито. И женщинам станет легче. Не маяться же всю жизнь у плиты! Побольше дешевых механических прачечных: не гнуть же всю жизнь спину над корытом! Хорошо бы и громадные универсальные магазины. С минимальной наценкой. С кредитом. Пролетарские «О-Прентан», «Самаритен», «Галерея Лафайета». Отлично бы!

Ленин уже не думал о похоронах Лафаргов. Как всегда, его мысль мчалась вперед. Крупская вернула его мысли к сегодняшнему дню:

— Володя.

— Что?

— Ты обратил внимание, как смотрел на тебя Жорес, когда ты прошелся насчет либеральной буржуазии?

В грохоте поезда Ленин не услышал. Приложил руку к уху, наклонив голову к Надежде Константиновне. Она громко повторила свои слова. Ленин усмехнулся. Глаза его по-боевому, остро и непримиримо блеснули.

— Да и Каутский тоже! — крикнул он в ухо Крупской.

Надежда Константиновна победно улыбнулась. Глаза Ленина погасли: вспомнилась поездка в Дравейль. Маленькая гостиная. Камин. Ленин вздохнул.

— Да, Надюша. Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарг.

Несмотря на шум в вагоне, Крупская поняла слова Ленина. Грустно покачала траурной шляпкой. Шипели, открываясь и закрываясь, пневматические двери. Вхо-

дили и выходили люди. Трудящиеся люди Парижа. Рабочие в синих блузах, бедные студенты в беретах, девушки из больших магазинов с полосатыми коробками в руках. У одной из них на пальчике лопнула лайковая перчатка, напоминая треснувшую фисташку. За окнами проплывали названия знакомых станций, выложенные белыми кафельными плитками по синему: «Halles», «Châtelet», «St. Michel», «Odéon», «St. Sulpice», «Montparnasse», целая полоса парижской жизни. «Vavin, Raspail» — и вот теперь эта полоса кончается навсегда, уходит в прошлое, в историю. Париж уже изжил себя. Выгорел. Он уже не принесет ничего делу, которому Ленин посвятил свою жизнь. Пора врать с Парижем. После смерти Лафаргов почему-то это стало особенно ясно. «Засиделись мы здесь, в эмигрантском болоте, засиделись».

— А небось, Надюша, у нас в России сейчас настоящая зима. Крепкая, ядреная. Вот бы на конечках прокатиться. Самый раз! Ась, Надюша?

А станции все летят и летят. Как жизнь. «Denfert-Rochereau», «Mouton Duvernet», наконец, вот она, «Alésia», — это уже последняя. Здесь выходить.

— Надя, Инесса, не зевайте, чтобы не прищемило дверью.

Скоро после этого он уехал из Парижа в Прагу. Потом еще поближе к России — в Краков, в Поронино, навстречу Октябрю, навстречу Советам, навстречу своей неизмеримо громадной, вечной, незакатной славе, о которой он ни разу в жизни даже не подумал, навстречу своей смерти, столь же простой, величественной и прекрасной, как и вся его жизнь. Думал ли он, уезжая из Парижа, что жизни его остается всего лишь каких-нибудь двенадцать лет? Может быть, и думал, потому что один лишь он чувствовал, знал, как страшно, нечеловечески страшно он устал телесно.

«Ленин был физически крепкий, сильный человек, — пишет Н. А. Семашко. — Его коренастая фигура, крепкие плечи, короткие, но сильные руки — все обличало в нем недюжинную силу. Ленин умел, поскольку он мог, заботиться о своем здоровье. Поскольку мог, то есть поскольку позволяла это его чрезмерная напряженная работа. Он не пил, не курил. Ленин был физкультурником в самом точном смысле слова: он любил и ценил свежий воз-

дух, моцион, прекрасно плавал, катался на коньках, ездил на велосипеде. Будучи в петербургской тюрьме, Ленин каждый день делал гимнастику, шагал из конца в конец камеры...

Если бы не железное здоровье Владимира Ильича, он не выдержал бы тяжелого ранения в результате покушения эсерки.

Ранение было исключительно тяжелое. Пуля, пронизавшая грудную клетку, залила ее кровью, порвав крупные сосуды. Пуля, попавшая в шею, прошла настолько близко от жизненно важных сосудов (сонная артерия и вена), что Владимир Ильич первые дни выделял с кашлем кровяную мокроту. И тем не менее уже через несколько дней Владимир Ильич почувствовал, что он выздоравливает, и был оптимистически настроен. Несмотря на мольбы врачей повременить с занятиями, Владимир Ильич начал рано заниматься и на упреки отвечал, улыбаясь: «Переумудрили»...

Считается, что на Ленина было совершено два или три покушения. По-моему, их было больше, но это еще надо проверить. Во всяком случае, с семнадцатого года за ним охотились враги, его травили. Пуля Каплан была отравлена. Сколько это стоило ему здоровья, нервов!

«Последняя болезнь Владимира Ильича началась с незначительных симптомов: у него закружилась голова, когда он встал с постели, и он должен был ухватиться за стоявший рядом шкаф. Врачи, тотчас вызванные к нему, сначала не придали значения этому симптому...

...А Владимир Ильич стал грустен и задумчив; он предчувствовал беду и на все утешения отвечал: «Нет, это первый звонок».

К несчастью всего человечества, прогноз его оправдался».

Не так давно, в январе, мы гуляли по Парижу, и, как всегда, я представлял себе на этих улицах живого Ленина. С утра мы уже успели побывать во многих ленинских местах. Посидели на скамеечке в парке Монсури, где любил сидеть Ленин, когда жил на Мари-Роз. Он обыкновенно устраивался с книжкой возле небольшого искусственного каскада и под шум игрушечных водопадиков, стекавших в пруд, где грациозно плавали белые и черные лебеди, думал свои великие думы.

Доживу ли я до того дня, когда здесь будет поставлен памятник Ленину, сидящему с книжкой на коленях возле вечно живой, вечно текущей воды?

Однажды на вопрос М. Эссен, что ей следует посмотреть в Париже, Ленин сказал:

— Прежде всего пойти к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез, в Музей революции тысяча семьсот семьдесят девятого года и в Музей восковых фигур Гревен. В смысле художественного выполнения Музей, говорят, немногого стоит, но по содержанию интересен... Ну, насчет музеев, выставок и всего прочего обратитесь к Жоржу, он все это здóрово знает и даст вам все нужные указания.

«Жорж» — это Плеханов.

Ленин во всем искал только революцию. Остальное... Остальное — «обратитесь к Жоржу».

Мы снова — в который раз! — прошли по аллеям Пер-Лашез, постояли возле Стены коммунаров. И снова мне представилось: дождливый декабрьский день, масса блестящих зонтиков и на краю траурного помоста, среди красных знамен и цветов, знакомая фигура Ленина, простершего над молчаливой толпой свою крепкую, короткую руку, как бы властным жестом — таким знакомым! — зовущую народы мира сквозь смерть, сквозь огонь революций и войн к миру, к счастью, к жизни. Потом мы побывали в музее Гревен, и я как бы воочию увидел Ленина перед восковыми фигурами Великой французской революции. Вот он, прищурив глаза, рассматривает растрепанную куклу — мадам Роллан, отпрянувшую с ужасом на лице в темный угол искусственной комнаты, в то время как в неестественно черном окне мелькали красные фригийские колпаки санкюлотов и протягивалась на конце полосатой пики мертвая голова казненного аристократа. А вот Марат в ванне, похожей на башмак, и Шарлотта Корде в чепчике, с кинжалом в восковой руке. Вот Ленин с недоброй усмешкой смотрит на музыкальный вечер в Мальмезоне, на фигурку великого ренегата французской революции, в белых лосинах, туго натянутых на крепкие ноги, в белом пикежном жилете и в синем фраке, который слушает музыку на фоне красивой летней ночи,

видной в открытых дверях балкона. Вот Ленин стоит, рассматривая кровать под кисейным пологом от москитов, белую голову мертвого императора на подушке и большую треугольную шляпу на тумбочке. В музее Карнавала с такой поразительной ясностью я видел Ленина среди самодельных пик 1789 года, революционных воззваний, декретов, бумажных денег, ветхих треуголок Национальной гвардии с кокардами, похожими на маленькие мишени. Я представлял, как Ленин трогает круглым носком своего ботинка белый камень Бастилии — единственное, что уцелело от легендарного тюремного замка французских королей. Наконец, мы зашли в Консьержери, и я опять представил себе Ленина среди железных решеток, в сумрачных казематах, перед стеной, где на вечные времена приклепан нож гильотины, тот самый, настоящий, подлинный, срубивший так много виновных и невинных голов, чем-то отдаленно напоминающий лемех какого-то странного и страшного плуга.

Ленин постучал ногтем по старому железу, и оно ответило еле слышным, угрюмым звоном далекого колокола, а потом Ленин прошел по кирпичному полу узкой камеры, где сначала на коленях молилась перед казнью Мария-Антуанетта, а потом, мучаясь от страшной боли, лежал на грубой деревянной скамье сам Робеспьер, худенький самолюбивый молодой человек с раздробленной челюстью, ожидая своего смертного часа. Ленин молчаливо потрогал решетку, которую некогда изо всех сил тряс конопатый гигант Дантон, крича на всю тюрьму своим львиным голосом: «Граждане! Революция сошла с ума!»

В районе Одеона, на бульваре Сен-Жермен — через улицу — против памятника Дантону, зовущему вперед национальных гвардейцев, стреляющих с колена, есть старинные ворота, ведущие в узкий средневековый двор. В этом сыром и темном дворике, где никогда не просыхают каменные плиты, друг против друга стоят два ветхих флигеля. В одном помещалась типография, где Марат печатал своего «Друга народа», а в другом, на втором этаже, за маленькими, как бы клетчатými окошками, жил изобретатель гильотины, доктор Гильотен. Этот уголок

старого революционного Парижа некогда, в моей молодости, показал мне Шарль Раппопорт, великий знаток истории Парижа. Насладившись моим восхищением, он сказал: «Я водил сюда Ленина. Он был в восторге и потом часто повторял: «Справа Марат, слева Гильотен. Это великолепно!» Здесь же, в районе Одеона, на улице Старой Комедии, среди закоулков дряхлого Парижа, Раппопорт показал мне самый старый ресторан в мире — «Прокоп», открытый в 1689 году. Мы зашли в него и выпили по рюмке мандарен-кюрасо со льдом — угощал Шарль Раппопорт. На стенах висели портреты самых выдающихся посетителей этого заведения: Вениамиан Франклин, Жан-Жак Руссо, Вольтер, д'Аламбер, Мольер, Дидро, Дантон, Марат, Робеспьер...

— Не хватает портрета Ленина, — сказал Шарль Раппопорт, — но я не сомневаюсь, что он когда-нибудь здесь появится, потому что Ленин бывал в этом кафе...

Был теплый день парижской зимы, которая шла на убыль и уже еле заметно, тонко дышала весной, запахом пармских фиалок, синевших кое-где на углах в плоских корзинах цветочниц: маленькие круглые букетики, тесно прижавшись друг к другу, как бы хотели согреться среди все же еще очень зимнего города. Весь Париж был в нежной опаловой дымке, и шафранно-желтый кружок январского солнца с трудом проглядывал сквозь темно-перламутровые тучи над Луксорским обелиском на площади Согласия, над конями Марли, над голой, черной каштановой рощей в начале Елисейских полей, как бы нарисованной углем, над еле заметным вдалеке голубым силуэтом Эйфелевой башни. Есть в парижской зиме что-то китайское. Во всяком случае, я видел в январе в Пекине, над мраморными мостиками и ажурными столбиками площади Тяньаньмэнь, рядом с крышей знаменитых ворот, точно такое же солнце — печальный кружок, как бы очень тщательно нарисованный желтой тушью... И тени еще обнаженных деревьев, и во всем тончайшее предчувствие весны. В такие дни в Париже прохожие более охотно, чем всегда, останавливаются возле витрин эстампных магазинов, перед выставленными картинами. Вы идете по улице Бозси, как по залам Музея новейшей живописи. Моды менялись, но не слишком быстро. В Париже моды меня-

ются, вопреки общепринятому мнению, очень медленно. Сначала барбизонцы, потом импрессионисты, потом постимпрессионисты. Пожалуй, на этом мода и остановилась. Абстракционисты все никак не могут войти в моду. Их не любят. Очень возможно, они так и умрут в витринах эстампных магазинов парижской зимы. Ленин видел в витринах постимпрессионистов и Пикассо голубого периода. Пикассо до сих пор так же знаменит. Рисунок Пикассо — портрет советского космонавта Юрия Гагарина в крылатом шлеме, полуголубя-получеловека, выставлен в парижских витринах, напоминая, что в мире давно уже началась эпоха Ленина.

Как жаль, что Ленин не дожил до этих дней!

Над восьмигранным прямоугольником Вандомской площади, где возвышается «столбик с куклой Чугунной», возле самой фигурки императора в дубовом венке и тоге цезаря, плыло все то же солнце. Может быть, Ленин видел такое же солнце — холодное, без лучей, желтое солнце парижской зимы. Но, вернее всего, проходя по улице Мира, мимо витрин, в которых ослепительно блестели драгоценные камни стоимостью в тысячи, сотни тысяч, а даже, может быть, миллионы франков, среди всего этого оскорбительного, бессмысленного богатства, доведенного до полного идиотизма, Ленин видел перед собой Вандомскую площадь в дни Парижской коммуны, поваленную колонну и громадную чугунную тушу императора, которая лежала, продавив мостовую, и мешала движению через площадь — прямая, страшная, глупая. Дорого заплатил знаменитый художник, коммунар Курбе, председатель комиссии художников, созданной правительством Коммуны, один из главных инициаторов низвержения Вандомской колонны, за то, что так энергично, по-революционному расправился с памятником тирану, если уж не смог расправиться с самим тираном: в течение двух месяцев в невероятных условиях его гноили в тюрьме, его водили скованным по улицам Парижа, плевали ему в лицо. Ему предъявили иск в сумме свыше трехсот тысяч франков, и ему — славе Франции! — осталось одно — бежать за границу. Он скрылся в Швейцарии и умер в изгнании. Неужели судьба всех воистину великих и благородных людей, настоящих революционеров и патриотов — умирать в изгнании?

Ленин был человеком бесстрашным и, быть может, боялся лишь одного — остаться вечным изгнанником и умереть вдали от родины, которую он так беззаветно любил.

К счастью, этого не случилось. Скоро, даже гораздо скорее, чем он мог предполагать, Ленин вернулся на родину, и день его возвращения, когда прозрачной апрельской ночью при свете военных прожекторов, вырвавших из темноты его маленькую фигуру с протянутой вперед короткой рукой, окруженный толпами русского революционного пролетариата, стоя на башне броневика, он проехал через всю столицу государства Российского, стал первым днем провозглашенной им грядущей социалистической революции.

Желтое солнце парижской зимы медленно уходило за Триумфальную арку на площадь Звезды, уходило за Нейи, за обнаженные деревья Булонского леса, за готические крыши Сен-Клу на высоком берегу вечерней Сены. Мы шли по Парижу, иногда останавливаясь перед маленькими мемориальными досками с именами героев Сопротивления, украшенными букетиками цветов и пожелтевшими трехцветными лентами венков, превратившихся в проволочные скелеты — ужасные напоминания о немецком фашизме, в течение четырех лет терзавшем Францию. Каждая такая мраморная доска освящала место, где на черно-синей парижской мостовой пролилась драгоценная кровь патриота. Каждый букетик полузавядших цветов напоминал нам легенду о Габриэле Пери:

Гортензий голубой венок
Расцвел над ним бог весть откуда.

Когда мы подошли к Елисейским полям, погода вдруг испортилась. В один миг все вокруг потемнело. Возле «Фигаро» в лицо дунул резкий ветер. Это уже не было мягкое дыхание зимней Атлантики, а острый, пронзительный холод, принесенный откуда-то с далекого севера. Мы едва успели добежать до угла улицы Мариньян, как пошел снег — не тот мягкий, легкий парижский снег, который не жжет, а лишь нежно щекочет ресницы, а настоящий полярный снег, секущий лицо, как розга. Мы поспешили войти в угловое кафе и сели возле громадной витрины, за которой была видна улица, мутная от летящего

снега. Теперь Елисейские поля скорее напоминали какую-то большую московскую улицу в новом районе, может быть, на Юго-Западе или в Черемушках, где, по странной прихоти воображения, бежали в метели слишком легко одетые для такой погоды парижанки на гвоздиках каблучков, в высоких черных и белых прическах, с пугающими глазами, резко подрисованными жирным угольным карандашом, на нежных фарфоровых лицах, фиолетово озаренных огнями синема. Толпа бежала к входам в метро, и люди один за другим скрывались в его недрах, откуда, как из прачечной, вырывались клубы пара. Кафе быстро наполнилось посетителями, которые сбрасывали со своих шляп и макинтошей легкие куски снега, таившего на красных коврах и дорожках кафе. А за стеклянной плитой нашего громадного окна, среди сверкающих ламп Елисейских полей, продолжала неистовствовать метель, выпуская откуда-то сверху, с крыш семиэтажных домов, заряд за зарядом.

Было 21 января, годовщина смерти Ленина. Время снова потеряло надо мною власть, и я увидел Москву 1924 года, страшный январский день: сильную утреннюю оттепель, которая к вечеру превратилась в небывалый, лютый мороз, убивающий на лету птиц, падавших, как камни, на скамейки московских бульваров среди треска лопавшихся деревьев.

Жестокою стужу костры сторожили,
Но падала температура
На градус в минуту, сползая по жиле
Стеклянной руки Реомюра.

Бульвар, пораженный до центра морозом,
Деревьев артериями синий,
Уже не бисквитом хрустел, а склерозом,
На известь меняющий иней.

И, землю морозом сковав и опутав,
Хирурги хрустальной посуды
Выкачивать начали кровь из сосудов,
Чтоб стужей наполнить сосуды.

И вынули сердца таинственный слиток,
И пулю, засевшую слепо,
И мозг, где орехом извилины слиты,—
Поступков и совести слепок...

...Но я не пришел посмотреть и проститься:
Минута, навеки, и мимо...
Бывает, что стужею сердце, как птица,
Убито у двери любимой.

Бывает, что сердце становится слепо
И сил не хватает годами
Высокого лба, как отцовского sklepa,
Прощаясь, коснуться губами.

Вьюга бушевала. Вокруг пили кофе. Звенели ложечки.
И потом в дыму метели я увидел Красную площадь и
Мавзолей Ленина — сначала деревянный, а потом гранит-
ный — и услышал бой часов на Спасской башне.

История делает славу на ощупь.
Столетиями пробуя сплавы,
Покуда не выведет толпы на площадь
К отлитому цоколю славы.

Метель на Елисейских полях продолжала кружиться,
но вдруг совершенно неожиданно ветер упал, снег пре-
кратился, стало тепло. Мы вышли из кафе. На Елисейских
полях почти не было прохожих, только мчались потоки
автомобилей, отражая в своей лаковой поверхности волни-
сто льющиеся, светящиеся рекламы синема. На широком
тротуаре лежал тонкий слой хрупкого снега, уже таявшего
под ногами; снег был освещен неподвижным розовым за-
ревом «Лидо»; и тревожно бегал взад-вперед потерявший-
ся во время метели, остриженный по самой последней
моде черный пудель с длинными ляжками, оставляя на
девственно-белом тротуаре трефовые следы.

1960—1964

Москва—Переделкино

СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ

— Запейте водичкой. Вот так. А теперь спите спокойно. Я вам обещаю райские сны.

— Цветные?

— Какие угодно,— сказала она и вышла из палаты.

После этого начались сны.

Мы сидели под старым деревом на простой, некрашеной, серой от времени скамье где-то позади нашей станции, рядом со Святым колодцем, откуда по железной трубке текла слабая, перекрученная струйка родниковой воды, сбегая потом в очень маленький круглый пруд, на четверть заросший осокой, изысканной, как большинство болотных растений.

Недалеке стояла сосна, совсем не похожая на те мачтовые сосны, которые обычно растут в наших лесах, стесняя друг друга и безмерно вытягиваясь вверх в поисках простора и света, а сосна свободная, одинокая и прекрасная в своей независимости, с толстыми лироподобными развилками, чешуйчато-розовыми, и почти черной хвоей. И во всем этом пейзаже было нечто тонко живописное: в игрушечном прудике, превращавшемся во время короткого, теплого дождика в картинку, кропотливо вышитую бисером, в четырех закрученных облачках, которые ползли по голубым линейкам неба, как белые улитки, на разной высоте и с разной скоростью, но в одном направлении, а в особенности в фигуре старика, пришедшего к Святому источнику мыть свои бутылки.

Старик вынимал бутылки одну за другой из мешка, полоскал в воде и ставил шеренгой для того, чтобы они высохли, прежде чем он пойдет их сдавать в стационарный продовольственный магазин. Здесь были самые разнообразные бутылки — белые и зеленые — из-под вермута, зубровки, портвейна, «столичной» и «московской», кагора, рислинга, «абрау-каберне», «твиши», «мукузани» и многие другие — и среди них лилипутики четвертинок, как маленькие дети среди нищих, — и каждую из них старик тщательно полоскал снаружи и внутри и ставил одну возле другой, причем мы заметили, что, хотя ряд и удлинялся, количество бутылок в мешке не убавилось, как будто бы мешок был волшебный, и это нас немного беспокоило, подобно простому фокусу, который трудно разгадать.

Жена сказала, пожимая плечами, что это вовсе и не мешок, а самая обыкновенная прорва, в смысле прорва времени, попросту говоря — вечность.

Вечность оказалась совсем не страшной и гораздо более доступной пониманию, чем мы предполагали прежде.

Мы заметили над прудом крутой полукруглый мостик, который вместе со своим отражением составлял виньетку заглавного «О», и на этом мостике стоял другой старик — а быть может, и тот же самый, — но только с узкой, чрезвычайно длинной седой бородой и еще более узкими — как тесемки — усами, — старый китаец, одетый в шелковый бедный халат; его воронкообразная шапочка по форме и по ярко-оранжевому цвету напоминала перевернутую шляпку известного грибка лисички. Он низко держал в сморщенных старческих руках хрустальную мисочку, в которой плавала глазастая золотая рыбка цвета настурции. Старик предложил нам с церемонной вежливостью купить эту рыбку на обед, но так как он говорил на одном из неизвестных нам диалектов Южного Китая, то мы молча пошли дальше, а старик долго кивал нам вслед своей — в общем-то, еще совсем не старой — головой на тонкой фарфоровой шейке, в то время как появился еще один — третий! — старик, а может быть, все тот же самый — но на этот раз опять китаец — и шел по горизонту, держа на плечах коромысло с двумя мелкими плетеными корзинами, делавшими его похожим на весы.

Слишком большое количество стариков китайцев слегка нас встревожило — в особенности встревожил человек-

весы, — и мы поспешили покинуть эту прелестную местность, напоминавшую окрестности Куньмина, города вечной весны, и переселиться в другое место, быть может, куда-то в Западную Европу.

Куньмин — город вечной весны.

А старик — заметьте себе! — тем временем все поло-скал и полоскал свои бутылки, и в музыкальном бульканье воды мне чудились спорящие голоса.

— Здравствуйте. Как самочувствие?

Я уже был морально подготовлен ко всему и не слишком испугался.

Мне понравилось его почти юношеское лицо, узкое, с темными ласковыми глазами гипнотизера, которые проникновенно смотрели в меня как бы из прорези полумаски. Он осторожно, почти неощутимо, потрогал мои руки на сгибах, где мутно просвечивали голубые узлы вен.

— До завтра, — сказал он.

— Завтра — это только другое имя сегодня, — произнес я, повторяя чью-то чужую мысль.

Он или не оценил, или просто не понял моей излишне тонкой шутки, потому что ничего не ответил и как-то совсем незаметно исчез.

Так наступила пора великих превращений, как некогда сказал умирающий Гёте.

«Святой колодец» — название небольшого родничка вблизи станции Переделкино Киевской железной дороги, возле которого я обдумывал эту книгу и размышлял о своей жизни.

Первое время мы совсем не скучали. Мы опять любили друг друга, но теперь эта любовь была как бы отражением в зеркале нашей прежней земной любви. Она была молчалива и бесстрастна. Мы занимали, сообразно своему вкусу, не большой, но и не маленький пряничный домик в два этажа с высокой черепичной крышей и прелестным садиком, полным цветств. Перед ним рос постоянно цветущий конский каштан, который был, по крайней мере, в пять

раз выше дома. Для того чтобы увидеть все дерево целиком, от земли до кроны, нужно было отойти на сто метров, да и то начинала кружиться голова, а домик тогда казался совсем маленьким, просто игрушечным. Цветы сами по себе напоминали маленькие восковые деревца — елочки, — в известном порядке рассажены по всей кроне, которая была составлена из больших пяти-, семи- и даже девятипалых листьев, как будто бы тщательно нарисованных тонким английским графником-прерафаэлитом вроде Обри Бердслея. Ствол дерева был почти черный, даже; можно сказать, совсем черный, что еще сильнее подчеркивало восковую розоватость соцветий и полупрозрачную зелень кроны.

Я это все описываю так подробно потому, что теперь у меня совсем исправилось зрение, я давно уже не носил очков и видел все поразительно точно и далеко, как в юности, когда я мог с наблюдательного пункта вести пристрелку без бинокля.

Возле дома, как и подобает в цветных сновидениях, росло также несколько кустов породистой сирени, цветущей поразительно щедро, крупно и красиво. Мы не уставая восхищались оттенками ее кистей: густо-фиолетовыми, почти синими, лилово-розовыми, воздушными и вместе с тем такими грубо материальными, осязаемыми, плотными, что их хотелось взять в руку и подержать, как гроздь винограда или даже, может быть, как кусок какого-то удивительного строительного материала.

Вокруг, за низким сквозным заборчиком, выложенным из чугуно-багрового кирпича — через один, — было также много цветущей жимолости, коротко остриженного боярышника, крушины и еще каких-то красивых декадентских растений вроде араукарий или филодендронов. Посреди ровного газона стояли солнечные часы, которыми, впрочем, никто не интересовался.

Нам никто не мешал. Мы жили в полное свое удовольствие, каждый в соответствии со своими склонностями. Я, например, злоупотребляя своим сверхпенсионным возрастом, старался ничего не делать, а жена с удовольствием готовила мне на электрической плитке легкие, поразительно вкусные завтраки из чудесно разделанных, свежих и разнообразных полуфабрикатов, упакованных в целлофан, — как, например, фрикадельки из райских птиц и синтетические пончики. Мы также ели много полезной зелени — вроде салата, латука, артишоков, спаржи, пили

черный кофе. Нам уже не надо было придерживаться диеты, но мы избегали тяжелой пищи, которая здесь как-то не доставляла удовольствия. При одной мысли о свином студне или о суточных щах с желтым салом мы теряли сознание. Мы объедались очень крупной, сладкой и всегда свежей клубникой с сахаром и сливками, любили также перед заходом солнца выпить по чашке очень крепкого, почти черного чая с сахаром и каплей молока. От него в комнате распространялся замечательный индийский запах. Я же, кроме того, с удовольствием попивал холодное белое вино, пристрастие к которому теперь совершенно не вредило моему здоровью и нисколько не опьяняло, а просто доставляло удовольствие, за которое потом не нужно было расплачиваться. Мы также охотно ели мягкий сыр, намазывая его на хрустящую корочку хлебца, выпеченного не иначе как ангелами. Я уже не говорю о том, что рано утром мы завтракали рогаликами со сливочным маслом и джемом в маленьких стеклянных баночках, который напоминал зеленую мазь или же помаду.

Погода была всегда очень хорошая, не утомительная, чаще всего солнечная, теплая и ласковая, и от мокрой земли пахло весной.

Почти каждый день мы садились в небольшую машину и мчались по шоссе мимо странной живописи и графики дорожных знаков, которые, подобно работам абстракционистов хотя и не имели ничего общего с живописью, но тем не менее руководили нашим движением, предупреждая и давая понять условным языком своих ломаных линий, зигзагов, крючков, треугольников, разноцветных кружков и полосок обо всем, что подстерегает нас впереди, то есть в самом недалеком будущем. Курбе говорил: «То, чего мы не видим, несуществующее и абстрактное, не относится к области живописи». Это верно, но к какой-то области оно все же относится! Я думаю, к области новой — третьей — сигнальной системы, которая идет на смену устаревшей. «Только письмо и звук, — говорил Джон Бернал, отказывая цветам в этом праве, — воплощают мысль человека, а теперь счетные устройства и их коды могут материально воплотить человеческую мысль в совершенно новые формы, в какой-то мере заменить язык и даже пойти в своем развитии дальше языка».

Мы мчались мимо реклам, нарисованных светящимися красками, то и дело въезжая в зеленые тоннели вязов, смешивавших над нами свои таинственные кроны.

Сигналы из будущего неслись нам навстречу, предостерегая и предотвращая опасности, подстерегавшие нас за каждым поворотом времени.

На поворотах мелькали бело-черно-красные столбики, напоминавшие абстрактное изображение аистов, стоящих вдоль дороги.

У меня уже не болело плечо. Никогда не кружилась голова, не ломило затылок.

Жену тоже ничего не терзало. Мы почти никогда не спали, ни днем, ни ночью, а чаще всего сидели в старомодных креслах перед камином, где тлело громадное бревно, положенное косо. Она вязала. А я старался ничего не делать. Даже не думать. Я только смотрел в окно и собирал различные наблюдения, не имевшие никакой ценности: ни научной, ни художественной, ни философской. Так, например, я заметил, что из одной и той же почвы, почти из одного и того же места растут два совершенно различных растения — одно красивое и ценное, вроде конского каштана, другое некрасивое и дешевое, с плохой древесиной, вроде ольхи. Вообще я очень много наблюдал за материей, принявшей ту или другую форму. Я пришел к выводу, что не только содержание обуславливает форму, а еще что-то другое. Наблюдая за природой, я сделал вывод, что раз все, что мы видим, есть физические тела и как таковые имеют объем — тело дороги, тело кленового листа, многочисленные тельца песка (ибо каждая песчинка есть тело), даже тело тумана, — то и живописи в чистом виде не существует, она всегда лишь более или менее удачная имитация скульптуры.

Итак, пусть лучше вместо живописи будет раскрашенная скульптура, а дороги пусть лучше стоят где-нибудь на опушке леса, накрученные на громадные дощатые катушки вроде тех, на которые наматывают электрический кабель.

Я проводил время бесполезно, так как не стану утверждать, что занятие вопросами формы приносит пользу.

Даже очень красивый закат среди деревьев и колоколен имел не только цвет, но также форму, объем, вес, как будто был отлит из гипса, раскрашенного каким-нибудь посредственным пейзажистом.

Когда-то мы с женой дали слово любить друг друга до гроба и даже за гробом. Это оказалось гораздо проще, чем мы тогда предполагали. Только любовь приняла другую форму.

Я носил поверх свитера потертую, удобную куртку. И прочные башмаки. Жена одевалась, как и прежде, тоже во что-то шерстяное, серенькое, и в ее ушах ярко блестели различными цветами — от фиолетового до зеленого — очень маленькие брильянтовые сережки, еще не превратившиеся в чистый уголь. Часто мы совершали прогулки пешком, и тогда она надевала короткое кожаное пальто и красные перчатки.

Однажды на пешеходной дорожке мы встретили Джульетту Мазину с коротеньким зонтиком под мышкой и поздоровались с ней. Она нас не узнала, но улыбнулась приветливо. В другой раз мы увидели старичка в соломенной шляпе, который уступил нам дорогу и долго потом смотрел нам вслед через старомодное, какое-то чеховское пенсне глазами, полными слез. Но лишь после того, как он скрылся из глаз, я понял, что это был мой отец.

Некоторое время мы смотрели на старую водяную мельницу с остановившимся колесом, по зеленой бороде которого скупно сочилась вода. Перед мельницей стояли старые головастые ветлы, похожие на богатырские палицы, из которых во все стороны торчали голые прутья, и все это напоминало мучения святого Себастьяна, утыканного стрелами. Особенно восхищались мы цветом листвы далеких рощ — туманно-синей, волнистой, с большими кучами отдельных деревьев — вероятно, буков, — мягко округлых, как раскрашенные облака. Ячменные поля колосились, и был отчетливо — как в бинокль — виден каждый отдельный колос, тяжелый, граненый, скульптурный, хорошо раскрашенный; ярко-желтые полотнища сурепки лежали на полях, давая представление о малейшей складке местности. На горизонте как бы прямо из-под земли росла готическая колокольня с прямым крестом, на вершине которого можно было простым глазом разглядеть железного петушка.

Но особенно скульптурным делался пейзаж, когда вдалеке появлялось ярко-алое пятно, резкое, светящееся, постепенно вырастая и превращаясь в объемное тело моло-

дой молочницы, едущей на своем белом мотороллере с серебряными бидонами за спиной. У нее была высокая прическа соломенного цвета, так удачно сочетавшаяся с ярким платьем, говорившим без слов, что девушке ровно девятнадцать лет, потому что я давно уже заметил, что восемнадцатилетние блондинки чаще всего носят синее, а двадцатилетние — черное, с золотым пояском. У нее в руке был длинный початок молодой кукурузы, который она грызла; издали можно было подумать, что она играет на флейте.

Когда мы проходили мимо ферм, откуда густо пахло навозом и парным молоком, и мимо маленьких городков с ночными бильярдными, шоссе превращалось как бы в главную улицу, по которой бегали дети, гуляли, обнявшись, влюбленные и целые благовоспитанные семьи шли в полном составе в гости к бабушке и дедушке, неся в руках нарциссы, завернутые в папиросную бумагу, в то время как в церкви позванивали тонкие воскресные колокола и в пролете каменной готической двери, всегда напоминавшей мне след раскаленного утюга, пылали золотые костры восковых свечей. Мы раскланивались со всеми, и все любезными улыбками отвечали нам, хотя никто нас не узнавал. Все это было очень мило, но безмерно тоскливо.

— Ты знаешь, я ужасно соскучилась по нашей внучке, — вдруг сказала жена.

Я удивился, так как привык к мысли, что со всем этим давно уже покончено. Сам я никогда ни о чем не вспоминал. Я всем простил и все забыл. Слова жены грубо вернули меня к прошлому. В моем воображении появились маленькие детские ручки, крепенькие и по-цыгански смуглые, с грязными ноготками. Они протянулись ко мне, и тотчас же я почувствовал страстное желание увидеть внучку, втащить к себе на колени, тискать, качать, щекотать, нюхать детское тельце, целовать маленькие, пытливо-разбойничьи воробьиные глазки, только что ставшие познавать мир. Я вспомнил, что ее зовут Валентиночка. Не составляло никакого труда ее увидеть. Я уже стал ее видеть, но были сложности. Нянька. Не могла же Валентиночка появиться здесь одна, без няньки. Должна была бы появиться и нянька.

— Понимаешь ли, — сказал я, — допустим, появится нянька. Это еще куда ни шло. Но нельзя же разлучить девочку с родной матерью.

— Тем более что это ведь как-никак наша родная дочь, — заметила жена с упреком. — Неужели ты забыл наших детей? Ведь у нас были дети. — Она заплакала. — Ты помнишь? Были прелестные дети. Девочка и мальчик.

Я улыбнулся:

— Конечно, конечно. Перестань плакать. Двое отличных ребят. Я даже помню, как я их называл в шутку. Шакал и Гиена. Это было не похоже, но забавно.

— Я их очень люблю, — сказала жена, все еще продолжая просветленно плакать. — Я их люблю больше всего на свете.

— Даже больше Валентиночки? — лукаво спросил я.

— Ну разумеется!

— А ведь существует мнение, что бабушки любят своих внучат гораздо сильнее собственных детей.

— Чепуха! Никого, никого, никого не любила я так сильно, как своих детей.

— Шакала и Гиену, — сказал я. — Но разве ты меня любила меньше?

— Тебя я никогда не любила.

Она решительно вытерла глаза душистым платочком.

— А их безумно любила. Моих дорогих Шакала и Гиену. Ты помнишь? — спросила она.

И я понял: она имела в виду один день, видение которого вечно и неподвижно стояло передо мной и не переставало тревожить мое воображение своими резкими красками, своим темным рисунком, хотя и несколько траурным, но все же ярко освещенным серебряным солнцем.

Трудно сказать, в какое время года это было. Да и было ли это на самом деле? И если было, то в каком измерении? Такие слишком резкие тени, такие слишком яркие краски могли быть и весной, и в разгар осени, но, судя по той жажде, которая тогда мучила всех нас, судя по зною и пыли, вероятно, это было лето, самый зенит июля со всеми его городскими запахами бензина, ремонта, жидкого асфальта, известки, плохой масляной краски, сваренной на ужасной искусственной олифе, которая могла отравить человека, свести его с ума своим острым чадом. Да, теперь припоминаю: это действительно было лето, и

мы блуждали в раскаленной «эмке» вокруг колхозного рынка у Киевского вокзала, то и дело попадая в какие-то ямы, в строительные тупики, подпрыгивая на выбоинах мостовой, буксуя в песке или же отпечатывая свои шины в только что положенном, еще дымящемся асфальте. Всюду висели выгоревшие кумачовые полотнища с белыми буквами, и по фасадам домов тянулись электрические лампочки слабого накала, которые, вероятно, забыли погасить, и это придавало знойному дню еще больше блеска, способного довести до отчаяния.

Каждый миг нам приходилось останавливаться, ехать задом, выскакивать на тротуар, разворачиваться, каждый миг мы попадали в новую безвыходную ситуацию, но непременно в поле нашего зрения была какая-нибудь гипсовая статуя или же бюст Сталина — даже в окне булочной, которое было задрапировано красным кумачом, добела выгоревшим на адском солнце, чью силу с трудом выдерживали гирлянды сушек и баранок, развешанные над бюстом, как странные окаменелости.

Заднее окошко было завалено авоськами с вялой зеленью, с помидорами и синими сморщенными баклажанами, так что теперь я с уверенностью мог бы сказать, что это происходило в конце лета, и мы уже побывали на Киевском колхозном рынке и теперь колесили, отыскивая заправочную станцию, а вокруг толпились старые-престарые избушки дореволюционного Дорогомилова и новые многоэтажные дома, еще не оштукатуренные, но уже изрядно обветшавшие, с захламленными балконами, с приплюснутыми крышами, с дорическими, ионическими, коринфскими колоннами, лишавшими света и без того крошечные окошки, с египетскими обелисками по сторонам крыши и ложноклассическими изваяниями — порождение какого-то противоестественного ампира, от которого можно было угореть, как от запаха искусственной олифы.

Жена, полумертвая от жары, сидела сзади, заваленная покупками, я помещался рядом с шофером, а дети — Шакал и Гиена — помещались позади, положив лапы и подбородки на спинку моего сиденья, покрытого выгоревшим чехлом. Им тогда было — девочке одиннадцать, а мальчику девять, и я их в шутку называл Шакал и Гиена. На самом же деле они бывали шакалом и гиеной в самых редких случаях, когда крупно скандалили или сводили друг с другом личные счеты. А в основном мы ничего не могли о них сказать плохого.

Превосходные дети, их так теперь нам не хватало!

Тогда девочка недавно болела тифом, и волосы на ее голове еще не вполне отросли и портили ее славненькое, в общем, личико, у мальчика же на лбу росла коротенькая челка школьника младшего возраста, и он уже заметно вырос из своей детской курточки. Девочка мрачно смотрела вперед, обуреваемая какими-то скрытыми чувствами неудовлетворенности, а мальчик еще все вокруг воспринимал с жадным, даже несколько восторженным любопытством, и в его небольших подслеповатых глазках мир отражался в идеально-улучшенном, зеркально-миниатюрном воспроизведении. Девочка еще не достигла возраста Джульетты, но уже переросла Бэки Тэчер, была неинтересно одета, много, самозабвенно читала, размышляла о жизни и уже — по нашим сведениям — раза два или три бегала на свиданья, и ее душонка мучительно переживала какие-то не совсем ясные для меня бури. Она была дьявольски упряма и начисто отвергала действительность, что становилось вполне понятным, стоило лишь посмотреть на ее веснушчатый, поднятый вверх носик и сжатые губы, в одном месте запачканные школьными лиловыми чернилами.

Мальчик достиг возраста, когда уже перестают мучить котят и в громадном количестве истребляют писчую бумагу, покрывая ее сначала изображениями воздушных боев, горящих самолетов с неумелой свастикой на крыльях, танков, из пушек которых вылетают довольно точно воспроизведенные снаряды, затем однообразными повторениями одного и того же знакомого лица в профиль — с черными усами, с удлиненными глазами гипнотизера; и наконец чудовищными, ни на что не похожими клубками, каляками, молниями и пеплом атомного взрыва с разноцветной надписью «керосимо». Он был от всего в восторге. Мир казался ему прекрасным и полным приятных сюрпризов. Он жадно всматривался вперед, все мотал на ус и лишь ожидал подходящего случая, чтобы чем-нибудь восхититься.

— Смотрите! — вдруг закричал он в восторге. — Продают квас! Вот здорово!

Действительно, далеко в перспективе улицы можно было разглядеть желтую цистерну с квасом, окруженную толпой.

Девочка посмотрела и презрительно пожала плечами.

— Все не квас, а керосин, — сказала она.

— Квас, квас! — радостно и доброжелательно воскликнул мальчик.

— Керосин, — сказала девочка тоном, не допускающим возражений.

Это мог быть, конечно, и керосин, который развозили в подобных же цистернах, но в данном случае это был действительно квас.

— Квас. Я вижу, — сказал мальчик.

— Керосин, — ответила девочка.

— Квас.

— А вот керосин.

Они уже готовы были превратиться в гиену и шакала, но в это время машина приблизилась, и мы увидели цистерну, вокруг которой стояли граждане с большими стеклянными кружками в руках.

— Я говорил — квас, — с удовлетворением сказал мальчик.

— Не квас, а керосин, — сквозь зубы процедила девочка, ее глаза злоеце сузились и губы побелели.

Машина остановилась.

— Ты помнишь этот ужасный день? — спросила жена. — Ты помнишь эту кошмарную желтую бочку?

На ней было написано золотыми славянскими буквами слово «квас».

Красавица в относительно белом халате, в кокошнике — царевна Несмеяна, — с засученными рукавами, то и дело вытирая со лба пот специальной ветошкой, полоскала толстые литые литровые и пол-литровые кружки и подставляла их под кран, откуда била пенистая рыжая струя.

— Я же говорил, что квас, — с великодушной, примирительной улыбкой сказал мальчик.

— Керосин, — отрезала девочка и отвернулась.

Рядом с машиной стоял высокий гражданин в широких штанах, бледно-голубых сандалиях, в добротной черно-синей велюровой шляпе чехословацкого импорта, которая высоко и прочно стояла на голове, опираясь на толстые уши. Гражданин жадно пил из литровой кружки боярский напиток. Зрелище было настолько упоительное, что Шакал и Гиена засуетились, вылезли из машины, стали вынимать из карманов деньги, примкнули к очереди, выпили по полной литровой кружке, отчего их жи-

воты надулись, затем возвратились на свое место и положили липкие лапы и подбородки на спинку переднего сиденья, и мы поехали дальше, любуясь железными конструкциями строящегося университета, который виднелся с Поклонной горы, где недалеко притулилась знаменитая кутузовская избушка.

— Ну? — спросил мальчик с торжеством. — Кто был прав?

— Все равно керосин, — ответила девочка и высокомерно вздернула подбородок, на котором блестели капли кваса.

Мы тогда едва выдержали эту духоту, эту страшную, неописуемую жару, как бы прилетевшую откуда-то из Хиросимы. Даже показалось, что на нас начинает обугливаться одежда. А теперь мы вспоминали об этом просто с грустью.

— Все равно я тебя никогда не любила, — повторила она, опять заплакала и сквозь слезы первая увидела Валентиночку, появившуюся с удивленной нянькой.

А Валентиночка, не обратив на нас ни малейшего внимания, тотчас же побежала по каменной дорожке, сложенной из разноугольных плит, между которыми зеленела молодая травка, в садик, залезла в сарай, где у нас в большом порядке хранились садовые инструменты, и вытащила оттуда старые громадные деревянные башмаки садовника, которые тут же стала мерить. Потом она села на трехколесный велосипед и поехала.

Затем появился наш сын, аспирант, «шакал»: в старых, очень узких блуджинсах, в очках, в вельветовой куртке и в сильно поношенных кедах, свидетельствовавших о его принадлежности к новой генерации сердитых молодых людей.

«Боже мой, — подумал я, — неужели он и здесь раскидает все эти вещи в своей комнате по полу, а кеды просто-напросто поставит на письменный стол, заваленный окурками?» И все же у меня рванулась и задрожала душа от любви к этому долговязому и страшно худому молодому человеку, нашему сыну, которого мы когда-то вместе с женой купали в ванночке: я держал его — теплого и скользкого — на руке, а жена поливала из кувшина, и мы оба, смеясь от счастья, приговаривали:

— С гуся вода, с гуся вода, с мальчика худоба!

Он был у нас тогда действительно пухленький. Теперь, видимо, наступило время худобы.

— Здорово, родители, — сказал он, вытянув шею, и потерся о мою щеку лицом не вполне взрослого мужчины, который бреется еще не каждый день. — Как существуете?

— Удовлетворительно, — ответил я, чувствуя к нему такую любовь, что от нее кружилась голова — как раньше, когда я еще в таких случаях принимал спазмальгин.

Появилась дочь, переводчица, так называемая «гиена», в высокой прическе, каштановая, весело оживленная, хорошенькая, с наркотическим блеском узких глаз.

— Здравствуй, пулечка, и здравствуй, мулечка, — сказала она отчетливым дискантом, по очереди целуясь с нами с видом вполне послушной, добродетельной молодой женщины.

Я всегда с удовольствием целовал ее мягкие, теплые щеки и шейку и любил погружать пальцы в шапку ее густых, вьющихся каштановых волос, взбитых по моде того времени. Потом она как ни в чем не бывало легла на диван, вытянула скрещенные стройные ноги в нейлоновых чулках и легких туфельках и стала читать — время от времени заглядывая в словарь — книгу, захваченную с собой, причем я заметил, что несколько страниц с уголков обуглились. Это был какой-то новый советский роман неизвестного мне автора, который она должна была срочно перевести на английский.

Явился также Олег в штатском, но прежде, чем он появился в комнате, я услышал его голос. Он разговаривал в саду со своей дочкой — моей внучкой. Он взял ее на руки, а она отталкивала его растопыренной пятерней, извиваясь, как угорь, и дрыгая ногами, так как он помещал ей лезть на ограду, вдоль которой стояли на коротких ножках деревца шпалерных груш, тянувших низко над землей ветки в форме семисвечников. Я натянул свитер, вышел из дома и стал отнимать у Олега девочку. Он завладел ее голыми ножками, а я ручонками, и мы оба тянули ее в разные стороны, как хлопушку с бумажным кружевцем, а потом раскачивали ее, как гамак, и весело смеялись, а она лягалась, и ее воробьиные разбойничьи глазки сверкали радостью сопротивления. Боже мой, как я любил эту капризную девчонку со смуглым, точно слегка закоптевшим тельцем и каштановыми, как у матери, воло-

сами, мою дорогую обожаемую дочкину дочку. Ее ноги были в старых и новых ссадинах.

Прошел теплый дождик, такой легкий и непродолжительный, что мы его даже не заметили. В семь часов мы, как всегда, сели за стол. Я уже — как известно — мог есть все, что угодно, но по привычке ограничивался лишь гречневой кашей, творогом и кружкой кефира.

Сын, разумеется, уже исчез, — испарился! — и мы ужинали без него. Я пошел наверх к нему в комнату и, убедившись, что носки, трусы, подтяжки, штаны и все прочее разбросано по полу, а кеды стоят на письменном столе, понял, что все идет правильно: он успел переодеться для вечерних походов. Когда после еды я вышел в садик, то увидел его уже за оградой. Он ехал на мотороллере, а сзади, обняв его голыми руками, грациозно, по-дамски сидела молодая молочница в красном платье, и они промчались по шоссе вдаль, где вместо предметов уже светились их неоновые контуры и плоская овальная крыша заправочной станции с горящей надписью «ESSO» светилась, как прозрачная плита искусственного льда. По шоссе проносились длинные машины, унося на своем лаке светящиеся отражения ночного неона.

Название: после смерти.

— Тебе не кажется, что в нашем доме стало довольно беспокойно? — спросил я жену вечером.

— Можно подумать, что тебе это не нравится.

— Нет, мне это нравится...

— Так что же?

— Ничего.

— Но все-таки?

— Знаешь, мне кажется, что они занесли сюда возбудителей каких-то никому не нужных воспоминаний, тягостных ассоциаций, может быть даже старых снов. Нет ничего ужаснее старых снов, которые уже когда-то снились. Я боюсь, что мне опять может присниться говорящий кот или что-нибудь еще похуже.

Предчувствие меня не обмануло. Зараза уже проникла в мою кровь, в мой мозг, и этой ночью мне долго и сладко снился Осип Мандельштам, бегущий в дожде по Тверскому бульвару при свете лампионов, мимо мокрого

чугунного Пушкина со шляпой за спиной, вслед за экипажем, в котором я и Олеша увозили Надюшу. Надюша — это жена Мандельштама. Надежда Яковлевна. Мы увозили ее на Маросейку — угол Покровского бульвара, в пивную, где на первом этаже, примерно под кинематографом «Волшебные грезы», выступали цыгане. У нас это называлось: «Поедем экутэ ле богемьен» («слушать цыган»). Мы держали Надюшу с обеих сторон за руки, чтобы она не выскочила сдуру из экипажа, а сна, смеясь, вырывалась, кудахтала и кричала в ночь:

— Ося, меня умыкают!

Мандельштам бежал за экипажем, детским, капризным голосом шепелявя несколько в нос:

— Надюса, Надюса... Подождите! Возьмите и меня. Я тоже хочу экутэ.

Но он нас так и не догнал, а мы, вместо того чтобы ехать на Маросейку — угол Покровского бульвара, почему-то поехали в грузинский ресторан, который тогда помещался не там, где сейчас находится «Арагви», и даже не там, где до «Арагви» помещалась «Алазань», а — вообразите себе! — в том доме на бывшей Большой Дмитровке, а теперь Пушкинской, где сейчас находится служебный ход Центрального детского театра, что может показаться совершенно невероятным, но тем не менее это исторический факт, и содержало эту пашлычную частное лицо, так как был разгар нэпа. Но это, в сущности, не важно, а важно то, что шел дождь и мы таки втащили Надюшу за руки на второй этаж в отдельный кабинет — удивительно скучную и плохо освещенную комнату, никак не обставленную и похожую скорее на приемную в собачьей лечебнице. Сюда нам принесли бутылку «телиани», а как только его принесли, тотчас появился мокрый и возбужденный Мандельштам, прибежавший по нашему следу, и он сейчас же начал с завыванием, шепеляво и очень внушительно — «как Батюшков Дельвигу!» — читать новые стихи, нечто вроде:

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным за мельничным шумом...

И так далее — можно проверить и восстановить по книжке Мандельштама, если ее удастся достать, — мне

именно так приснилось: «если ее удастся достать», а Мандельштам моего старого сновидения тем временем сел пить «телиани», вспомнил гористую страну и, шепеляво завывая, стал вкрадчиво и вместе с тем высокомерно, даже сатанински гордо декламировать о некоей ковровой столице над шумящей горной речкой и о некоем духанчике, где «вино и милый плов».

И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.
Кახетинское густое
Хорошо в подвале пить,—
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить.

Его мольбы не имели никакого практического смысла, так как мы пили вчетвером и само собой подразумевалось, что одному не надо пить. Одному надо было только платить! Затем пошли очаровательные трюизмы:

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым.

Собственно говоря, все это мне вовсе не снилось, а было на самом деле, но так мучительно давно, что теперь предстало передо мной в форме давнего, время от времени повторяющегося сновидения, которое увлекло меня вместе с розоватым винным паром (и, разумеется, под месяцем поджарым) в ту самую легендарную ковровую столицу, любимую провинцию тетрарха. И то, что раньше не было вполне сном, а скорее воспоминанием, теперь уже превратилось в подлинный сон, удивительный своим сходством с действительностью: например, снег был совсем настоящий, и громадные хлопья падали величаво-медлительно, садясь на вечнозеленую листву магнолий. Весь город был облеплен теплым южным снегом. Прохожие с непривычки скользили и падали, как пингвины, автомобили с ужасающим визгом тормозов делали юзы, крутились на месте, даже ехали в обратную сторону, в городе было смятение, снегопад не прекращался, знаменитая гора тонула в мыльной воде зимнего воздуха, снег, как стая чибисов, кружился над монументом Шота Руставели, и сочные отпечатки новых резиновых галош по всем направлениям пятнали

белые тротуары центрального проспекта, где в окнах воспаленно желтели пирамиды японской рябины — единственного плода этой небывалой зимы, так как все цитрусы с божьей помощью вымерзли, а местное правительство уже разрабатывало далеко идущие планы открытия для всех трудящихся нарядных катков и лыжных станций.

Симпатичные молодые милиционеры с черными усиками и бархатными глазами, стоя на перекрестках, молчаливо регулировали беспорядочное падение снежинок, громадных, как куски ваты. Они поеживались в своих шинельках с иголки и в мягких сапожках без каблуков, не отвечая на наши вопросы.

Мы были крайне подавлены столь странной зимой сравнительно недалеко от субтропиков... Мы обращались за разъяснением этого таинственного явления к многочисленным прохожим, но все они, так же как и хорошенькие милиционерчики, молчали, бросая на нас доброжелательно-ускользающие взгляды.

Хотелось спать.

Но кто бы мог поручиться, что я уже не сплю? Не сплю давно?

Нет ничего ужаснее смертной скуки, которая медленно, неотвратимо медленно начинается во сне и безысходно длится потом целую вечность.

Что же все это значит, господи боже? Можно было сойти с ума от невозможности постичь душу этого города. Но в этот миг на площади Святого Лаврентия в метели появилась незнакомая и в то же время мучительно знакомая фигура знаменитого поэта Ромео Джероламо: заурядная среднерусская шуба, богатырская фигура, царственно мерцающая снежинками пыжиковая шапка, прекрасное скульптурное лицо пожилого римского легионера и хрипло-гортанный, с могучим придыханием голос хорошо пообедавшего человека.

— Не удивляйтесь, друзья мои, — сказал он с радушной улыбкой восточного гостеприимства, — и, пожалуйста,

умоляю вас, не ищите здесь какой-нибудь мистики, а тем более сказочных мотивов тысячи и одной ночи. Все это объясняется гораздо проще: они просто не понимают по-русски.

Но вы, конечно, заметили, что я говорю во множественном числе «мы». Надо объясниться. Мы — это я и еще один, скажем, — человек. Вернее — фантом, мой странный спутник, который приехал со мной в этот край и теперь неотступно, как тень, сопровождал меня на полшага позади: противоестественный гибрид человеко-дятла с костяным носом стерляди, клоунскими глазами, грузинская скотина — в смысле животное, — шутник, подхалим, блатмейстер, доносчик, лизоблюд и стяжатель-хапуга.

А ведь я помнил его еще худым нищим юношей с крошечной искоркой в груди. Боже мой, как чудовищно разъелся этот деревянный мальчик Буратино на чужих обедах, в какую хитрющую, громадную, сытую, бездарную скотину он превратился. Увидел бы его Николай Васильевич Гоголь, не «Портрет» бы он написал, а нечто в миллионы раз более страшное...

Старик у Святого колодца мыл бутылки, а он — мой тягостный спутник — тем временем всюду шнырял, вынюхивая, где бы поживиться, где бы хапнуть кусок и потом с ужимками отнести его в свою вонючую нору и закопать, как собака закапывает куриную ногу, — где-нибудь в уголке, под шведским или финским диваном или под каким-нибудь финским пуфиком, раздобытым путем унижений, по блату.

Он был моим многократно повторяющимся кошмаром, прелюдией к еще более страшному сновидению о говорящем коте.

Он непрерывно присутствовал рядом со мной, прислушиваясь к моему дыханию, он быстро считал мой пульс; он повсюду шлялся за мной по улицам и по крутым горным тропинкам моих сновидений; время от времени он наклонял ко мне свое костяное рыло с отверстиями нозд-

рей и тревожно заглядывал в мою душу своими тухлыми глазами, как бы спрашивая: ты не знаешь, где бы чего хапнуть на даровщинку? Или рвануть у наивного начальства подачку?

— Ага, ага,— верещал он,— ты теперь сообразил? Они не понимают по-русски. Этим надо воспользоваться, не упустить случая. Ведь верно? А? Ты со мной согласен?

Я умирал от неслыханной, смертельной тоски в этом прелестном полуденном краю, заваленном полуночным снегом.

Знаменитый поэт размахисто раскланялся с каким-то прохожим, причем с его величественной пыжиковой шапки с царственной щедростью сыпались снежинки.

— Кто этот гражданин? — тревожно спросил мой тягостный спутник.— А? Вы мне не скажете, кто это? — Он жарко дышал в лицо знаменитого поэта и просительно заглядывал ему в глаза.— Это руководящий работник, не правда ли? Или, может быть, даже член центральной комиссии? Почему же вы нас не познакомили? Познакомьте! Умоляю вас! Пока еще не поздно. Я поцелую ему ягодички, я полижу их.

— О, не волнуйтесь,— сказал поэт.— Этот человек не заслуживает такой чести, тем более что сейчас довольно-таки холодно. Этот человек всего лишь дегустатор винтреста.

— Ты слышишь! — простонал мой тягостный спутник.— Винтреста! Вдумайся! Его ни под каким видом нельзя выпустить из рук. Иначе мы будем последними идиотами. Верно? Ты со мной согласен?

— Если вам так угодно с ним познакомиться...— галантно сказал поэт и сделал повелительный знак, после чего дегустатор остановился как вкопанный перед солнцем поэзии, и не прошло и часа, как мы уже были самыми лучшими друзьями и сидели у дегустатора в гостинной за столом под громадным оранжевым абажуром, и мой тягостный спутник, стоя от волнения на хвосте, тыкался носом в корректные усы дегустатора, и его круглые глаза, подернутые нагло-томной пленкой, как бы непрерывно гипнотизируя, твердили: дай по благу вина, дай по благу вина, дай что-нибудь, дай, дай, дай!

— Вот увидишь, он даст! — обращался ко мне тягостный спутник и снова припадал к усам дегустатора.— Даст бесплатно, могу поручиться! — шептал он мне.— Два ящичка знаменитого вина «мцване».

...Как труп в пустыне я лежал...

И его голос дрожал глиняной свистулькой, как запавший клапан испорченной шарманки.

А тем временем собирались гости, и мало-помалу разгорелся восточный пир с легким европейским оттенком, который сообщил ему молодой элегантный тамада с двумя или тремя университетскими значками. Он не слишком пытал нас традиционными тостами и не слишком настойчиво заставлял осушать окованные серебром турьи рога, так что мы помаленьку надрались без посторонней помощи. А время текло, и пир все продолжался и продолжался, не иссякая. Наши хозяйева, и тамада, и все гости, страстные болельщики за местную футбольную команду «Динамо», и дамы — свежие, как только что распустившиеся бутоны ширазских роз или же крепкие влажные овесцы, сорванные на заре в огороде, ни в одном глазу, — красивые, румяные, черноволосые, кудрявые, с алебастровыми бюстами, ни дать ни взять ангелы, написанные кистью Пиросманишвили.

Бутылки сменялись на столе среди зелени, фруктов и овечьего сыра каждые пятнадцать минут, как почетный караул, ночь тянулась без исхода, и я всем своим существом чувствовал приближение чего-то страшного. Можно было подумать, что всему этому — как в аду — никогда не будет конца. Однако это оказался не ад, а всего лишь чистилище.

В четыре часа сорок две минуты пополуночи пир начал иссякать, речи сделались сначала аритмичными, а потом совсем перестали прощупываться, сопротивляемость упала до нуля, еще немного — и должна была наступить клиническая смерть, но, по-видимому, распорядитель пира не считал, что веселью пришел конец, и он, как опытный тамада, всегда имел под рукой верное средство для того, чтобы вдохнуть жизнь в замирающее застолье.

— Прошу вашего внимания, — сказал он совершенно свежим, утренним голосом.— Дамы и господа! Сейчас перед вами предстанет кот. На первый взгляд обыкновен-

ное домашнее животное. Кот Васька. Но не делайте поспешных выводов. Иди сюда, генацвале! Кис-кис-кис!

Двери бесшумно, сами собой, как в американском театре ужасов, распахнулись, и в комнату обреченной походкой вошел громадный светло-серый кот, вышколенное домашнее животное с прищуренными глазами, в глубине которых мерцала вечность, и хвостом, поднятым вверх, как мягкий столб дыма, колеблемый темным ночным воздухом этой таинственной горной страны.

Кот — младший брат тигра — обошел, как гладиатор, вокруг пиршественного стола и остановился возле хозяина, словно желая воскликнуть: «Ave, Caesar, morituri te salutant!»

— Но, товарищи! — торжественно произнес хозяин, поднимая вверх безымянный палец с бледным обручальным кольцом. — Но, товарищи! Это далеко не простой кот. Это говорящий кот. Он умеет разговаривать.

— Не может быть!

— Но тем не менее — факт! Эврипид, иди сюда! Кис-кис-кис!

Кот еще крепче зажмурился и покорно прыгнул на колени своего хозяина.

— Так. Теперь сиди.

Кот сел, как человек, положил большую детскую голову на край стола и посмотрел вокруг прелестными серозелеными глазами капризной девочки. Хозяин почесал его за ухом, и кот стал мурлыкать с таким видом, будто боялся щекотки.

— Внимание, — провозгласил тамада, — попрошу наполнить ваши бокалы.

— Сейчас он будет разговаривать, — сказал хозяин. — Вам это кажется невероятным? В таком случае прошу убедиться. Эврипид, друг мой, скажи им «мама».

Кот весь сжался и болезненно зажмурился. Хозяин обхватил его голову двумя руками, соединив сверху большие пальцы, а указательные сноровисто сунул коту в рот и растянул его, отчего на детском лице кота появилась напряженная, неискренняя улыбка.

— Говори! — повелительно молвил хозяин.

Кот сделал судорожное глотательное движение горлом, разинул свою небольшую розовую треугольную пасть с мелкими зубками и вдруг напряженным, механическим голосом, но совершенно отчетливо произнес, как человек, на чистейшем русском языке:

— Мама.

После чего хозяин сказал «молодец» и сбросил кота на пол.

— Неслыханно! — закричали гости. — Неслыханно! Невероятно! Какое чистое произношение! Артикуляция! Дикция! Совершенно как в Академическом Малом театре! Даже скорее как в Художественном!

Все в один миг оживились, и в затухающий пир была влита свежая струя бодрости, которой, впрочем, хватило ненадолго, так что через час в общественных баках уже явно стала ощущаться нехватка горючего. Однако, по-видимому, время расходиться по домам еще не наступило, и хозяин как бы вскользь заметил, что его кот умеет разговаривать не только по-русски, но также и по-французски.

— Кис-кис-кис! — позвал он.

Кот долго не появлялся, но наконец все-таки вышел из дверей, которые снова сами собой распахнулись перед ним и затем сами собой бесшумно затворились. Кот страшно медленно направился к хозяину, как бы исполняя тягостную обязанность, связанную с неслыханными муками и унижениями, но — увы! — неизбежную, как рок. Он замедленно прыгнул на колени хозяина и положил подбородок на скатерть, уже основательно залитую к тому времени основными марками местных вин. Морщась от винного запаха и острого аромата сациви, кот с немой мольбой посмотрел на людей лунатическими глазами и снова изо всех сил зажмурился.

— Внимание! — крикнул тамада. — Попрошу всех наполнить бокалы.

— Итак, — деловито сказал хозяин и обхватил большую голову кота обеими руками, но на этот раз уперся указательными пальцами в ушные отверстия кота, а в его рот вставил мизинцы, как-то по-особому скрючил их, растянул и вывернул так, что розовый рот кота стал напоминать неестественно-странный цветок вроде орхидеи. Кот рванулся, намереваясь замыкать раздирающим голосом, но вместо этого громко и отчетливо произнес на чистом французском языке:

— Мама.

— Вот, — сказал хозяин и смахнул кота на пол, после чего животное с улыбкой отвращения медленно удалилось восвояси, зная, что на сегодня его роль окончена и можно беспрепятственно приступать к ловле мышей.

— Ты понимаешь, это профанация, — простонал человек-дятел, провожая своими тухлыми глазами удаляющегося кота. Его толстое горло раздувалось, и он даже всхлипнул от огорчения. — Иметь такое выдающееся животное, такой мировой аттракцион и употреблять его для развлечения гостей на среднем неофициальном междусобойчике, где даже нет более или менее ответственного начальства. — Он схватился руками за голову с хохолком. — Господи боже мой, да если бы у меня был такой золотой кот, то я бы его, подлеца, научил рассказывать еврейские анекдоты. Я сделал бы из него кота-затейника. Он бы у меня, сукин кот, выступал только на самых ответственных концертах, и я бы сделался первым человеком среди местной художественной интеллигенции, может быть, даже доктором наук гонорис кляузе. И — ты можешь себе представить! — какую на этой почве можно было бы создать грандиозную рекламу, какой неслыханный подхалимаж, какой космический блат!

Он пригорюнился, пустил слезу, потом встрепенулся и сделал бурную попытку уговорить хозяина совершить благородный акт восточного гостеприимства и подарить ему говорящего кота. Но из этого ничего не вышло, потому что хозяин оказался человеком с высшим образованием и не признавал этих глупых феодальных штучек — дарить гостю то, что ему понравится. Как ни старался мой тягостный спутник, как ни суетился, как ни кричал, выпуская из горла самые нежные звуки: «Да! Я подхалим! И горжусь этим! Презирайте меня, но только подарите мне говорящего кота! Я из него сделаю человека! Ну, хотите, я создам в вашу честь хорал!» — но, увы, ничего не получилось. Как говорится, нашла коса на камень.

Единственно, что утешало человека-дятла, — это перспектива в конце концов получить бесплатно ящик, а может быть, даже и два, баснословного вина «мцване». Теперь он удвоил свое внимание ко мне. Он боялся, что я заболелю и, не дай бог, еще того хуже, умру. Мало ли что может случиться с человеком в дороге.

— Умоляю тебя, — шептал он по ночам, подходя к моей постели, в то время как в окнах блестели зимние восточные звезды. — Умоляю тебя, береги свое здоровье. Учти, что вино будет столько же твое, сколько мое.

...Мы были как два каторжника, прикованные к одному ядру. Я умирал, я падал, а он — мой тягостный спутник — безжалостно толкал меня куда-то все дальше и дальше. Он уже стал моей болезнью, он гнезвился где-то внутри меня, в таинственной полости кишечника, а может быть, и ниже, он был мучительно раздувшейся опухолью, аденомой простаты, непрерывно отравлявшей мою кровь, которая судорожно и угрюмо гудела в аорте, с трудом заставляя сокращаться мускул отработавшего сердца.

Хоть бы эту опухоль скорее вырезали!

Кто же он был? Он был модификация Фаддея Булгарина, гонитель всего нового, человек с водевильной фамилией Прохиндейкин.

Далеко внизу лежала потонувшая в нескончаемом снегопаде прелестная горная страна со всеми ее магнолиями, драценами, симпатичными милиционерчиками, говорящим котом и пыжиковой шапкой знаменитого поэта, и мы летели в столицу нашей родины на содрогающемся от обледенения пассажирском самолете, и смерть летела рядом с нами, каждый миг готовая расстроить все наши планы. Над Сурамским перевалом сходила с ума небывалая снежная буря, и наша машина ползла на ощупь, как слепая, посредине горных склонов, каждый миг готовая шаркнуть алюминиевым крылом по невидимой в тумане скале и рухнуть на дно ущелья, в бурную горную речку с обледеневшими берегами.

В течение часа мы избежали тысячу смертей, и когда пилот наконец посадил свою грузную машину на песчаном аэродроме рядом с бунтующим морем, то у него дрожали руки и пот градом катился по как бы натруженному лицу с пепельными губами. В столицу нашей родины мы прибыли еще засветло; и тут же расстались. Надолго. Слава богу, кажется — навсегда. Но мучительный сон тянулся, тянулся, он казался бесконечным, хотя на самом деле продолжался, быть может, всего лишь какую-то долю секунды, как смерть. Но ведь никто не знает, сколько времени длится смерть: может быть, один миг, даже и того меньше, а может быть, и всю жизнь. Человек вечно живет и в то же время вечно умирает.

Нет, не так: «в звезды врезываясь».

Я вечно умирал, и вечно жил, и время от времени возвращался в прелестный край, некогда воспетый Осипом Мандельштамом.

Разумеется, на аэродроме я прежде всего увидел пыжиковую шапку классика. Он возвышался, как монумент, еще более величественный и прекрасный, чем когда-то. Мы обнялись. И даже, по свидетельству историков, прослезились.

— Много воды утекло, кацо!

— Ох, много, генацвале!

— Как поживает ваш тягостный друг? — спросил великий стихотворец, после каждого слова делая еще более глубокое, гортанное придыхание, которое всегда казалось мне великолепной цезурой посередине шестистопной строчки классического александрийца. — Неужели он и теперь процветает так же, как раньше? Впрочем, я всегда подозревал, что он далеко пойдет, этот любопытный гибрид человека и домашней скотины. А вы знаете, почему? Потому, что он не только обладает редким бесстыдством лизоблуда и подхалима, но также и потому, что всевышний наделил его феноменальной, — он сделал великолепное придыхание на этом нарядном слове, — *феноменальной* способностью, редчайшим умением сниматься рядом с начальством. Едва лишь фотографы наведут свои магические субъективные объективы на центральную фигуру, как сейчас же рядом вырастает мучительно примелькавшаяся голова с костяным носом вашего тягостного спутника, выработавшего в себе условный рефлекс в ту же секунду — ни позже, ни раньше — оказаться в самой середине группы, сноровисто стать на хвост и вследствие этого сделаться ровно на три четверти выше остальных и даже самой центральной фигуры. Феноменально! — Он сделал хриплое придыхание. — Прямо-таки *феноменально!* Будучи пигмеем, казаться великаном! Но будем надеяться, что этот исторический нонсенс скоро навсегда отойдет в вечность. Ведь не может же подобное безобразие продолжаться вечно...

— А как поживает говорящий кот? — спросил я, желая переменить неприятную тему.

— Говорящий кот? — удивился поэт. — Не знаю, какого говорящего кота вы имеете в виду? Ах да, действи-

тельно. Припоминаю. Он говорил по-русски и по-французски. Но, по правде сказать, я давно уже потерял его из виду...

...Мне опять долго и сладко снился горбатый город, и мы сидели в духане над горной речкой, которая бежала где-то внизу, как стадо овец, по камешкам, по-зимнему мутная и головокружительно скучная, свинцовая, дымная. Высоко над обрывистым туманным берегом синел силуэт древнего замка, и церковь с конусообразным куполом, и старый толстый шарманщик, быть может последний шарманщик на земном шаре, крутил свою одноногую уличную шарманку, увешанную цветным стеклярусом, как пасхальная карусель, извлекая из ее дряхлого ящика пронзительные и вместе с тем небесно-музыкальные звуки мещанских вальсов, маршей и гавотов моего детства, и я плакал об Осипе Мандельштаме, о цыганах, о догоревшей жизни, о первой любви, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою, да мало ли о чем может плакать пожилой человек после четвертой бутылки красного, как кровь, «телиани». И я становился на колени, целуя смуглые, волосатые, безмерно старые руки шарманщика, а тем временем великий поэт, утешая меня, гладил мою пыльную и уже несколько лысоватую голову блудного сына и, отвлекая от слишком грустных мыслей, говорил мне:

— Друг мой, не надо плакать. Не стоит. Все мы у господа бога корабли, ушедшие в море. Вернемся лучше к печальной действительности. Вчера вы поинтересовались судьбой говорящего кота. Я навел справки. К сожалению, должен сообщить вам неприятное известие: несколько лет тому назад говорящий кот скончался во время очередного выступления, будучи не в состоянии произнести слово «неоколониализм».

Но можно и так: повесть о говорящем коте.

Весь в слезах я проснулся, но уже мир вокруг меня потерял свое прежнее безмятежное спокойствие. Целый день я не находил себе места.

— Чего тебе не хватает? — спросила жена.

— Многого, — ответил я.

— Например?

— Ну, уж раз кто-то занес сюда возбудителей моих старых снов и кошмаров и раз все вокруг нас так разительно изменилось, то — вообрази себе — я начинаю ощущать отсутствие Козловичей. Откровенно говоря, их немного не хватает.

— Ну что ж, — сказала жена, — все-таки это лучше, чем говорящий кот.

И сейчас же после этого вошли Козловичи.

— А, это вы! — радостно воскликнул я, разглядывая Козловичей: они несколько не обгорели и совсем не изменились. Он был в несколько эстрадном пиджаке цвета кофе о-лэ, и брюках цвета шоколада о-лэ, и в ботинках цвета крем-брюле при винно-красных шерстяных носках. Рукава его пиджака были на несколько микронов короче, чем требовала мода, а манжеты высовывались, быть может, на полтора микрона больше, чем требовала та же мода. Но это ему даже шло. Он по-прежнему был интенсивно розов, с желтыми волосами, расчесанными на прямой пробор, от лба до затылка, как у известного русского авиатора Сережи Уточкина. Его зубы сверкали слоновой белизной. Он был доброжелателен, всеяден и слегка разводил руками, рассказывая, с какими приключениями они добирались к нам. Что касается мадам, то она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно-склеротическим ногам с шишками на коленях. У нее на шее висел крупный археологический камень с дыркой посредине, болтаясь на серебряной веревке поверх красной кофточки-джерси. Было страшно представить, что стало бы с ней, если бы она, забыв снять этот камень, бросилась в воду. У нее были прелестные детские глаза и взбитые рыжие волосы, что в соединении с вздернутым носиком давало полное представление о ее душевном состоянии, которое отражалось на ее лице, измученном возрастом и ощущением собственной красоты. Старушка все время требовала простой холодной воды и с наслаждением вливала ее в себя, как бы желая потушить адский огонь, пожиравший ее детскую душу.

Сам Козлович пил со мной ледяное белое вино — душистое и горьковатое, как миндаль, — ничуть не опьянявшее и не вредившее здоровью.

Козловичи сидели на низких старомодных креслах перед камином и, дополняя друг друга существенными подробностями, уточняя хронологическую последовательность событий, рассказывали историю о том, как они собирались

путешествовать по Турции, Японии, Южной Америке и социалистической Польше и как у них в конце концов сгорел любимый пудель.

Мы радовались, как дети, слушая их взволнованное повествование.

Когда сам Козлович уже покрылся пятнами и стал понемногу сердиться, однако все еще мужественно продолжал улыбаться всеми клавишами своих зубов, в салон бочком вошел наш милейший друг Вяткин и, потирая, как с морозца, свои небольшие, слегка обуглившиеся руки, посмеиваясь и стыдливо похохатывая, подсел к пылающему камину и тоже стал вместе с нами пить холодное потустороннее вино, закусывая сыром.

Я задернул шторы, и все это вдруг стало немного напоминать вечера под Москвой, только не было телевизора и ни разу не позвонил телефон.

Поздно ночью мы устроили Вяткина внизу в свободной комнате, а Козловичей отвели через темный сад в старый нормандский овин, где для них был уже приготовлен ночлег. Я зажег фонарь — старый каретный фонарь, найденный на чердаке, — и светил им, пока они поднимались по узенькой скрипучей лесенке, молчаливо удивляясь нашей нелепой фантазии отправить их спать на сеновал. Мы с женой весело переглядывались. Спотыкаясь, Козловичи один за другим — он впереди, она сзади — вошли в дверцу и вдруг очутились в странном темном помещении, под самой соломенной крышей, где, очень возможно, на наше-сте спали жирные куры. Мы объяснили, что это старинный нормандский овин, и это немного обнадежило Козловичей. Они покорно отдались в руки судьбы.

Тогда я вдруг щелкнул выключателем, и Козловичи увидели, что находятся в громадной низкой комнате со скосенным потолком. Посредине стояла громадная старинная деревянная кровать под балдахином из веселенького коттончика. Полог был отдернут, и виднелась постель, застланная свежими голландскими простынями, приготовленная на ночь по-французски — конвертом, — с маленькой пуховой перинкой. На ночном столике были приготовлены графин с сахарной водой и старинный нормандский молитвенник с серебряным крестом на черном бархатном переплете.

Вообще казалось мрачновато.

Козловичи были смущены. Возможно, они боялись крыс. Тогда я торжественно распахнул другую дверь и

показал им великолепную, ультрасовременную ванную комнату с кобальтово-синим фаянсовым туалетным столом на одной ножке, молочно-белой ванной, всю залитую ослепительно ярким электрическим светом, сияющую кафелем, никелем, всю увешанную пушисто-душистыми розовыми, салатными, голубыми полотенцами и простынями и устланную грубыми кокосовыми ковриками. Для того чтобы убедить Козловичей, что это не сон, я открыл несколько крапов, и с симфоническим шумом из них хлынула добела взбитая, как яичные белки, горячая и холодная вода, наполняя помещение поистине вагнеровской музыкой и запахом мыла «герлэн».

— Спокойной ночи,— сказали мы Козловичам.— Если ночью услышите за окнами шум, не пугайтесь,— значит, начался прилив и воды Ла-Манша поднимаются по шлюзам, наполняя маленькую гавань Гонфлер, где сонно покачиваются рыбацьи баркасы с изображением святой девы на дряхлых парусах. Утром Дениза принесет вам пти-дежене: кофе, круассаны, масло и сливовый джем. Не рассчитывайте на жареную колбасу!

Мы оставили их очарованными.

В особенности все это нравилось самой мадам Козлович.

Мы с женой спустились по лесенке в сад, и я задул фонарь.

Может быть, мое обнаженное тело лежало где-то в ином измерении и голубые люди при свете операционного прожектора рассматривали на нем давние шрамы: пулевые и осколочные и следы разных болезней, войн и революций.

На газоне стояло несколько невымытых машин, приехавших ночью. Одна из них показалась мне знакомой.

— По-моему, приехали Остапенки,— шепотом сказала жена.— И спят в машине.

Они действительно спали в полуобгоревшей машине, как сурки.

— Пройдемся немного,— предложил я.— Пускай спят.

Она взяла меня под руку, и мы пошли в глубину темного сада, туда, где за каретными сараями и дощатым сортирчиком был сломанный забор, а за ним справа на-

лево тянулся канал, по которому бесшумно, на уровне плоской земли, с погашенными сигналами, как бы текли низкие моторные баржи, наполненные очень важным и очень тяжелым грузом, направляясь из Анверса в Маас, а быть может, в Монс или Наахрихт, если, конечно, такой город существует в действительности.

Мы шли вдоль канала, мимо фламандской ветряной мельницы с неподвижными крыльями, увешанными снастями, как мачты фрегата; мы шли очень долго и молча, пока вдруг не очутились на площади, охваченной морозным туманом, так что нельзя было понять — что это за площадь.

— Куда ты меня привел? — спросила жена тревожно.

И сейчас же я понял, что эта площадь — аэродром, и под нашими ногами я увидел громадные шестиугольные плиты взлетной дорожки.

Решетчатые радиолокаторы вращались, как зубо-врачебные кресла.

— Ты опять улетаешь? — спросила жена покорно, так как понимала, что ничего другого мне не остается.

Я промолчал, рассматривая свою обувь; она имела еще вполне приличный вид: очень черные, блестящие, хорошо начищенные мокасины, как нельзя лучше соответствующие серому костюму и нейлоновым носкам глубокого цвета жженой кости. Превосходные мокасины с длинными носами и низкими, широкими, очень устойчивыми каблуками, за которыми приходилось особенно ухаживать, так как малейшая потертость сразу делала их непристойно вульгарными. Каблуки должны быть всегда безукоризненно черными, без малейшей потертости. Тогда мокасины со своими языками и перемычками на подъеме могут иметь место во время заграничного путешествия. Эти мысли впустила мне жена, и я их твердо усвоил.

Мы не успели проститься.

Она еще стояла одна посредине громадного пустынного аэродрома, а я уже перевел стрелки своих часов на два часа назад и сквозь разрывы тяжелой дождевой облачности смотрел на Амстердам, который можно было с высоты нескольких тысяч футов принять за небольшой коврик

с абстрактно-геометрическим орнаментом, но внизу дождя не было, и когда я сошел с самолета, для того чтобы пересечь на другой, трансатлантический, то мои мокасины ничуть не пострадали, даже напротив: освещенные молочно-матовыми плафонами Амстердамского международного аэровокзала, рядом с ослепительными чемоданами и ботинками миллионеров они казались еще вполне зеркальными, так что я не имел никаких претензий к авиакомпании КЛМ. Во время посадки тоже, слава богу, все обошлось благополучно, и мои мокасины даже и в этом громадном пассажирском самолете, среди сотен пар разнообразной обуви, казались не самыми худшими. В особенности выгодно они отличались от желтых солдатских ботинок моего соседа, сержанта американских вооруженных сил в Голландии. От времени и от ежедневной чистки они стали темно-коричневыми и глянцевыми, как стекло, и вызывали во мне тревожный вопрос: где они, черти, достают такой замечательный крем для ботинок? Или, может быть, это не крем, а особая стекловидная жидкость, куда опускают обувь, и она потом делается как бы покрытой тонкой стеклянной глазурью, а потом еще более блеска придают башмакам специальные высококачественные сапожные щетки особой формы и бархатки, принятые на вооружение в американской армии.

Сержант сидел рядом со мной, поставив ноги на плинтус перегородки, отделяющий наш туристский класс от уборных и штурманской будки. Это был здоровенный парень лет двадцати пяти с коротко остриженной головой, в тиковом комбинезоне цвета хаки, крепко затянутый старым кожаным поясом с такой же стекловидной поверхностью, как и ботсы.

У него был вполне мирный, доброжелательный вид, но что-то меня в нем тревожило, какая-то неуловимая подробность в его одежде, зловещее напоминание, сигнал всеобщей опасности. Это был маленький вылинявший треугольник из черно-лилового плюша с чем-то зловеще красным, с желтой молнией и надписью «Spearhead», лоскуток, пришитый к рукаву комбинезона.

Может быть, это была каинова печать ядерного века.

В тот же миг мне стало ясно, что это парень из атомных войск и теперь он — сделав или еще не успев сделать свое дело — летит с базы домой в отпуск, предварительно выстирав свой выцветший комбинезон и до стеклянного глянца надрав все кожаные предметы своей амуниции.

А может быть, в мире уже все совершилось, и он, так же как и я, был не более чем фантом, пролетающий в этот миг над океаном.

Во всяком случае, у него были все признаки живого человека: на крупном деревенском пальце — тонкое обручальное кольцо, скорее серебряное, чем золотое, и уж конечно, не платиновое; оно подчеркивало его солидность и положительность молодого семейного человека, может быть, даже счастливого отца нескольких здоровых детей, чем он выгодно отличался от двух своих товарищей, летевших вместе с нами все в том же туристском классе через океан. Один из них был в униформе, а другой в штатском, но все равно было сразу понятно, что он, хотя и носит штатское, — тоже солдат, может быть, даже званием пониже, чем мой сосед, но зато, безусловно, богаче. Он уже изрядно выпил и, как только мы поднялись в воздух, вытащил из узкого кармана толстую бутылку «Voll-69», содрал с нее хрустящую обертку, вынул зубами пробку и сделал большой глоток, но своим товарищам не предложил, а потом глотнул еще раза два, после чего стал заигрывать со стюардессой — высокой, как гренадер, девушкой в синей пилотке, лишенной всякого чувства юмора, чем, по моим наблюдениям, отличаются все стюардессы туристского класса на лайнерах КЛМ.

Подвыпивший атомщик в штатском — тут мне вдруг пришла в голову мысль: не сгорела ли где-нибудь его униформа? — все никак не мог успокоиться и задремать. Видимо, его нервная система была совсем расшатана и алкоголь уже не действовал на нее как снотворное. Его все время терзала жажда деятельности. Он вызвал звонком стюардессу и сначала послал ее за глобусом, и она принесла из штурманской рубки резиновый глобус, который он надул ртом через специальный отросток и стал пьяными глазами разыскивать Северную Америку, желая определить трассу нашего полета, измерил ее пальцами, выпустил воздух из глобуса и вернул его сморщенное вялое тело стюардессе, тут же потребовав электрическую бритву, потому что компания КЛМ была обязана выдавать ее пассажирам туристского класса по первому требованию. Стюардесса принесла коробку с электрической бритвой, напоминавшей хорошо отшлифованный прибор морской булыжник, и солдат в штатском быстро нашел в подлокотни-

ке своего кресла скрытую розетку и ловко включил прибор, что показало его техническую сноровку. Он побрился и, многозначительно подмигнув, возвратил бритву стюардессе, лишенной не только чувства юмора, но также и самого элементарного секса.

Я смотрел на этих американских солдат, славных малых, и никак не мог заставить себя поверить, чтобы они могли что-нибудь наделать. В особенности вызывал теплые чувства мой сосед, положительный, уравновешенный добряк, видимо хороший мастеровой, с толстыми, но тренированными пальцами и коротко остриженной умной головой.

Третий солдат не отпечатался в моей памяти; он сидел где-то сзади и все время как бы прятал свое темное, как бы обуглившееся лицо между двух ладоней, приставленных к иллюминатору.

Я осмотрел свои мокасины и снова убедился, что они ничем не хуже остальных двухсот или двухсот пятидесяти отлично вычищенных ботинок, которые находились в первом и туристском классах самолета. Стало быть, пока все шло прекрасно. И это меня несколько успокоило, как будто бы я принял пятнадцать капель валокордина.

Но что ждет меня по ту сторону Атлантики? Где я буду чистить мои мокасины?

Я вспомнил, что в больших стандартных отелях Соединенных Штатов обуви не чистят, и опять почувствовал беспокойство. Я стал думать о континенте, к которому медленно приближался, и меня охватило предчувствие беды, не слишком большой, но достаточно неприятной, чего-то унижительного, связанного с моими мокасинами. Теперь я уже твердо знал, что где-то в Нью-Йорке давно поджидает меня человек, собирающийся причинить мне ущерб. Он хочет отнять у меня нечто очень дорогое. Жизнь? Не знаю. Может быть. И я заранее холодел, чувствуя свое бессилие и одиночество, и представлял себе, как в один прекрасный час останусь с глазу на глаз с этим не имеющим формы человеком где-то в глубине абстрактной нью-йоркской улицы, лишенной всяких реальных подробностей, к которым я имел сильное пристрастие как писатель и человек.

Боже мой, куда меня несет!

Милый пейзаж старой Англии неощутимо отодвинулся в никуда, уступив место черным, как бы обуглившимся скалам берегов Шотландии. В неподвижных водах отражалось бессолнечное алюминиевое небо. И сейчас же появились другие далекие острова — такие же скалистые, но уже называвшиеся Ирландия. Это было последнее, что я мог заметить из подробностей того мира, который я так опрометчиво покидал неизвестно зачем.

Длилось все то же самое утро, которое началось бог весть когда на туманном аэродроме, где мы стояли, как маленькие фигурки, на шестигранных плитах взлетной дорожки. Несколько раз я уже переводил часы, каждый раз теряя время, которое неизвестно каким образом пропало навсегда.

Было еще без десяти десять того же самого утра, а наш воздушный корабль уже висел на громадной высоте над Атлантическим океаном, покрытым пеленой белых испарений, как муха над алюминиевой кастрюлей, где на медленном огне знойного солнечного утра чуть поднималась жаркая, легкая пена закипающего молока, которое все никак не могло надуться шапкой и сбежать.

Время — странная субстанция, которая даже в философских словарях не имеет самостоятельной рубрики, а ходит в одной упряжке с пространством, — это самое время казалось почти неподвижным, потому что мы и солнце двигались в одном направлении с востока на запад с вполне соизмеримой скоростью, — но солнце несколько быстрее нас. Таким образом, наше передвижение в пространстве можно было определить как отставание от солнца. Мы стремились перешагнуть рубеж сегодняшнего утра, но утро чудовищно растянулось во времени и пространстве, очень неохотно переходя в полдень, так что иногда казалось, что я со своим узколокальным представлением о времени уже никогда не вырвусь из плена этого нескончаемого атлантического дня и никогда не увижу заката. А в той стране, где я оставил всех дорогих для меня людей, уже наступила ночь и над острыми крышами в черном небе сверкали граненые звезды Большой Медведицы.

Я уже никогда не увижу заката, так и перейду в вечность, не взглянув в последний раз на звездное небо.

Да, самое лучшее: в звезды врезываясь.

Самое тягостное было ощущение потери времени. Даже часы перестали его отражать с присущей им механической точностью. Движение времени можно было определить только по блеску обуви, которая постепенно тускнела без всяких видимых причин, просто так, как все в мире. Обувь обнаружила способность стареть. Мои превосходные молодые мокасины на глазах у меня вступали в зрелый возраст, становясь немного более матовыми, чем в юности, но, разумеется, им было еще далеко до вечера, а тем более до ночи с ее непоправимой потертостью, царапинами, сточенными каблуками и сероватым звездным светом.

Я поглядывал на них, как на часы, с ужасом замечая, что не только мое тело, но и так называемая душа стареет вместе с ними, покрывается царапинами времени, серовато-звездным налетом вечности, то есть бесконечной длительности времени существования мира, обусловленной несотворимостью и неуничтожимостью материи.

При этом во мне продолжало непрерывно усиливаться и нарастать предчувствие колоссальной неприятности, к которой я приближаюсь. Несомненно, это явление было следствием раздражений, несущихся в мою нервную систему из внешнего мира. Назовем их сигналами будущего.

Кто мне вернет пропавшее время?

Между тем бесконечный день над Атлантическим океаном тянулся, тянулся, тянулся, и я не знаю, чем бы это все кончилось, если бы наш лайнер вдруг каким-то чудом сравнял свою скорость со скоростью солнца. Тогда бы я погрузился в вечный день — без утра и вечера, — нескончаемо длинный, как полный текст Библии со всеми ее повторениями и вариантами, — в вечное бодрствование и был бы испепелен вечным светом и вечной усталостью непрерываемой жизни. К счастью, наша четырехмоторная улитка ползла над облаками Атлантики все-таки медленнее

солнца, ползла как бы со страшным усилием, и лопасти ее винтов не сливались, а замедленно мелькали как бы в обратную сторону с необратимым постоянством.

Улитка при всем старании не могла выползти из своего домика, и таким образом солнце постепенно все-таки уходило от нас, и бесконечно мучительный день медленно переходил в мучительный вечер, который вдруг обозначился вдалеке воздушными горами облачного Синая, откуда вверх били дымно-лиловые лучи Моисеева света, а немного подальше разлеглись облачные библейские львы не видимой глазом Гренландии, а может быть, не Гренландии, а полуострова Лабрадор, после чего стали постепенно наливаться электрическим светом молочно-белые овальные плафоны и внутренность самолета как бы замкнулась в самой себе, отрешенная от внешнего мира, где вечер вытеснял день, а ночь вытесняла вечер. И когда я, прикрыв сбоку лицо ладонями, прильнул к тонко вибрирующему стеклу иллюминатора, то уже ничего не увидел, кроме самоварного огня, бьющего из моторов, и нескольких звезд в темном плотном небе.

Я чувствовал, что за моей спиной спят полтора ста пассажиров, откинувшись на валики откидных кресел и подняв вверх измученные лица, а рядом со мной дремал американский солдат-атомщик, и я чувствовал человеческое тепло его плеча.

Невозможно определить, сколько времени прошло, если неизвестно, что из себя представляет само время. Раз шесть нам подавали на маленьких пластмассовых подносиках еду, минеральную воду, чай, кофе, фрукты. И раз шесть я засыпал с поднятым лицом, и просыпался, и опять засыпал...

Вдруг мой сосед, перегнувшись через меня и обдав жаром своего большого тела, заглянул в окно и дружелюбно произнес:

— Лонг-Айленд.

Я увидел в иллюминаторе ночь, как пласт угля, по которому во всю ширь до самого горизонта медленно и молчаливо двигались в обратную сторону врезанные в него световые сигналы, целая сложная система сигналов: точки, пунктиры, линии, геометрические фигуры, параболы, заставлявшие меня составить представление о населенном материке, где шла своя, еще не понятая мною ночная жизнь. Я видел ряды бело-зеленых сильных газосветных фонарей вдоль непомерно длинных городских магистралей,

разноцветные огни светофоров, светящиеся тельца бегущих автомобилей, эллипсоиды освещенных стадионов с бегущими крошечными фигурками спортсменов, провисшие цепи мостов, иллюминаторы трансатлантических пароходов и вращающиеся маяки с узкими крыльями прожекторов, оббегающих горизонт со скоростью секундной стрелки. Подо мной на страшной глубине плавал ночной Нью-Йорк, который, несмотря на весь свой блеск, был не в состоянии превратить ночь в день — настолько эта ночь была могущественно черна. И в этой темноте незнакомого континента, в его таинственной глубине меня напряженно и терпеливо ждал кто-то, желающий причинить мне ущерб. Мне — одинокому, внезапно заброшенному сюда выходцу из другого мира, — но не старого, а быть может, еще более нового, чем этот.

О, если бы вы знали, как я был одинок и незащищен, когда, спустившись по трапу высотой с двухэтажный дом, я вошел в лилово-зеленое пекло почти тропической нью-йоркской ночи — тяжелой, влажной, бездыханной, — и как я пошел по однообразно светящимся коридорам таможни, как бы вырезанным в ледяном теле айсберга, где, освещенный со всех сторон, я был лишен своей тени, где воздух был «кондишен», так что я мог несколько минут наслаждаться искусственной прохладой, и как я потом под взглядом красавицы таможенницы, острой блондинки с раскованными глазами кинозвезды, с пистолетом в белой кобуре, взял со светящегося конвейера мой ползущий чемодан и снова окунулся в ночной зелено-лиловый зной, где все виды искусственного света были не в состоянии хотя бы немного отодвинуть от меня черноту этой дьявольской, почти тропической августовской полночи незнакомого континента, где вместо Цельсия температуру показывал Фаренгейт, чудовищно ее преувеличивая, отчего влажная жара казалась еще более невыносимой.

В номере на двадцать третьем этаже стандартного туристского отеля, где на серой гипсовой стене над пружинной кроватью висела цветная репродукция зимнего пейзажа Утрилло, ночной зной и духота были еще более ужасны, чем на улице. «Эр кондишен» не было. Его заменял специальный холодильник с вентилятором, вделанный в нижнюю часть квадратного американского окна и наполовину выставленный наружу и повисший над стрит — на манер цветочного ящика. Я тотчас повернул пластмассовое колесико, и пронзительная могильная струя охлажден-

ного воздуха пролетела по темноватому номеру, минуя мое потное, горячее лицо, и мне пришлось повернуть другое пластмассовое колесико, для того чтобы направить холодную струю на изголовье своей постели. Теперь в мое лицо косо ударила режущая струя ледяного воздуха, заменив одну муку другой — муку субтропической духоты мукой антарктического ветра, дующего с угрожающим постоянством по диагонали от окна к кровати в ночном сумраке этого чистого, но очень скучного туристского номера, откуда открывался вид на скопление полуосвещенных небоскребов и на какой-то шпиль, по которому вверх и вниз каждые шестьдесят секунд бежала цепочка электрических лампочек, считая минуты и часы нью-йоркского времени.

Я погрузился в мертвый сон, а когда проснулся, то почувствовал, что могильный ветер холодильника продолжал шевелить мои волосы, а в окне — типичном американском окне, открывающемся, как вагонные, — над знакомым скоплением небоскребов в голубом свежем небе неслись белые атлантические облака и над рекой Гудзон, кое-где видневшейся в пролетах улиц, носились чайки. Я спустился вниз и вышел на улицу. Было раннее утро, воскресенье, безлюдье, где-то позванивали церковные колокола, солнце золотило верхушки Колумбовой колонны, в Центральном парке в сухой августовской траве кое-где валялись пустые бутылки из-под джина и водки, из травы кое-где высывались черные гранитные скалы, темненькие белочки в потертых, давно не отремонтированных шубках доверчиво подходили ко мне и смотрели, как девочки, добрыми выпуклыми глазками, иногда бесшумно проносились запоздавшая машина, стремительно унося за город на воскресную прогулку счастливую парочку: его, незаметного молодого человека, и ее, ослепительную, как небожительница, высокую, стройную, с развевающимися золотыми волосами.

Грипп, насморк, кашель, головная боль, потеря равновесия — расстройство вестибулярного аппарата.

Я уже не сознавал, куда иду и что делаю. Меня вела, как говорилось в старину, таинственная сила предопределения. А в действительности, подчиняясь сигналам из окружающей меня среды, я шел вперед из улицы в улицу, пересекая узкие скверы, прямо в мышеловку, поставлен-

вую для меня в одном из закоулков этого, в основном кирпичного, довольно старого города. Здесь меня на каждом шагу подстерегали явления и картины, которые я ощущал как сигналы бедствия. Неряшливая пустота этих бедных кварталов пугала. Я не сомневался, что где-то очень близко, может быть вот за этим кирпичным углом, меня ограбят. Но что можно у меня забрать, чем поживиться? Желтый сертификат — свидетельство о прививке оспы — и сорок бумажных долларов со слегка обгоревшими уголками, надежно зашпиленных во внутреннем боковом кармане. Их бы я не отдал, даже если бы в мою печень был наставлен бесшумный автоматический пистолет из ближайшей телефонной будки.

Нигде ни одного полисмена, ни одного прохожего, ни одного свидетеля. Все пусто, все заперто, люди молятся или отдыхают, всюду субботний сор, и даже возле кирпичного пожарного сарая или возле кирпичного фасада клиники имени президента Франклина Делано Рузвельта нет ни дежурных, ни сторожей, ни швейцаров.

Особенно настойчивые сигналы стали поступать в узком треугольнике Линкольн-сквера в тот самый миг, когда вдруг среди пыльной августовской зелени городских деревьев я увидел зловещую голову Данте в средневековом чугунном шлеме. Вместе со всеми кругами своего ада он не предвещал мне ничего хорошего, но ничего хорошего не предвещала также сильно уменьшенная и все же довольно-таки громоздкая, грубая копия статуи Свободы — невежественное подобие, поставленное на крыше своего пятиэтажного дома каким-то чудачком, который злоупотребил правом свободного американца как угодно поступать со своей собственностью. Я даже сперва отшатнулся, когда вдруг увидел над собой эту знакомую женщину, но не из позеленевшей бронзы, с поднятым факелом, а совершенно черную, как бы слепленную из смолы. И хотя это было нечто претендовавшее на искусство, оно казалось мне во сто раз уродливее круглых баков водяного отопления, водруженных на своих железных треножниках над крышами других домов, индустриальные силуэты которых все время маячили передо мной в отдалении.

Я зазевался, и меня едва не сбил с ног длинный автомобиль, который энергично вела молодая старуха в белом шелковом костюме, так густо покрытом черными яблоками, что его можно было скорее назвать черным в белых яблоках, а рядом с дамой сидел и смотрел в изогнутое вет-

ровое стекло с мягким верхом большой пойнтер в драгоценном ошейнике, тоже весь темновато-белый, в черных яблоках или, вернее, черный в белых яблоках, в точности подобранный под цвет черно-белого ансамбля молодой, подтянутой старухи, пролетевшей мимо меня купаться на Джонс-Бич, как новый сигнал, предупреждающий о близкой беде.

Более зловещим показалось мне явление другого автомобиля — не менее роскошного и длинного, — в просторной кабине которого ехал костюм. Не человек в костюме, а именно сам по себе костюм — элегантный, свежееутюженный, висящий на тончайших проволочных плечиках, прикрепленных к потолку кабины. Костюм был совершенно готов, чтобы его надели и тотчас отправились в гости, даже угол свежего батистового платочка торчал из его нагрудного кармана. Перед самым моим носом автомобиль с костюмом остановился, шофер в форменной фуражке вышел на тротуар, с легким испупклоном открыл дверцу и помог костюму выйти из машины: высоко поднял его и бережно внес в красную лакированную дверь особняка, распахнутую перед ним человеком в визитке старшего лакея. Через несколько секунд машина тронулась дальше, и я снова остался один, совсем один, среди утреннего воскресного Манхеттена, испытывая известное унижение оттого, что костюм прошел перед самым моим носом, не обратив на меня никакого внимания, и даже не извинился за то, что пахнул мне в лицо английской лавандой фирмы «Ярдлей». И в тот же миг мне померещилось, что из-за кирпичного угла на меня кто-то смотрит почечным глазом.

Я не стал уклоняться от неизбежной встречи и смело свернул за угол. Но за углом никого не было. Я увидел другую улицу, такую же пустынную и кирпичную, как и предыдущая. Но было в ней все же нечто особенное: небольшое чахлое деревцо, каким-то чудом выросшее возле старого дома с черными каменными лестницами, ведущими прямо с улицы в каждую наружную дверь первого этажа.

Множество подобных черных лестниц я видел потом в Гарлеме.

До сих пор не могу забыть эту картину: черная каменная лестница с потертыми черными перилами, большое деревцо, окно — обыкновенное нью-йоркское окно без переплета, с поднимающейся нижней рамой, как в вагоне, — и в этом окне, увешанном птичьими клетками, среди множества цветочных горшков — прелестная и очень бледная в своей грустной прелести девушка-подросток лет четырнадцати, с длинными волосами, старомодно ниспадающими на ее узкие плечи, с тонкими полуобнаженными руками и длинными пальцами, которыми она грациозно касалась своего еще совсем по-детски овального подбородка и нежной шейки с голубыми каменными бусами. Это была полуженщина-полуребенок, и она нежно и грустно смотрела на мальчика, сидевшего на черных ступенях, как бы у ее ног, положив свою ирландски рыжую голову на поднятые колени.

Я понял, что они любят друг друга, и я также понял, что им некуда уехать из Нью-Йорка в это знойное августовское воскресенье. Я понял, что здесь их рай, счастье, их грусть, их безнадежность, их все. Они скользнули блуждающим взглядом по моим слегка пыльным ботинкам и снова погрузились в глубину своего горестного, нищего счастья под сенью единственного на всей улице деревца с ломкими перистыми листьями и слегка неприятным ореховым запахом, которое у нас на юге называют чумаководом.

Я прошел мимо десяти или двенадцати мусорных баков, выставленных в ряд, из-под крышек которых вывалилась всякая дребедень: остатки субботнего вечера, раковая скорлупа, картонные коробки, гнилые корки грейпфрутов. Я прошел мимо больших красных ворот пожарной команды, мимо пустыря, заваленного старыми, облезлыми автомобилями, густо поросшего южным бурьяном, напомнившим мне детство и Молдаванку. Затем я миновал заправочную станцию, где никого не было и блестяли на солнце пистолеты заправочных наконечников. Несколько раз мне пришлось перешагнуть через еще не вполне высохшие темные потеки детской мочи, спускавшиеся с кирпичных стен дома и продолжавшиеся поперек тротуара.

А колокола все время утомительно позванивали, напоминая о воскресенье.

...Как труп в пустыне я лежал...

Но вот я опять повернул за угол и очутился на улице, которая, по-видимому, тянулась от самой Парк-Баттери параллельно Гудзону, мимо обгоревших деревянных пристаней, откуда все еще продолжало тянуть гарью, на несколько десятков миль, которые назывались здесь «майлс», однообразно кирпичная, с одной стороны — резко освещенная солнцем, а с другой стороны — резко погруженная в сырую черную тень со всеми своими безлюдными барами, галантерейными магазинчиками, красивыми заведениями, прачечными и итальянскими съестными лавчонками, где в окнах висели целые гроздья соломенных фьясок с кьянти «суффино», похожих на мандолины, связки испанского лука, седые шелудивые косы чеснока и палки сухой миланской колбасы в серебряной сетке.

Это была Десятая авеню, из конца в конец безлюдная и как бы распиленная вдоль резким светоразделом.

Точнее сказать — она сначала показалась мне безлюдной, но это был обман зрения, так как я сейчас же заметил очень далеко впереди, по крайней мере на расстоянии мили, в перспективе пустынной улицы маленького человечка, который, выйдя из-за угла, стоял на перекрестке и неподвижно смотрел на меня. Хотя до него было еще очень далеко, я отчетливо видел его толстенькую фигуру, неряшливый пиджак, одутловатое лицо старого неудачника, нищего, способного на все ради самого ничтожного заработка, а главное — я понимал, что он смотрит на мои ноги, словно изучая мои мокасины. Я тоже посмотрел на них и ужаснулся. До сих пор я считал, что они имеют вполне приличный вид. Как мог я рискнуть в такой пыльной обуви выйти на воскресную прогулку!

Позади человечка я заметил будку для чистки сапог. Такую точно будку я видел когда-то в Москве возле Центральных бань на Неглинной. Человечек продолжал смотреть на меня гипнотизирующим взглядом и даже сделал небольшой полужест, как бы желая одновременно усыпить мою бдительность и завлечь в свою мышеловку.

Я приблизился осторожными шагами лунатика. Будка была заперта на обыкновенный, довольно неуклюжий восточноевропейский всячий замок начала XIX века, и у меня отлегло от сердца. Но незнакомец быстро щелкнул ключиком и распахнул фанерную дверь. В конце концов, ничего страшного в этом не было. Никакой чертовщины. Чего проще: у кого-то запылились башмаки, он идет в

будку к чистильщику и вскоре выходит в сияющих, невероятно черных башмаках, один вид которых сразу возвращает его в общество приличных людей. Так поступает все цивилизованное человечество. И все же я колебался. Кроме кругленькой суммы в сорок долларов, надежно спрятанной у меня на груди, у меня еще была отложена в специальном маленьком карманчике известная сумма мелочи: семьдесят четыре цента. Время от времени я засовывал пальцы в карманчик и в глубине его ощупывал монеты — тяжеленький серебряный полдолларовик, казавшийся мне целым состоянием, и двадцать четыре цента разными монетками на мелкие уличные расходы. Но я не знал, сколько стоит чистка. Вернее сказать, до меня доходили слухи, что примерно это обойдется центов в пятнадцать, даже, может быть, в двадцать. Определенной таксы не существует. Все зависит от свободного предпринимателя. Говорили, что в собвее у негра можно вполне прилично почистить ботинки даже за десять центов, но, конечно, «того блеска» уже не будет. Кто хочет, чтобы его ботинки блестели, как стекло, должен раскошелиться. Я готов был раскошелиться. Но, конечно, до известных пределов. Я даже согласен был отдать за чистку все мелкие монетки. Это, разумеется, тоже не мало. Но пусть уж будет так: ведь мне предстоял длинный воскресный день в Нью-Йорке. Не мог же я провести его, шляясь по улицам и барам в грязных ботинках, тем более что мне предстояло посетить два знаменитых на весь мир музея: «Метрополитен» и нового искусства, а если останется время, то еще и третий — Соломона Гугенхайма, похожий на четырехъярусную артиллерийскую башню сверхдредноута. Мог ли я посетить эти святыни в столь запущенной обуви? Это было бы надругательством над мировой живописью.

Стоять в неряшливых стоптанных ботинках перед «Откровением святого Иоанна» Эль Греко или перед «Мадам Шарпантье и ее детьми» Ренуара, где чернобровая дама в черно-лиловом шелковом платье, с черно-лиловыми глазами и черно-лиловыми волосами, а сама вся как бы сделанная из парижского сливочного масла, и две прелестные, похожие на нее маленькие девочки в голубых платьицах, а также лежащий на ковре сенбернар с черно-лиловой шелковой шерстью с белыми пятнами, как бы

рифмующийся с самой мадам, — все они вместе — мадам, девочки и собака — как бы являлись высшим проявлением той богатой, артистической, недоступной парижской жизни конца века, в присутствии которой находиться в нечищенных башмаках было бы равносильно святотатству. Я уже не говорю о хохочущей, разорванной на куски лошади и потрясающей электрической лампочке, вспыхнувшей в последний раз перед всеобщим атомным уничтожением на панно Пабло Пикассо «Герника» в Артмузее. На панно — черные, как звездное небо, лестницы и полы ведут вас к громадному окну, выходящему во внутренний двор, где вы вдруг видите посредине безукоризненного, чистейшего ярко-зеленого газона три древнерусские березки с плакучими нестеровскими ветвями и шелковистобелыми, девственными стволами, украшенными черными черточками и полосками кисти самых лучших абстракционистов, может быть, Малевича или даже самого Кандинского.

Разве мог я решиться осквернить все это своими нечищеными мокасинами?

А незнакомец стоял возле будки и, стараясь заманить меня в свое логово, делал разнообразные знаки и на разных языках пытался вырвать у меня согласие почистить обувь.

— Инглиш?

— Но!

— Итальяно?

— Но!

— Суэден?

— Но.

Это было все, что он мог мне предложить.

— Франсе? — спросил я с надеждой.

— Но! — в свою очередь, ответил он и легонько подтолкнул меня плечом к фанерной двери своей будки.

— Дейч? — спросил я с отчаянием.

Он горестно развел короткими руками и, в свою очередь, спросил:

— Испано?

— Но, — удрученно ответил я.

Это был пожилой, обрюзгший человек с одышкой, в заношенном пиджаке, в помятой сорочке с отстегнутым воротничком, и крупная медная заколка, позеленевшая от

времени, натерла на его шею красное пятно. У него была плешивая голова, мешки под глазами, как у старого сердечника, от него исходил дурной запах итальянской кухни — лук, жаренный на прогорклом оливковом масле, и тертый чеснок. Он был небрит. Типичный нищий-неаполитанец, лаццарони, состарившийся где-нибудь в лачуге на Санта-Лючия. Но он не был суетлив. Напротив. Он был малоподвижен, потому что каждое движение заставляло его астматически вздыхать — со свистом и бульканьем.

— Руссо? — безнадежно спросил я.

— Но, — с одышкой ответил он.

И мы оба вспотели.

Он подтолкнул меня к высокому креслу и помог мне на него вскарабкаться, как на трон. Таким образом, мои мокасины оказались на уровне его серого небритого подбородка, форма которого могла сделать честь любому римскому императору, и он бросил на мокасины презрительный, но вместе с тем и алчный взгляд.

У нас не было общего языка. Вторая сигнальная система как бы отсутствовала. Друг для друга мы были глухонемые. Мы должны были объясняться жестами или движением лицевых мускулов, как мимы. Этот старый итальянец оказался прирожденным мимом.

— Ну, эччеленцо, почистим? — спросило его брезгливое лицо.

— А сколько это будет стоить? — безмолвно спросил я, делая самые разнообразные телодвижения и жесты, и даже нарисовал в воздухе указательным пальцем вопрошительный знак.

Он понял.

— Двадцать пять центов, — сказал он комбинацией лицевых мускулов и для верности буркнул по-английски: — Твенти фэйф.

Я не поверил своим ушам и, несколько преувеличенно изобразив на своем лице ужас, спросил бровями, щеками и губами:

— Как! Двадцать пять центов? Четверть доллара за простую чистку?

— Да, — с непреклонной грустью ответили мешки под его глазами.

— Почему так много? — воскликнули морщины на моем лбу. — Варум? Пуркуа? Уай?

Он величественно — как Нерон на пылающий Рим — посмотрел вокруг на старые, наполовину уже разрушен-

ные дома этого квартала, где в скором времени должен был вырасти грандиозный, ультрамодернистский Музыкальный центр, и ответил мне целой серией жестов, телодвижений, гримас и сигналов, которыми без слов изобразил исчерпывающую картину нью-йоркского летнего воскресенья с его слабым колокольным позвякиванием, пустотой, зноем, безлюдьем и законами о запрещении воскресной торговли.

Я понял: все вокруг заперто, почистить обувь пегде, он специально отпер для меня свое предприятие и рискует неприятностями с профсоюзом, и я должен платить по двойному тарифу. Я посмотрел на свои ноги и окончательно убедился, что провести в такой обуви нью-йоркское воскресенье просто неприлично,— и смирился.

— Хорошо,— сказал я.— Ладно. Идем. Бьен. Уэл.

Тогда он неопишимо ленивым движением достал щетку и двумя скорее символическими, чем реальными движениями утомленного аристократа смахнул пыль с моих мокасин, отчего они вовсе не стали лучше. Совершив это действие, он слегка передохнул и вытер носовым платком свою серо-буро-малиновую шею. Затем, порывшись на полках, где, как и во всех подобных заведениях земного шара, у него хранились разных сортов стельки, шнурки, подковки, винтики, шпунтики, шурупчики и прочая мелочь, он протянул мне пару шнурков в целлофановом пакете.

— Купите! — сказала его лицо.

Ах, так этот старый мошенник хочет на мне нажить-ся? Ну уж дудки! Не на такого напал.

— Нет! — крикнуло все мое существо.— Но! Найн! Нон!

Он небрежно швырнул пакетик обратно на полку и показал мне глазами, которые вдруг стали игривыми, как у Бригелло, цветные портреты голых и полуголых красавиц, вырезанных из разных иллюстрированных журналов, причем возле каждой вырезки на стене были жирно написаны столярным карандашом пятизначные нью-йоркские телефоны с двумя литерами спереди.

— Может быть, это? — спросило его лицо старого сводника, но так как я в смятении замахал руками, он, облив меня презрительным взглядом, еще раз обмахнул мои мокасины, затем достал флакон, вынул пробку с проволокой, на конце которой был прикреплен ватный тампон, и слегка помазал аппретурой потертые ранты моих

мокасин, после чего обмахнул их бархаткой и сказал жестом:

— Готово!

Как? Это все? Я не верил своим глазам. Но передо мною уже твердо лежала в воздухе его сизая, как пепельница, ладонь с черными линиями жизни, роговыми мозолями, венеринными буграми и прочими деталями хиромантии. И я осторожно выложил на эту ладонь свою мелочь. Двадцать четыре цента. Я прощался с ними со слезами на глазах, как с родными детьми. Всё. Не хватало всего лишь одного маленького центика, медного клопика, почти не имеющего никакой ценности.

Однако старик смотрел на меня неумолимо требовательно, и его ладонь продолжала все так же твердо торчать перед моими глазами.

— Может быть, хватит? — сказала все мое существо, пытавшееся в тот миг как бы примирить славянский размах с американской деловитостью.

Но он даже не ответил мне, настолько он чувствовал себя хозяином положения.

— Двадцать пять центов, — с ледяным упорством говорила вся его фигура, ставшая чугунной.

Ничего не поделаешь! На его стороне, по-видимому, был закон или, во всяком случае, все силы профсоюзов. Я смирился. Мне, конечно, очень не хотелось менять свои тяжеленькие, красивенькие, серебряненькие полдоллара. Но ничего не поделаешь. Я был в его руках. Тогда я забрал с его жесткой ладони всю свою мелочь и положил вместо нее прелестную серебряную монету в пятьдесят. Он не глядя бросил ее в отвисший карман своего пиджака и повернувшись ко мне согбенной спиной, стал убирать бархатки и щетки.

— А сдачи? — воскликнул я по-русски, чувствуя, что произошло непоправимое.

Он ничего не ответил, но его спина выразила, что сдачи не будет.

— Почему? По какому праву? Варум? Пуркуа? Перкэ? Это нечестно. Дас ист нихт гут. Се тре мовэ. Но буоно. Ведь мы же сговорились за двадцать пять центов!

Для бóльшей наглядности я написал в воздухе дрожащим указательным пальцем большое двадцать пять и громадный вопросительный знак, к которому прибавил еще восклицательный высотой в двенадцать инчей.

— Но! — резко сказал он, отрицательно мотнул голо-

бой, и над каждым моим ботинком написал в воздухе большим пальцем с иссиня-черным мраморным потем цифру «25». Затем он поставил между ними плюс и, начертив знак равенства, аккуратно изобразил цифру «50».

Я застонал, как подстреленный, потому что понял, что этот подонок считает двадцать пять не за оба мокаси-на, а по двадцать пять за каждый. Я ничего не мог с ним поделаться: именно в таком смысле он истолковал наше со-глашение. Что делать, что же делать?

Дать ему по морде? Но закон был на его стороне, так как у меня не было свидетелей и я был всего лишь сди-нокий старый чужестранец, без связей, без знакомств, за-брошенный в глухую страну сновидений и блуждающий по ней на ощупь, как слепой.

Мне стало так жалко себя, что я готов был лечь на раскаленный тротуар возле кирпичной, слегка выветрив-шейся стены, под железную пожарную лестницу и завять на всю Десятую авеню, что меня обманули, ограбили, про-вели, как последнего пижона... Но что я мог сделать? Ничего! Я даже не мог пожаловаться Генеральной Ас-самблее ООН, чье плоское стеклянное здание возвыша-лось, как шведский книжный шкаф, над железными мо-стами и бетонными эстакадами Ист-сквера: ведь я не был даже самым захудаленьким государством.

Я был всего лишь частным лицом.

И я смирился, снова погружаясь в глубину таинствен-ных сновидений, не достигающих до моего сознания — так глубоко они лежали на темном, неосвященном дне той субстанции, которую до сих пор принято называть душой.

А он тем временем потихонечку, довольно вежливо, я бы даже сказал дружелюбно, выпихнул меня своим груз-ным телом из будки и повесил на дверь замок. Я посмот-рел на него из самой глубины сна, в который был погру-жен, — на него, старого, больного, с опухолью в мочевом пузыре, с одышкой гипертоника, с трясущимися опухши-ми глянцевитыми руками, в красных матерчатых комнат-ных шлепанцах на босу ногу, в старой итальянской соло-менной шляпе, с лентой, пестрой, как змея в одном из рассказов Конан Дойла, и мне вдруг стало жалко не себя, а его. Я как-то отраженно подумал, что, может быть, оп папа или даже дедушка той женщины-девочки, которую я только что видел в окне старого кирпичного дома, изуро-дованного по фасаду зигзагами железных пожарных лест-ниц и переходов, среди клеток с бирюзовыми инсепараб-

лями — попугайчиками-неразлучниками, канарейками и говорящими скворцами. Мне захотелось плакать — широко и сладко, — и я простил старого мошенника и вспомнил свою первую любовь.

Затем я провел восхитительный день, свой первый день в Нью-Йорке.

За мной заехал Митч со своей девушкой, которая была в летнем платье — по-американски пестром, а он в черном летнем костюме — мохнатом и в талию, отчего туловище Митча показалось мне еще больше вытянутым. И он повез меня на своем наемном «кадиллаке» с ветровым стеклом, в верхней своей части аптекарски синим, вокруг Манхеттена.

Мы сидели все втроем впереди, как за одной партой, дружески прижавшись друг к другу, от девушки сильно пахло духами «Мицуко», и мы с безумной скоростью мчались по белым эстакадам, ныряли в белокафельные тоннели под Гудзон, где на несколько минут нас охватывала городская ночь со своей тревожной системой световых сигналов, вылетали на солнечный свет, поворачивали по головокружительным виражам, возвращались назад, пробежали, как звук, по повому висячему мосту Джорджа Вашингтона, по сравнению с которым знаменитый Бруклинский мост, некогда воспетый Маяковским, — ничто, пролетели, как муха, в середине громадной арфы с белыми струнами висячей конструкции; Митч захотел показать мне какое-то знаменитое шоссе, по которому может мчаться шестнадцать рядов машин в одном направлении, но не нашел его, и мы снова мчались и мчались вокруг Манхеттена, перескакивая с эстакады на эстакаду, и все время видели то сбоку, то сзади, то впереди светлые силуэты небоскребов, пересечение стальных светлых балок, ферм, креплений над обгорелыми остатками грузовой пристани, иногда попадая в желто-опаловый дым догорающего маслостойного завода, распростершего над Нью-Йорком зловещую тень своего извержения в классической форме извержения Везувия.

Плавные, по очень крутые виражи бросали нас друг на друга, и мы все мчались, все мчались, как безумные, среди белого джаза Нью-Йорка.

В особенности же прекрасен был этот город в разгар зимы, когда в докрасна раскаленных ущельях Таймсквера, под дикие звуки флейт и барабанов Армии спасения бушевали снежные вихри, обрушиваясь с металлических верхушек небоскребов и превращая стоянки автомобилей в ряды глубоких кладбищенских сугробов, озаренных движущимися заревами световых сигналов и реклам, и когда тихим и мягким утром на длинных ступенях лестницы Нью-йоркской публичной библиотеки, между двумя каменными львами, можно было увидеть еще одного, третьего, льва, вылепленного нью-йоркскими мальчишками и студентами из снега, и эти три льва смотрели белыми глазами на самую богатую улицу мира — Пятую авеню, на виднеющиеся кое-где знаменитые готические церкви: собор святого Патрика, церковь святого Фомы, так называемую — «Маленькую церковь за углом», в соседстве с которыми новейшие небоскребы напоминают нагромождение корсетных коробок — высоких и узких, алюминиевых, стеклянных футляров, куда эти церкви, по-видимому, кто-то прячет на ночь вместе со всеми их портиками, дверями, мраморными шпилями колоколен и даже, кажется, химерами, как на карнизах собора Парижской богородицы, так что обстановка сложилась самая естественная для несколько фантастического появления одного человека, который внезапно возник рядом со мной на лестнице библиотеки, как бы представляя четвертого льва с многозначительно поднятыми бровями. Я думаю, этот человек был одним из последующих воплощений покойного говорящего кота или даже — что еще хуже — моего давнего тягостного спутника, человека-дятла с порядочно поредевшим за это время хохолком, и в ту же минуту я услышал его жаркое дыхание и деформированный пространством и временем голос, таинственно забубнивший мне на ухо: «Должен вас предостеречь: ведите себя более осмотрительно. Не следует так откровенно восхищаться. Что вы нашли в том самом ихнем Джордж Вашингтон-бридж? Не видели дерьма! Такой самый, как наш Крымский, только еще длиннее. Будьте крайне осторожны в своих высказываниях, а то сами не заметите, как нарветесь на провокацию».

У него была такая артикуляция, как будто сильно распухший язык с трудом помещался во рту, так что обыкновенные слова еще кое-как пробивались наружу, хотя и в несколько деформированном виде, а слова длин-

ные или научные, такие, к примеру, как «неоколониализм», вылезали на свет божий из недоразвитого толстого ротика уже просто-таки в укороченном виде, без гласных, одни только согласные: «нкнлнлзъм», «сдлзъм», что, впрочем, не мешало ему быть весьма красноречивым.

— Если хотите знать, я сам крепко пострадал, в смысле — погорел. Вообразите себе такую картину: посылают меня в Америку, в Город Желтого Дьявола.

Я вообразил.

— Приезжаю, заказываю в центовке визитные карточки, одеваюсь как положено, по мировому стандарту, беру на выплату кар и так далее. Слава богу, на отсутствие у себя вкуса пожаловаться не могу. Чего-чего, а за вкус ручаюсь. Сами видите: ни за что не отличишь от иностранца. Верно? Тергалевые брюки двадцать один сантиметр без обшлагов, узкие мокасины, задние разрезы на пиджаке, нейлоновая сорочка, скромненький галстук с абстрактным рисунком. Тоненькая золоченая цепка. Все о'кей! Получаю приглашение на обед. Иду, обстановка следующая: деловой ленч в пальмовом зале «Уолдорф Астории». Кардинал Спэллман, Рокфеллер-младший, мэр города Нью-Йорка Роберт Ф. Вагнер, наш представитель по мировым стандартам Сидоров, дамы, господа, представители влиятельных кругов Уолл-стрита. Моя соседка слева — звезда экрана Агата Бровман, «мисс Голливуд» одна тысяча тридцать девятого года. Ленч, конечно, при свечах. Хрусталь, серебро, салфетки из голландского полотна, никакой синтетики. Все — о'кей! У меня нервы, конечно, натянуты, но я не показываю вида и держу себя абсолютно как джентльмен. И что же вы думаете? Поймали-таки меня на провокацию, подлецы. Кончается ленч, лакеи в белых шелковых чулках подают хрустальные мисочки с полосканьем. Тут уж, сами понимаете, я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Знаю, что к чему. Ученый. Читал инструкцию. Если после ленча подают тебе мисочку с водой, то боже упаси ее пить, потому что это не лимонад, а полосканье для пальцев. Некоторые наши на этом крупно погорели, но только не я. Беру мисочку и, чтобы все видели, начинаю мыть в ней руки. А это как раз оказался ананасный компот. Понимаете! Так я, вообразите себе, на глазах у всей «Уолдорф Астории» вымыл руки в ананасном компоте, так что он стал даже немного синий, вроде лиловый.

Ну, конечно, меня вызвали и говорят: ты, Федя, в Городе Желтого Дьявола не прошел. Придется тебе отправиться на какой-нибудь другой континент. Там мы тебе что-нибудь подберем. И вот — завтра улетаю. Так что учтите: здесь на каждом шагу можете нарваться на провокацию. И боже вас сохрани, никогда не мойте руки в ананасном компоте. Ну, авось когда-нибудь встретимся.

Он пошарил в бумажнике и вручил мне маленькую визитную карточку с немного захватанными уголками, где было напечатано латинскими буквами:

«Альфред Парасюк, кюльтурель».

Говорящий кот! Говорящий кот!

Американцы дали мне понять, — разумеется, со всей деликатностью! — что действительно не следует чрезмерно восхищаться Нью-Йорком, потому что этот город — отнюдь не Америка.

— А что же?

— Все, что угодно, но только не Америка. Если вы хотите увидеть подлинную Америку, то ищите ее где-нибудь в другом месте материка.

— Хорошо. Я буду ее искать.

И я полетел в Вашингтон, округ Колумбия, хотя меньше всего можно было назвать полетом бесцветное передвижение по воздуху над просторами восточной части Североамериканского материка в длинной закупоренной комнате пассажирского самолета, оклеенной синтетическими обоями с серебряным абстрактным узором и таинственными пробоями в панелях, превращавшихся ночью в подобие карты звездного неба, в чем я убедился впоследствии, когда мне пришлось несколько раз передвигаться над Штатами после наступления темноты. Чехлы кресел были пропитаны запахом виргинских табаков, и я увидел двух молчаливых попутчиков в противоположных концах пустого салона первого класса. Один был черный, другой белый.

Впервые в жизни я видел такого негра — безукоризненно элегантно, одетого во все темное тропикаль, корректного и, видимо, богатого, с утонченно интеллигентными чертами прекрасного лица европейца, белоснежным воротничком вокруг длинной, несколько женственной шеи и с музыкальными пальцами, на одном из которых неяр-

ко светилось бледное обручальное кольцо очень хорошего тона — совсем тонкое, как новорожденный месяц в сумерках матовой узкой руки с дымчато-розовой ладонью.

Я уже когда-то видел подобные глаза, глядящие вам прямо в душу как бы из прорези полумаски.

— Отлично. Завтра я вас усыплю в лучшем виде. Ручаюсь, что вы даже не заметите. А теперь спите спокойно.

— Доктор,— сказал я тогда,— вы обещали меня усыпить, и это очень хорошо, но обещаете ли вы потом разбудить меня?

Он не оценил моей шутки, ничего не ответил и незаметно вышел.

Может быть, мой попутчик-негр был врач, отвергший психоаналитический подход «великого Фрейда» к функциональному психическому расстройству и ведущий поиски чисто медицинских средств излечения и предупреждения неврологических и психических расстройств, состоя на службе в какой-нибудь могучей фармацевтической корпорации.

А белый был обыкновенный американский генерал, по-видимому одного из высших рангов. Он был в непромокаемой шелковой куртке цвета луковой шелухи на алой муаровой подкладке и на длинной «дубль-молнии» самой надежной конструкции; прямые армейские брюки были заправлены в довольно высокие сапоги, руки в замшевых перчатках лежали на костлявых коленях, большой штабной портфель помещался в багажнике над его головой. У него было заурядное генеральское лицо, энергично выбритое, мускулистое, решительное, с красивыми бровями, лицо пятидесяти- или шестидесятилетнего, не слишком сильно, но регулярно пьющего мужчины, способного на любые, даже самые страшные, военные действия, если этого потребует обстановка или приказ высшего начальства. Если бы не его большая генеральская фуражка с американским орлом и маленьким лакированным козырьком, как в старой русской армии, надетая по-казацки несколько набекрень, его можно было бы принять за Врангеля, или Колчака, или еще какого-нибудь из контрреволюционных генералов времен интервенции. В его полуоткрытых глазах под щелочками ирландских бровей бежали крошечные зеркальные отражения полу-

голых человечков, пылали бамбуковые хижины, стреляли базуки, ползла по земле удушливо рыжая овчина горящего напалма и джунгли тонули в ядовитом дыму, над которым висели брюхатые стрекозы вертолетов с вяло вздернутыми хвостами.

Эти два гражданина Соединенных Штатов, столь чуждые друг другу по всему своему человеческому облику и вместе с тем скованные между собой нерасторжимыми узами древнего преступления, в котором ни один из них не был повинен, были соединены всей мощью американской государственности еще более прочно, чем фазы земных суток, когда на нашей планете одновременно существуют, преследуя друг друга по пятам, белый день и черная ночь со всеми ее безумными сновидениями и подавленными желаниями.

А я — выходец из совсем другого мира, — как бы попавший в зону душевной невесомости, почти что плавал в своем откинута кресле где-то на пересечении дня и ночи и, покончив с грейпфрутом и громадными подогретыми тостами-сандвичами с консервированной ветчиной и консервированным сыром, который был украшен морскими листьями салата и покрыт каракулями майонеза, уже держал в руке до смешного невесомую пластмассовую чашку, куда стюардесса в сексуальной пилотке на обесцвеченных волосах наливала через мое плечо из кувшиноподобного термоса широкую струю тяжелого, как золото, мокко, над которым клубился божественно горький пар.

...А когда утром меня приготовили, то есть вынули из моего рта старые зубные протезы, сняли с моей руки позеленевшие от времени стальные часы, побрили все мое тело, и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, молоденькие девушки быстро и весело — с явным удовольствием — повезли меня на каталке по холодному коридору, покрытому скрипучим линолеумом цвета Атлантики, потом опустили в грузовом лифте и снова еще быстрее покатали уже в другом направлении по такому же безлюдно-стерильному атлантическому коридору в операционную, двери которой сами собой распахнулись перед нами, как в нью-йоркском интернациональном аэропорту, и я увидел голубых людей — главным образом молодых изящных женщин в полумасках, — и они переложили мое тело

на узкий и твердый стол под круглым, еще не включенным прожектором, то я окончательно примирился со всем дальнейшим...

Между тем в иллюминаторе продолжали плыть грустные пространства зимней Америки — лесистые, иногда гористые, немного зеленые, с декадентскими облаками на горизонте. Масштаб местности увеличивался на глазах, из чего можно было заключить, что начался плавный спуск. По какой-то совершенно непонятной зрительной ассоциации я безошибочно узнавал никогда раньше мною не виденные города, над которыми первый раз в жизни летел в обществе моих молчаливых ангелов: одного черного, как ночь, другого белого, как день.

Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимора — все было позади.

Когда же я увидел внизу совсем приблизившееся к глазам плавно закруглявшееся шоссе с белыми прерывистыми линиями посередине и на нем не слишком часто и не слишком быстро бегущие туда и обратно автомобили, плоские, как портсигары, которые огибали высокий электротрансформатор строгой формы, выкрашенный оранжево-красным краплением, таким ярким, почти что светящимся среди вялых зимних газонов и узкоперых елей, то я понял, что мы приблизились к Вашингтону, к его новому, ультрамодернистскому аэропорту Даллас, но это меня теперь уже совсем не радовало, потому что я предчувствовал, что в столице Соединенных Штатов со мной повторится то же самое, что было в Нью-Йорке.

— Вашингтон — это не Америка.

— А что же?

— Все, что угодно, но только не Америка. Проезжий двор, где постояльцы меняются каждые четыре года. Настоящую Америку надо искать в другом месте.

— Где?

— Не знаю.

— На юге?

— Может быть. Это зависит от ваших политических убеждений.

- На юго-западе?
- Если вы отречетесь от совести и чести.
- На западе?
- Быть может, не уверен.
- Но все-таки?
- Ищите, ищите.

Это было странно и тягостно. В какое бы место Соединенных Штатов я ни попадал, я всюду слышал одно: это не Америка. Вы не туда заехали. Ищите Америку где угодно, но только не здесь. Ищите, ищите.

Тогда я понял, что ни один американец не уверен, что он живет в настоящей Америке. Он убежден, что где-то в другом штате есть какая-то настоящая, подлинная Америка, обетованная земля для американца. Ему трудно поверить, что место, где он живет, именно и есть та самая знаменитая на весь земной шар великая Америка.

Я видел Вашингтон, Хьюстон, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Денвер, Чикаго, Бостон, наконец, злополучный Нью-Йорк, откуда, собственно, и начались поиски настоящей Америки.

Я уже не говорю о пути в ущельях Невады — слоистого плоскогорья, где белые полосы снега перемежались с винно-красными и палевыми полосами горных пород горизонтального залегания, кое-где как бы вышитые зелеными шерстяными елочками хвойного леса, что придавало им оттенок чего-то кустарного, белорусского, — и где в одном месте над нашим алюминиевым поездом на головокруглительной высоте висел ледяной орган замерзшего водопада, из которого, как из моей немой души, нельзя было извлечь ни одного звука, ни одного стога, и где вдоль обледеневшей и занесенной снегами реки Колорадо, истыканной большими и малыми следами разных диких зверей, даже, может быть, оленей, — бесконечно долго длился зимний североамериканский закат, который я наблюдал, сидя под стеклянным колпаком на втором этаже обзорного туристского вагона.

Но я понял всю тщету своего путешествия лишь тогда, когда в конце концов в один прекрасный день увидел в иллюминаторе французского трансатлантического самолета пляжи Лонг-Бича и Джонс-Бича, заснеженные леса Канады, полуостров Лабрадор, а потом голубой кружок Атлантического океана с редкими белыми точками волн и мутной тенью атомной подводной лодки с ядерными ракетами.

Итак, я возвращался с пустыми руками, мне нигде не удалось найти настоящую, подлинную Америку, к чему я, впрочем, совсем не стремился: теперь в этом можно сознаться. Америка была для меня последней надеждой еще хоть один-единственный раз увидеть женщину, которую любил с детства, а точнее говоря — с ранней юности, потому что, когда мы узнали друг друга, ей было лет пятнадцать или около того, мне же немногим больше шестнадцати, а быть может, наоборот — ей шестнадцать, а мне пятнадцать, — но теперь это уже не имело значения. Может быть, она давно где-нибудь умерла и от нее осталось только имя, которое по какому-то странному суеверию я боюсь не только написать на бумаге, но даже произнести вслух, потому что в конце концов любое человеческое слово, написанное знаками или произнесенное голосом, всего лишь только искаженное отражение самой вещи, ее приблизительное подобие, продукт деятельности второй сигнальной системы. Пусть лучше ее имя лежит в глубине моего сознания, как неприснившийся сон.

Вернее всего, она совсем забыла обо мне, тем более что между нами не только никогда не было никакой близости, но я даже не вполне уверен, догадывалась ли она, что я ее полюбил на всю жизнь с того самого лилового мартовского вечера, когда мы всей нашей маленькой компанией возвратились домой после прогулки по еще заколоченным приморским дачам, разыскивая в прошлогодней листве маленькие бледные фиалки — первые фиалки этой весны, распространявшие огуречно-водянистый, нежный, слабый аромат, — и потом она зашла к своей подруге, для того чтобы почистить ботинки и причесаться. Никогда не забуду я, как она сняла перед зеркалом в ореховой раме свою форменную касторовую шляпу с атласным салатно-зеленым бантом и круглым гимназическим гербом, набрала полон рот шпилек-невидимок, которые проворно вынимала одну за другой из прически, и я вдруг увидел всю массу ее каштановых волос с рыжими кончиками, тяжело опустившуюся на ее детскую прямую спину, перекрещенную черными бретельками ее форменного, будничного саржевого передника. Ее маленькие ноги были обуты в башмачки на пуговицах, и темно-зеленое гимназическое платье закрывало лодыжки. Она была совсем не-

красива — маленького роста, с незначительным лицом, кое-где покрытым веснушками, со щечками как у лягушонка, крошечным подбородком, выпуклыми веками и карими глазами, женственными, но лишенными индивидуальности, что, как я понял впоследствии, и есть ее индивидуальность. Так как она держала во рту шпильки, то ее щечки казались еще более лягушачьими, рыжеватые брови благовоспитанной, прилежной девочки хмурились, тесные рукава были обшиты узкими кружевцами, откуда высывались кисти еще по-детски красных маленьких рук с неровно подстриженными ногтями, на которых я заметил несколько белых пятнышек — верная примета того, что скоро ей предстоит получать подарки. Эти подарочные пятнышки делали ногти немного сизыми, почти мраморными. Плоская грудь под черным передником тихо дышала. И я вдруг с ужасом понял, что полюбил ее на всю жизнь. Я ни секунды не сомневался в значении для меня того, что случилось, и ужаснулся, так как уже тогда твердо знал, что отныне я ее буду любить всегда, а она меня никогда не полюбит. И меня охватила такая щемящая — я даже не боюсь сказать — безумная грусть, описать которую не могу, потому что у этой грусти не было никаких причин и никакого внешнего выражения, как у абсолютного безмолвия.

Мы стояли в огромном мире друг перед другом — девочка-гимназистка и мальчик-гимназист — вот она и вот я, — и у меня под черной суконной гимназической курткой с потертыми докрасна серебряными пуговицами, под нижней сорочкой, на худой шее висел эмалевый киевский крестик вместе с холщовой ладанкой, где были зашиты два зуба чеснока, которые, по мнению тети, должны были предохранить меня от скарлатины и других напастей. Увы, они не предохранили меня ни от скарлатины, ни от еще большей напасти — от неразделенной любви на всю жизнь. Но, может быть, все же я просто выдумал эту вечную любовь.

Моруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах — действительном и воображаемом. Кто хочет и того и другого — терпит фиаско. Я уверен, что Моруа ошибается: фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь

одном из этих двух миров; он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни.

Я всегда прежде жил в двух измерениях. Одно без другого было для меня невысказано. Их разделение сразу превратило бы искусство либо в абстракцию, либо в плоский протокол. Только слияние этих двух стихий может создать искусство поистине прекрасное. В этом, может быть, и заключается сущность мовизма.

Посмотрев в большое окно, некогда выходящее в цветущий сад, полный перистой зелени белых акаций и лазури солнечного южного полудня, я увидел девушку, которая стояла, прячась за цветущим кустом, между двух молоденьких черных кипарисов. Она была белокурая, в веселеньком платьице и стройно стояла на розовой от зноя дорожке, посыпанной морским песком с ракушками. Мне показалось, что она исподтишка подглядывает за мной. Я опустил горячую полотняную штору и продолжал писать, а когда я пишу, то время для меня исчезает и не мешает моему воображению.

...Если бы я был, например, жидкостью — скажем, небольшой медленной речкой, — то меня можно было бы не переключать с каталки на операционный стол, а слегка наклонить пространство и просто перелить меня из одной плоскости в другую, и тогда мое измученное тело все равно повторило бы классическую, диагонально изломанную линию снятия со креста: голова свесилась, ноги упали, а тело со впалыми ребрами висит косо в руках учеников...

Когда наконец я снова поднял штору, уже приближался желтый вечер, но девушка продолжала неподвижно стоять на прежнем месте. Я ушел из комнаты, а утром вернулся, посмотрел в окно и снова увидел девушку. Мне это показалось чрезвычайно странным, даже зловещим, но, всмотревшись, я понял свою ошибку. Это была вовсе не девушка за кустом, а сам куст — цветущий розовый куст между двух молодых кипарисов, который я принял за девушку в цветном платье. Цветущий розовый куст как бы подсматривал за мной из глубины солнечного сада.

А девушки совсем не было, или это была Людмила в шапочке-невидимке в саду Черномора. А вернее, девушка была когда-то гораздо раньше, может быть, полстолетия назад, и тогда она действительно стояла на цыпочках, как балерина, на дорожке, посыпанной морским песком с рубчатыми ракушками, и она подсматривала за мной, а может быть, за кем-нибудь другим. Что же здесь действительность и что воображение? И в чем разница: был ли это розовый куст или семнадцатилетняя девушка? И вдруг я опять посмотрел в окно и на месте куста увидел девушку в нарядном платье. На этот раз ошибки не было, потому что девушка держала в руках лейку, из которой, изгибаясь, как конский хвост, бежали струи сверкающей воды. Она улыбнулась мне и ушла вместе со своей лейкой, оставив между двух молодых кипарисов пустое место. Но едва я на миг отвернулся, как на пустом месте уже снова стоял знакомый розовый куст, а девушки и след простыл.

Нечто подобное — весьма отдаленно подобное — произошло со мной в Вашингтоне в тот день, когда я вдруг заметил, что рядом со мной что-то порхнуло. Я обернулся, но ничего не заметил. Я стоял на двенадцатом этаже в коридоре гостиницы «Stalter Hilton», дожидаясь лифта; красная светящаяся стрелка, толстая и короткая, тупо показывала, что лифт наверху, но скоро вернется. Я был один. Из скрытого репродуктора тянулась выводимая на трубе приглушенная мелодия бразильской боссановы, безысходно щемящая музыкальная фраза, так нескончаемо растянувшаяся, как будто бы ее кто-то невидимый писал на незнакомом языке, не отрывая серого карандаша от бесконечно длинной стены, разделяющей земной шар по экватору на две равные части, — какое-то единственное слово, растянувшееся на тысячи миль однообразного пространства. Бесшумно подошел и остановился лифт, бесшумно раздвинулись половинки толстой бронзовой двери, и я шагнул в роскошную комнату лифта, почувствовав, как под моими подошвами мягко спружинил пол, покрытый толстым ковром из синтетического меха. И в тот самый сокровенный миг, когда мое тело уже не находилось в коридоре, но еще не стояло в лифте, возле меня опять что-то мелькнуло — на уровне моего уха, — и у меня осталось такое впечатление, что пролетел голубь. Но половинки бронзовой двери бесшумно сошлись, и я мягко, почти неощутимо, вместе с комнатой лифта, на-

полненной леди и джентльменами, упал в пропасть и вышел на нижнем этаже в холле, натянутом цельным нейлоновым ковром размером в несколько сот квадратных метров. Проходя мимо стойки портье, я увидел стол, покрытый плоской кучей писем, которая сама собой увеличивалась, потому что откуда-то сверху мягко падали и ложились один за другим длинные конверты. Тогда я еще не понял связи между этими письмами и голубиным порханьем, которое заметил в коридоре, дожидаясь лифта. Однако вечером, возвращаясь в свой конструктивно целесообразный номер, едва лишь я шагнул из лифта в глухо молчаливый коридор, где все еще продолжалась щемящая музыкальная фраза боссановы, как возле моего лица опять что-то порхнуло — белое, как голубь, — и пропало. Я остановился и с осторожностью сумасшедшего, подозревающего, что за ним кто-то тайно наблюдает, внимательно осмотрелся вокруг в глухой ночной тишине уважаемой гостиницы, где откуда-то просачивалась надтреснутая бразильская мелодия. Я осмотрел каждую пядь стены, служебный столик с неубранной посудой и вдруг заметил на уровне своей головы застекленное оконце и под ним — медную начищенную полосу со щелью, какая бывает в почтовых ящиках, и в тот же миг за стеклом сверху вниз пролетело письмо — длинный конверт: синяя наклейка «By air mail» и непогашенная марка с профилем Джорджа Вашингтона в белом парике с косичкой. Таков был способ отправлять почтовую корреспонденцию в больших американских отелях. Письмо бросают в щель на любом этаже, и оно летит вниз, мелькая в окошечках, пока мягко не ляжет на стол портье, откуда его уже заберет почта.

Мимо меня сверху вниз пролетели белые голуби писем, как бы сигнализируя, что настало время и мне, воспользовавшись силой земного притяжения, бросить вниз свой конверт.

«Ждите меня, никуда не выходя из дома, между пятым и двенадцатым этого месяца, так как я точно не знаю, когда попаду в ваш город. Быть может, это последний случай увидеться нам в этой жизни. Не пропустите его».

Я подписался своим полным именем, но ее назвал так, как привык называть с детства, уменьшительно.

Щемяще грустны были эти зимние дни в Вашингтоне, освещенном нежным солнцем, которое еще не стало веселым, хотя уже было и не вполне зимним. Такое солнце бывает в первую неделю после рождественских каникул. Праздники прошли, оставив после себя венки остролистника или омелы, украшенные разноцветными лентами, над красными полированными дверями дощатых особняков — серых с белыми окнами и тонкими столбиками галерей, неубранные сугробы загрязнившегося снега, придававшие вашингтонским улицам нечто захолустное. В готических окнах новеньких с иголки церкви, освещенных, как театральные макеты, розово догорали прощальные свечи минувшего праздника. Христос родился, вырос, затем улетел на небо, скрестив вытянутые ноги с красными дырами от гвоздей. Остались догорающие огни. Остались пустые ясли, снопы овсяной соломы, рогатые головы жующих волов с раздутыми ноздрями, золотые короны царей и драгоценные ларчики магов, муляжи которых я встречал повсюду: посреди непомерных газонов университетов и медицинских центров, при входе в отели, на школьных площадках; они были электрифицированы, и от них тянулись толстые провода. Синяя вифлеемская звезда исчезла с морозного неба, и маленькая зимняя луна ярко-гелиотропового цвета стояла непомерно высоко в мраморном небе над правым берегом старой индейской реки Потомак, над оленьими рогами североамериканского заповедного леса, над однообразными крестами Арлингтонского кладбища, где тогда еще не было могилы президента Кеннеди, и над кирпичными корпусами фабрики возле старомодного каменного моста с могучими быками в стиле тяжелой английской архитектуры викторианского века. Под голыми деревьями иногда появлялись фигуры одиноко шагающих людей. Среди них я увидел индейца в мокасинах, с томагавком, украшенным бахромой, в руке, с иссиня-черными прямыми волосами, висящими вдоль гончарного лица, который бесшумно скользил по опавшим зеленым листьям. Затем я увидел майора милиции Джорджа Вашингтона, высокого, долговязого, до сумасшествия настойчивого, в своем красном мундире и треуголке едущего верхом в гости к знакомой вдове. И когда их призраки — индейца и Вашингтона — пересекали зловещую поляну Арлингтонского кладбища, президент Кеннеди спокойно спал в Белом доме.

Перед отелем стоял бетонный вигвам ночного бара и

рядом с ним громадный столб индейского тотема с черно-красным, чудовищно размалеванным лицом.

Чувство одиночества, охватившее меня с того самого мига, как я разжал пальцы и длинный конверт с красивым круглым вензелем отеля канул в медную щель и, меняя центр тяжести, полетел вниз,— с каждой минутой усиливалось. Подобное чувство охватывало меня иногда и раньше, не часто, но почти всякий раз, когда я оказывался за пределами родины. Отчаянное, ни с чем не сравнимое чувство тоски по родине свойственно моей душе. Теперь же к нему примешивалось чувство смерти — иначе никак не могу его назвать. Смерть напоминала о себе все время.

Ее дуновение коснулось моих волос, когда я увидел посреди длинного экрана лезвие раскрытого перочинного ножа, отливающего красно-синим блеском цветного фильма. В зале царило безмолвие ужаса, пронизанное сосудисто-волокнистой мелодией все той же боссановы, аритмично мерцающей, как умирающее сердце. Полосы света — чернильно-синего, розового, красного, наконец, зеркально-белого — резкие до боли в глазах — медленно, одна за другой, прошли по лезвию безмерно укрупненного ножа, готового в любой миг войти в живот и вспороть его снизу вверх, выпустив внутренности, а вокруг стояли белые и черные, курчавые, ирландские рыжие, прекрасные и отталкивающие, неподвижные, как статуи, отверженные, нищие духом и отталкивающе прекрасные в своей молодости — юноши Вест-Сайда.

На глазах у всех была зарезана, поругана, обещана и растоптана нежная любовь двух незащитных возлюбленных — мальчика и девочки,— а вокруг уже не торжественно гремел серебряный и хрустальный джаз рокфеллеровского центра, а черный джаз ночного Гарлема, бара дядюшки Смула, смоляной и кирпичный джаз железных пожарных лестниц, подземных коридоров, брандмауэров, решеток и бетонных дворов, залитых нефтью, смешанной с кровью,— скользких, безвыходных ловушек, где каждую секунду можно было споткнуться о красный обрубок толстого пожарного крана с медной крышечкой, отражавшей колодец кирпичного двора и какой-то отдаленный пожар.

На глазах у всех умирала поруганная любовь, и неоткуда было ждать спасения, и маленькая вашингтонская девочка-модница с хвостом льняных волос на макушке с

нейлоновым мешочком воздушной кукурузы в дрожащей руке с перламутровыми ноготками, плакала, содрогаясь всем своим нежным, девственным телом, и слезы текли из ее синих глаз по прелестному, немного капризному личику прилежной школьницы, в то время как рыжий мальчик в блуджинсах, с двумя игрушечными пистолетами в белых лакированных кобурах на ковбойском поясе — наверное, ее младший брат — сердито говорил ей:

— Ну! Чего ты плачешь, дура? Ничего особенного не случилось. Просто они подрались на пожах. А зачем он связался с его сестрой? Перестань хныкать, ты мне мешаешь смотреть.

Но его голос непроизвольно срывался, рот кривился от непреодолимой муки, слезы сами собой бежали по веснушчатому лицу, и подбородок будущего боксера вздрагивал совсем по-детски, и в конце концов он положил свою голову с шевелюрой как у президента Кеннеди на плечо старшей сестренки, и они, не стесняясь своих слез, вместе оплакивали судьбу двух молодых возлюбленных Вест-Сайда. Это был дневной пятичасовой сеанс в кино на окраине Вашингтона, в зале сидели главным образом школьники — девочки с хвостиками на голове и мальчики — в блуджинсах и клетчатых куртках — у них еще продолжались каникулы, — они молчали, охваченные ужасом, смотрели на черно-цветной экран, блестящий во тьме, как клеенка, и слезы текли по их лицам, слегка подсвеченным фотографически красными фонариками запасных выходов.

И с тех пор я полюбил Америку.

Не страну новых цезарей в демократических пиджаках и широкополых стэтсоновских шляпах, которая представлялась мне современным вариантом великой Римской империи со всеми ее грубыми изваяниями и монументами, стадионами, ристалищами, мавзолеями, курульными эдификациями, мраморными креслами законодателей, грандиозными обелисками, отражающимися в длинных зеркалах прямоугольных прудов среди холмов заповедного индейского леса и английских дужаек города Вашингтона, который вознес в бледное небо североамериканской зимы туманную, высокую папскую тиару антихудожественного капиталистического купола, как бы утверждая надо всем Западным полушарием горькую истину, провозглашенную моим другом Анри Барбюсом, что всякие куполы, самые вели-

чественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи.

Я полюбил Америку вашингтонских школьников, мальчиков и девочек, которые в разноцветной тьме дневного сеанса оплакивали разбитую и поруганную любовь белого Ромео и темной Джульетты и, может быть, оплакивали свою незащитную юность.

Я понял трагедию великого государства, выбравшего путь Рима, но не путь Афин.

Возмездие за преступление предков, которые обратили в рабство целый народ, лишили его родины и оставили своим потомкам ужасное наследство. Освобожденные рабы все равно остались рабами, потому что Америка не стала их родиной.

Я понял, что до тех пор, пока в Америке живут рядом черные и белые, не сливаясь и не признавая друг друга и формально считаясь равноправными гражданами этой несметно богатой и жестокой страны, где традиция властвует над законом и где белый полицейский может безнаказанно застрелить черного мальчика и целый народ лишен прав свободного человека,— Соединенные Штаты будут самым несчастным государством в мире, как богач, больной раком. Ему нет спасения. Для него нет лекарства. В листовке куклуксклановцев, наклеенной на стене одного вашингтонского дома, я прочитал: «Мы считаем необходимым, чтобы негритянская и все другие цветные расы в Америке осознали, что они живут на земле белой расы по милости белых. Они не должны забывать, что белая раса — это правящая раса по праву наследия и что она не собирается уступить это право». Не касаясь уже всей моральной низости этих слов, в них заключается прямая ложь: черные живут на земле белой расы вовсе не по милости белых, а потому, что некогда белые насильно привезли их сюда в цепях и превратили в рабочий скот, в рабов, так что говорить о милости — это значит сознательно лгать. Затем: «Белая раса — это правящая раса по праву наследия» — тоже ложь. Белая раса живет в Америке по праву сильного и жестокого, на исконной земле цветных людей, индейцев, презрительно названных краснокожими, которых они почти полностью истребили, а остальных заперли навечно в особые концентрационные лагеря, так называемые резервации. А то, что белые, правящая раса, не собираются уступить свое право,— чего же

иного можно ожидать от грубых и предприимчивых завоевателей, неслыханно обогатившихся на чужой, захваченной ими земле, применяя рабский труд? Так что же теперь делать? Черных уже двадцать миллионов. А главное, является вопрос, от которого холодеют правители сегодняшней Америки: что будет, если начнется мировая война? Можно ли ручаться за крепость американского тыла с двадцатью миллионами униженных и оскорбленных негров? В этом-то я и почувствовал страшную трагедию черно-белого государства, выросшего в результате страшного преступления, за которым не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра — а в случае атомной войны немедленно — последует еще более страшное возмездие.

Однако стало подмораживать, розовый закат блеснул на крышах одноэтажных домиков пригорода, похожих на киоски, — парикмахерских, кафетериев, аптек, хорошеньких заправочных станций, — и я шел вдоль провинциально широкой улицы вашингтонской окраины, дыша холодным воздухом, в котором были как бы смешаны тончайшие предвесенние запахи жизни и смерти, но, в общем, это была светлая, даже приветливая улица, где почти все было новое: новые прачечные, новые бетонные светильники, новые столбики с зелеными и красными сигналами переходов — неяркими, но очень заметными, временами судорожно мерцающими, — и все это чем-то напоминало выставку.

Но больше всего мне понравился здесь небольшой особняк в глубине палисадника без забора, с безупречным газоном и двумя вечнозелеными магнолиями с пластами легкого снега на мглистых, глянцевых листьях — прелестный желтовато-розовый, как рахат-лукум, особнячок с рождественским веночком омелы над входной дверью и двумя стеклянными фонарями в виде факелов, матово светящимися в предвечернем сумраке. Окна домика были задернуты белыми шторами, освещенными изнутри приветливым праздничным светом, так что мне сразу представилось, как хорошо и уютно в этом доме, где радушные хозяева ждут гостей, а может быть, гости уже пришли и теперь сидят за старинным столом красного дерева чиппендейл перед лиможским блюдом с плумпудингом, охваченным голубым пламенем ямайского рома.

Черные мысли рассеялись. Вы заметили, как легко рассеиваются черные мысли?

По карнизу вислась надпись — белое по голубому, — которую я не умел прочесть, но можно было не сомневаться, что она обозначала нечто вроде радушного приглашения войти. Этот домик как бы сошел с рождественской поздравительной картинки; он представлял собой яркий пример счастливого образа жизни среднеамериканской семьи, но в то же время в нем было нечто холодновато официальное, специфически вашингтонское, так что мне даже на минуту показалось, что, быть может, это какое-нибудь государственное учреждение, но я сейчас же отогнал от себя эту странную мысль и, улыбаясь, продолжал смотреть на гостеприимно освещенные непроницаемые окна.

— Хорошо бы войти в этот коттедж и посмотреть, что там делается.

— Вам он понравился?

— Очень.

— Это похоронное бюро панамериканской компании добрых услуг, — сказала переводчица, прочитав надпись. — Зайдем?

Не замедляя шага, я прошел мимо подъезда с двумя электрическими факелами и веночком остролистника, ясно представляя себе, как однажды маленькая пожилая женщина в Лос-Анжелесе переступила порог примерно такого же домика и увидела розово освещенный зал, где в образцовом порядке по номерам были выставлены на полу, как чемоданы, разные гробы мал мала меньше — прочные изделия американского фасона: широкие, с крышками — не высокими и островерхими, как у нас, а плоскими, удобными, не причиняющими беспокойства при погребальном обряде. Я неоднократно видел такие гробы в американских кинокомедиях, в театрах и потом однажды по телевизору, когда такой же гроб, покрытый звездно-полосатым флагом, установленный на старинном артиллерийском лафете и прикрепленный к нему двумя солдатскими ремнями, остановился у ступеней собора, где ждал его католический епископ в своей зловеще раздвоенной митре.

Обратимо ли время! Грустная мелодия боссановы.

Год назад у женщины, которой я послал письмо, умер муж. Я его очень смутно помнил, он тогда назывался

Костя — тонкий, предупредительный студент в мундире с иголки и в твердом, высоком, темно-синем воротнике, из-под которого выглядывала тоненькая полоска крахмального воротничка, — хорошо помню также золотые дутые пуговицы с накладными орлами, — и, возможно, год назад она вошла в точно такое же бюро добрых услуг, для того чтобы выбрать гроб и заказать еще кое-что из необходимых вещей: траурные извещения, визитные карточки и коробку папери с элегантными конвертами и бумагой в черной рамке. Может быть, там же она купила черную вуаль и белые погребальные цветы, а также заказала сильно увеличенную цветную фотографию — замечательную имитацию портрета масляными красками работы хорошего художника-реалиста, умеющего довольно точно передать сходство с оригиналом и вместе с тем сообщить его лицу приличную случаю значительность.

До сих пор не могу понять: почему она вышла замуж именно за него? И каким он стал впоследствии? Он всегда казался мне посредственностью. Во всяком случае, он был недостоин ее. А, собственно говоря, почему недостоин? Студент-медик из хорошей семьи, с состоянием, наследник дачи на Среднем Фонтане, в перспективе — практикующий врач, недурен собой, некоторые даже считали его красивым — словом, вполне порядочный молодой человек, завидная партия, и, вероятно, безумно ее любил. Тогда было принято говорить: «Он ее безумно любит». И на фронт должен был идти не простым рядовым, вольноопределяющимся или даже прапорщиком, а военным врачом. Гораздо меньше шансов, что убьют. А что представляла из себя она, если не считать ее необъяснимой прелести, сводящей мужчин с ума? Тогда тоже принято было говорить: «Она сводит всех мужчин с ума». Если отбросить словесные украшения, она была просто-напросто бедная невеста, дочь промотавшегося бессарабского помещика, бесприданница, и на лучшую партию — как тогда говорили — вряд ли могла рассчитывать. Так что все было естественно, но помню, как страшно удивило меня известие, что она вышла замуж, хотя в то время моя любовь к ней уже давно прошла. Но это удивление было ничто в сравнении с чувством, которое я испытал в тот поздний вечер в неосвещенном городе, когда я ворвался к ним в комнату и увидел супружескую полуторную кровать, покрытую красным, стеганым, атласным, явно приданным одеялом и ее порозовевшие от волнения щеки.

Они — он и она — молодожены, стояли передо мной радостно смущенные, так как это был самый разгар их медового месяца, а я был первый гость, пришедший к ним в их маленькую, почти бедную комнату, которую они наняли по объявлению, не желая жить ни у его, ни у ее родителей, сразу же заявив о своей независимости, тем более что уже шла революция и происходила переоценка ценностей. Они были счастливы в своем гнездышке, — с милым рай в шалаше! — и ее маленькие меховые туфельки застенчиво выглядывали из-под кровати.

Больше всего меня поразило выражение счастья на ее уже вполне женском лице.

Я стоял в дверях, ломая обеими руками свою защитного цвета офицерскую фуражку с дырочкой и овальным пятном на месте кокарды, которую я уже снял вместе с погонами и нашивками за ранения. Мы с ней давно не виделись, а в этой комнате с толстыми стенами я вообще был впервые. Она стала меня усаживать, а он — тоже в военной гимнастерке с университетским значком, без погон, но при этом в длинных студенческих брюках со штрипками — засуетился, видимо намереваясь разжечь керосинку со слюдяным закопченным окошечком, чтобы напоить меня морковным чаем с монпансье, что по тем временам считалось некоторой роскошью, он даже стал протирать полотенцем стаканы, а я не знал, куда деваться от жгучего стыда, и проклинал себя за то, что, как всегда, оказался тряпкой и согласился пойти к ней за деньгами. «Она тебе не откажет», — говорили друзья, это верное дело, у нее, безусловно, есть деньги, у молодоженов всегда есть деньги, а больше нигде достать, и, что самое главное, это совсем близко, так что мы еще успеем заскочить с черного хода и взять у этого грека несколько бутылок сухого эриванского, единственного вина, которое еще осталось в городе, потому что нет ничего хуже, когда люди недопьют. Она тебя любит, она тебе даст, — они говорили, что если я не пойду к ней, то буду не друг и товарищ, а самый последний предатель и мещанин и так далее. Я говорил, что не желаю унижаться, и чувствовал, как у меня дрожат губы. А они твердили:

— Унизься, дурак, унизься! Ну что тебе стоит унизиться!

У меня уже шумело в голове, мне было море по колено, и я храбро пошел к ней, а они дожидались меня в

подворотне, — они оба потом стали знаменитыми людьми, и их имена можно найти в энциклопедическом словаре.

Она, конечно, сразу поняла, что я пьян, но не испугалась, а стала еще приветливее, ласковые огоньки затеплились в ее глазах.

— Сколько лет, сколько зим, — сказала она и назвала меня по имени, как в детстве. — Вот так мы и живем. Садитесь и рассказывайте.

— Я к вам по делу, — через силу сказал я и тоже назвал ее уменьшительным именем. — Дайте мне займы рублей пятьдесят, я вам отдам не позже чем послезавтра, честное благородное слово.

Между нами всегда были такие возвышенные отношения — как тогда принято было говорить, «платоническая любовь», — и мне очень нелегко было вытолкнуть из себя эти слова, я бы их ни за что не произнес, если бы уже не был пьян. И я чуть не сломал лакированный козырек своей фуражки. Она была смущена еще больше, чем я, но и глазом не моргнула.

— Ах, пожалуйста, пожалуйста.

Она пошептала с мужем, и Костя достал из-за иконы с двумя венчальными обожженными свечами и восковым флердоранжем странную ассигнацию в пятьдесят карбованцев, выпущенную гетманом Скоропадским, — деньги, которые тогда ходили у нас на юге. На бумажке были стилизованные, остро графические изображения украинца и украинки в свитках и сапогах работы знаменитого графика Егора Нарбута, странный фигоподобный герб, — и я как сейчас вижу грубую печать, толстую бумагу и плохие краски, желтую и голубую, этих денег, которые тогда уже почти ничего не стоили.

— Вы не беспокойтесь, я вам непременно на днях отдам, занесу. Когда вас можно будет застать дома? — говорил я, глядя на нее и удивляясь, как она похорошела, стала почти красавицей, и стараясь не замечать новешкого атласного стеганого одеяла, от которого как бы распространялось по всей комнате алое зарево, в то время как на самом деле электричество не горело — не было тока — и комната освещалась самодельным светильником-коптилкой. Больше мы с ней уже не виделись, и последнее впечатление было: он, она, пятьдесят карбованцев, стеганое атласное одеяло, темный двор и друзья с поднятыми воротниками, которые ждали меня в темной под-

воротне, прижавшись к стене, а потом пустынная ночная улица, скользкие плитки лавы, по которым мы бежали, мокрая гранитная мостовая, винтовочный выстрел за углом и гроыханье броневика, заставлявшего дрожать стекла в домах, начало переворота.

Конница Котовского с красными бантами в грибах лошадей лилась по чугунно-синим гранитным мостовым, высекая подковами искры.

Может показаться странным, что одновременно с этим на подоконнике стояли одна на другой несколько круглых никелированных коробок с двойными проволочными ручками. Но ведь неизвестно, что такое время. Может быть, его вообще нет. Во всяком случае, каждому известно, что «не существует истинно прекрасного без некоторой доли странности». Это выдумал не я. Это открыл Френсис Бэкон, основатель английского материализма.

Доля странности заключалась в том, что в никелированной поверхности круглых коробок хотя и с мягкими искажениями и наплывами, но, в общем, довольно реалистично отражалась комната, наполненная голубыми девушками в марлевых масках, что отчасти напоминало «Принцессу Турандот» с ее увлекательным вальсом на губных гребешках. И в тот самый миг, когда я наконец разглядел плащаницу своего распростертого тела, очень яркий, но вместе с тем совсем не резкий свет операционной лампы, похожий на солнечный, ударил вдруг мне в глаза сверху, и я почувствовал позади себя присутствие пылающего шестикрылого серафима, перед лицом которого все расступилось.

Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он, и я увидел с высоты двадцать шестого этажа город Хьюстон — тревожное смешение старинных деревянных домиков, окруженных галерейками, и диких пустырей с белыми небоскребами супермодерн, которые были беспорядочно расставлены то там, то здесь, как пластинчатые прямоугольные башни, транзисторы и аккордеоны; в пролетах между ними виднелись бесконечные плоскости техасских прерий и небо в длинных мутно-розовых и серо-голубых полосах мексиканского заката, как бы напечатанного в литографии начала прошлого века на глян-

цевой обложке ковбойского романа для железнодорожного чтения: знаменитый ковбой Буффало-Билль, крутя над головой лассо, стоит на стремянах взвившегося на дыбы мустанга.

Я смотрел в пространства Техаса, стараясь ориентироваться по заходящему солнцу и представить, в какой стороне находится Мексиканский залив, а где расположен главный город штата — Даллас.

Странная мысль, вернее ощущение, овладела мною, как только я поселился здесь, в одной из стеклянных ячеек «Sheraton Hotel», напоминавшего издали раму сотового меда, поставленную ребром среди нескольких других подобных же стеклянных рам, где в каждой ячейке жила человекоподобная пчела, может быть даже личинка. Это было ощущение единства моего собственного тела и тела гостиницы, где меня поселили. Одновременно я был и человеком и зданием. У нас была общая структура, были общие клетки, обмен веществ, биотоки, химические реакции, рефлексy высшей нервной деятельности, работа пищеварительного тракта, кровообращение и температура, которая в виде многочисленных лифтов то поднималась бесшумно до сороковых градусов, то опускалась ниже нуля и на некоторое время замирала в состоянии анабиоза среди громадного пространства, устланного желтым мохпатым синтетическим ковром; на нем стояли страшно тяжелые сафьяновые кресла и диваны ярко-красного цвета, где сидели обычные посетители гостиничных холлов: переводчики, руководители делегаций, агенты компаний, коммивояжеры, переодетые полицейские, детективы и журналисты, увешанные портативной электроаппаратурой, набором фото- и кинокамер и зеркальных старинных блицев. Тут же в прямоугольном мраморном бассейне, откуда торчала одна-единственная изящная тростинка, над мозаичным дном в голубой мелкой воде плавала деревянная утка-селезень с золотисто-зеленым ромбом бокового перышка — и неуловимое, кругообразное движение искусственной птицы поворачивалось у меня под ложечкой, как легкое поташнивание, как напоминание о скрытом сердечно-сосудистом заболевании.

Здесь же я сделал открытие, что человек обладает волшебной способностью на один миг превратиться в предмет, на который он смотрит.

А что, если вся человеческая жизнь есть не что иное, как цепь превращений?

В течение одной поездки из Хьюстона на ранчо я последовательно превращался в разные предметы. Сначала я на некоторое время превратился в автостраду, распростертую на равнине Техаса, твердой и плоской, как новороссийская степь, с сухими пыльными цветочками из числа тех, на которых всегда остаются следы колесного дегтя, и я — рассеченный осевыми линиями, ярко-белыми, прерывистыми, стремительными, — уносился вперед и назад к горизонту, где иногда появлялись видения новейших крекинг-заводов и таинственные серебряные шары водонапорных установок, и надо мной в три или четыре яруса проносились железобетонные пересечения эстакад, по которым один над другим разбегались мои бетонированные двойники, унося на себе встречные и попутные машины, неудержимо увлекая мое тело в разные стороны Техаса со скоростью восемьдесят или сто двадцать «майлс» в час, что практически делало их как бы неподвижными. Затем ненадолго я был грустным зимним солнцем Техаса, а также одним из первых автомобилей второй половины XIX века — прелестным произведением еще не вполне зрелого технического гения, называвшимся тогда «самодвижущийся экипаж», — с ярко начищенными медными фонарями и сигнальным рожком с гуттаперчевой грушей, которая с усилием выталкивала из его завязанного узлом тельца резкие гусиные крики, заставлявшие лошадей шарахаться в сторону и становиться на дыбы.

Именно в таком красном автомобильчике Эмиль Золя ехал на процесс Дрейфуса, и подобным же автоматическим экипажем управлял, вцепившись в руль, страшный, мохнатый как черт шофер со зверским мефистофельским лицом, в громадных очках, так гениально грязно нарисованный на литографском камне Тулуз-Лотреком.

Свято сохраненный для потомства, чистенький, вымытый, с сафьяновыми креслицами, возвышающимися над комически маленьким радиатором, я, силой своего воображения превращенный в автомобиль, стоял на невысоком круглом пьедестале, окруженный папоротниками и мхами, посредине универсального магазина суперконструктивного стиля второй половины XX века, простершегося среди пустой, еще не заселенной прерии, на пересечении новеньких штатных и федеральных автострад с их много-

численными ответвлениями, дорожными знаками и железобетонными светильниками, божественно изогнутыми, как стебли искусственных растений будущего, когда человечество научится создавать все тела органического мира, придавая им произвольную форму. Но зачем, спрашивается, понадобилось строить этот универсальный магазин, чудо строительной и архитектурной техники, верх простоты и удобства — без всяких модернистских украшений и финтифлюшек, — непомерно громадный и плоский, со светящимися потолками, газонами и цветниками, врезанными в черный и белый мрамор полов-площадей, удобно и красиво вмещающий в своих боксах миллионы предметов первой, второй, третьей, двенадцатой и сотой необходимости? Вокруг простерлась до самого безоблачного горизонта пустыня, и немногочисленные покупатели, приехавшие сюда из Хьюстона скорее из любопытства, чем по необходимости, растворились среди плоско организованных пространств и свечения молочных потолков. Однако было бы неправильно считать, что вокруг была пустыня. Пустыня, да не совсем. Она была легко и почти незаметно разделена на строительные участки, куда под землей уже стройно тянулись водопровод, газ, телефон, электрический кабель, канализация, теплоцентраль — вся та сложная система нулевого цикла, которая превращала землю почти в живую плоть.

Некоторое время я был плотью сухой тexasской земли, отличаясь от нее только еще более сложной системой обратной связи.

На таком земельном участке не составляло никакой трудности возвести дом. Архитектура уже не имела значения. Можно было с удобством жить в простом деревянном ящике, где сразу же появлялись горячая и холодная вода в ванне, огонь в очаге, ватерклозет, душ, телевизор на десять программ с ретрансляцией из Нью-Йорка, Сан-Диего и Мельбурна, телефон с отличной слышимостью, лампы дневного и скрытого света, лед в холодильнике, так что можно было немедленно поселиться здесь с любимой женщиной и начать размножаться, не откладывая дела в долгий ящик, если, конечно, у вас было достаточно долларов, чтобы сделать первые взносы за участок с нулевым циклом и за все прочее. К тому же здесь, в штате

Техас, проблема долларов решалась очень просто. Для этого даже не нужно было заходить в банк. Деньги можно было получать не внутри банка, а снаружи, прямо на улице: ваша машина проезжает мимо ряда косо поставленных мраморных кабинок. Вы останавливаетесь возле одной из них и прямо из машины протягиваете в окошечко с автоматической бронзовой решеткой ваш чек, раздается звонок, решетка щелкает, хорошенькая кассирша с пистолетом под прилавком протягивает вам пачку зеленых бумажек, вспыхивает лампочка, скрытый в мраморной стене фотоаппарат делает с вас моментальный снимок, бронзовая решетка опускается, вы едете дальше по своим делам. Остается неясным, откуда раздобыть чек? Говорят, что об этом можно найти много интересного в «Капитале» Маркса. Но лучше не будем упоминать о Марксе в Техасе, самом — как утверждают — богатом нефтяном штате Америки, где я слышал эпическое повествование об одной бедной пожилой даме, которая в один прекрасный день обнаружила на своем маленьком земельном участке пласт высокооктановой нефти.

Легенда о бедной вдове.

«...И тогда,— гласит легенда,— бедная вдова обратилась в банк, где ей немедленно открыли кредит в один миллион долларов, так что она смогла купить *все, что ей было нужно*».

Не знаю, что ей было нужно, но думаю, что ей удалось легко и быстро удовлетворить все свои текущие потребности, а остальной капитал поместить на выгодных условиях в какую-нибудь слаборазвитую или колониальную страну с дешевой рабочей силой, после чего она была принята в самом лучшем обществе штата. Меня долго преследовал образ этой пожилой хьюстонской дамы, и, по-моему, я даже с ней где-то встречался: в упомянутом универсальном магазине среди прерий, где она покупала все, что ей еще все-таки не хватало, или на рауте при свечах (дамы в вечерних туалетах, мужчины в черных галстуках), где она стояла полтора часа подряд, разговаривая со мной на ломаном французском языке с сильным мексиканским акцентом на тему о сравнительном психоанализе героев Достоевского и Толстого, а я

(в хорошо начищенных мокалинах и черном шелковом галстуке) стоял, держа в руке высокий, обернутый бумажной салфеткой стакан с джин-тоник, в котором ландышево позванивали ломаные ледяные трубочки, и то же шпарил по-французски, мучительно выковыривая из своей памяти, разрушенной склерозом, остатки французских идиоматических выражений, похожих на окаменевшие позвонки доисторических животных.

У нее на носу сидел слуховой аппарат, в виде богатых очков, усыпанных мелкими алмазами, а золотой шнур соединялся с полупроводниковой транзисторной батареей, которая гнездилась где-то на груди под драгоценным капом из дикой смугло-песчаной норки, отливавшей бесценным блеском при свете витых восковых свечей, расставленных там и тут по всему старомодному салону, где происходил раут.

Ее рысистые ноги мускулисто переминались, шелковые длинноносые туфли на очень высоких каблуках и с бриллиантовыми пряжками слегка скользили взад и вперед по ковру, словно собираясь сделать несколько па мэдисона, а глаза, пронзительные, как у галки, с непреклонной доброжелательностью глухой классной дамы смотрели прямо в мои глаза, и она, не умолкая ни на минуту, разговаривала по-французски, причем из ее открытого рта, оборудованного лучшими, совершенно новыми искусственными зубами и розовыми пластмассовыми деснами самой дорогой и самой знаменитой компании стоматологических протезов, все время вылетали сухие французские фразы, а когда их не хватало, на помощь приходили немецкие и даже итальянские слова-ублюдки, немедленно вызывавшие во мне ответный рефлекс красноречия.

В общем, все это напоминало историю небольшой Вавилонской башни, чему отчасти способствовало впечатление от ее шляпки, сооруженной из розовых ангельских перьев, и вуалетки, прикрывавшей страстное лицо Савонаролы.

Потом она без передышки перешла к проблемам современной музыки и сделала интересное замечание:

— ...Ваш знаменитый композитор (не в состоянии выговорить его фамилию), о котором я когда-то довольно много читала в нью-йоркских газетах, совершил блестящий эксперимент, превратив популярную мелодию «Пойду к Максиму я» из «Веселой вдовы» Легара в лейтмотив своей симфонии, а потом через несколько лет гениально

вывернул наизнанку «Аве Мария» Шуберта, создав оригинальный романс для одного популярного советского кинофильма...

Заметив, что я теряю сознание, старуха сделала небольшую паузу и бросила мне якорь спасения в виде вопроса: что я думаю об абстракционистах? Она пришла в неописуемый восторг, услышав в ответ, что абстракционизм не имеет ничего общего с искусством, в частности с живописью, а скорее всего бессознательная попытка создать третью сигнальную систему связи, и затем обрадовалась, как дитя, и даже захлопала в ладоши, узнав, что я являюсь основателем новейшей литературной школы *мовистов*, от французского слова *mauvais* — плохой, — суть которой заключается в том, что так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже, и тогда на вас обратят внимание; конечно, научиться писать плохо не так-то легко, потому что приходится выдерживать адскую конкуренцию, но игра стоит свеч, и если вы действительно научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая популярность вам обеспечена.

— Вообразите, я об этом до сих пор ничего не слышала, — в отчаянии воскликнула она, — наш Техас в этом отношении такая жуткая провинция! Мы обо всем узнаем последними! Но вы действительно умеете писать хуже всех?

— Почти. Хуже меня пишет только один человек в мире, но это, как вы сами понимаете, уже профессиональная тайна.

— Вы открыли мне глаза. Мерси. Прозит, — сказала она, поднимая стакан со льдом, после чего, исполняя общественную обязанность моей руководительницы, села за руль своего спортивного кара и с быстротой смерти домчала меня до подъезда «Sheraton Lincoln Hotel», где меня дождалась знакомая деревянная утка, неумолимо плавающая в плоском бассейне. Затем путем нажатия разных кнопок я очутился в своем конструктивном номере лицом к лицу с ночным техасским небом, местами подкрашенным неоновым и аргоновым заревом, которое лежало длинными горизонтальными полосками в щелях между пластмассовых лент жалюзи на единственном окне, занимающем всю стену моего номера сверху донизу.

Оставшись один, я еще некоторый промежуток жизни продолжал быть хьюстонской дамой и все никак не мог отделаться от оригинальных идей относительно мовизма, пока не перевоплотился в свой гостиничный номер со всей его тоской ожидания, со всеми его механизмами, системами прямой и обратной сигнальной связи, со стопками махровых салфеток, махровых полотенец, махровых купальных простыней, модного, почти черного цвета — в то же время стерильно чистых, — в изобилии разложенных в ванной комнате с раздвигающейся мутно-зеленой стеклянной перегородкой, которая стыдливо отделяла ванну от душевого бокса, где, нажав несколько кнопок, можно было запрограммировать себе душ любой температуры с точностью до полутора градусов в ту или другую сторону, разумеется, по Фаренгейту!

По Фаренгейту, господа, по Фаренгейту!

В изголовье моей механической койки помещался пульт дистанционного управления, так что я мог, не вставая с ложа, закодировать жизненный процесс своего отельного номера. Простым нажатием кнопки я мог заказать любую комнатную температуру и влажность, мог узнать прогноз погоды, давление атмосферы, биржевой курс, таблицу спортивных соревнований, рысистых бегах, последние известия, наконец, я мог приказать разбудить себя в определенное время, хотя времени как такового, в общем, не существует. Я был одновременно и человеком, и его жилищем — так много общего было между нами, начиная с заданной температуры наших тел и кончая заранее запрограммированным пробуждением. Сначала пробуждалась комната, потом человек, если у него не было бессонницы.

Я нажимал с вечера кнопку, устанавливая минуту пробуждения, и это пробуждение наступало довольно точно, но не сразу, а как бы желая постепенно приучить меня к состоянию бодрствования и не слишком резко прервать мой сон, полный страстного ожидания встречи с ней и утомительных сновидений, которые потом невозможно было восстановить в памяти, потому что никто до сих пор не знает, каков физический механизм памяти.

Первой начинала пробуждаться комната, постепенно восстанавливая внешние, чисто функциональные связи

системы и среды, весьма важные для процессов управления. Сначала сама собой в маленьком холле зажигалась неяркая лампочка. Потом в дистанционном аппарате что-то тихо щелкало, возникал ворчливый шум как бы с трудом начавшегося кровообращения. Я открывал глаза и вскакивал: кто зажег свет, если дверь номера еще с вечера была собственноручно мною намертво заперта патентованным замком, о чем свидетельствовала крошечная изумрудная лампочка — таинственный глазок, вделанный в ручку двери со стороны коридора? Кто посмел? И тут же вспыхивала вторая лампочка, более сильная, в ванной комнате. Затем зажигался торшер в моем изголовье, яркий, сияющий, золотой, как шестикрылый серафим с марлевой маской на лице. И вдруг весь апартамент озарился заревом плафона. Приборы дистанционного аппарата показывали все, что я у них требовал накануне. Шум в аппарате зловеще нарастал. Наконец раздался пронзительный электрический звонок, который я никак не мог остановить, хотя и нажимал подряд все кнопки. Непрерывный, пронзительный звон сводил меня с ума, и тут же в кобальтово-синюю ванну стала извергаться вода заданной температуры, наполняя номер бешеным гулом горячего водопада. В отчаянии я стучал кулаками по панельному устройству, но машина не унималась, с неумолимым упорством продолжая выполнять заданную ей программу.

Тогда я вылил туда кувшин кипятка, и «оно» успокоилось.

Все это было довольно-таки страшно, но самое страшное тайлось в телевизоре — в этом приборе, быть может наиболее похожем на человеческий мозг, во всяком случае — на его способность превращать сигналы, идущие извне, в живые отпечатки, светящиеся, движущиеся изображения окружающего мира. Большой плоский телевизор стоял в противоположном конце номера, по диагонали от моего ложа, но я мог в любой момент включить его, не вставая с постели, стоило мне только нажать нужную кнопку, и тогда начиналось нечто похожее на игру в пятнашки: все десять телевизионных программ одна за другой быстро пробегали по сверхчувствительному, приятно выпуклому экрану молочной голубизны, вытесняя друг друга и не давая возможности сосредото-

читься ни на одной, а я должен был мгновенным нажатием кнопки поймать и остановить ту программу, которую хотел бы смотреть. Но это оказалось мучительно трудно. Едва я собирался прихлопнуть усмирение необъезженных лошадей — чертовски злых, бешеных животных, которые, упираясь передними ногами в землю и выбросив задние почти вертикально вверх, сбрасывали с себя неудачливого седока в ковбойской шляпе, и он катился кубарем в пыли прерии, а потом навсегда замирал на спине, раскинув руки среди каких-то степных, почти украинских цветочков, — как вдруг экран начинало лихорадить, по его светящимся строчкам бежали черные полосы смерти и врывалась новая программа: два космонавта с тонкими рогами антенн под синтетическими шлемами сидят рядом в межпланетном корабле, управляя сложными и запутанными приборами, и время от времени смотрят в черный иллюминатор, где медленно проплывает громадная ярко-белая луна, а в это время сзади вдруг отодвигается потайная дверь и входит негодяй, держа в каждой руке по бесшумному автоматическому атомному пистолету... Еще миг — и вспыхнут выстрелы, но тут, прерывая на самом интересном месте тягостное сновидение, очень крупным планом выкатывается, вернее скользит, как по льду, разворачиваясь из своей хрустящей обертки, большой кусок туалетного мыла с глубокой, выразительно вдавленной печатью фирмы, и бархатный бас незримого, идеально чистоплотного мужчины — самца-друга и любовника — вкрадчиво рекомендует умываться именно этим душистым, элегантным, недорогим и полезным для кожи мылом. Я нажимал кнопки, но телевизор уже окончательно вышел из-под моего контроля. Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой, программа вытесняла программу, черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни, возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками.

И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой ваньки-встаньки и глупо лицемерной улыбкой вокруг злого, щербатого рта; он показывал свой коронный номер: искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого вверх дном горшка на лысую голову, поддерживая ее одними только ушами; едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже

собирался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены...

Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу. Но самое тягостное было то, что я уже никак не мог не только приказывать ему, но даже хотя бы просто прекратить его механическую работу, мелькание, разорванные звуки, мгновенные обрывки какой-то музыки или человеческой речи, заставить его замолчать, померкнуть, сделаться мертвой вещью. Кажется, мы поменялись с ним функциями. Не я управлял им, а он мною, пользуясь все тем же самым дистанционным устройством. Он насильственно останавливал мои мысли, гнал их вперед и назад, и в моем мозгу, измученном ожиданием, мелькали отрывки различных сюжетов, навязанных мне чужой волей.

Из личности свободной я стал личностью управляемой. О, как тягостно быть управляемым, в особенности если тобой управляет механизм! Я сделался придатком этой проклятой полупроводниковой машины.

Я был не волен даже в своих сновидениях. Чужая воля, сила извне, гоняла их вперед и назад по своему усмотрению. Именно так: «и назад», хотя известно, что время необратимо, то есть всякий материальный процесс развивается в одном направлении — от прошлого к будущему. Однако здесь, в Хьюстоне, я убедился, что в момент крайнего душевного напряжения или длительной потери сознания из этого правила бывают исключения, и тогда время начинает бежать в обратном направлении — из будущего в прошлое, принося с собой обломки событий, которые еще должны произойти. Я не знаю, как объяснить это явление, но здесь оно произошло со мной, когда я наконец страшным усилием воли вырвался из плена управляющего мною электрического прибора и остановил на экране телевизора несколько сюжетов, принесенных из будущего. Потом, года через полтора, в другое время и в другом месте, я увидел эти же самые кадры, появившиеся вполне законно, по дороге из прошлого в будущее.

Но теперь, в Хьюстоне, они были выходцами из будущего.

Я увидел убийство президента за год до того, как оно совершилось.

Улица в траурном Далласе, носившая название Хьюстон-стрит, прыгала во все стороны, потому что кинооператор ехал в машине, снимая президента. Потом запрыгала другая улица. У кинооператора дрожала рука. Президент сполз с сиденья, и его голова нырнула вниз, в темноту, поползла по коленям Жаклин. Кто-то вскочил. Кто-то бежал. Толпа устремилась в сторону. Все это произошло на расстоянии каких-нибудь двухсот миль от Хьюстона, где я впервые в жизни стал свидетелем обратного движения времени. Люди в широкополых тexasских шляпах с загнутыми вверх полями осаждали двери госпиталя, куда унесли президента, но вот толпа замерла, разделась, и между двумя рядами неторопливо проследовал, прижимая к груди молитвенник, корректный священник в хорошо сшитом гражданском костюме, в глубоко черном шелковом галстуке, в черной широкополой шляпе, одновременно и тexasской и ватиканской. Его лицо было бесстрастно, а глаза устремлены вперед и несколько выше, чем когда смотрят вперед обыкновенные люди. Он был уже необыкновенный человек. Он был священником, внезапно сделавшимся известным всему миру. Громаднейшее паблисити!

И сейчас же по какому-то безрадостно серому коридору полицейские провели неврастеника в наручниках, но не успел он выйти за рамку кадра, как из стены вышел толстый человек, которого сначала никто не заметил, и проворно сунул в печень неврастенику пистолет, и неврастеник повалился на руки полицейских и на глазах у всех превратился в тень, и все побежали и окружили толстяка с пистолетом, желая, в свою очередь, тоже превратить его в серую тень, но в это время лента кончилась, а когда экран снова вспыхнул, я увидел Жаклин в бежевом пальто с черным меховым воротником, которая бежала, держась за металлические ручки санитарного автомобиля, безуспешно пытаясь открыть задние дверцы, за которыми покачивалось окоченевшее тело президента, и ее лицо — показанное самым крупным планом, — прекрасное, неподвижное, с широко расставленными темными глазами и коротким, немного вздернутым носом, — прыгая, держалась пекоторое время, занимая весь экран, а потом Жаклин быстро, как школьница, подобрала полы пальто и прыгнула на сиденье рядом с шофером, и на ней была

очень короткая — по моде того сезона — юбка, открывшая зрелые ноги молодой, богатой, счастливой американки, еще не вполне осознавшей, что вот она уже вдова...

А потом весь экран заполнило крупным планом лицо моего тягостного друга с костяным рылом.

Дятел, дятел, тук-тук-тук.

Выяснилось, что он привык выступать со своим художественным стуком в третьем отделении.

Книга превращений. Концерт. Репортаж.

Вдоволь насмотревшись в темный иллюминатор самолета компании «Дельта» на ночные города, разбросанные в просторах континентальной Америки, как связки елочных украшений, я стоял в номере лос-анжелесского отеля возле стандартного торшера, прижав к уху телефонную трубку, и слышал ее голос. Самое поразительное, что это был не чей-нибудь другой, а именно ее голос, и он произнес с волнением мое уменьшительное имя и сказал, что она ждет меня вот уже целую неделю, никуда не отлучаясь из дома.

— Вы рады? — спросил я.

— Очень, — ответила она с тем особенным, тайным значением, с каким она всегда произносила это слово в прежней жизни. Это было «ее» слово. Она носила его на себе, как брошку с полудрагоценным камнем. Оно — это слово — выделяло ее из всех ее подруг. Оно сводило с ума ее поклонников: произносить слово «очень» именно с такой интонацией, в которой можно было найти любой самый сладостный смысл, было ее изобретением.

— Вы любите Брамса?

— Очень, — произносила она негромко, значительно, заставляя предполагать всю глубину, страстность и богатство ее натуры.

— Вы любите осень?

— Очень. — Она слегка опускала на карие глаза свои женственно выпуклые веки.

— Вы любите весну?

Веки радостно поднимались:

— Очень! — И взгляд ее проникал в глубину души.

Однажды я, преодолевая робость, за которую сам себя презирал, в отчаянии спросил, стараясь улыбнуться замерзшими губами:

— Вы меня любите?

— Очень, — ответила она серьезно глубоким, приглушенным голосом и посмотрела мне прямо в глаза своими совсем некрасивыми глазами, которые казались мне прекрасными.

Боже мой, как я мучился!

Студент Саша Миклашевский, богач и красавец, спросил ее:

— Вы любите кататься на лодке при луне? У меня есть на Ланжероне ялик.

Он был высок ростом и строен.

Она подняла к нему головку, отягощенную короной каштановых волос с челкой, и, глядя на его маленький румяный рот, который он в это время незаметно для себя облизывал, сказала:

— Очень.

А потом все играли в поцелуи, и, когда настала их очередь, они удалились в соседнюю комнату, побыли там некоторое время и вернулись с таинственными, скромными улыбками, и я тогда чуть не сошел с ума от ревности: мальчик-гимназист, у которого на глазах у всех отнимали его девочку.

Но все же это было ничто в сравнении с тем отчаянием, даже ужасом, когда много лет спустя, после долгого отсутствия, после войны, Сморгони, удушливых газов, ранений, Февральской революции, многих романов и связей с разными женщинами, считая, что я уже навсегда избавился от своей юношеской любви, казавшейся мне совсем несерьезной и даже комичной, я пришел к ней и застал в гостиной молодого человека — мальчишку, — курчавого ученика музыкального училища. Он, не сводя с нее огненных, нежных, молящих глаз, аккомпанировал себе на старом рояле, ударяя по желтым клавишам своими железными пальцами виртуоза с такой страстью, что в пыльной мещанской гостиной вся плюшевая обстановка ходила

ходуном и не было слышно грохота ломовиков, мчавшихся порожняком под балконами по Херсонскому спуску на Молдаванку, пел романс «Безумно жаждать твоих лобзаний», а она стояла — маленькая, с чувственно полуоткрытым ртом, полуопущенными веками — и смотрела на его скачущие, худые, почти мальчишеские руки с кольцом, сплетенным явно из ее волос, на одном из пальцев... Его звали Рафаил, Рафа, фамилию его я уже забыл.

— Вам нравится? — спросила она меня.

— А вам?

— Очень.

Тогда я мог бы убить себя, если бы, по счастью, не оставил свой офицерский наган дома на вешалке.

На рассвете мы возвращались с ним, усталые, измученные, по пустынному и перьяшливому после дневных митингов городу, и он торопливо шагал рядом со мной, слегка подскакивая, по шуршащим осыпавшимся сухим цветам белой акации, ласковый, доброжелательный, нежно поглядывая на мой Георгиевский крест, мерцающий в предутренних сумерках, зеленоватых, как морская вода.

Через сорок лет, прижав к уху телефонную трубку, в Лос-Анжелесе, машинально положив свободную руку на небольшое, изящное издание Библии на английском языке — убористый шрифт, тончайшая бумага, — непременную принадлежность каждой американской гостиницы, я как будто бы не просто разговаривал по телефону со знакомой дамой, которая объясняла, как отыскать ее дом, а давал какую-то странную клятву. В то же время я видел за окном внутренний сквер с квадратными газонами, каннами и магнолиями, угол светло-серого бетонно-стеклянного многоэтажного корпуса, вдалеке две светло-серые бетонные эстакады, одна над другой, наискосок, — знаменитое круглое здание, — и редкий поток неподвижных автомобилей как наглядное доказательство того, что неподвижность есть всего лишь форма движения. И наконец, я видел перемежающиеся ряды высоких железобетонных светильников и еще более высоких вашингтонских пальм с непропорционально маленькими головками-метелочками, порыжевших и поломанных сухим зимним ветром из Мексики, острым, как наждак, холодным, беспощадным, несущим вдоль калифорнийских пляжей длинные, плоские тихоокеанские волны, такие же дикие и

враждебные всему живому, как и те злые чайки, которые на раскинутых крыльях носятся над ними, оглашая окрестности убийственно механическими кошачьими криками.

...И однообразно голубое (может быть, даже синее) небо, отполированное все тем же мексиканским ветром, проносящимся откуда-то из Сан-Диего над скучными промышленными апельсиновыми садами, которые были увешаны смугло-желтыми стандартными — один в один, — как бы искусственными плодами, подогреваемыми снизу керосиновыми печками, возле каждого дерева, — ветром, проносящимся над вечнозелеными кустами растения пуансета, осыпанного ярко-красными цветами, хорошо заметными издали, как сигнальные огни семафоров, над игрушечной страной Дисней. Эта страна казалась воплощением моего детского представления о мире с его резиновыми слонами, обдающими наш колесный пароходик струями воды, как из брандспойта, с путешествием на подводной лодке, где в иллюминаторах сквозь бисерные потоки воздуха передо мной передвигались безмолвные картины зеленого подводного царства. И среди колышущихся водорослей и мутных обломков кораблекрушений таились все сокровища моей фантазии: громадная раковина, рубчатые створки которой — как бы дыша! — медленно приоткрывались, показывая неземную радужную белизну жемчужины величиной с кокосовый орех; возле обломка грот-мачты, обросшей тропическими моллюсками, позеленевший бронзовый сундук, из которого на илистое дно струились золотые монеты — старинные полновесные дублоны! — и морское чудовище смотрело на меня выпученными глазами, между тем как мексиканский ветер все проносился и проносился — над виллой Стравинского, одно имя которого само по себе уже было как бы зимним ветром из глубины Мексики со всеми его смычковыми, духовыми, ударными, щипковыми инструментами, связанными между собой гениальным контрапунктом; над собачьим кладбищем на вершине голого холма; над кафетериями и конторами Голливуда; над «косыми скулами» Тихого океана, за угрюмо пылающим горизонтом которого на склоне другого полушария мне все время чудились очертания моей страны; над вечерней улицей, где я наконец разыскал ее темный дом.

Еще издали я увидел ее неподвижную фигуру, хотя в сумерках она почти сливалась с обнаженным черно-же-

лезным кустарником, росшим перед небольшим одноэтажным домом. Можно было подумать, что она ждет меня здесь с незапамятных времен, вечно, и уже превратилась в небольшое серое изваяние. Эта мысль не показалась мне странной, потому что формальное измерение времени, искусственно оторванного от пространства, общепринятое у людей — годы, сутки, часы, минуты, столетия, — дает лишь условное, искаженное представление о подлинном времени. С трудом переводя дыхание, я довольно быстро взшел с проезжей части улицы по каменным плитам, заменявшим лестницу, на верх поросшего травой откоса, что было весьма обычно для темноватой провинциальной американской улицы, и остановился со шляпой в руках, не в силах поверить, что передо мной действительно стоит она, и все еще продолжая думать о песочных часах, о том, что гораздо более точное представление о времени дает не песок, сыплющийся неощутимой струйкой из одной колбочки в другую, а простой камень, «с течением времени» превращающийся в песок, или же песок, превращающийся постепенно в камень и снова «с течением времени» делающийся песком, потому что здесь я не только ощущаю, но вижу разрушительное или созидающее действие времени, не отделимого от материи. Точнее всего я могу узнать время не по часам, а, например, рассматривая свою руку, усыпанную уже довольно крупными коричневыми пятнышками старости — так называемой гречкой, и я вижу неотвратимое разрушение своего тела, и когда я протягивал ей свою руку, то подумал: «Без четверти вечность». Вероятно, она прочитала мои мысли, потому что сказала: «Сорок лет» — и ввела меня в свой дом. И вот мы опять, как тогда, в начале жизни, стояли друг против друга — вот я и вот она — одни-единственные и неповторимые во всем мире, посреди традиционного американского полуосвященного холла, где в пустом кирпичном камине бушевало, каждый миг распадаясь на куски и вновь сливаясь, газовое пламя — искусственное, пеживое, слишком белое, такое же самое, как почти во всех местных холлах и ресторанах, — бесцветно слепящее и обжигающее лицо пламя богатой калифорнийской зимы, — а на низком прямоугольном длинном столе для газет и журналов, тревожно озаряемый льющимся мертвым светом, стоял в серебряной раме на подставке портрет красивого господина с добрым незапоминающимся лицом — копия с фотографии — масляными красками. Я, конечно,

не узнал бы «Костю» в этом респектабельном джентльмене, изображенном почти во весь рост, по колени. Если бы из-под его жилета выглядывали концы муаровой орденской ленты, то его легко можно было бы принять за президента какой-нибудь не слишком большой европейской республики вроде Португалии; все аксессуары, окружавшие его, были именно такого сорта: массивный чернильный прибор, которого он касался кистью красивой руки с тонким обручальным кольцом, и полки красного дерева с солидно переплетенными книгами позади немного седой благородной головы порядочного человека.

Она хотела что-то сказать, вернее всего подтвердить, что это именно он, но подумала и промолчала, так что он как бы остался лишь свидетелем, но не участником нашего свиданья, продолжавшегося почти всю ночь и потом перед моим отъездом еще несколько часов подряд до тех пор, пока мы не выпили весь запас чая, который был в доме; желтые этикетки «липтон» в громадном количестве висели из-под крышки английского чайника, где мокли и никак не могли размокнуть остывшие и разбухшие мешочки из папиросной бумаги с заваркой мелкого черного цейлонского чая. Эти мешочки всегда удивляли меня поразительным свойством своей шелковой бумаги промокать, но никогда не разваливаться даже в самом крутом кипятке. Мы все время пили чай, и наконец разбухшие мешочки «липтона» вытеснили всю воду из чайника, и уже больше нечем было утолять жажду, а все это никому не нужное, выдуманное свидание представлялось мне тягостным погружением в самые нижние слои бесконечно глубокого моря, разделявшего нас тяжелой водой молчания, сквозь которое с трудом взаимопроникали наши слова, иногда доходя до сознания, подобно какой-то слуховой галлюцинации, а иногда растворяясь без следа где-то рядом с сознанием, как неприснившиеся сны, не оставляющие в памяти никаких следов.

У нас плохо работала обратная связь, все время прерываемая какими-то помехами извне черной и белой рябью.

В сущности, я пришел сюда лишь затем, чтобы узнать, любила ли она меня когда-нибудь. Всю жизнь меня мучил вопрос: «Что это было?» Но всю жизнь — она и я — мы

находились в необъяснимом оцепенении, близком к небытию. Как человек, погруженный в наркотический сон и при этом каким-то образом все-таки сознающий, что он спит, мучительно хочет проснуться, по никакими, самыми отчаянными душевными усилиями не может вырваться из крепкой оболочки сна, так и я теперь никак не мог разорвать туго спеленавшего меня молчания и уже готов был задохнуться и навсегда остаться лежать на дне под страшной тяжестью давивших на меня километров неподвижной воды, как вдруг последним усилием воли заставил себя увидеть большое окно, за которым очень красиво, но как-то отвлеченно сияло солнечное русское июньское утро со всеми его подробностями: верхушками большого сада, ангельским небом, по которому где-то в районе Кунцева струился нежный, шелестящий свист реактивных двигателей шедшего на посадку самолета, и автострадой, по которой я сотни раз в жизни проезжал туда и назад, всякий раз любясь зрелищем рождения нового мира и многобашенным пирамидальным зданием, наминавшим по ночам елку с электрическими лампочками. Среди полей, лугов и лесов угадывались химические заводы, космодромы и клетчатые рогатки высоковольтных передач, шагающих во все стороны единственной в мире, неповторимой, трижды благословенной страны моей души, которая дала мне столько восторгов, столько взлетов, падений, разочарований, столько кипучей радости, высоких мыслей, великих и малых дел, любви и ненависти, иногда отчаяния, поэзии, музыки, грубого опьянения и божественно утонченных цветных сновидений, которые так сладко и нежно снились мне на рассвете при робком шелканье первых соловьев, — словом, столько всего того, что создало меня — по своему образу и подобию — именно тем, что я есть, или, вернее, тем, что я был, потому что я уже не мог вырваться из пелены сна, но вдруг в последнем порыве, от которого содрогнулось все мое существо, я все-таки сумел заставить себя произнести слова — не те, самые главные, единственные, — а другие, слова, поразившие меня своей бедностью:

— Скажите, почему вы тогда не вышли за меня замуж?

— Молодая была, глупая, — тотчас с какой-то бездумной горестной легкостью ответила она, как будто ожидала этого вопроса, и продолжала, слегка склонив голову, пемного снизу глядеть на меня, не вытирая глаз и покорно

улыбаясь, в то время как позади нее на стене я видел смутно знакомую мне акварель — единственную вещь, которую она более сорока лет тому назад захватила с собой: русская девушка, почти девочка, в цветочном пла-точке, осторожно несущая перед собой четверговую свечку в бумажном фунтике, чтобы мартовский ветер ее не задул; свечка озаряла девичье лицо снизу таким образом, что нижняя часть щек, круглых и румяных, как наливные яблочки, была ярко и нежно освещена, а верхняя тонула в тени, и счастливые глаза с сусальными огоньками в каждом зрачке смотрели невинно и ясно прямо на меня, и сейчас же я вспомнил Блока:

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.

— Помните? — спросил я, и она сейчас же, словно беспрерывно читала мои мысли, ответила автоматическим голосом:

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

Она замолчала, но теперь уже я, в свою очередь, читал ее мысли и видел то, что видела она: наш первый, последний и единственный поцелуй, который никогда не считался за настоящий, потому что мы не просто поцеловались, а «похристосовались», то есть совершили общеобязательный обряд.

Возле празднично убранного стола с куличами, розовыми стружками гиацинтов, крашеными яйцами вокруг зеленой кресс-салатовой горки, с окороком и серебряной бутылкой малиновой наливки братьев Шустовых она стояла с невыспавшимся после пасхальной ночи, но свежесмытым лицом и выжидательно смотрела на меня, слегка приподняв руки в длинных кружевных рукавах, до половины закрывавших ее пальцы с наполированными ноготками. Она смотрела на меня, не скрывая любопытства: что я буду теперь делать? Впервые я увидел ее тогда не

в гимназической форме, а в легкой великоватой блузе с дырочками «бродери», сквозь которую просвечивали розовые шелковые бретельки и которая ей совсем не шла, придавая ее девичьей фигурке нечто дамское.

— Христос воскрес,— сказал я более решительно, чем этого требовали обстоятельства, и неуверенно шагнул к ней — чистенький, вымытый, тоже не выпавшийся, пахнувший тетиним одеколоном «Брокер», с жесткими волосами, насаленными фиксагуром, и в новых скрипящих ботинках.

— Воистину,— ответила она и спросила, улыбаясь: — Надо целоваться?

— Приходится,— сказал я, с трудом владея своим грубо ломающимся голосом.

Она положила мне на плечи руки, от которых как-то по-старинному пахло цветущей бузиной — может быть, именно потому, что кружева рукавов были как бы немного пожелтевшими от времени,— и мы формально поцеловались, причем я близко увидел ее растянувшиеся в улыбке сомкнутые прохладные губы с маленькой черной мушкой и глаза, не выражавшие решительно ничего, даже смущения. Тогда же я впервые увидел ее отца, хотя часто бывал у них в гостях: ее отца никогда не было дома, всегда он либо уже ушел, либо еще не возвратился из клуба.

Он вошел в новом сюртуке и белом жилете, на ходу вкладывая в бумажник крахмально-белые карточки, приготовленные для визитов, на которые он отправлялся. Она представила меня, назвав мою фамилию и уменьшительное имя. Мы похристосовались, он слишком внимательно, с каким-то непонятым любопытством посмотрел на меня, затем пожал мою ледяную руку и налил в две зеленые рюмочки — себе и мне — малиновой наливки. Мы чокнулись, выпили, и я, никогда в жизни еще не пивший вина, почувствовал, что сразу опьянел от одного лишь запаха, наполнившего мой рот и носоглотку восхитительным летучим, как бы горящим малиновым вкусом, а за окнами с высохшей, потрескавшейся замазкой раздавался утомительный перезвон пасхальных колоколов из Михайловского монастыря, над кустами сирени с надутыми почками и воробьями, по водянисто-голубому небу плыли белые облака, солнце сияло в ртутном шарике наружного тер-

мометра Реомюра, по крашеному подоконнику ползала ожившая муха, и я смотрел маринованными глазами на ее отца, на твердые белоснежные манжеты с золотыми запонками, на его крепкую голову, постриженную бобриком и хорошо посаженную на короткое, коренастое туловище отставного офицера, который проживает молдавское имение своей жены за ломберными столами дворянского собрания и в Екатерининском яхт-клубе.

— Вы помните моего покойного папу? — спросила она, продолжая непостижимо следовать за моими мыслями.

— Я всё помню, — ответил я грустно.

— Я тоже, — сказала она, и мы замолчали, и это молчание длилось невероятно долго, длилось до тех пор, пока она не решилась сказать мне то, что, по-видимому, тяготило ее уже много лет, всю жизнь.

Она положила свою сухую, уже старчески легкую руку на мое плечо и, глядя на меня, по своему обыкновению, как бы немного снизу, произнесла голосом сестры:

— Вы знаете, мой покойный папа незадолго до своей смерти вынул из секретного ящика своего письменного стола и молча показал мне фотографическую карточку вашей покойной мамы, ту самую, где — вы помните? — ваша покойная мама снята семнадцатилетней епархиалкой в форменном платье с круглым отложным, твердо накрахмаленным воротничком вокруг нежной шеи, с овальным смуглым лицом и японскими глазами. Оказывается, они — мой папа и ваша мама — были когда-то знакомы. И я думаю, — она вздохнула глубоко и почти неслышно, — и я думаю, что мой папа был когда-то влюблен в вашу маму и, может быть, даже любил ее всю свою жизнь до самой смерти. Вот что случилось в нашей жизни, мой друг, — грустно прибавила она...

А тем временем мы уже опять стояли — на этот раз навсегда прощаясь — перед ее домом — я и она, — и мне запомнилось лишь немного из того, что она тогда — последний раз в нашей жизни — говорила, неотрывно глядя в мое лицо:

— ...На улице бы я вас не узнала, а в поезде бы узнала. Когда же мне сказали, что вы расстреляны, я пришла домой, села на диван и окаменела... Я даже не могла плакать... Я совсем окаменела. Я не могла согнуть рук. У меня было такое чувство, будто бы я превратилась в кусок камня... И уже вокруг меня ничего не было... Какое

счастье, что это оказалась неправда и вы живы... вы живы...

— А может быть, это все-таки правда и я давно мертв?!

— Тогда, значит, нас обоих уже давно нет на свете.

— Быть может.

И вырвал грешный мой язык.

Зимний ветер из Мексики пролетал над крышами Лос-Анжелеса. Сухо шелестели вашингтонские пальмы. Лежала грифельная полоса Тихого океана, и где-то за далеко тлеющим горизонтом ощущался другой материк, и там мерцала страна моей души.

Она все еще продолжала стоять вверху у порога — маленькая, темная, неподвижная — и с ужасом смотрела на мои обуглившиеся крылья, — и потом, когда уже машина, распластавшись, текла мимо бетонных светильников и коттеджей, я в последний, в самый последний раз обернулся и увидел ее совершенно неподвижную фигурку, которая как бы лишний раз подтверждала, что неподвижность есть всего только одна из форм движения, — темную фигурку на верху откоса, рядом с голым, как бы железным кустарником.

Потом я еще раз увидел растение, осыпанное ярко-красными, как бы светящимися цветами — сигналами калифорнийской зимы, — но я уже забыл, как оно называется. Его название вертелось на языке, я мучительно напрягал память, но не мог вспомнить — ассоциативные связи разрушились, и не у кого было спросить.

Теперь Америка почти совсем потеряла для меня интерес, она как бы лишилась души, напоминая прелестную искусственную страну вроде Диснейленда. Зачем я сюда так страстно стремился?

Вечная любовь. Альфред Парасюк. Книга для немногих. Пуансета. Голубые люди. А теперь в подробном изложении.

— Мы тогда в Париже бегали с Костей каждый день в пять часов вечера в «Куполь», но никак не могли вас застать. Где вы тогда пропадали?

Что я мог ей ответить? Я пропал у Барбюса. Я был влюблен в его «Кларте». Я не отрываясь смотрел в узкое

темное лицо Барбюса, па волосы, косо упавшие на широкий, наклонившийся ко мне лоб, и слушал его голос, в котором для меня тогда звучала величайшая истина нашей эпохи:

«Никто не подозревает, какую можно создать красоту! Никто не подозревает, какую пользу могли бы извлечь из расточаемых сокровищ, каких высот может достичь возрожденная человеческая мысль, заблудшая, подавленная, постепенно удушаемая постыдным рабством, проклятием заразной необходимости вооруженных нападений п оборон и привилегиями, унижающими человеческое достоинство; никто не подозревает, что она может открыть в будущем и перед чем преклониться. При верховной власти народа литература и искусство, симфоническая форма которых едва еще намечается, приобретут неслыханное величие, как, впрочем, и все остальное. Националистические группировки культивируют узость и невежество и убивают самобытность, а национальные академии, авторитет которых покоится на неизжитых суевериях, — лишь пышное обрамление развалил. Куполы институтов, вблизи как будто величественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи. Надо расширять, интернационализировать неустанно, без ограничения все, что только возможно. Надо разрушить преграды, пусть люди увидят яркий свет, великолепные просторы; надо терпеливо, героически расчистить путь от человека к человечеству: он завален трупами людей, и каменные изваяния заслоняют дугу далекого горизонта. Да будет все это преобразовано по законам простоты. Существует только один народ, только один народ!»

А где была ты?

— У меня здесь больше никого нет. Никого на свете. Я могу жить вполне прилично, но я осталась совсем одна.

Это было последнее, что я от нее услышал; и эти бедные слова преследовали меня еще некоторое время днем и ночью, сначала в ущельях Невады, где, может быть, в это время в пещерах производились подземные атомные взрывы, не слышные снаружи, но о которых я догадывался по усиливающемуся сердцебиению, потрясающему всю нервно-сосудистую систему моего организма; потом среди железных эстакад Чикаго, в утренних зимних су-

мерках его гангстерских трущоб, в угольно-черных щелях между старинными небоскребами и новейшими шестидесятиэтажными пластинчатыми винтообразными башнями двух зданий недорогих квартир, возле непомерно длинной набережной, охваченной облаками морозного тумана, все время наползающего на город с озера Мичиган, о присутствии которого можно было лишь смутно догадываться по льду на ресницах, по оловянно-перламутровому мерцанию, по могучему северному ветру, несущему в лицо жгучий холод всего водного пространства невидимого озера, окаменевшей от стужи Канады, ледяных пространств Арктики; наконец — эти бедные слова преследовали меня среди респектабельных кирпичных домов и церквей, придающих городу Бостону особую, почти религиозную строгость и скуку в те дни, когда в молчаливом многоэтажном госпитале, днем и ночью окруженном фоторепортерами и операторами телевизионных корпораций, на высокой кровати, поставленной посередине отдельной палаты, подпертый свежими большими подушками, среди цветов и золотогорлых бутылок французского шампанского в ушате с битым льдом, — неутомимо разглагольствуя, умирал столетний Роберт Фрост, знаменитый американский поэт, поворачивая во все стороны грозные, как у пророка, и наивные, как у ребенка, рыжие глаза на неподвижном пергаментно-пятнистом лице, уже как бы захватанном коричневыми пальцами вечности.

Я видел, как он, как глыба, придавленная к земле страшной тяжестью годов, казавшийся горбатым, с длинными руками, почти касавшимися пола, и короткими, как корни, кривыми ногами, в просторном новом костюме, поддерживаемый почитателями и вашингтонскими чиновниками, шел среди колонн и скульптур конгресса принести свои поздравления вновь избранному молодому и веселому президенту Кеннеди, как бы олицетворяя старую Америку Марка Твена и Лонгфелло, пожимающую руку Америке новой.

Теперь он, лежа с бокалом в руке на высокой хирургической кровати, смотрел на меня в упор и, стараясь, чтобы кликó не пролилось на его белоснежную рубашку, открывавшую коричнево-пергаментную шею, усеянную гречкой, говорил в повышенно пророческом бостонском стиле, обращаясь к кому-то, видимому лишь ему одному.

Может быть, он видел за моей спиной испепеленные крылья, и это заставляло его еще больше волноваться.

— ...Мне смешно,— говорил он,— слышать, когда люди уверяют, что ее не будет. Можете мне поверить: она вполне может когда-нибудь разразиться. Но если она разразится... Люди, я призываю вас... Человечество, прислушайся к моему голосу... Во имя высшей правды, если начнется всеобщее мировое безумие,— не отравляйте колодцев, оставляйте на деревьях яблоки, чтобы люди могли утолить голод и жажду, если мы не хотим, чтобы жизнь на земле навсегда исчезла. Я кончил. А теперь говори ты,— сердито сказал он и с усилием коснулся своим бокалом моего бокала. Он в упор смотрел на меня своими настойчивыми глазами, которые в этот миг вдруг показались мне искусственными, глядящими в прорези пятнистой маски, молчаливо требуя моего ответа.

Что мог сказать ему я в эту последнюю минуту нашей земной встречи? Я мог сделать лишь одно — громко провозгласить название этого вечнозеленого калифорнийского растения, осыпанного среди зимы ярко-красными, светящимися цветами, но я забыл это слово, единственное, которое могло спасти мир и спасти нас всех. Подавленный, я молчал, но во мне уже таинственно звучал далекий голос другого великого поэта Америки, родившегося здесь, в Бостоне, более века тому назад:

— Что за надпись, сестра дорогая,
Здесь, на склепе? — спросил я, угрюм.
Та в ответ: — Улялюм... Улялюм...
Вот могила твоей Улялюм!

И когда французский самолет повернул в океан и я уже успел просмотреть сегодняшние парижские газеты с громадными траурными клише обледеневших трущоб и трупов людей, замерзших предыдущей ночью в Бельвилле, и пожарных, откачивающих воду из подвалов, где лопнули трубы, и я узнал, что «божол» снова подорожало на десять сантимов за литр, и я дремал в ожидании Европы,— то все это время испытывал чувство сладостной опустошенности, как человек, который нырнул на страшную глубину для того, чтобы поднять со дна мраморную статую богини, и всплыл на поверхность, полумертвый от

нечеловеческого напряжения, простирая к небу ладони, в которых среди водорослей и голубого, текущего по рукам песка оказалась всего лишь маленькая, почти черная от времени терракотовая статуэтка женщины, вдовы, пролежавшая на дне несколько тысячелетий.

Да, припомнил я волны Оберы,
Вспомнил область туманную Нодд!

Может быть: «Опыт построения третьей сигнальной системы?»

Теперь, когда я возвращался обратно из мира Стравинского в мир вывернутого наизнанку Шуберта, ко мне постепенно — миг за мигом — возвращалось время, которое так необъяснимо исчезло, когда я летел через океан туда, — вздох за вздохом — возвращалась жизнь, погружаемая в гипнотический сон.

Да, припомнил я берег Оберы,
Вспомнил призраков в зарослях Нодд!

...И гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье...

Поседевшая от горя жена по-прежнему стояла на промасленных шестигранниках взлетной полосы, которая теперь превратилась в посадочную площадку и отражала сигнальные огни аэровокзала, с трудом пробивающиеся сквозь ночной туман. Она взяла меня молча под руку, и мы снова пошли как ни в чем не бывало по забытой улице, где старик в вязаных обгорелых перчатках с отрезанными пальцами жарил каштаны... Над жаровней носились плотные облака морозного воздуха, освещенные заревом голубой электрической вывески театра Сары Бернар, где на сцене бегал в коротких сапогах, заложив руку за борт пикейного жилета, император французов, и мы купили у старика пакетик крупных обугленных каштанов, обжигавших руки; но обугленная скорлупа легко снималась, и мы ели каштаны, как школьники, потратившие на лакомство свои два последних су и потерявшие в большом городе. Я потерял перчатку, пальцы озябли, и я дышал на них, стараясь согреть.

Нам страшно захотелось вернуться назад, туда, где в своей люлочке спала наша внучка, изо всех сил сжимая в смуглых кулачках маленькие морские звездочки, собранные во время отлива; туда, где под толстой соломенной крышей нормандского овина, под величественным балдахинном спали Козловичи и видели во сне две Германии — одну Демократическую, другую Федеративную, — будучи не в состоянии решить, по какой из них прокатиться в туристском автобусе; где в садике под цветущим каштаном валялся мотороллер юной молочницы, а она сама, смешав свои белокурые волосы со стриженными волосами нашего сына — Шакала, спала блаженным сном праведницы, положив обольстительную пунцовую щеку на его голую руку, а на полу были разбросаны: красное платье, нейлоновые чулки без шва, на спинке стула висел черный девичий бюстгальтер с белыми пуговицами, а на письменном столе, рядом с бидоном, стояли резиновые кеды, а сам Шакал спал посапывая и казался без очков как новорожденный котик; туда, где наша дочь Гиена, скрестив ноги, спала крепким сном, спрятав под подушку новый роман одного из самых известных современных мовистов, в то время как ее муж, стоя у чертежной доски с тяжелым противовесом, обдумывал принцип моделирования третьей сигнальной системы; где на газоне стояла полуобгоревшая машина и в ней спали Остапенки, оба крупные, счастливые, большие любители путешествий; где по шоссе бесшумно неслись, распластавшись, машины лучших мировых стандартов, отражая своей поверхностью поток неоновых огней гостиниц-обержей и тревожных сигналов заправочных станций, дорожных указателей, светящихся реклам, городов и театров; где мы так нежно и так грустно любили друг друга.

Но, вероятно, в этот миг что-то произошло, потому что мы уже ничего вокруг не узнавали. Да, собственно, ничего и не было. Торчал лишь обугленный угол электрического трансформатора, срезанного по диагонали. Он торчал, как обломок зуба. Остальное все — поле, дачи, сосны, рощи, кладбище, станция, церковь времен Иоанна Грозного, тонкая перекрученная струйка родниковой водички, все люди — знакомые и незнакомые, — все перестало существовать, все изменило форму. Волнистый пепел простирался во все стороны до самого пустынного горизонта, по серой черте которого волнисто двигались маленькие шафранно-желтые шапочки лисичек и на коро-

мыслах качались чашечки крошечных весов. А за горизонтом простиралась такая же самая пустота и так далее и так далее до бесконечности, а затем и после бесконечности, а с бесцветного — и, в общем, больше уже не существующего — неба сыпалась странная, невидимая и неосязаемая материя, продукт какого-то распада. Наша одежда и наши волосы тоже превращались в ничто и падали неосязаемыми частицами сухого тумана, и мы медленно и безболезненно, разматываясь, как клубок шерсти, съеденной молью, стали разматываться, разматываться, разматываться, превращаясь в ничто.

Нам совсем не было страшно, а только бесконечно грустно.

— Вернемся назад,— успела промолвить жена, становясь совсем прозрачной, размытой и неподвижной, как сновидение или даже как воспоминание о сновидении. Она прижалась к моему плечу, тая на глазах и теряя вес, и я понимал, что мы уже никогда никуда не вернемся, потому что я не мог вспомнить названия вечнозеленого куста, усыпанного среди зимы очень яркими пунцовыми цветами, а лишь одно это могло спасти нас: за серой пеленой неба, улетаая в мировое пространство, уже безмолвно бушевало и лизало со всех сторон вселенную странное пламя распадающейся материи, невидимое, неосязаемое, холодное и вместе с тем распространявшее острый, неприятно свежий запах железной ржавчины, запах кислорода, которым я, оказывается, давно уже дышал через гуттаперчевые трубки, глубоко вставленные в ноздри, слыша, как на губах сквозь марлю шипят пузырьки кислорода, и довольно ясно понимая, что я уже не сплю, а лежу на высокой хирургической кровати в своей палате, что черная кровь, которая по капле стекает в банку из дренажей, есть моя кровь, что за окном внизу сияет сад моей души, что узкоглазый анестезиолог не забыл меня разбудить, что человек не может умереть, не родившись, а родиться, не умерев, и что сравнительно недалеко, возле Святого колодца, вероятно, по-прежнему стоит знакомый старик и терпеливо моет свои бутылки.

1962—1965

Переделкино

ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

...а может быть, это были всего лишь маленькие звукоуловители, напряженно повернутые в мировое пространство к источнику колебаний, недоступных для человеческого уха...

Однажды я уже говорил или даже, кажется, писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное.

Я, например, как-то был даже квадратным корнем.

Я думаю, что это свойство каждого человека.

Во всяком случае, все то, что я вижу в данный миг, сейчас же делается мною или я делаюсь им, не говоря уже о том, что сам я — как таковой — непрерывно изменяюсь, населяя окружающую меня среду огромным количеством своих отражений.

По всей вероятности — будучи, как все существующее в мире, грубо матерьяльным, — я так же бесконечен, как материя, из которой состою. Отсюда моя постоянная взаимосвязь со всеми матерьяльными частичками, из которых состоит мир, если, конечно, он матерьялен, в чем я глубоко убежден.

В силу своей постоянной житейской занятости мы давно уже перестали удивляться многообразию форм окружа-

ющей нас среды. Но стоит отвлечься хотя бы один день от земных забот, как сейчас же к нам возвращается чувство принадлежности ко вселенной, или, другими словами, чувство вечной свежести и новизны бытия.

Предметы обновляются и получают новый, высший смысл. Например, тот цветок, который в данный момент попал в поле моего зрения. Я обратил на него особенное внимание не случайно. Он давно уже тревожил меня своей формой.

Таковыми пучками растут, например, грибы опенки. Гнездо длинных трубок, вышедших из одного растительного узла. Сосисочки. Даже обмороженные пальчики. Пучок молоденькой тупоконечной морковки каротели. Потом они подрастают, меняют цвет. Из оранжевых, шафрановых делаются красными. Их концы лопаются и раскрываются венчиком. Но это совсем не общеизвестные вьющиеся граммофончики, ничего общего. Их удлинненные тельца — узкие колокольчики — и мягко округлые отверстия, окруженные фестончиками лепестков, светятся каким-то тигрово-абрикосовым цветом, зловеще воспаленным в середине цветка, куда, как загнипнотизированные, медленно вползают на казнь насекомые.

Буддийски-красный цвет.

Эти цветы быстро вырастают и так же быстро увядают, съеживаются, сохнут и выпадают из созревшей цветоножки, оставляя после себя длинное полупрозрачное тельце с зеленой тугой каплей завязи.

И вот, вместо того чтобы работать, я наблюдаю за цветами, радуясь, что они напоминают мне целый ряд предметов, между прочим те резиновые полупрозрачные соски, которые надевают на горлышко бутылочки с детским молоком, а затем отправляюсь искать садовника, для того чтобы узнать, как называется растение. Все мои чувства сосредоточены на этом праздном вопросе. В самом деле — не все ли мне равно, как оно называется, это чем-то мучительно для меня знакомое растение, чьи полувью-

щиеся, крепкие стебли поднимаются по столбам над верандой и постоянно как бы сознательно протягивают к самому моему лицу шафранно-красные соцветия, напоминающие мне что-то чрезвычайно для меня дорогое и важное, причем я делаю еще одно наблюдение: в этом соцветии имеются цветки всех возрастов, от совсем маленьких, как недоразвившийся желудь, цветков-ублюдков, уродцев размером с ноготок — до бархатисто-бордовых красавцев в полном расцвете — цветов-королей — и, наконец, до цветов-трупов, чьи обесцвеченные пустые чехольчики являют страшный вид коричневого гниения. И все они — вся кисть, все их семейство, живые и мертвые, — расположены строго параллельно перилам террасы, как бы обращенные в одну сторону — к вечно заходящему солнцу, уже коснувшемуся гористого горизонта.

Садовник сказал, что это растение называется «бигония». Тем лучше.

Высунувшаяся из пыльного горячего куста длинная горизонтальная ветка с перистыми, супротивными листьями протянула мне соцветие, и самый крупный цветок, подобный маскарадному колпачку Пьеретты, остановился перед моими глазами, и тогда я легко и без усилий вспомнил точно такое же знойное июльское утро, башню Ковалевского и открытую веранду с гипсовыми помпейскими вазами, которые тогда воспринимались мною как мраморные, а дача — по меньшей мере древнеримской виллой в духе живописца Семирадского; даже скромная полоса не слишком красивого Черного моря, откуда доносились резкие восклицания купальщиков, представлялась мне пламенным Неаполитанским заливом с красными парусами. И все это происходило потому, что я должен был увидеть человека, перед талантом которого преклонялся и который представлялся мне существом почти что сказочным.

— Ваня, к тебе! — крикнул толстячок московской скороговоркой.

Мы сразу поняли, что это старший брат Ивана Алексеевича, тоже литератор, пишущий на педагогические темы.

— Кто именно? — послышался голос из-за двери.

— Молодые поэты.

— Сейчас.

И на пороге террасы, пристегивая заграничные подтяжки, появился сам академик Бунин, мельком взглянул на нас и тотчас скрылся, а через минуту снова вышел уже в другом ритме и вполне одетый.

Многие описывали наружность Бунина. По-моему, лучше всего получилось у Андрея Белого: профиль кондора, как бы заплаканные глаза, ну и так далее. Более подробно не помню.

Потом я слышал, что глаза у Бунина были прелестно-голубые, но я этого не заметил. Хотя вполне допускаю.

Перед нами предстал сорокалетний господин — сухой, желчный, щеголеватый — с ореолом почетного академика по разряду изящной словесности. Потом уже я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный, но это не существенно.

Хорошо сшитые штучные брюки. Английские желтые полуботинки на толстой подошве. Вечные. Бородка темно-русая, писательская, но более выхоленная и заостренная, чем у Чехова. Французская. Недаром Чехов называл его в шутку господин Букишон. Пенсне вроде чеховского, стальное, но не на носу, а сложенное вдвое и засунутое в наружный боковой карман полуспортивного жакета — может быть, даже в мелкую клеточку.

Крахмальный воротник — или, как тогда говорилось, воротнички, — высокий и твердый, с уголками, крупно отогнутыми по сторонам корректно-лилового галстука, подобно уголкам визитных карточек из наилучшего бристольского картона. В 20-х годах я бы непременно написал: бристольский воротничок. Это у нас тогда называлось переносом эпитета. Кажется, я сам изобрел этот литературный прием и ужасно им злоупотреблял. Нечто вроде инверсии. Так-то, братцы!

Но до 20-х годов было еще ой как далеко, целая вечность!

Теперь я так писать стесняюсь. Постарел. Остепенился. Пора и о душе подумать, стал мовистом.

Бунин взглянул на нас строго-официально и с далекого расстояния протянул нам вытянутые руки — одну мне, другую Вовке Дитрихштейну, — но не для рукопожатия, а для того, чтобы взять наши стихи.

Вовка Дидерикс, или, как он подписывался, Вл. фон Дитрихштейн, был тоже молодой поэт, но гораздо старше меня — богатый студент в штатском: кремовые фланелевые брючки, пестрый пиджачок, твердая соломенная шляпа канотье, толстый золотой перстень с фамильной печатью, белобрысая обезьянья мордочка остзейского немчика с виднеющимися редкими зубами. Типичный последний отпрыск.

Повинуясь неподвижному взгляду Бунина, мы вложили в его протянутые руки свои сочинения: Вовка вложил только что напечатанную за свой счет книжечку декадентских стихотворений — на бумаге верже с водяными знаками и в обложке в две краски — под названием «Блеклый венок», а я общую тетрадь, которую вытащил из-за гимназического пояса с сильно побитой металлической бляхой.

Крепко сжав хваткими пальцами наши сочинения, Бунин велел нам явиться через две недели, корректно поклонился одной головой, давая понять, что аудиенция окончена, и удалился, а его брат Юлий сказал, что Ваня торопится в гости, и проводил нас несколько шагов по каменной террасе до ступенек, которые вели на садовую дорожку, покрытую пыльным скрипучим гравием, подобно всем дорожкам на одесских дачах.

Ровно через две недели — минута в минуту — мы опять стояли на каменных плитах знакомой террасы, через перила которой к нам тянулись багрово-оранжевые сосисочки — соцветия растения, названия которого я тогда еще не знал и узнал только лет через пятьдесят.

— Ваня, к тебе, — сказал толстячок в дверь.

— Кто? — услышался раздраженный голос.

— Молодые поэты.

— Сейчас.

И на пороге стеклянной двери, как и в первый раз, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наши сочинения, причем не ошибся: Вовке Дитрихштейну он протянул его книжечку, а мне — мою тетрадь.

— Я прочел ваши стихи, — сказал он строго, как доктор, обращаясь главным образом к Вовке, что несколько меня задело, лишний раз подтвердив мое наблюдение,

что если сам я нахожусь среди какой-нибудь, пусть даже самой небольшой, компании, то меня или вовсе не замечают, или замечают в последнюю очередь; таково уж свойство моей личности.— Ну что же? Трудно сказать что-нибудь положительное. Лично мне чужда такого рода поэзия.

Вовка глупо, но заносчиво улыбнулся.

— Вам бы,— продолжал Бунин,— следовало обратиться к какому-нибудь декаденту, например к Бальмонту. А я — что же я могу сказать... Затрудняюсь. Манерно. Кокетливо. Неопределенно, неясно, претенциозно. Наконец, зачастую просто не по-русски...

— Да, но разве вы не признаете в поэзии заумного? — отважно прервал его Вовка, облизывая бесформенные слюнявые губки.— Сейчас это многие признают.

— Быть может. Но я полагаю, раз оно заумное, то, значит, по ту сторону ума, то есть глупость,— сказал Бунин.

Я затрепетал от того, что в моем присутствии родился настоящий литературный афоризм, но не растерялся и сейчас же протянул Бунину его большой коричневым фотографический портрет на сером паспарту, купленный накануне за один рубль серебром у фотографа, который выставил его для рекламы в витрине своего ателье на Ришельевской улице, в знаменитом одесском пятиэтажном небоскребе, построенном из желтого кирпича в мавританском стиле.

На фотографии — под папиросной бумагой, как невеста под фатой,— было изображение Бунина, который несколько боком сидел в каком-то железном садовом кресле, схватившись сухими руками за подлокотники и вытянув вперед к зрителям ногу, заложенную за ногу так, что заграничные полуботинки оказались на первом плане и вышли неестественно большими со всеми своими подробностями: толстой подошвой, дырочками вокруг союзок, кожаными шнурками, завязанными бантом, в то время как характерная голова академика с выдающимся дворянским затылком вышла несколько менее крупной, чем мне бы хотелось; даже отборный садовый гравий на переднем плане вышел куда более выразительно, чем все остальные аксессуары.

Увидев в витрине эту фотографию, я побежал домой и почти со слезами вымолил у тети рубль, который с меня

запросил бездарный, но хитрый фотограф, смекнувший, что имеет дело с молодым поэтом, поклонником столичной знаменитости.

Теперь я извлек из пожелтевшей газетной бумаги портрет и подал его Бунину.

— Вы хотите, чтобы я вам что-нибудь написал на память? — спросил Бунин бесстрастно, но, как это ни странно, я вдруг понял, что в глубине души он польщен и моим смущением, и своим портретом, на который искоса взглянул, по-видимому тут же отметив про себя весь его провинциализм, начиная от серого паспарту и кончая папиросной бумагой третьего сорта. — Но что же вам написать, вот вопрос?

— Напишите, если можно, то, что вы только что сказали.

— А что я сказал? — удивился Бунин.

— Ну как же... Вы сказали, что заумное, так сказать, — это глупость.

— Разве я это сказал?

— Конечно, сказали.

Бунин на минуту задумался, но сейчас же извлек из внутреннего кармана жакета автоматическую ручку — что по тем временам было большой новостью — и отвинтил головку.

— Извольте. Ваше имя?

Я сказал.

Он положил портрет на гипсовую балюстраду и четкой клинописью написал в левом верхнем углу, где было по-свободнее от аксессуаров: «Валентину Катаеву. Заумное есть глупость. Ив. Бунин».

Я был в восторге, а Вовка Дитрихштейн кусал свои мокрые губки от зависти, проклиная себя за то, что не догадался купить портрет Бунина.

Больше всего понравилось мне большое прописное «Б» в подписи Бунина, верхняя черта этой буквы вначале необыкновенно толстая, а затем сходящая на нет вроде египетской клинописной литеры или жирного восклицательного знака, поставленного горизонтально, или же даже редьки с тонким хвостиком. Я уже не говорю о том, как было лестно видеть свое имя, написанное рукой знаменитого писателя.

Проводив нас на этот раз до ступеней террасы, Бунин попрощался с нами, пожав наши руки: сначала Вовке, потом мне.

И тут произошло чудо. Первое чудо в моей жизни.

Когда Вовка Дитрихштейн уже начал сходить по ступеням, Бунин слегка попрिдержал меня за рукав моей гимназической коломянковой куртки и произнес негромко, как бы про себя:

— Приходите как-нибудь на днях утром, потолкуем.

Говоря это, он осторожно вытянул у меня из-под мышки тетрадь со стихами и спрятал ее за спину.

Легко можно представить, в каком состоянии я находился в течение тех четырех или пяти дней, которые с невероятным трудом заставил себя пропустить для приличия, чтобы не побежать к Бунину на другой же день.

И вот наконец я мчался в пустом утреннем вагоне электрического трамвая с плетеными из тростника откидными диванчиками за город, на дачу Ковалевского, и все время с левой руки за обрывами показывалось из пыльной зелени и пропадало море, а справа мелькали дачные пятачки, усыпанные сухой шелухой подсолнуха, с киосками прохладительных напитков, булочными, почтовыми отделениями и даже в одном месте с летним театром, с гипсовой лирой над входом, где давались любительские спектакли, и трамвайный ролик бежал по медному проводу, рассыпая искры, казавшиеся при блеске ослепительного утреннего солнца и такого же ослепительного моря черными, как угольки, а провод в это время пел виолончелью и на крутых поворотах визжали и ныли тормоза, а я стоял на площадке новенького бельгийского вагона, держась за железный столбик, и высывался в открытую дверь для того, чтобы ветер охладил мою горячую голову с постриженными под машинку волосами.

Наконец тишина, пустой дачный сад, скрип пыльного гравия, степной полынный ветер, каменная веранда и красные соцветия еще не имеющего имени, но уже знакомого вьющегося растения. У входа в цветок, рдеющий на солнце красным цветом петушиного гребня, в воздухе стояла оса.

Однажды, значительно позже, я прочел у Пастернака волшебные строки: «...голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

И под его все теми же заграничными полуботинками зазвучали каменные потертые плиты веранды. На нем была свежевыглаженная холщовая блуза с нагрудным кармашком, оседланным стальным пенсне с черным шнурком.

Но, вероятно, в мире уже что-то произошло или в это время происходило — роковое и непоправимое, — потому что хотя стояло все то же горячее приморское утро, но дача уже не показалась мне римской виллой и над кубовой полосой беспокойного Черного моря я не увидел красных парусов Неаполитанского залива, а комната, куда меня пригласил хозяин, была проста, как дворницкая, — с белеными стенами, ярким полом, выкрашенным масляной краской, в янтарно-охряных досках которого лазурно отражалось небольшое окно, с кухонным столом, аккуратно застланным листом алой промокательной бумаги, надежно придавленной к столу кнопками, на котором я заметил четвертушку почтовой бумаги с начатыми строчками, а на раскаленном сияющем подоконнике на четвертушке такой же почтовой бумаги сохла горка влажного турецкого табака, и рядом с ней я увидел коробку с воздушно-крахмальными гильзами фабрики Конельского, стальную машинку для набивания, сверкающую на солнце своими медными застежками, и стальную палочку с круглой, некрашеного дерева рукояткой, приготовленные для набивки новой папиросы, в то время как в воздухе еще стоял синеватый дымок только что выкуренной, а сам Бунин уже не казался мне таким строгим и в его бородке было больше чеховского, чем в прошлый раз. Мы сели на два буковых венских стула, гнутых, легких и звонких, как музыкальные инструменты, и он положил на стол мою клеенчатую тетрадь, разгладил ее сухой ладонью и сказал: — Ну-с.

...но как же все это случилось? Что между нами общего? Почему я его так страстно люблю? Ведь совсем недавно я даже не слышал его имени. Хорошо знал имена Купри-

на, Андреева, Горького, слышал, что есть Арцыбашев, Юшкевич, Чуриков — тот самый, о котором будто бы злой старик Лев Толстой сказал: «Как его... Чуриков, Чуриков...» А о Бунине совершенно ничего не слышал. И вдруг в один прекрасный день, совершенно неожиданно, он стал для меня божеством.

Давайте разберемся.

Я уже давно писал стихи и находился, как все молодые поэты, в состоянии вечного душевного смятения: бегал по редакциям местных газет без всякого разбора, читал свои стихи кому попало в гимназии, на переменах, спрашивал мнение товарищей, домашних, папы, тети, мучил своими произведениями младшего братишку Женю — будущего Евгения Петрова, посылал свои стихотворения бабушке в Екатеринослав, даже прослыл у знакомых гимназисток слегка сумасшедшим. И все это лишь потому, что никто не мог мне объяснить какой-то — как я тогда думал — самый главный секрет, открыть какую-то самую сокровенную тайну поэзии, не обладая которой можно было и впрямь свихнуться, не понимая, для чего все это пишется, что означают все эти давным-давно, еще со времен Ломоносова, известные рифмы, размеры, строфы — тысячу раз уже писанные кем-то раньше, тысячу раз читанные-перечитанные и, по сути дела, по внутреннему ощущению, ничего общего не имеющие лично со мной, с моей жизнью, с моей судьбой, с моими интересами, — какие-то бледные «холодом дышит природа немая, бешено волны седые кипят» и прочее.

...Звездочки между четверостишиями...

Подобное же чувство, по-видимому, испытывал в свое время и Маяковский, о котором я тоже собираюсь кое-что рассказать в этой книге. В своей биографии он пишет:

«...Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церквей. Ждал я: но в месяцах дни потерялись, сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку»...

Никто мне ничего не смог сказать, и ничего я не слышал, кроме того, что — «вообразите себе, Валя пишет стихи, хотя, впрочем, в его возрасте все пишут».

В редакциях:

— Стихи? Отлично. Оставьте. Приходите через две недели. Рукописи не возвращаем.

Через две недели:

— Не пойдет.

— Почему?

— Потому что мы буквально завалены стихами, а мы их вообще-то не печатаем.

Или вдруг неожиданное счастье.

— Одно взяли.

— Какое?

— Я уже не помню. Там что-то про природу. Восемь строк. На подверстку.

И лишь один раз в редакции «Одесских новостей», заваленной узкими гранками, испятнанными черными оттисками пальцев, известный журналист Герцо-Виноградский, который под псевдонимом Лоэнгрин вел ежедневный фельетон, короткими, рублеными строчками, односложными абзацами, а-ля король фельетонистов великий Влас Дорошевич, человек с худым интеллигентным лицом и длинными усами Верхарна, мельком взглянув на меня сквозь все то же стальное чеховское пенсне, вдруг чем-то во мне заинтересовался — трудно сказать, чем именно, — может быть, просто по-человечески пожалел, потому что я так неестественно кашлял от смущения, имитируя «слабые легкие», так нервно ломал лаковый козырек своей гимназической фуражки, прожженный в нескольких местах увеличительным стеклом, так стеснялся своих вулканических, так называемых «возрастных» прыщей на худом, китайском подбородке... Он ласково отстранил доброй рукой мои свернутые в трубку стихи и сказал с простотой и откровенностью, потрясшей меня:

— Слушайте, ну, допустим, я попрошу вас зайти через неделю и потом скажу, что стихи не подходят потому, что мы вообще-то стихов не печатаем, хотя мы их изредка и печатаем, и потому, что стихи сырые, хотя они действительно, может быть, сырые. Но какое это имеет значение? Хотите знать святую правду? Вы принесли мне стихи, а я — вот даю вам честное слово порядочного человека — ну совершенно, абсолютно ничего не смыслю в стихах и поэтому ничего вам не могу посоветовать путного. И никто

у нас в газете ровно ни черта́ в поэзии не понимает. Можете мне поверить. Только делают вид, что понимают. Так что я вам посоветую: дайте свои стихи прочесть настоящему писателю. Понимаете: *настоящему*.

Он подчеркнул это слово и уставился на меня добрыми склеротическими глазами.

— У нас в Одессе,— сказал он,— живет один настоящий писатель. Юшкевича я не считаю. Александр Митрофанович Федоров. Вы, наверно, о нем слышали?

— Не слышал.

— Чехову нравилось его стихотворение: «Шарманка за окном на улице поет, мое окно открыто, вечереет».— Он снял пенсне и вытер платком слезы.— Вот видите. А еще хотите быть писателем. Надо знать! А. Федоров. О нем даже есть в энциклопедическом словаре.

Мне было ужасно неловко за свое невежество, и я виновато молчал, терзая в опущенных руках свою фуражку и выламывая веточки герба. Но тут меня осенило: А. Федоров! Не папа ли это реалиста Витьки Федорова, с которым мы одно время жили рядом в «Отраде» и даже немного дружили? Помнится, Витька хвастался, что у него батяка писатель.

— Он не в «Отраде» живет? — спросил я.

— Жил в «Отраде», а теперь выстроил собственную дачу рядом с башней Ковалевского.

— Я товарищ его сына Витьки.

— Верно, у него есть сын Витя. Так вы, я вам серьезно советую, не откладывая и поезжайте. Он хороший поэт, ученик Майкова,— прибавил он таинственным шепотом.— Он может дать вам ряд полезных советов. Это единственное разумное, что вы можете сделать. У вас что — легкие не в порядке?

— В порядке. Это я так. У вас здесь в редакции очень жарко.

— С богом.

Так как на даче не было ни души, я беспрепятственно прошел через все комнаты и остановился в дверях кабинета, где за письменным столом сидел, как я сразу понял, сам А. М. Федоров на фоне громадного, во всю стену, венецианского окна с дорогими шпингалетами, на треть занятого морем, большефонтанским берегом и маяком,

а на две трети движущимся громадным облачным небом ранней весны — еще холодной и хмурой, со штормами и неправдоподобно крупными почками конского каштана, как бы густо обмазанными столярным клеем.

А. М. Федоров задумчиво, с паузами, заносил что-то в объемистую записную книжку. Наверное, пишет стихи, подумал я и вступил в комнату, с ужасом слыша скрип своих новых ботинок.

— Здравствуйте,— сказал я, прокашлявшись.

Он нервно вздрогнул всем телом и вскинул свою небольшую красивую голову с точеным, слегка горбатым носом и совсем маленькой серебристой бородкой: настоящий европейский писатель, красавец, человек из какого-то другого, высшего мира; с такими людьми я еще никогда не встречался, сразу видно: утонченный, изысканно-простой, до кончиков ногтей интеллигентный, о чем свидетельствовали домашний батистовый галстук бантом, вельветовая рабочая куртка, янтарный мундштук, придавая ему нечто в высшей степени художественное.

— Здравствуйте,— еще раз сказал я, шаркая ногой.

Он схватился кончиками пальцев за седеющие виски. В его глазах мелькнуло безумие.

— Ах, как вы меня испугали! Нельзя же так. Я думал бог знает что... Пожар... Что вам угодно?

— Я товарищ Витя.

— Витя в училище,— с недоумением сказал он.— А почему вы не в гимназии? Или, может быть, с Витей что-нибудь случилось? — закричал он, вскакивая.— Ради бога, говорите, что с ним случилось!

— Ничего не случилось.

— Он жив?

— Наверное. А чего?

— Это я вас должен спросить: а чего? И почему вы не в гимназии?

— Так.

— Странно.

— Я не к Витьке пришел, а к вам.

— Ко мне? — удивился Федоров.

Но прежде чем я успел вытащить из кармана шинели свои рукописи, он все понял и заметался, как подстреленный.

— Стихи? Нет, нет! Только, умоляю вас, не теперь. Вы же видите — я занят. В эти часы я никого не принимаю. Как вы сюда попали?

Он отпрянул от меня и смотрел с ужасом на мои рукописи, которые я уже начал торопливо перелистывать. Мы были во всем доме одни. Его положение было безвыходным.

— Лида! — крикнул он слабым голосом, но, вспомнив, что жена уехала в город за покупками, махнул рукой и сдался.

Обливаясь потом и все время кашляя, я прочитал ему свои стихи. Он сделал томным, красивым голосом избалованного женщинами известного писателя несколько вялых замечаний, а потом разошелся, и, когда я спрятал свою рукопись, он, несколько юмористически сверкнув глазами, погладив кисточку своей серебряной бородки, сказал сладостно-кондитерским голосом:

— Ну уж, так и быть. Теперь моя очередь. Держитесь, Валя. Сейчас я вас убью.— С этими словами он вынул из письменного стола толстую сафьяновую тетрадь и один за другим стал с упоением читать сонеты, написанные, как он объяснил, вчера во время бессонницы в один присест, залпом: — «Седые пейсы. Острый взгляд. Шейлок. Неровными зубами, торопливо он развязал заветный узелок. Таилось в нем сокровище на диво: жемчужина Персидского залива. Из мрака он на свет ее извлек и сам, гордясь, любитесь ревниво...» — и так далее и шикарный конец: «...она живет и дышит, и — о, боже! — я слышу вздох: зачем меня хавас достал со дна для этих жадных глаз!»

Разумеется, я был убит наповал. Вот это настоящий поэт! И с этого дня стал страшным почитателем и учеником Федорова, который вскоре привык ко мне и не без томности говорил знакомым:

— Это Валя. Молодой поэт. Мой талантливый ученик. Мы читаем друг другу стихи.

Эта идиллия продолжалась довольно долго, по закончилась как-то вдруг, когда в один прекрасный день расчувствовавшийся Федоров томно сказал:

— Ах, Валя... Все это, откровенно говоря, вздор. Хотя мой учитель Майков и считал меня самым талантливым своим учеником и предсказывал мне блестящую будущность,— при этом Федоров посмотрел на фотографию старика с черно-серебряной бородой, в строгих железных очках — поэта Майкова — с автографом,— но, по совести,

какие мы с вами поэты? Бунин — вот кто настоящий поэт. Вы читали Бунина?

— Нет.

— Вы не знаете стихов Бунина? — ужаснулся Федоров. — И ничего о нем не слышали?

— Смутно, — соврал я. — В каком-то журнале. Длинно и скучно. Даже, кажется, без рифм. Впрочем, кажется, это был не Бунин.

Федоров с молчаливым укором посмотрел на меня, подошел к громадному, во всю стену, книжному шкафу, вытянул с полки книгу и стал ее перелистывать.

Мелькнула дарственная надпись с большой — прописной клинописной буквой «Б».

— «Все море — как жемчужное зеркало, — читал Федоров, держа в руках открытую книгу, но не глядя в нее; читал своим красивым, несколько актерским тенорком, дрожащим от неподдельного восхищения. — Сирень с отливом млечно-золотым. И как тепло перед закатом стало, и как душист над саклей тонкий дым! Вон чайка села в бухточке скалистой... — Тут Федоров, повернув свою небольшую скульптурную голову, посмотрел в окно, в черноморскую даль, слегка прищурившись, с таким вниманием, словно и впрямь видел Кавказское побережье с саклей, эту самую скалистую бухточку и чайку, сидевшую в ней. — Вон чайка села в бухточке скалистой, — как поплавок. Взлетает иногда, и видно, как струею серебристой сбегает с лапок розовых вода».

Я был поражен. Передо мной вдруг открылась совсем простая тайна поэзии, которая до сих пор так упорно ускользала от меня, приводя в отчаяние.

Я уже давно — хотя и смутно — понимал, что уметь составлять стихи еще не значит быть поэтом. Легкость версификации уже перестала обманывать меня. Внешний вид стихотворений, так отличавшийся от прозы, со своими отдельными четверостишиями, особым щегольством типографской верстки, с тремя звездочками, многоточиями и другими общеизвестными ухищрениями хотя и продолжал оказывать на меня гипнотическое действие,

но временами уже начинал раздражать. У меня даже зародилась глупейшая мысль, что можно в маленькую ученическую тетрадку «для слов» записать попарно все существующие рифмы, затем вызубрить, как таблицу умножения, все существующие стихотворные размеры — ямбы, хорей, амфибрахий,— что, в общем, не составляло большого труда,— и дело в шляпе! Что же касается самого содержания, то оно общеизвестно и вполне доступно: мечты, грезы, печаль, тоска, любовь, сад, луна, река, свиданье, страсть, цветы, осень, весна, зима, реже лето, поцелуй, ночь, утро, вечер, реже полдень, измена, горькая судьбина... Мало ли чего! Разумеется, в большом количестве море, волны, заливы, бури, чайки,— но все это *вообще*. Даже очень может быть бухта. Но бухта вообще. Не подлинная, а книжная. Не вызывающая никаких особенно ясных представлений.

Но тут была, во-первых, не бухта, а бухточка и, во-вторых, не вообще бухточка, а скалистая, то есть такая, какую я много раз видел где-нибудь в Аркадии или на Малом Фонтане и любовался ею, никак не предполагая, что именно она и есть предмет поэзии. Чайка была тоже не абстрактная чайка книжных виньеток и концовок, а вполне реальная черноморская чайка — подруга большешфонтанского маяка,— в данном случае севшая в скалистой бухточке, как поплавок,— сравнение, буквально сразившее меня своей простотой и почти научной точностью: уж я ли не знал, как плавает в морской воде двухцветный, наполовину красный и наполовину синий, пробковый поплавок — такой легкий, устойчиво покачивающийся на прибрежной волне, с торчащим кончиком гусиного пера.

Бунин открыл мне глаза на физическое явление поплавок, имеющего — по-видимому! — такой же удельный вес, как и чайка со своими полыми костями и плотным, но чрезвычайно легким, просаленным, непромокаемым опереньем, как бы пропитанным воздухом.

Вода, серебристой струей сбегая с розовых, тоже непромокаемых лапок, была так достоверна,— теперь бы я сказал: стереоскопична,— словно я издали смотрел на

нее в хороший морской бинокль, увеличивающий раз в пятнадцать.

Я увидел чудо подлинной поэзии: передо мной открылся новый мир. В тот же вечер я попросил папу купить мне книгу стихотворений Бунина. Отец посмотрел на меня сквозь пенсне глазами, на которые — по-моему — вернулись слезы умиления: наконец его оболтус взялся за ум. Он просит купить ему не коньки, не футбольный мяч, не духовой пистолет, не теннисную ракетку, а книгу. И не «Шерлока Холмса» Конан Дойла, не «Тайну желтой комнаты» Гастона Леру, а прекрасную книгу русского поэта. Быть может, это был единственный подлинно счастливый день в его жизни. Отцы это поймут. А дети тоже поймут. Но не теперь, а со временем.

На другой день, вернувшись домой с уроков, отец вручил мне в передней завернутый в прекрасную, тонкую, плотную оберточную бумагу, от которой пахло газовым освещением писчебумажного магазина «Образование», пахло глобусами, географическими картами, литографиями, — толстенький сборник стихотворений Ив. Бунина издательства «Знание» 1906 года в скучно-зеленоватой шагреновой бумажной обложке, в которой чувствовалось что-то неуловимо социал-демократическое.

Теперь же я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перелистывала страницы моей общей тетрадки. На потертых углах этих страниц, выкрашенных по ребру красной краской, был нарисован во множестве один и тот же условный человечек в разных позах, так что стоило нажать большим пальцем угол тетради и быстро пустить веером уголки страниц, как в их мелькании возникала движущаяся картинка размахивающего руками человека — нечто вроде теперешней мультипликации: нарисованный человечек в течение нескольких секунд — в зависимости от толщины тетради — поднимал руки и дрыгал ногами.

На углах самого толстого из всех гимназических учебников — «Природоведения» — некоторые терпеливые гимназисты умудрялись даже изображать бокс или смертельный прыжок с шеста в воду легендарного циркового артиста Дацарила.

Не обращая внимания на человечка, Бунин перелистывал мою тетрадь — всю изрезанную по клеенке черного переплета якорями, сердцами и стрелами. Он останавливался на некоторых стихотворениях, несколько раз про себя перечитывая их, иногда делал короткие замечания по поводу какой-нибудь неточности или неграмотности, но все это — коротко, необходимо, деловито. Когда он не разбирал моего почерка, то надевал пенсне и спрашивал:

— Какое это слово?

И никак нельзя было понять, нравятся ему стихи или не нравятся.

Через много лет после этого я слышал, как Станиславский сказал на репетиции «Растратчиков» одному актеру: — Можете играть хорошо. Можете играть плохо. Играйте, как вам угодно. Меня это не интересует. Мне важно, чтобы вы играли *верно*.

Думаю, тогда Бунин искал в моих стихах — где верно. Остальное ему было безразлично.

Дойдя до одного стихотворения, где я описывал осень на даче (ну, уж, разумеется, на даче А. М. Федорова), Бунин не торопясь прочитал его вполголоса и остановился на последней строфе, где мною в поэтической форме была выражена та мысль, что поэт, он же и живописец (дело в том, что Федоров занимался также и живописью), написав натюрморт — глиняный кувшин с астрами, как бы спас эти последние цветы от смерти, дал им на своем полотне вечную жизнь — или что-нибудь в этом роде.

«А в кувшине осенние цветы, их спас поэт от раннего ненастья, и вот они — остатки красоты — живут в мечтах утраченного счастья».

Бунин поморщился, как от зубной боли.

— Вы, собственно, что здесь имели в виду? — спросил он. — По всей вероятности, мастерскую Александра Митрофановича на втором этаже, где он пишет свои натюрморты? Не так ли? В таком случае лучше было бы написать так.

Бунин перечеркнул последнюю строфу карандашом, а на полях написал: «А на столе осенние цветы. Их спас поэт в саду от ранней смерти».

Он немного подумал и затем решительно закончил: «Этюдники. Помятые холсты. И чья-то шляпа на мольберте».

Я был поражен точностью, краткостью, вещественностью, с которой Бунин, как бы тремя ударами кисти, среди моих слепых общих строчек вдруг изобразил мастерскую своего друга Федорова, выбрав самые что ни на есть необходимые подробности: этюдники, холсты. Шляпа. Мольберт.

Какой скупой словарь!

С поразительной ясностью я увидел тяжелый, грубо сколоченный, запачканный красками мольберт и на нем небрежно повешенную бархатную шляпу с артистически заломленными полями, по-тирольски — вверх и вниз, — что удивительно верно передавало весь характер Федорова с его изящным дилетантизмом и невинными покушениями на богемистость.

Почему-то мне потом часто представлялось, что именно такую бархатную, оливкового цвета шляпу с полями, загнутыми по-тирольски, непременно носил известный в свое время критик и эстетик Юрий Айхенвальд. А может быть, и Корней Чуковский.

Правда, меня немного смутили «помятые холсты». У художников редко бывают помятые холсты: они или натянуты на подрамник, или стоят в углу, свернутые в толстые трубы. Попробуйте-ка их смять! И до сих пор меня мучают эти помятые холсты, показывающие, что даже у самых лучших поэтов иногда попадаютсся проходные эпитеты, хотя на первый взгляд и точные, но в самой своей глубине неверные, поставленные по принципу — авось проскочит.

У меня не проскочило, потому что я никак не мог увидеть помятые холсты, а видел их свернутые в трубы, тяжелые, промасленные.

Но это между прочим.

Из других стихотворений Бунин вскользь остановился на одном, где я описывал свидание со знакомой гимназисткой на закате осенью на сельском кладбище, что вполне соответствовало действительности и недавно происходило в селе Усатовы хутора под Одессой, где я гостил у товарища.

Я следил за глазами Бунина, скользившими по моим строчкам: «Пришли, задумались, на камень тихо сели. Мечтательно звенел хрустальный хор сверчков. Качались по ветру сухие иммортели среди надгробных плит и каменных крестов» — и так далее. «И грустно стало мне и как-то одиноко. Но лишь на миг. Ведь ты была со мной. А в синеве небес уже стоял высоко двурогий месяц ледяной».

Бунин несколько задержался на этом стихотворении, как бы вместе со мною переживая сидение на холодной ракушниковой плите сельского кладбища при свете ледяного месяца, серебрившего вокруг нас слюдяные цветы иммортелей, а затем на верху страницы поставил моим обгрызенным карандашом птичку, по-видимому, означавшую, что стихи ничего себе, во всяком случае — «верные».

Таких стихотворений, отмеченных птичкой, на всю тетрадку оказалось всего два, и я приуныл, считая, что навсегда провалился в глазах Бунина и хорошего поэта из меня не выйдет, тем более что на прощание он не сказал мне ничего обнадеживающего. Так, обычные замечания равнодушного человека: «Ничего», «Пишите», «Наблюдайте природу», «Поэзия — это ежедневный труд».

Мысль о ежедневном труде Бунин несколько развил.

— Писать стихи надо каждый день, подобно тому как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по несколько часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. А о чем писать? О чем угодно. Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всем, что увидите. Бежит собака с высунутым языком, — сказал он, посмотрев в окно, — опишите собаку. Одно, два четырехстишия. Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево. Море. Скамейку. Найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки, бегущей к морю с полотенцем на плече и плавательными пузырями в руках. Что это за звук? Скрип не скрип. Звон не звон. Шорох не шорох. Что-то другое — галечное, — требующее единственного необходимого, верного слова. Например, опишите полувьющийся

куст этих красных цветов, которые тянутся через балюстраду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы тут с вами делаем. Очень типичное растение для большефонтанской дачи, для июля месяца, для знойного полудня, когда в саду пусто, потому что все ушли купаться, и с берега долетают резкие восклицания и визг купальщиц.

Я был весь, без остатка, поглощен рассматриванием спелого красного цветка, тронутого первыми признаками разложения. Пожелтевшие зубчики преградили путь осы в темно-красную середину агонизирующего цветка, где как бы горел угрюмый огонь войны, грядущей революции, приближение которых было еще вне моего сознания. Другой цветок уже был мертв, и по его мертвой плоти ползали маленькие рыжие муравьи, поднимавшиеся цепочкой по гипсовой балясине балюстрады.

Я снова вижу этих маленьких хрупких муравьев, и они мне кажутся теми же самыми. А может быть, они и есть те же самые — вечные, бессмысленные, такие хрупкие и недолговечные муравьи, инстинктивно ищущие в громадном непознаваемом мире тело разлагающегося цветка. Но как он называется? Теперь-то я знаю. Но тогда я еще не знал.

Я заметил, что человека втрое больше мучает вид предмета, если он не знает его названия. Давать имя окружающим вещам — быть может, это одно и отличает человека от другого существа. Но у меня нет такого запаса слов, чтобы назвать миллионы существ, понятий, вещей, окружающих меня. Это мучит. Но еще большее мучение, вероятно, испытывает вещь, лишенная имени: ее существование неполноценно. Сонмы неназванных предметов терзаются вокруг меня и, в свою очередь, терзают меня самого страшным сознанием того, что я не бог. Не имеющие имен вещи и понятия стоят в стеклянных шкафах вечности, как новенькие, золоченые фигуры еще не воплотившихся будд в темных приделах храма среди каменных, раскаленных дворов под выгоревшим небом Монголии, которое как бы дышит жертвенным дымом со-

жженных степных растений, сонным ароматом желтого мака, шалфея, полыни, тысячелетней черепицы китайских крыш дворца богдо-гэгэна с колокольчиками.

Будды похожи друг на друга и лишены индивидуальности, их позолота свежа, их длинные улыбки не выражают никакой идеи; они ждут своего воплощения, а это может произойти лишь тогда, когда в мире появится какое-нибудь совершенно новое понятие, требующее пластического выражения.

Тогда бритоголовые ламы, похожие на римских сенаторов в красных туниках и канареечно-желтых тогах — но не в сандалиях, а в монгольских сапогах, — вынимают из стенного шкафа одного из безымянных будд, дают ему имя и переносят в храм, где среди дыма тлеющих палочек, возгласов, вертящихся молитвенных барабанов, красивых шоколадных конфет и крепдешиновых ритуальных платков он становится наконец богом.

...Красный буддийский цвет, золотой джаз жертвоприношений.

— Наконец, опишите воробья, — сказал Бунин, — я знаю: вы пришли в отчаяние от того, что все уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем и новых чувств нет, все рифмы давно использованы и затрепаны; размеры можно перечесть по пальцам; так что в конечном итоге сделаться поэтом невозможно. В юности у меня тоже были подобные мысли, доводившие меня до сумасшествия. Но это, милостивый государь, вздор. Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. Будьте в искусстве независимы. Этому можно научиться. И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать.

Но я уже и без того дышал легко, жадно, новыми глазами рассматривая все, что меня окружало.

...Тщательно описав воробья, я стал описывать девочку. Но она была не птица и не цветок. Для ее изображения было мало написать, что ей тринадцать лет, что у нее короткая юбочка, очевидно перешитая из каких-то домашних лохмотьев, дочерна загоревшие худые ноги, до колен покрытые перловой крупой еще не успевшего высохнуть морского песка, голландка с сильно вылинявшим синим воротником, открывавшим острые ключицы, и коротко остриженная иссиня-черная кудрявая — я бы сказал, греческая — головка, которую с первого же взгляда хотелось сравнить с ежевикой.

Проходя мимо гипсовых ваз балюстрады, она посмотрела на меня, и я увидел худое, темно-оливковое лицо с узкими глазами, в которых как бы таинственно блестела лунная ночь.

Она презрительно поджала сизые от купания губы, передернула плечами и скрылась из виду, униженная своей явной бедностью, даже нищетой и вместе с тем злая, независимо гордая, как маленькая голодная царица.

Это уже была не превосходно найденная деталь летнего приморского полудня, повод для словесной живописи, урок поэзии.

Всей душой я вдруг почувствовал в ней не просто девочку, а трагическую героиню какого-то подлинного, а не выдуманного назревающего, будущего романа...

...чудо мгновенного превращения пейзажа в эпос, в трагедию.

Я знал, что мы еще когда-нибудь с ней встретимся.

Несколько дней потом бегал я по знакомым, рассказывая о своем визите к Бунину; почти ни на кого мой рассказ не произвел сколько-нибудь заметного впечатления. Повторяю: мой Бунин был малоизвестен. Только мои товарищи — молодые поэты, к числу которых я уже в то время как бы официально принадлежал, — заинтере-

совались моим рассказом. Правда, большинство из них совсем не признавало Бунина как поэта, что приводило меня в отчаяние и даже какую-то детскую ярость. Но зато все трепетали перед ним как перед почетным академиком и, узнав, что Бунин, известный своей беспощадной строгостью, из пятнадцати моих стихотворений два удостоил поощрительной птички, сначала не хотели этому верить, а потом, уверившись да, кроме того, собственными глазами увидев присочиненную Буниным шляпу на мольберте, прониклись ко мне некоторым интересом, хотя и откровенно пожимали плечами. Они меня тоже не признавали. Вообще в то время никто никого не признавал. Это было признаком хорошего литературного тона.

Как и теперь, впрочем.

Я стал в некотором роде знаменитостью, а мою тетрадку с бунинскими строчками до того захватили пальцами, что я принужден был показывать ее издали, не давая в руки.

У меня кружилась голова от славы. Я упивался начавшейся для меня новой счастливой жизнью, сулившей впереди столько прекрасного! Я без устали сочинял стихи, описывая все, что меня окружало. Я понял, что поэзия была вовсе не то, что считалось поэзией, а чаще всего была именно то, что никак не считалось поэзией. Мне не надо было ее разыскивать, откуда-то выковыривать. Она была тут, рядом, вся на виду, она сразу попадала в руку — стоило лишь внутренне ощутить ее поэзией. И это внутреннее ощущение жизни как поэзии теперь безраздельно владело мною.

Лишь потому, что я вдруг узнал, понял всей душой: вечное присутствие поэзии — в самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой миг могут превратиться в произведение искусства, стоит только внимательно в них всмотреться.

Сколько раз до сих пор я видел обыкновенного уличного шарманщика, но только теперь, взглянув на него глазами Бунина, понял, что и шарманщик поэзия, и его обезьянка поэзия, и дорога от Одессы на Фонтан тоже поэзия. «Ограды дач еще в живом узоре — в тени акаций. Солнце из-за дач глядит в листву. В аллеях блещет море...

День будет долог, светел и горяч. И будет сонно, сонно. Черепицы стеклом светиться будут. Промелькнет велосипед бесшумным махом птицы, да прогремит в немецкой фуре лед».

Оказывается, все это чистейшая поэзия, но, конечно, лишь в том случае, если удастся открыть самую душу вещи или явления: например, душу велосипеда, который «промелькнет бесшумным махом птицы». Этот бесшумный мах, в котором все же присутствовал шорох шин, буквально сводил меня с ума своей дьявольской точностью, а главное, тем, что в нем скрывалось как бы еще одно слово, не написанное, но подразумевающееся, — «спицы» — с их никелевым блеском и маленькими молниями солнечных отражений.

Перечел написанное и нахожу, что хотя в нем все как будто верно, да не совсем. Слишком упрощенно получаюсь я — молодой человек того времени. А ведь именно об этом времени впоследствии Александр Блок написал в предисловии к «Возмездью»:

«Интересно и бесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и — увы! — забыть их нельзя, — они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах».

Книга, которую я сейчас пишу, есть в какой-то мере «история собственного произведения» — точнее, одного из моих произведений, романа «Ангел смерти», который я мечтал написать всю свою жизнь, но так и не написал. И он навсегда остался лишь моей мечтой.

Книга мечты.

Я младший современник Блока, что не могло помешать мне ощущать время так же, как ощущал его Блок.

«...1910 год,— писал Блок,— это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма».

Тем, чем для Блока был 1910 год, тем для нас, молодых провинциалов, были 1913 и 1914 годы, когда наконец и до Одессы дошли эти самые «первые начатки футуризма»: странные книжки, напечатанные на толстой, чуть ли не оберточной бумаге со щепочками, непривычным шрифтом, со странными названиями «Пощечина обществу вкусу», «Дохлая луна», даже «Засахаренная кры...», непонятными стихами и чудовищными фамилиями поэтов-футуристов, как будто нарочно придуманными для того, чтобы дразнить читателей.

Мы прятали эти сборники под партами вместе с крамольным «Сатириконом» и неприличными похождениями какой-то Эльзы Гавронской, в которых все было абсолютно прилично, даже тошнотворно-скучно, но все равно — гимназическое начальство считало, что это порнография.

Среди совершенно непонятных для меня стихов, напечатанных вкривь и вкось, даже, кажется, кое-где вверх ногами, которые воспринимались как дерзкая мистификация или даже какой-то страшный протест: «Дыр, бул, щил — убежур», мне попался на глаза футуристический сборник «Садок судей» — твердая квадратная книжка в обложке из цветных обоев, напечатанная на толстой синей бумаге, почти картоне, где я нашел строчки: «В ушах оглохших пароходов горели серьги якорей».

И вдруг я, воспитанный на классиках, уже слегка прикоснувшийся к волшебному реализму Бунина, прочитав эти футуристические строчки, увидел поразительно яркое изображение порта и услышал так хорошо мне знакомый пароходный гудок столь низкого, басового тона и столь пронзительно свистящей силы, что едва он начинал гудеть, как из брандспойта выпускает струю прозрачно-раскаленного пара, которая лишь через некоторое время превращалась над головой в плотное облако, морозящее теплым дождем на головы и лица пассажиров, которые в ужасе затыкали пальцами уши и разевали рты, для того чтобы спасти свои барабанные перепонки, как в мире во-

царялась тишина. Поэтому парходный гудок всегда ассоциировался с внезапно наступившим на рейде безмолвием, с всеобщей подавляющей глухотой.

Я понял, что оглохшие пароходы были вовсе не футуристическим изыском, а поразительно верным реалистическим изображением, инверсией — по тому времени совершенно новым приемом, поэтическим открытием, заключавшимся в том, что ощущение глухоты переносилось с человека на вещь. Пароходы превращались в живые существа, в железных женщин с серьгами якорей в оглохших ушах.

Что же касается любви и похоти (в последующей редакции), которые они со страшным воем лили из своих якобы медных труб, то это было совершенно гениальное наблюдение поэта, проникшего в самые глубины подсознательного: парходный гудок ревел, и впрямь вызывая нечто похожее на половое чувство, от которого как бы содрогался рейд со всеми своими таможенными катерами, буксирами, баржами, тузиками, флагами, белым маяком, чье отражение рвалось на мелкие клочки, как разорванное письмо в голубом зеркале акватория, как бы разорванными в клочья чайками, предчувствием знойной приморской ночи.

Я даже не запомнил фамилии футуриста, написавшего эти строчки, но картина порта, созданная его могучим воображением, навсегда врезалась в память где-то рядом с поплавком бунинской чайки.

В ожидании нового свидания с Буниным я в сотый раз перебирал подробности того незабвенного дня, когда он делал карандашом пометки в моей тетрадке и советовал побольше читать книг по истории народов, населяющих земной шар. Он говорил, что каждый настоящий поэт должен хорошо знать историю мировой цивилизации. Быт, нравы, природу разных стран, их религии, верования, народные песни, сказания, саги. В то время это меня — увы! — ни в малейшей мере не волновало, хотя я и сделал вид, что восхищен мудрым советом, и с ложным жаром стал записывать названия книг, которые он мне диктовал.

Я бы предпочел прочесть нечто такое, что сразу же и без особых хлопот научило меня писать прекрасные стихи и сделало знаменитым поэтом.

Разочаровал меня также настоятельный совет Бунина не стараться во что бы то ни стало печататься, а немного повременить, не торопиться, так как все придет в свое время.

Тут Бунин с сухой полуулыбкой заметил:

— Впрочем, я не сомневаюсь, что вы меня все равно не послушаетесь, будете рассылать свои стихи во все редакции, лишь бы увидеть их, а главное, имя свое, напечатанными. Я сам все это испытал на себе. И теперь очень жалею, что напечатал много слабого. Поймите, милостивый государь, что мне ничего не стоит дать вам свою визитную карточку, и вас напечатают в любом толстом журнале...

«Боже, неужели даже в «Современном мире»?» — подумал я.

— ...но лучше не надо. Подождите.

О, как мне хотелось рвануться к нему со стоном:

«Пожалуйста, Иван Алексеевич, порекомендуйте мои стихи, дайте, дайте мне вашу визитную карточку. Ну что вам стоит? Вы же сами говорите, что ничего не стоит!»

Но со лживой покорностью я поддакивал ему:

— Понимаю. Да, да. Конечно. Вы совершенно правы. Лучше подождать.

Он посмотрел на меня саркастически:

— А сами небось сегодня же побежите со своими стишками в «Одесский листок». Знаю я вас, молодых поэтов! Не обманете! Сам был таким.

Потом, переменив разговор, очень серьезно, с глубоким убеждением сказал:

— Вам, конечно, хочется как можно скорее узнать от меня все тайны творчества. Не знаю, в состоянии ли я вам в этом помочь. Однако запомните следующее. Во-первых — и это самое главное, — нужно преодолеть в себе отвращение к листу чистой бумаги, которое испытывает почти каждый настоящий писатель, и писать каждый день, регулярно, не дожидаясь вдохновения, настроения и тому подобного, писать — как ходить на службу... или в гимназию.

Теперь я лихорадочно ожидал нового свидания с Буниным, но как раз в это время началась война, он уехал, и лишь спустя четыре года я увидел его вновь, столкнувшись с ним на тех неудобных ступеньках винтовой лестницы, которые вели немного вниз, в контору «Одесского листка», где я, помнится, получал гонорар за напечатанные стихи.

Он стоял передо мной по-прежнему сухой, желчный, столичный, недоступный — мой прежний Ив. Бунин, о котором я все эти годы — даже на артиллерийском наблюдательном пункте — не переставал думать и который как бы стал постоянным контрольным органом моего художественного сознания, и — отступя на шаг — молчаливо рассматривал меня во всех подробностях, будто собирался тут же, не сходя с места, описать.

— Вы меня узнали? — спросил я.

Он ничего не ответил — мне даже показалось, не услышал моего вопроса, — и продолжал рассматривать — я бы даже не побоялся сказать — *читать меня*, делая иногда как бы мысленные пометки на полях.

— Офицер. Георгиевский кавалер. Демобилизован. Вырос, возмужал. — Он покосился на мою правую ногу, которая еще не слишком твердо стояла на ступеньке. — Ранен. Но кость не задета?..

Я, по своему обыкновению, закашлялся от смущения. Он тут же наострил уши, прислушиваясь к моему хриповатому, гораздо более глубокому, чем раньше, жесткому кашлю.

— Газы? — полуспросил он. — Фосген? — И протянул мне свою такую знакомую сухую руку с дружелюбно и откровенно открытой ладонью. — Здравствуйте, Валя, — сказал он, как мне показалось, любуясь мною. — Молодой поэт Валентин Катаев!

— Давно ли вы в Одессе?

Я задал этот вопрос от смущения, так как уже знал о его бегстве из большевистской Москвы в Одессу, где на днях он напечатал несколько новых, еще неизвестных мне стихотворений, из которых одно представляло описание какого-то, по-видимому московского, поэтического вечера и какой-то неизвестной мне поэтессы:

«Большая муфта. Бледная щека».

Затем, сколько помнится, эта поэтесса томно говорила:

«Кузмин, прочтите новый триолет».

И все это маленькое стихотворение заканчивалось короткой строчкой:

«Скучна, беспола и распутна».

Здесь был весь Бунин с его точностью, лаконизмом, желчностью и ненавистью к дилетантскому искусству.

Я заметил, что поэт Кузмин, кажется, никогда не писал триолетов. Бунин сказал, что не имел в виду Михаила Кузмина. Взял первую попавшуюся фамилию. «Если хотите, могу переделать его в кого-нибудь другого».

Из другого же стихотворения запомнились два кусочка. Первый:

«Где ты теперь? Дивуешься ль волнам зеленого Бискайского залива меж белых платьев и панам?»

И последний:

«Скажи поклоны князю и княгине. Целую руку детскую твою за ту любовь, которую отныне ни от кого я не таю».

Впоследствии я уже ни в одном сборнике не встречал этих стихов, но думаю, что если порыться в одесских газетах и журналах того времени, то эти стихи найдутся¹.

Это был какой-то новый для меня, пугающий Бунин, почти эмигрант или, пожалуй, уже вполне эмигрант, полностью и во всей глубине ощутивший крушение, гибель прежней России, распад всех связей: лишь человек, понявший до конца, что жизнь кончена, мог написать, публично и печатно объявить о своей тайной, нежной, может быть даже преступной, любви, которую «отныне ни от кого я не таю».

Почему отныне? Почему не таю?

Да потому, что отныне уже ничего не будет. Все кончено. Он остался в России, охваченной страшной для него, беспощадной революцией. Она — княжна — уже где-то далеко, во Франции, на берегу «зеленого Бискайского залива меж белых платьев и панам».

¹ Стихотворение напечатано в Собрании сочинений И. А. Бунина в 9-ти томах (т. 8. М., 1967, с. 29). (Примеч. ред.)

И потом вместо «передай» — это изысканное, великосветское: «скажи».

«Скажи поклоны князю и княгине».

В этих стихах я ощутил тогда нечто трагическое. Отчаяние. Ужас. Покорность. Такие стихи могли быть написаны в ночь перед казнью.

Мы спустились по Ланжероновской мимо городского театра, мимо газона с гербом города Одессы, составленного из высаженных здесь цветов, миновали античный портик Исторического музея, городскую думу, знаменитую чугунную пушку на ступенчатом деревянном лафете. Затем не торопясь пошли по Николаевскому бульвару от памятника Пушкину по направлению памятника дюку де Ришелье с чугунной бомбой в цоколе и рукой, протянутой в морскую даль, в «свободную стихию».

Дворец возле Лондонской гостиницы был занят немецким штабом, на подъезде стояли парные часовые в глубоких серо-стальных касках, высоко поперек бульвара висело резко-желтое — я бы сказал, осино-желтого цвета — полотнище с резко-черной готической немецкой надписью, и Бунин, приостановившись, прочел своими дальноточными глазами орла: «Автомобилен лангзам ф̈арен!», что значило приказание: «Автомобилям ехать медленно!»

Два или три австрийских офицера с саблями в никелированных ножнах стояли возле штаба, читая выставленные в рамках под сетками пространственные машинописные оперативные сводки за подписью фельдмаршала Людендорфа, размноженные на ротаторе.

Было странно мне, русскому офицеру, георгиевскому кавалеру, идти по русскому городу, занятому неприятельской армией, рядом с русским академиком, знаменитым писателем, который добровольно бежал сюда из Советской России, поддавшись общей панике и спасаясь неизвестно от чего на оккупированном юге, в какой-то выдуманной немцами украинской державе, которой правил никому не известный до сих пор гетман Скоропадский — личность почти опереточная, — генерал или, может быть, даже полковник бывшей царской армии.

— Когда же мы с вами виделись в последний раз? — спросил Бунин.

— В июле четырнадцатого.

— Июль четырнадцатого, — задумчиво сказал он. — Четыре года. Война. Революция. Целая вечность.

— Тогда я к вам приехал на дачу, но вас уже не застал.

— Да, я уехал в Москву на другой день после объявления войны. С большим трудом выбрался. Все было забито воинскими эшелонами. Опасался Румынии, турецкого флота...

Мы помолчали.

Я увидел знойный июльский день. Сухой, сильный степной ветер нес через Куликово поле тучи черной пыли, клочья прессованного сена, задираал хвосты лошадям, согнанным сюда из окрестных хуторов по конской мобилизации, небо со зловещим, металлическим оттенком и кровавый закат над городом, навсегда для меня связанный со стихами:

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия!» И на площадь, мрачно очерченную чернью, багровой крови пролилась струя!»

И с другими, еще более страшными:

«Мама и убитый немцами вечер».

«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Их бесстрашно написал в дни патриотического угара все тот же молодой футурист, автор так восхитившего меня некогда стихотворения «Порт». Но теперь я уже знал его имя: Владимир Маяковский...

«Звонок. Что вы, мама? Белая, белая, как на гробе глазет». «Оставьте! О нем это, об убитом, телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Эти строчки пронес я в душе своей через всю войну. Но разве мог об этом знать Бунин? При нем я боялся даже произнести кощунственную фамилию: Маяковский. Так же, впрочем, как впоследствии я никогда не мог в присутствии Маяковского сказать слово: Бунин. Они оба взаимно исключали друг друга.

Однако они оба стоят рядом в моей памяти, и ничего с этим не поделаешь.

Бунин быстро шел, выставив вперед бородку, и, вертя жилистой шеей, зорко осматривался по сторонам, как бы желая крепко-накрепко запомнить, а затем точнейшим образом где-нибудь описать все, что было вокруг: пятисто-фисташковые стволы столетних платанов, замерший порт внизу под бульваром, длинный штабной немецкий автомобиль «бенц» серо-стального цвета, поворачивающий по асфальту за угол мимо постового — обыкновенного русского солдата с круглой чиновничьей кокардочкой на фуражке, украшенной каким-то странным трезубцем, что должно было обозначать принадлежность солдата к так называемой «державной варте» гетмана Скоропадского.

Полосатые тенты хорошо знакомых фруктовых магазинчиков на Екатерининской площади, где лубяные корзиночки с первой клубникой — крупной и сухой — и почти черной или бледно-розовой черешней, в зеркальных ягодах которой отражалось уже почти летнее солнце.

В решительно сжатых челюстях и напряженно собранном лице своего учителя я угадывал хорошо скрытое смущение, даже растерянность. Я узнал, что он приехал с женой, остановился в городе у художника Буковецкого, но на днях переезжает на дачу, куда и пригласил меня навестись.

Так началось мое двухлетнее общение с Буниным до того дня, когда он наконец окончательно и навсегда покинул родину.

Опять дача за 16-й станцией. Но на этот раз не дача Ковалевского, где я впервые увидел его. А другая. Не доезжая до Ковалевской, по правую руку от трамвайной линии. Более степная, чем приморская. Но такая же типичная большефонтанская дача — ракушниковый дом под черепицей — с ночной красавицей на клумбе, с розами, персидской сиренью и туями, сухими, пыльными, почти черными, с голубенькими скипидарно-мясистыми шишечками на слонсто-кружевных ветках, в глубине которых всегда мутно белела паутина, с открытой верандой, так густо заросшей диким виноградом, что когда вы после сияния знойного степного дня входите по горячим каменным ступеням на эту террасу, то вас сперва ослепляет темнота, а

потом в золотистом сумраке вырисовывается обеденный стол, покрытый цветной клеенкой с телесно-розовыми разводами пролитого какао, по которым ползают осы.

Примерно на такой же веранде я впервые увидел жену Бунина — Веру Николаевну Муромцеву, молодую красивую женщину — не даму, а именно женщину, — высокую, с лицом камеи, гладко причесанную блондинку с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже, вернее, голубоокою, одетую, как курсистка, московскую неяркую красавицу из той интеллигентной профессорской среды, которая казалась мне всегда еще более недосыгаемой, чем, например, толстый журнал в кирпичной обложке со славянской вязью названия — «Вестник Европы», выходявший под редакцией профессора с многозначительной, как бы чрезвычайно научной фамилией Овсяннико-Куликовский.

Отвлеченно я понимал, что Вера Николаевна красива, но она была не в моем вкусе: крупные ноги в туфлях на пуговицах, длинноватый нос античной богини — Деметры, например, — добродетельна, а главное, жена Бунина, кажется, даже не венчанная, а на московский либеральный лад — гражданская, о чем в своей автобиографической заметке Бунин, уже, кажется, женатый раньше, писал, что с такого-то года «жизнь со мной делит В. Н. Муромцева». Она была родной племянницей председателя I Государственной думы, крупнейшего буржуазного политического деятеля кадетской Москвы Муромцева, вдохновителя и организатора знаменитого «Выборгского воззвания».

Теперь они — Бунин и Вера Николаевна, — бежав от большевиков, как тогда выражались — «из Совдепии», сидели на даче вместе с другими московскими беженцами, дожидаясь того времени, когда Советская власть наконец лопнет и можно будет вернуться восвояси.

Я стал у них настолько частым гостем, что Бунин, не стесняясь меня, бывало, ссорился с Верой Николаевной на московский лад.

— Вера, ты суцая дура! — раздраженно кричал Бунин.

А она, глядя на своего повелителя покорно влюбленными голубыми глазами ангела, говорила со стоном:

— Иванн, умоляю, не будь таким нестерпимо гру-

бым.— Она сплетала и расплетала длинные голубоватые пальцы.— Не безумствуй! Что подумает о нас молодой поэт? Ему может показаться, что ты меня не уважаешь.

Помню, меня чрезвычайно удивило это манерное «Иоани» применительно к Бунину. Но скоро я понял, что это вполне в духе Москвы того времени, где было весьма в моде увлечение русской стариной. Называть своего мужа вместо Иван Иоани вполне соответствовало московскому стилю и, может быть, отчасти намекало на Иоанна Грозного с его сухим, желчным лицом, бородкой, семью женами и по-царски прищуренными, соколиными глазами.

Во всяком случае, было очевидно, что Вера Николаевна испытывала перед своим повелителем — в общем-то, совсем не похожим на Ивана Грозного — влюбленный трепет, может быть даже преклонение верноподданной.

До этой древнерусской моды она, кажется, называла Бунина на польский манер: Ян.

Я приносил Учителю все новые и новые стихи и рассказы.

— Обрати внимание, Вера,— говорил Бунин, держа в руке мои сочинения и кивая на меня головой,— как и все начинающие, он воображает, что литература принесет ему славу, деньги, роскошную жизнь. Признайтесь, милостивдарь,— обращался он уже прямо ко мне,— что вы мечтаете о своих портретах в журналах и газетах, похвальных отзывах в прессе, подумываете о собственной даче в Финляндии, о текущем счете в «Лионском кредите», о красавице жене, об автомобиле! Обрати внимание, Вера, как он покраснел. Сейчас будет врать, что ничего этого не желает, а желает только одного — чистого искусства. Так вот что я вам скажу, милостивый государь: не воображайте, что все знаменитые писатели непременно богаты. Прежде чем добиться более или менее обеспеченного — весьма скромного! — существования, почти все они испытывают ужасающую бедность, почти нищенствуют. Не верите? Так вот: скажите мне, как вы себе представляете, например, Куприна? Знаменитый писатель, не так ли? Всюду издается, имеет громадное имя, кумир читающей публики. Согласны?

— О, конечно.

— Так вот-с, позвольте вам сказать, что у этого знаме-

ни того писателя Куприна случались в жизни месяцы, когда в кармане не было трех копеек. И не в переносном смысле, а в самом буквальном: трех медных копеек.

Бунин так выразительно произнес эти слова, что я как бы воочию увидел на его протянутой ко мне ладони медную монету с почерневшим орлом — царские три копейки, которые тогда уже исчезли из обращения, как, впрочем, и вся царская разменная монета, замененная почтовыми марками — синими десятикопеечными и зелеными двадцатикопеечными и странными бумажными желтыми полтинниками, выпущенными одесской городской управой с гербом города — в виде геральдического щита с черным якорем; так что в портмоне вместо мелочи носили все эти потертые бумажки.

Бунин уносил мои рукописи к себе в комнату, а затем через некоторое время возвращался с ними обратно на террасу, говоря:

— Ну что ж. Продолжайте. Кое-что есть, но надо работать и работать.

Или что-нибудь подобное.

Дома я внимательно изучал следы, оставленные его карандашом или ногтем: легкие подчеркивания, нотабене, галочки, птички, восклицательные знаки, — и ломал себе голову над их значением.

«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»

С нетерпением, доводящим меня почти до подлинного безумия, ждал я следующего свидания.

Утром нельзя было являться, так как он работал. Я приезжал из города после обеда, перед вечером. А иногда, если у меня не было марок на трамвай, то приходил пешком, отмахав по пыльной Большефонтанской дороге верст пятнадцать вдоль дач, маяков, станций, время от времени останавливаясь и любуясь открытым морем с белоснежными барашками волн, откуда дул такой чистый и такой широкий ветер!

А солнце садилось в степи, и тени моих шагающих ног в сапогах и галифе — длинные, как будто бы я шел на ходулях, — достигали обрыва с бахромой полыни на краю и там ломались, так что тень моего туловища с головой в

измятой фронтальной фуражке как бы проваливалась в пропасть и летала в ней, подобно астральному телу, лишь иногда материализуясь в виде маленького отчетливого силуэта, скользящего по прибрежной гальке или же по мутно-зеленой волне, свернутой как тугоплавкая стеклянная труба, вдруг разлетающаяся вдребезги среди скал.

С упорством маньяка я думал о Бунине, о его новых стихах и прозе, привезенных из Советской России, из таинственной революционной Москвы.

Это был какой-то другой, еще неизвестный мне Бупин, новый, совсем не тот, которого я знал вдоль и поперек по его собранию сочинений, вышедшему приложением к «Ниве» во время войны, в желтых обложках с красивой виньеткой, составленной из множества опадающих листьев.

Он все еще — видимо — воспринимался как певец осеннего увядания, автор «Листопада», которым я не устал восхищаться.

«Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселой, пестрою стеной стоит над светлою поляной...»

Эта совсем небольшая описательная поэма, подобно тому как «Евгений Онегин» считался энциклопедией русской жизни, казалась мне энциклопедией осенних картин всей русской поэзии от Державина до Фета и Полонского.

Быть может, здесь и не было ничего нового, но «Листопад» как бы блестяще, исчерпывающе завершал целую поэтическую эпоху. Каждый его стих вызывал ряд дорогих для всякого русского человека ассоциаций.

«...И Осень тихую вдовой вступает в пестрый терем свой...», «...и месяц медленно встает. Все тени сделал он короче, прозрачный дым навел на лес и вот уж смотрит прямо в очи с туманной высоты небес».

В этом месте мне всегда приходило на память пушкинское: «Как привидение, за рощею сосновой луна туманная взошла».

Строки «Трубят рога в полях далеких, звенит их медный перелив» — вызывали в воображении «Графа Нулина».

И все же это было оригинальное, чисто бунинское:

«...И в горностаевом пугае, умывши бледное лицо, последний день в лесу встречая, выходит Осень на крыльцо».

Затем — великолепное завершение:

«...И будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталем и серебром. А в ночь, меж белых их разводов, взойдут огни небесных сводов, заблещет звездный щит Стожар — в тот час, когда среди молчанья морозный светится пожар, Расцвет полярного сиянья!»

Было нечто многозначительное в том, что слово «Осень» писалось с большой буквы, как имя собственное. Тогда это мне чрезвычайно нравилось. Теперь же представляется манерным. Но все равно — стихи были прекрасны.

В первых своих книгах Бунин еще находился в плену традиционно-народнических представлений о своей родине как о стране нищей, смиренной, убогой.

«Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, тысячелетней, рабской нищеты. Но этот крест, но этот ковшик белый... Смиренные, родимые черты!»

Его еще тогда умиляла нищая Россия, как умиляла она и другого поэта, его современника:

«Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!»

Теперь же, в последней книжке Бунина, изданной в России, в десятом томе собрания его сочинений еще неизвестного у нас петроградского издательства «Парус», 1918 год, я прочел стихотворение «Архистратиг», где Русь представлялась Бунину уже совсем, совсем другой.

«Архистратиг средневековый, написанный века тому назад на церковке одноглавой, был тонконог, весь в стали и крылат... Кто знал его? Но вот совсем недавно открыт и он, по прихоти тщеславной столичных мод, — в журнале дорогом изображен на диво, и о нем теперь толкуют мистики, эстеты, богоискатели, девицы и поэты. Их сытые, болтливые уста пророчат Руси быть архистратигом, кощунствуют о рубище Христа и умиляются — по книгам, — как Русь смиренна и проста».

Эти стихи Бунин написал, кажется, в шестнадцатом году, пророчески ощущая приближение страшной для него революции, с которой не мог примириться до самой своей смерти.

Потом, уже в эмиграции, в конце жизни, Бунин вычеркнул мистиков, богоискателей, поэтов, эстетов; вычеркнул «их сытые, болтливые уста». Но я не признаю этой самоцензуры. Что написано — написано. Слово не воробей.

Так некогда передо мной открылся новый Бунин, как бы выходец из потустороннего древнерусского мира — жестокого, фантастического, ни на что не похожего и вместе с тем глубоко родного, национального, — мира наших пращуров, создававших Русь по своему образу и подобию, со всем ее чудовищным смешением языческого и христианского, древнеславянского и угро-финского, варяжского, византийского, татарского — жестокого, кровавого, гениально-самобытного! — царство, несколько не похожее на ту «древнюю Русь», которую мы привыкли себе представлять, читая в младших классах школы жалкий, топенький учебник русской истории.

Достаточно перечислить одни лишь названия бунинских стихотворений того времени: «Орда», «Шестикрылый», «Скоморохи», «Казнь», «Чернец», «Матвей Прозорливый», — чтобы понять, что делалось тогда в душе Бунина.

«Алел ты в зареве Батыя — и потемнел твой жуткий взор. Ты крылья рыже-золотые в священном трепете простиер. Узрел ты Грозного-юрода мопашеский истертый шлык — и навсегда в изгибах свода застыл твой большеглазый лик».

До сих пор меня тягостно волнуют косноязычные строчки Бунина того периода:

«Бысть некая зима всех зим иных лютейше паче»... «Все лицо его тугое смехом сморщилось, корешки зубов из рота зачернелися»... «Туманно утро красное, туманно... Точите нож, мочите солью кнут!.. Давай, мужик, лицо умыть, сапог обуть, кафтан надеть, веди меня, вали под нож в единый мах — не то держись: зубами всех заем, не оторвут!»... «Князь Всеслав в железы был закован»... «И тьма и хлад в моей пещере... Одежды ветхи... Сплю в гробу... О боже! Дай опору вере и укрепи мя па борьбу!»

Если стихи поэта есть некоторое подобие его души — а это, несомненно, так, в том случае, конечно, что поэт *подлинный*, — то душа моего Бунина, того Бунина, к которо-

му я шагал вдоль большефонтанского берега, корчилась в адском пламени, и если Бунин не стонал, то лишь потому, что все-таки еще надеялся на близкий конец революции.

Между тем жизнь шла своим чередом, и временами даже начинало казаться, что ничего особенного не произошло: просто люди по примеру прошлых годов приехали на юг провести лето на Одесском побережье — не беженцы, не эмигранты, а обыкновенные дачники со всеми своими синими эмалированными кастрюльками, керосинками «грэц», купальными чепчиками, велосипедами, сандалиями «скороход», крокетом... Быть может, их, этих дачников, было гораздо больше, чем обычно, но и это не вызывало особой тревоги: просто удачное лето, хорошая погода и, как писалось в «Одесском листке», «большой наплыв дачников, курортный сезон в разгаре», так что одну дачу занимали две или даже три приезжие семьи.

Бунины, например, делили дачу с одной богатой толстой дамой, писательницей, только что впервые напечатавшейся в «Вестнике Европы», что по тому времени было равносильно «вхождению в большую литературу». Дама охотно потеснилась со всем своим семейством — маленькой пухленькой дочкой и ничем не замечательным, но вполне корректным состоятельным чиновником-мужем — и уступила две комнаты с верандой Бунину, слава которого за последние годы заметно выросла. Теперь он был не только поэтом одиночества, певцом русской деревни и оскудения дворянства, но также автором поразительных по силе и новизне рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Легкое дыхание», которые сразу же сделали его едва ли не первым русским прозаиком.

Даже мои друзья — молодые и не очень молодые одесские поэты — в один прекрасный день, как по команде, признали его непререкаемым авторитетом: «Нива» дала своим приложением сочинения Бунина, что сразу же сделало его классиком.

Бунин имел вид дачника, но не банального дачника-провинциала в соломенной шляпе, рубашке «апаш» и парусиновых туфлях, Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках, в просторной, хорошо выглаженной холщовой рубаше с отложным воротником, со сложенным вдвое стальным пенсне в маленьком наружном карманчике, подпоясанный не пошлым шелковым шнуром с потре-

панными кистями, — как, например, у моего папы — а простым, но тоже, видать, очень недешевым кожаным поясом, за который он иногда, несколько по-толстовски, засовывал руки; шляпу не носил, а уж если особенно сильно припекало, то вдруг надевал превосходнейшую настоящую панаму, привезенную из дальних стран, или плотняный картуз из числа тех, которые летом носили Фет, Полонский, а может быть, даже и сам Лев Толстой.

Вижу большое общество на дачной веранде. В сущности, не вижу, а заставляю себя увидеть, как бы шаря впотьмах вокруг таинственного механизма памяти и наугад касаясь грубыми пальцами самых его сокровенных узлов.

Все эти люди — беженцы из Советской России: имениные адвокаты, врачи, литераторы, даже, кажется, сам академик Овсяннико-Куликовский, знаменитый автор «Психологии творчества», статей о Тургеневе, редактор того самого недосягаемого, почтеннейшего «Вестника Европы», где еще совсем недавно был напечатан рассказик толстой дамы, уступившей полдачи Буниным. Теперь она уже как следует, полностью «вошла в русскую литературу» и чувствовала себя в ней прекрасно.

Я, например, еще не вошел, а она уже вошла!

Она была не только толстая. Она была мощная, могучая. Щекастая. С круглыми мускулами по сторонам большого ротика. С твердым яблочком подбородка. Черноволосая, чернобровая, с калеными щеками, властная и в то же время так мило, чисто по-женски млеющая между двумя знаменитыми академиками.

Нет, никогда еще в Одессе не съезжалось такое блестящее общество, правда — беженцы, политические эмигранты, отщепенцы, но все-таки!..

А впрочем, кто знает, кто знает.

Бунин в прекрасном, несколько саркастическом настроении. Он искоса смотрит на могучую даму, как бы прислушиваясь к шелковому треску ее корсета. Можно поду-

мать, что он собирается тут же, не сходя с места, ее описать. Но описать не вообще, а одним штрихом. Сразу видно, что он ищет этот единственный, совершенно точный штрих, и я вместе с тем понимаю, что он втайне дает мне литературный урок.

Затем по его лицу я вижу, что он нашел необходимый штрих и что его находка драгоценна и единственна. Он делает рукой легкий жест, как будто бы издала проводит вокруг лица толстой дамы магический музыкальный овал.

Все замирают, ожидая, что он скажет.

— Так-с,— говорит он, делая указательным пальцем в воображаемом овале две запятушки кончиками вверх, в разные стороны.— Вам, Елена Васильевна, не хватает маленьких черных усиков, и вы — вылитый... Петр Великий.

И вдруг мы все увидели лицо Петра.

Дама багрово краснеет, не зная, как отнестись к этому сравнению; с одной стороны, в ее лице найдено нечто царское, и это хорошо — в особенности принимая во внимание смутное революционное время,— с другой стороны, нечто мужское, и это плохо. Впрочем, главное заключается в том, что ее «описал» знаменитый Бунин в присутствии знаменитого Овсяннико-Куликовского, и это решает все сомнения.

Она по-дамски и в то же время по-царски улыбается Бунину, хотя на всякий случай грозит ему пальчиком:

— Ах, Иван Алексеевич, Иван Алексеевич, зачем вы мне делаете публично такие комплименты!

Мотаю себе на ус, обобщая бунинскую находку: «дамское лицо Петра».

Однажды и я попал в поле его дьявольского зрения. Он вдруг посмотрел на меня, нарисовал указательным пальцем в воздухе на уровне моей головы какие-то замысловатые знаки, затем сказал:

— Вера, обрати внимание: у него совершенно волчьи уши. И вообще, милсдарь,— обратился он ко мне строго,— в вас есть нечто весьма волчье.

...А у самого Бунина тоже были волчьи уши, что я заметил еще раньше!

Грустный золотистый день в конце лета. Мы провели его вдвоем, одни в опустевшей даче: соседи переехали в город, а Вера Николаевна отправилась па трамвае в город на Привоз за продуктами, добывать которые становилось все труднее и труднее.

Накануне я принес Бунину — по его требованию — все мною до сих пор написанное: штук тридцать стихотворений и несколько рассказов, частью рукописных, частью в виде газетных и журнальных вырезок, наклепленных клеем на листы канцелярской бумаги. Получился довольно внушительный сверток.

— Приходите завтра утром, поговорим, — сказал Бунин.

Я пришел и сел на ступеньки, ожидая, когда он выйдет из комнат. Он вышел и сел рядом со мной. Впервые я видел его таким тихим, задумчивым. Он довольно долго молчал, а затем сказал — неторопливо, сосредоточенно — слова, которые я не могу забыть до сих пор, прибавив:

— Я своих слов на ветер не бросаю.

Я не смел верить своим ушам. Мне казалось, что все происходящее со мной — нереально. А он, немного помолчав, наклонил голову и, пристально рассматривая маленькую морскую раковинку среди гравия, вдруг стал говорить какие-то еще неизвестные мне стихи. Я никогда до сих пор не слышал, как он читает свои стихи. Он их произносил, как бы разговаривая с самим собой, бормоча и глубоко вздыхая во время пауз или цезур:

— «Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая. Тогда велит Господь, творящий чудеса, Светилу новому взойти на небеса.— Сияй, сияй, Луна, все выше поднимая свой, Солнцем данный лик. Да будет миру весть, что День мой догорел, но след мой в мире — есть».

И прочел еще другое стихотворение:

— «Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой, лик богоматери меж них сияет, благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня! Душа полна, душа строга — и тонко светятся рога молодой луны в закате дня».

День этот понял я как день моего посвящения в ученики, даже — быть может — подмастерья.

Память не сохранила подробностей нашей беседы. Мо-

жет быть, этой беседы вообще не было. Было долгое молчание. Был грустный золотистый осенний день, штиль в море и в небе — белая, как облачко, дневная неполная луна.

Рядом со мной на ступеньках сидел в полотняной блузе совсем не тот Бунин — неприятно-желчный, сухой, высокомерный — каким его считали окружающие. В этот день передо мной как бы на миг приоткрылась его душа — грустная, очень одинокая, легко ранимая, независимая, бесстрашная и вместе с тем до удивления нежная.

Я был поражен, что этот самый Бунин, счастливчик и баловень судьбы — как мне тогда казалось, — так глубоко не удовлетворен своим положением в литературе, вернее своим положением среди современных ему писателей.

В самом деле: широкому кругу читателей он был мало заметен среди шумной толпы — как он с горечью выразился — «литературного базара». Его затмевали звезды первой величины, чьи имена были на устах у всех: Короленко, Куприн, Горький, Леонид Андреев, Мережковский, Федор Сологуб — и множество других «властителей дум».

Он не был властителем дум.

В поэзии царили Александр Блок, Бальмонт, Брюсов, Зинаида Гиппиус, Гумилев, Ахматова, наконец — хотели этого или не хотели — Игорь Северянин, чье имя знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера, не имевшие в то же время понятия, что существует такой русский писатель: Иван Бунин.

Бунина знали и ценили — до последнего времени — весьма немногие истинные знатоки и любители русской литературы, понимавшие, что он пишет сейчас намного лучше всех современных писателей. Критика — особенно в начале его литературной деятельности — писала о Бунине редко, мало, так как его произведения не давали материала для «проблемных» статей или повода для литературного скандальчика. По этой же причине имя его не упоминалось на афишах публичных лекций и диспутов, где царил низкопробный Арцыбашев со своими половыми проблемами.

Он прямо не говорил мне всего этого, но именно такие мысли сквозили в его отрывистых замечаниях относительно современной литературы, полных яда и сарказма.

Можно было сделать заключение, что из всей современной русской литературы он безоговорочно признает

выше себя только Льва Толстого. Чехова же считает, так сказать, писателем своего уровня, может быть, даже немного выше... но ненамного. А остальные... Что же остальные? Куприн талантлив, даже очень, но зачастую неряшлив. О Леониде Андрееве хорошо сказал Толстой: «Он пугает, а мне не страшно». Горький, Короленко, в сущности, не художники, а публицисты, что несколько не умаляет их большие таланты, но... настоящая поэзия выродилась. Бальмонт, Брюсов, Белый — не более чем московская доморощенная декадентщина, помесь французского с нижегородским, «о, закрой свои бледные ноги», «хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать», «хохотал грубым басом, в небеса запуская ананасом...» и прочий вздор; Ахматова — провинциальная барышня, попавшая в столицу; Александр Блок — выдуманная, книжная немецкая поэзия; об лакейских «поэзах» Игоря Северянина — придумали же такое омерзительное слово! — и говорить нечего; а футуристы — просто уголовные типы, беглые каторжники...

В общем, Бунин повторял только немного другими словами примерно то же самое, что он за несколько лет до того сказал в речи на юбилее «Русских ведомостей»:

«...Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких только стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись? Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и приятие мира, и неприятие мира, и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь!»

Примерно эти и подобные им мысли высказывал Бунин, беседуя со мной на ступенях веранды.

Был он при этом как-то необычно тих, задумчив, углубленно-строг и в то же время горестно-нежен, как человек, одиноко переживающий какую-то непоправимую душевную утрату.

...Так себя чувствует человек, потерявший много крови...

Я думаю, это было чувство утраты родины.

Наступило время обеда, Вера Николаевна все еще не возвратилась. Тогда Бунин, заговорщицки поманив меня пальцем, пошел на цыпочках, воровской походкой через всю дачу в кухню, откуда — пошаркав там какой-то металлической посудой — вскоре вернулся с холодными голубцами на сковородке, кастрюлей с компотом и большой краюхой ситного хлеба под мышкой. Все это он расставил на обеденном столе и молвил повелительно:

— Садитесь.

Я еще никогда не ел у Буниных. Они не отличались хлебосольством, были скуповаты. По-моему, они даже не держали кухарку, а столовались у соседей, куда иногда за компанию затаскивали и меня пить чай или ужинать в большой компании московских беженцев, где я познакомился с некоторыми известными людьми. Тут Бунин, не стесняясь, наваливал мне на тарелку всякой еды и приговаривал:

— Вы не стесняйтесь. Я знаю — у вас волчий аппетит. Ешьте. Питайтесь. Ваш молодой организм требует много пищи. Поэзия и молоденькие барышни ежедневно истощают вас. Не отрицайте. Я сам был молод, знаю!

Если же за столом было вино, купленное в складчину, то Бунин забирал в полное свое распоряжение одну бутылку красного удельного, а остальное — как хотят. Меня же, как самого младшего, он назначал председателем стола и виночерпием, так что я, прежде чем, например, подружиться с Алексеем Толстым, налил ему не один стакан вина.

Но вернемся к голубцам.

Их было на сковородке четыре штуки — золотистых, немного пригоревших, застывших в сале, — и Бунин, надев пенсне, разделил их поровну: два побольше, покосившись на меня, положил на тарелку себе, а два поменьше оставил мне.

— Ешьте, не стесняйтесь. Я знаю, вы постоянно испытываете дьявольский аппетит, особенно в гостях.

— Что скажет Вера Николаевна! — воскликнул я.

— А пусть не опаздывает. Впрочем, мы с вами сейчас расправимся со всем этим на скорую холостяцкую руку, затем отнесем посуду на кухню — и концы в воду.

В то время я действительно непрерывно испытывал дьявольский голод и, навалившись на аппетитные капустные голубцы, в один миг, грубо, по-солдатски расправился с ними, заметив про себя, что и моего учителя тоже никак нельзя упрекнуть в отсутствии аппетита: когда он ел, его бородачка плотоядно двигалась и по сухой шее проходили легкие судороги наслаждения, как бы сопровождая каждый кусок холодных голубцов к месту назначения.

Когда же дело дошло до компота, он сказал, облизывая усы:

— Не будем пачкать глубоких тарелок. Рекомендую прямо так...

Мы быстро съели компот прямо из кастрюли, причем педантичный Бунин предварительно разделил ложкой — строго поровну — густое, разбухшее варено из самых разнообразных фруктов — абрикосов, слив, вишен, зеленых яблок, ранних груш и прочего, строгим голосом потребовав от меня, чтобы я не заезжал за демаркационную линию, хотя она имела скорее символическое значение.

Мы дружно, в две ложки, навалились на компот, стараясь перегнать друг друга, а потом еще долго макали кусочки ситника в густую жижу и вылизывали божественно кисло-сладкие остатки, где попадались скользкие сливовые шкурки.

Не знаю почему, но именно этот компот как-то нас особенно сблизил, мы взяли с собой в сад оставшиеся абрикосовые косточки и, сидя все на тех же ступенях, разбивали их кирпичом, и, как дети, ели нежные белые зерна, покрытые жесткой кожурой...

Я засиделся до позднего вечера, даже, собственно говоря, до ночи, пропустив последний трамвай; Бунин пошел меня немного проводить, и мы еще долго ходили туда

и назад вдоль Большефонтанского шоссе по трамвайным рельсам, мимо дачи, садились на скамейку у калитки, и он вдруг начинал меня экзаменовать:

— Перед нами ночь. Как вы опишете ее в нескольких словах, но так чтобы она была именно *эта*, не какая-нибудь другая ночь? Видите, как много вокруг нас всего,— он сделал кругообразное движение своей сухой породистой головой,— а надобно выбрать только самое необходимое, как говорят: типичное. Ну?

Вокруг нас было действительно «много всего».

Редкие звезды, ослабленные желтоватым светом луны. Теплый степной ветерок. Силуэты акаций. Ограды дач. Звуки перепелов. Тишина. Далекий лай собак. Время от времени крик ослика. Серебристо-пыльная полынь, ее неповторимый ночной запах. Блеск трамвайных рельсов, как бы скользящий вдаль и там поворачивающий и гаснущий среди угольной темноты. Шорох кошки, а может быть, и ежика в пыльных кустах шиповника. Погашенный маяк.

Да мало ли чего еще!

Мы сели на скамеечку, и, пока я с мучительным напряжением отбирал самые что ни на есть необходимые подробности, Бунин вдруг глухо забормотал какие-то стихи. Это был Фет:

— «...то блеск замороженной дали, то запах фиалки ночной...»

Он глубоко, горестно-покорно вздохнул, как бы прислушиваясь и желая понять смысл этих стихов, и снова забормотал:

— «...то мельница, то соловей».

Он повернул ко мне свое узкое внизу лицо, поднял его к небу, и я увидел написанное на нем восхищение.

— «То мельница, то соловей»,— повторил он.— Вы понимаете, как это прекрасно? Лучше уже не скажешь! Он сидит ночью один, весь во власти охватившей его душу любви — единственной, неповторимой любви... сидит, окруженный запахами, звуками, какими-то неопределенными зрительными образами,— и его внимание не в силах сосредоточиться на чем-нибудь одном: то его полностью поглощает блеск замороженной дали; то вдруг он ничего не ощущает вокруг, кроме запаха ночной фиалки; то он слы-

шит мельницу, заглушающую соловья; то — соловья, заглушающего мельницу; и все это — одна всепоглощающая любовь. «Мой ангел, мой ангел далекий, зачем я так сильно люблю», — глухо, почти с отчаянием проговорил Бунин заключительную строчку.

Кто вернет мне эту ночь!

— Ну, так как же вы, милстивсдарь, опишете все это? — бодрым голосом сказал Бунин.

— Я бы описал так, — ответил я, — черный силуэт трамвайного столба с перекладиной в виде коромысла наверху и рядом яркая луна. Все.

— Молодец, — сказал Бунин, — именно так и надо, — и снова глухо забормотал стихи одно за другим, не делая между ними пауз и не оттеняя строф, из цикла «К Офелии» того же Фета: — «Офелия гибла и пела, и пела, сплетая венки; с цветами, венками и песнью на дно опускалась реки... Ах, много по жизни мелькнуло, — с глубоким вздохом прошептал Бунин, — дней светлых, безумной тоски, и счастье давно потонуло, лишь песни плывут да венки».

Такие слова, как «дней светлых безумной тоски», он старался как бы совсем не произносить, «пробросить», и я понял, что он стесняется за Фета, а самое главное для него: «лишь песни плывут да венки». Эту строчку он проговорил с таким глубоким чувством, сделал такой плавный и бессильный жест рукой, как бы провожая эти песни и венки, уплывающие куда-то по реке времени в невозвратимую даль.

Вслед за этим, без перерыва, он стал пускать вдаль уже свои собственные венки и песни, совершенно новые, которых я до сих пор не знал, иные из них, может быть, лишь сегодня написанные:

— «Этой краткой жизни вечным измененьем буду неустанно утешаться я, — этим ранним солнцем, дымом над селеньем, в алом парке листьев медленным паденьем и тобой, знакомая, старая скамья. Будущим поэтам, для меня безвестным, бог оставит тайну — память обо мне: стану их мечтами, стану бестелесным, смерти недоступным — призраком чудесным в этом парке розовом, в этой тишине».

«Звезда дрожит среди вселенной... Чьи руки дивные несут какой-то влагой драгоценной столь переполненный

сосуд? Звездой пылающей, потиром земных скорбей, небесных слез, зачем, о господи, над миром ты бытие мое вознес?»

Он говорил таинственно, как бы желая внушить мне какую-то великую сладчайшую истину, только что, вот сию секунду, открывшуюся ему.

— «В дачном кресле,— таинственно шептал он,— ночью, на балконе... Моря колыбельный шум... Будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской... Есть ли тот, кто этой дачи спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знанья, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит — да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует — как же нет Любви?»

И опять, без перерыва:

— «На даче тихо, ночь темна, туманны звезды голубые, вздыхая, ширится волна, цветы качаются слепые — и часто с ветром до скамьи, как некий дух в эфирной плоти, доходят свежие струи волны, вздыхающей в дремоте».

Минутами мне казалось, что все эти стихи создаются тут же — сию минуту — при мне, что каждая строчка — и «волна, вздыхающая в дремоте», и «мягкий ветер», и в особенности гениальные «слепые цветы» (белые табаки и ночные красавицы!) как-то само собой, незаметно, из окружающей нас *действительности* превратились в элементы чистейшей поэзии.

Волшебство?

Часов в одиннадцать утра, спасаясь от страшной жары этого лета, я сидел в ванне, до краев наполненной холодной водой, куда из медного крана одна за другой с продолжительными, мертвыми паузами падали увесистые капли, производя короткие, однообразно-музыкальные удары разных тонов:

«...Библь!.. Бобль!.. Бабль!.. Бубль!..»

Они действовали успокоительно, усыпляюще, как бы отрешая от той странной, ни на что не похожей, неопре-

деленной действительности, в которой мы все жили этим летом.

Это было через несколько дней после страшных взрывов артиллерийских складов, когда...

Вдруг в дверь ванной комнаты заглянул отец, и по его лицу я понял, что произошло какое-то невероятное событие.

— Иди, там к тебе кто-то пришел. Какой-то незнакомый господин. По-моему, это... Бунин.

Когда я, наспех одевшись и не успев как следует вытереться, с мокрыми волосами прибежал в крайнюю комнату, одну из тех двух, которые мы обычно сдавали жильцам и которые теперь пустовали, то действительно увидел Бунина. Сидя на стуле и заложив ногу за ногу, он весьма светски беседовал с папой, одетым почти так же, как Бунин, с той лишь разницей, что холщовая вышитая рубаха отца была более просторна, застирана и подпоясана крученым шелковым поясом с махрами, а сандалии были рыночные, дешевые и надеты на босу ногу. Да и борода папина по сравнению с постриженной бородкой Бунина имела вид довольно запущенный. Однако и у папы и у Бунина, как у двух русских интеллигентов, на груди на черных шнурках болтались одинаковые старомодные стальные пенсне, что делало их обоих отдаленно похожими на Чехова: Бунина — на Чехова молодежавого, а папу — на Чехова постаревшего.

Оказывается, я как-то сказал, что мы сдаем комнаты, и Бунин приехал с Большого Фонтана, желая устроить у нас своих московских знакомых, беженцев, оказавшихся без жилья. Впоследствии я узнал, что этими беженцами были Алексей Толстой со своим семейством.

Бунин уже успел своими зоркими глазами осмотреть обстановку и, вероятно, уже составил представление о нашем житье-бытье.

Я думаю, это представление соответствовало тому, которое когда-то в юности составил Юрий Олеша о нашей квартире и обо мне:

«...Ему очень понравились мои стихи, он просил читать еще и еще, одобрительно ржал. Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства. И верно, в них было

много щемящей лирики... Кажется, мы оба были еще гимназисты, а принимал он меня в просторной пустоватой квартире, где жил вдовый его отец с ним и с его братом — печальная, без быта, квартира, где не заведует женщина...»

Эту печальную, без быта, квартиру и увидел тогда Бунин. И конечно, сразу понял, что для Алексея Толстого с его барскими замашками наши комнаты с продавленным диваном совсем не подходят.

Папа и Бунин степенно беседовали на разные темы. Поговорили о взрывах артиллерийских складов — «это большевики взорвали», — убежденно сказал Бунин, — а затем перешли к темам хозяйственным.

На раскаленном подоконнике венецианского окна сушились некоторые мелкие принадлежности мужского туалета — выстиранные за неимением работницы собственноручно отцом в эмалированном тазике кусочком казанского мыла с синими жилками — воротнички, носки, платки.

— Если угодно, могу дать вам полезный совет, — говорил Бунин, — никогда не стирайте носки в горячей воде с мылом. Тщательно полощите их в холодной воде, отнюдь без мыла, — а затем не гладьте, а просто сушите на солнце. Тогда у вас никогда не будут потеть ноги. Ручаюсь, недавно я сам узнал этот способ и буквально ожил.

Посидев — как визитер — минут двадцать, поговорив о Жуковском и Тургеневе и дружно поругав модернистов, Бунин встал и попрощался с папой, корректно и коротко пожав ему руку.

— Рад был познакомиться.

— Ну, а как вы находите Валины произведения? — почти жалобно спросил папа, пересилив смущение.

— А вы как? — вопросом на вопрос ответил Бунин.

— Мне, как отцу, трудно судить, но его стихотворения, кажется, недурны в отношении рифм и размеров. А вот рассказы, по-моему, несколько фельетонны, малосодержательны и поверхностны. Вы не находите этого?

— Ну, это разговор длинный и не простой.

— Как вы думаете, из него может выйти что-нибудь путное?

— Трудно ответить в двух словах, — серьезно сказал Бунин, — время покажет.

И он удалился, не позволив мне его проводить.

Покраснев до корней волос, я стоял в полуоткрытых дверях и слушал молодой, твердый стук его каблуков, сбегавших с четвертого этажа вниз, наполняя лестничную клетку гулом и острым щелканьем.

Лишь впоследствии, еще ближе узнав Бунина, я понял подлинный смысл его посещения. Сдающиеся комнаты был лишь повод. На самом же деле — я в этом глубоко уверен — Бунину просто захотелось нагрянуть врасплох и посмотреть, как я живу, что из себя представляет наша квартира, каков из себя мой отец. Бунин был невероятно любопытен, и ему нужно было всегда, во всех подробностях знать окружающую его жизнь, видеть все своими беспощадно зоркими глазами.

Двойственное чувство осталось у меня после визита Бунина. С одной стороны, было лестно, с другой — как-то непонятно-горько: я вдруг как бы бунинскими глазами, со стороны, увидел своего постаревшего, одинокого, немного опустившегося отца с седыми, давно не стриженными семинарскими волосами и черными неглаженными брюками, нашу четырехкомнатную квартиру, казавшуюся мне всегда хорошо, даже богато обставленной, а на самом деле полупустую, с черной мебелью — рыночной подделкой под дорогую, «черного дерева», которое было обыкновенной дешевой сосной, о чем свидетельствовали потертости и отбитые финтифлюшки — сверху черные, а внутри белые; этот безвкусный стиль с тумбочками для цветов в виде дорических колонок, кажется, назывался в насмешку «бру-гага».

Керосиновая висячая лампа с бронзовым шаром, наполненным дробью, переделанная на электрическую. Две так называемые «картины» — мещанские, бумажные олеографии «под масло» в униженно тоненьких золоченых багетах, которые повесили на стенку, так как они были получены «бесплатно», как приложения к «Ниве», что делало их как бы сродни всем русским писателям-классикам, тоже бесплатным приложениям к «Ниве», в их числе теперь и Бунину. Некогда довольно хороший кабинетный диван, много раз перебиваемый и теперь обитый уже потрескавшейся, дырявой клеенкой. Наконец, самая дорогая — даже драгоценная — вещь: мамино приданное пиа-

нино, потертый инструмент, с расшатанными металлическими педалями, на котором папа иногда, старательно и близоруко заглядывая в пожелтевшие ноты и роняя пенсне, нетвердо, но с громадным чувством играл «Времена года» Чайковского, особенно часто повторяя «Май», наполнявший мою душу невыразимо щемящей тоской.

Мы не были бедными или тем более нищими, но что-то вызывающее сочувствие, жалость было в нашей неустроенности, в отсутствии в доме женщины — матери и хозяйки, — уюта, занавесок на окнах, портьер на дверях. Все было обнаженным, голым...

Это, конечно, не могло укрыться от глаз Бунина. Он все замечал...

...и кастрюлю с холодным кулешом на подоконнике...

Уходя, он скользнул взглядом по моей офицерской пашке «за храбрость» с анненским красным темляком, одиноко висевшей на пустой летней вешалке, и, как мне показалось, болезненно усмехнулся. Еще бы: город занят неприятелем, а в квартире на виду у всех вызывающе висит русское офицерское оружие!

Он не знал, что к нам с обыском уже приходили австрийцы, требуя оружие. Я показал на свою пашку. Австрийский офицер, такой же молодой, как и я, весь темно-серый, вытуженный, в крагах и новеньком кепи, повертел ее в руках в замшевых перчатках, прочитал по складам надпись: «За храбрость» — и вернул мне со щегольской армейской любезностью, сказав, что я могу ее оставить у себя, так как «такое оружие голыми руками не берут».

А в общем, все это было ужасно грустно.

Настала поздняя осень, а о возвращении Бунина в Москву по-прежнему не могло быть и речи. Советская власть, которой все пророчили близкую гибель, не только не гибла, но даже — по всем признакам — укреплялась.

В Германии произошла революция, кайзера скинули, немецкая армия капитулировала, немцы и австрийцы спешно покидали Украину, так что заключение похабного

Брестского мира — что являлось главным обвинением против большевиков, — по сути дела, уже теперь не имело никакого практического значения: Ленин оказался прав.

В Одессу же вместо немцев пришли их победители, так называемые «союзники», и на юге начался почти двухлетний период, в течение которого власть переходила из рук в руки несколько раз, пока окончательно и навсегда не установилась Советская власть.

Все это бурное, ни на что не похожее, неповторимое время Бунин прожил в Одессе на Княжеской улице в особняке своего приятеля, художника Буковецкого, который предоставил писателю весь нижний этаж — три комнаты, куда я и приходил, всякий раз испытывая невероятное волнение, прежде чем позвонить с черного хода.

Обычно мне открывала нарядная горничная на французских каблучках, в накрахмаленной наколке и маленьком батистовом фартучке с кукольными карманчиками. Она была предоставлена в распоряжение Буниных вместе с комнатами и разительно не соответствовала той обстановке, которая царила в городе, в России, в мире.

Жизнь Бунина в этих барских комнатах с массивными полированными дверями, с отлично натертыми паркетами, теплыми мраморными подоконниками венецианских окон, с жарко начищенными медными шпингалетами, с высокими чистыми потолками, отражавшими в летнее время зелень белых акаций, которыми была тесно обсажена тихая аристократическая улица, а зимой — голубые тени сугробов и размытые силуэты извозчичьих саней, с небольшим количеством самой необходимой, но очень хорошей мебели, без всех этих мещанских этажерок, тумбочек, безделушек, салфеточек, ковриков, альбомов и накидок, — как нельзя больше соответствовала моему представлению об аристократе, столбовом дворянине, российском академике, человеке безукоризненного вкуса.

Здесь я уже видел не дачника, а настоящего оседлого горожанина, может быть даже вынужденного политического затворника, выработавшего себе точнейший распорядок дня.

Он много работал. У меня создалось впечатление, что он пишет беспрерывно. Когда бы я ни пришел, я неизменно видел дверь его рабочей комнаты, полуоткрытую в темноватый коридор, а за ней — окно, выходящее в тихий двор, небольшой стол и Бунина без пиджака, в свежей сорочке с закатанными до локтей рукавами, обнажавшими сухие, мускулистые руки, который в круглых рабочих очках, делавших его похожим на сову, быстро писал, покрывая небольшие узкие листки писчей бумаги своей характерной убористой клинописью.

Он писал темно-зелеными чернилами, автоматической ручкой с золотым пером, если не ошибаюсь, фирмы «Монблан», причем до конца исписанную страницу не промокал, а нетерпеливо откладывал в сторону сохнуть; если же он что-нибудь вписывал в записную книжку, то махал ею перед собой, чтобы страничка скорее высохла.

Услышав мои шаги, он обычно, не оборачиваясь, говорил:

— Идите к Вере Николаевне, я сейчас кончу.

Я отправлялся в большую комнату окнами на Княжескую — их салон, — где меня встречала Вера Николаевна и, соблюдая некую светскую обязанность хозяйки дома, занимала меня необременительным разговором на разные общие темы, разумеется не унижаясь до погоды.

Однако, будучи женщиной живого ума и чисто бунинского любопытства, она не выдерживала тона и вскоре переводила разговор на совсем другие, далеко не светские темы, задавая вопросы вроде:

— Ну, как у вас подвигается роман с очаровательной Наташей Н.? Не правда ли, она прелестна со своим детски большим ртом и длинными руками, настоящая Наташа Ростова. Смотрите, как бы ее маман в один прекрасный день, несмотря на весь свой аристократизм, не выставила вас за дверь. Стало быть, с Ирен А. все кончено? Ах, какой вы непостоянный — настоящий ученик Бунина. — Она грустно вздыхала. — И позвольте вас спросить, кому это вы посвятили «чьи-то маленькие ножки отпечатали следы», что-то я никак не могу понять, чьи это маленькие ножки? Не слишком ли много ножек?

Она была в курсе всех моих романов, с некоторыми моими барышнями лично знакома и живейшим образом интересовалась моими любовными похождениями, — впро-

чем, довольно невинными! — напоминая не строгую даму, жену академика, а скорее старшую сестру или даже замужнюю кузину.

— Яв,— говорила она входящему Бунину,— оказывается, у него в полном разгаре роман с Наташей.

— Ну, разумеется,— говорил Бунин.— Посмотри на него: щеки ввалились, под глазами синяки. Сразу видно — вместо того чтобы работать, вы бог знает где шляетесь по ночам, надо полагать — до зари стоите под окном, ожидая, что она вам откроет и впустит. Черта с два, милостивый государь, не на такую попали. Я хорошо знаю этих большеротых и длинноногих гимназисток!..

Бунин присаживался к круглому, не покрытому скатертью столу из цельного палисандрового дерева, на котором, отражаясь, как в вишнево-красном зеркале, стояла штампованная из тонкой меди, вернее, из латуни чашка, служившая пепельницей,— полое легкое полушарие с тисненым восточным орнаментом, вещица, по-видимому, купленная Буниным на константинопольском базаре Ат-мейдане, а может быть, в Смирне или Александрии.

Во всяком случае, эта пепельница всегда мне напоминала восточные стихотворения Бунина, и в первую очередь, конечно, «он на клинокдохнул — и жало его сирийского кинжала померкло в дымке голубой: под дымкой ярче заблестали узоры золота на стали своей червонною резьбой. «Во имя бога и пророка. Прочти, слуга небес и рока, свой бранный клич: скажи, каким девизом твой клинок украшен?» И он сказал: «Девиз мой страшен. Он — тайна тайн: Элиф. Лам. Мим».

В общем, эта пепельница была как бы тайной тайн: Элиф. Лам. Мим. И она отражалась в круглом столе.

Заложив ногу на ногу, Бунин точным движением пальцев сощелкивал в нее пепел папиросы.

Не знаю почему, но мне ужасно нравилась эта пепельница; она казалась верхом роскоши, почти музейной редкостью, предметом таинственного культа, особенно красивая на ледяной поверхности пустого, безукоризненно отшлифованного стола, среди этой барской комнаты, напол-

ненной запахом дорогого турецкого табака «месаксуди» и благоговейной тишиной, отделенной от внешнего мира двойными зеркальными стеклами.

Теперь я думаю, что эта пепельница была самым дешевым рыночным сувениром из числа тех, которые сотнями привозили пассажиры пароходов Русского общества пароходства и торговли — «Ропит» — из своих малоазиатских рейсов. Но я был в нее просто влюблен и по своей еще не изжитой детской привычке думал: когда вырасту большой, то непременно у меня будет такая же точно пепельница, и я буду в нее сбрасывать пепел папирос из самого лучшего турецкого табака «месаксуди».

Тогда эта пепельница была еще совсем новая, блестящая, хотя внутри уже несколько потемнела, стала сизой от табачной золы и спичечных угольков, и сразу же, как только я ее впервые увидел, мне почему-то пришло на ум одно из новых стихотворений Бунина — «Кадильница».

«В горах Сицилии, в монастыре забытом... стоит нагой престол, а перед ним, в пыли, могильно-золотая, давно потухшая, давным-давно пустая, лежит кадильница — вся черная внутри от угля и смолы, пылавших в ней когда-то... Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней. До черноты сгори».

Как я мечтал тогда, чтобы мое сердце сгорело до черноты! Но я не представлял себе, как это страшно.

— Ну-с, что скажете хорошенького?

— Написал новый рассказ.

— Разумеется, принесли?

— Вот он.

— Вера, не уходи. Сейчас Валентин Катаев прочтет нам свой новый рассказ. Мы вас слушаем.

Обычно, внимательно и терпеливо выслушав мой новый рассказ от начала до конца, Бунин не вдавался в его подробное обсуждение, а ограничивался двумя-тремя коротенькими замечаниями по поводу того, где у меня хорошее место и где плохое; почему именно одно плохо, другое — хорошо; и какие нужно из этого сделать практические выводы.

Он всегда касался мелочей, но неизменно приводил их к важным обобщениям. Так, например, я узнал, что

в литературе нет запретных тем: важно лишь, с какой мерой такта будет об этом сказано, и я навсегда усвоил себе несколько бунинских рекомендаций: такт, точность, краткость, простота, но, разумеется,— и Бунин это подчеркивал много раз,— он говорил не о той простоте, которая хуже воровства, а о простоте как следствии очень большой работы над фразой, над отдельным словом — о совершенно самостоятельном видении окружающего, не связанном с подражанием кому-нибудь, будь то хоть сам Лев Толстой или Пушкин, то есть об умении видеть явления и предметы совершенно самостоятельно и писать о них абсолютно по-своему, вне каких бы то ни было литературных влияний и реминисценций.

В особенности Бунин предостерегал от литературных штампов, всех этих «косых лучей заходящего солнца», «мороз крепчал», «воцарилась тишина», «дождь забарабанил по окну» и прочего, о чем еще до Бунина говорил Чехов.

К числу мелких литературных штампов Бунин также относил, например, привычку ремесленников-беллетристов того времени своего молодого героя непременно называть «студент первого курса», что давало как бы некое жизненное правдоподобие этого молодого человека и даже его внешнего вида: «студент первого курса Иванов вышел из ворот и пошел по улице», «студент первого курса Сидоров закурил папиросу», «студент первого курса Никаноров почувствовал себя несчастным».

— До смерти надоели все эти литературные студенты первого курса,— говорил Бунин.

И я тут же дал себе страшную клятву, что у меня в рассказах никогда не будет ни одного студента первого курса. Для того чтобы поскорее на практике исполнить эту клятву, я в тот же день начал писать рассказ о некоем молодом человеке, но ни в коем случае не студенте, и тут же я сразу запнулся, потому что никак не мог придумать, кто же будет мой молодой человек. Человека более зрелого возраста легко можно было сделать титулярным советником, штабс-капитаном, приказчиком, оберкондуктором, мало ли кем. Со стариками дело обстояло еще проще: генерал, действительный статский советник, купец второй гильдии, сельский староста и тому подобное. А вот молодой человек...

Я вышел пройтись, для того чтобы на свободе придумать, кем бы сделать моего молодого человека. И тут я

увидел на круглой тумбе афишу городского театра с черной лирой наверху, извещавшую о премьере какой-то оперы, где между прочим было напечатано: «декоратор Дмитриев». Превосходно, подумал я, пускай же мой молодой человек будет декоратор.

И вот я уже сижу за круглым лаковым столом, разложив возле турецкой пепельницы рукопись нового рассказа. Капля от волнения, я предвкушаю одобрение Буниным того факта, что мой молодой человек не студент первого курса, и даже не подпоручик, а — вообразите себе! — декоратор: и шикарно, и вполне соответствует жизненной правде.

Я очень торопливо, с жаром прочел свой рассказ, где — помнится — были описаны любовные переживания молодого декоратора, первое свиданье, разрыв с любимой женщиной, ночное пьянство и даже — кажется — нюханье кокаина в какой-то подозрительной компании и, наконец, описание очень раннего, солнечного, еще до озноба холодного утра на Николаевском бульваре, где по гранитным ступеням знаменитой лестницы ходили большие розовые голуби.

Все это я описал с большим щегольством и, читая, время от времени бросал потайные взгляды на Бунина, желая прочесть по его лицу впечатление, которое производит на него моя проза, казавшаяся мне самому на редкость красивой.

Сперва замкнутое лицо Бунина выражало привычное профессиональное внимание. Я даже заметил, как он один раз значительно переглянулся с Верой Николаевной. Небось разобрало-таки старика! Но затем он начал заметно мрачнеть, нетерпеливо подергивая шей, а к концу рассказа уже — к моему ужасу — не скрывал раздражения и даже начал довольно громко постукивать каблуком по паркету. Когда же я дошел до коронного места с розовыми от зари голубями, которые должны были, по моим соображениям, особенно понравиться Бунину, и не без некоторого скромного самодовольства провозгласил заключительную фразу рассказа, то Бунин некоторое время молчал, повернув ко мне злое лицо со страшными, грозно вопрошающими глазами, а затем ледяным голосом спросил:

— И это все?

— Все,— сказал я.

— Вот тебе и раз. Так какого же вы черта,— вдруг заорал Бунин, стукнув кулаком по столу с такой силой, что подпрыгнула пепельница,— так какого же вы черта битых сорок пять минут морочили нам голову! Мы с Верой сидим как на иголках и ждем, когда же ваш декоратор наконец начнет писать декорации, а, оказывается, ничего подобного: уже все. Розовые голуби и — конец!..

За этим же круглым столом, перед этой же пепельницей с таинственными арабскими знаками однажды Бунин прочел мне только что законченный им — еще даже не высохли зеленые чернила — прелестный рассказ о смерти старого князя, и, когда я спросил, долго ли он писал этот рассказ, Бунин ответил:

— Часа три.

Заметив мое изумление, он прибавил:

— Я вообще пишу быстро, хотя печатаю медленно. Первую часть «Деревни» я, например, написал что-то за две недели. Разумеется, обдумывал долго, но потом написал сразу, единым духом. Кое-что поправил при переписке и в корректуре, но это как водится!

До сих пор я был уверен, что он пишет очень медленно, с массой черновиков, поправок, вариантов, отделявая каждую фразу, по десяти раз меняя эпитеты.

У меня сложилось впечатление, что подобного рода «флюберизм», и до сих пор еще весьма модный среди некоторых писателей, глубоко убежденных, что есть какое-то особенное писательское мастерство, родственное мастерству — скажем — шлифовальщика или чеканщика, способного превратить ремесленника в подлинного художника, — ни в какой мере не был свойствен Бунину, хотя он иногда и сам говорил о «шлифовке», «чеканке» и прочем вздоре, который сейчас, в эпоху мовизма, вызывает у меня только улыбку.

Сила Бунина-изобразителя заключалась в поразительно быстрой, почти мгновенной реакции на все внешние раздражители и в способности тут же найти для них совершенно точное словесное выражение.

Он сказал мне, что никогда не пользуется пишущей машинкой, а всегда пишет от руки, пером.

— И вам не советую писать прямо на машинке. После того как вещь готова в рукописи, можете перепечатать на

машинке. Но само творчество, самый процесс сочинения, по-моему, заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой, что и есть собственно творчество.

Говоря это, Бунин коснулся своей головы, затем пошевелил кистью руки, которая держала автоматическую ручку с золотым пером, коснулся листа бумаги его наплавленным платиновым кончиком и сделал на ней несколько закорючек.

— Когда вы сочиняете непосредственно на пишущей машинке, то каждое выстуканное вами слово теряет индивидуальность, обезличивается, в то время как написанное вами собственноручно на бумаге, оно как бы является матерьяльным, зримым следом вашей мысли — ее рисунком, — оно еще не потеряло сокровенной связи с вашей душой — если хотите, с вашим организмом, — так что если это слово фальшиво само по себе, или не туда поставлено, или неуместно, бестактно, то вы это не только сейчас же ощутите внутренним чутьем, но и тотчас заметите глазами по некоторому замедлению, убыстрению и даже изменению почерка. Одним словом, ваш почерк — единственный, неповторимый, как часть вашей души, — просигнализирует вам, если что: «Не то!», — сказал он, несколько видоизменив последнюю строчку своего стихотворения «Компас»:

«Не собьет с пути меня никто. Некий Nord моей душою правит, он меня в скитаньях не оставит, он мне скажет, если что: не то!»

Я часто наводил разговор на «Господина из Сан-Франциско», желая как можно больше услышать от Бунина о том, как и почему написан им этот необыкновенный рассказ, открывший — по моему мнению — совершенно новую страницу в истории русской литературы, которая до сих пор — за самыми незначительными исключениями — славилась изображением только русской жизни: национальных характеров, природы, быта. Если у наших классиков попадались «заграничные куски», то лишь в той мере, в какой это касалось судеб России или русского человека.

В нарушение всех традиций Бунин написал произведение, где русским был только замечательный язык и

та доведенная до возможного совершенства пластичность, которая всегда выделяла русскую литературу из всех мировых литератур и ставила ее на первое место, все же остальное в «Господине из Сан-Франциско» — пейзаж, персонажи, сюжет — было иностранное, точнее сказать — интернациональное — пускай даже космополитическое! — а главное, ультрасовременное: с американским миллионером, трансатлантическим лайнером, жизнью люкс в перво-классных международных отелях, с барами, танго, автомобилями, коктейлями, радиосвязью, парижскими модами, безумным богатством, ужасающей нищетой и всем тем, что с особенной силой расцвело на земном шаре перед первой мировой войной и что, примерно в то же время, Ленин назвал высшей стадией капитализма — империализмом.

В «Господине из Сан-Франциско» как бы все время где-то незримо присутствует тень гибнущего «Титаника» и зловеще звучит заключительный аккорд всего повествования:

«А середина «Атлантиды», столовые и балльные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжело одолевавшего мрак, океан, выюгу...»

Даже повторить эти бунинские слова, переписав их своею рукой, и то громадное наслаждение!

Еще до «Господина из Сан-Франциско» Бунин написал потрясающей силы антиколониальный рассказ — тоже

полностью «иностранный» — «Братья», трагедию, разыгравшуюся между белым господином и цветным рабом на сказочно прекрасном острове Цейлоне. Этот рассказ мог бы даже показаться переводным, написанным, например, Редьярдом Киплингом, если бы — опять же! — не удивительный русский язык и не бунинская неповторимая пластика, доводящая его описания до стереоскопической объемности и точности, — свойство, которым не мог похвастаться ни один современный Бунину мировой писатель.

— Почему вас удивляет, что я написал такие «не русские» рассказы? Я не давал клятвы всю жизнь описывать только Россию, изображать лишь наш, русский быт. У каждого подлинного художника, независимо от национальности, должна быть свободная мировая, общечеловеческая душа; для него нет запретной темы; все сущее на земле есть предмет искусства. Общая душа, общая душа. «Счастлив я, — вдруг проговорил он, понизив голос до таинственного бормотания, — счастлив я, что моя душа, Виргилий, не моя и не твоя». Понимаете: не моя и не твоя. А общая. В этом смысле я, если хотите, интернационален. Может быть, даже сверхнационален. Главное же, *что* я здесь, в «Господине из Сан-Франциско», развил, — это в высшей степени свойственный всякой мировой душе симфонизм, то есть не столько логическое, сколько музыкальное построение художественной прозы с переменами ритма, вариациями, переходами от одного музыкального ключа в другой — словом, в том контрапункте, который сделал некоторую попытку применить, например, Лев Толстой в «Войне и мире»: смерть Болконского и прочее.

Может показаться странным, почти невероятным, что в то время, когда вокруг бушевала гражданская война, передвинувшаяся с севера на юг, — в особняке на Княжеской улице за зеркальными стеклами продолжалась, скорее, впрочем, воображаемая, чем настоящая, жизнь совсем небольшого круга людей, занятых вопросами художественной литературы, поэзии, критики, чтением братьев Гонкуров в подлиннике, продолжением вечных московских споров о Толстом и Достоевском и о том, что такое симфони-

ческая проза, впервые в русской и мировой литературе примененная в такой полноте лишь в «Господине из Сан-Франциско».

Кажется, именно тогда я впервые познакомился с некоторыми мыслями братьев Гонкуров.

«В наше время создать в литературе героев, которых публика не узнает, как старых знакомых, открыть оригинальную формулу стиля — еще не все; нужно изобрести бинокль, при помощи которого ваши читатели могут увидеть существа и вещи через такие стекла, какими еще никто не пользовался; посредством этого бинокля вы показываете картины под неведомым до сих пор углом зрения, вы создаете новую оптику. Мы с братом придумали этот бинокль, а теперь я вижу, что вся молодежь пользуется им...»

Не пользовался ли Бунин этим биноклем? Чем черт не шутит!

Лучшие консерваторы в искусстве получают из бывших революционеров. И наоборот.

«Воспоминания» Банвиля очень забавны. Ни слова настоящей правды, современники словно из волшебных сказок, но видит он их сквозь оптику, свойственную ему одному: странную, в высшей степени земную оптику...»

Земная оптика — это великолепно!

Не следует забывать, что я записываю здесь лишь то, что сохранила мне память из тех «литературных уроков», которые я почерпнул во время своего общения с Буниным, а он вовсе не был склонен к сидячей кабинетной жизни; наоборот, он испытывал постоянную потребность находиться в толпе, разговаривать с прохожими, быть свидетелем уличных происшествий, а вовсе не давать, сидя дома, уроки мастерства молодым писателям вроде меня. Об этом свидетельствуют опубликованные впоследствии в виде со-

всем маленьких, крошечных рассказиков — миниатюр — различные беглые зарисовки с натуры вроде, например, «Ландо».

«У смерти все свое, особое.

Возле ворот дачи стоит огромное старое ландо, пара черных больших лошадей: приехал из города хозяин дачи. Что-то необычное, чрезмерное в этом ландо и в этих лошадях. Почему? Оказывается, что лошадей и ландо дал хозяину дачи его приятель — содержатель бюро похоронных процессий. Кучер, сидевший на козлах так и сказал:

— Это ландо из *погребательной* конторы.

И, в довершение всего, черная борода кучера имеет цвет сухой ваксы: крашенная».

Земная оптика! Не мовизм ли это или, во всяком случае, его зарождение?

Почти каждый день, в любую погоду Бунин несколько часов подряд ходил по городу. Именно ходил, а не гулял, быстрым легким шагом, в коротком, до колен, демисезонном столичном пальтишке, с тростью, в профессорской ермолке вместо шляпы, — стремительный, напряженно внимательный, сухощавый. Характер одесских улиц постоянно менялся в зависимости от политической обстановки. То как бы вновь воскресала дореволюционная жизнь с рыскаками под синими сетками зимой, с цветочницами и менялами на углу Дерибасовской и Преображенской против проходных ворот дома Вагнера летом, с биржевыми зайцами и «лепетутниками» за мраморными столиками знаменитых одесских кафе — Фанкони и Робина, с ночными клубами, кабаре, шантанами, театрами миниатюр, с нарядными английскими яхтами Екатерининского и Черноморского яхт-клубов, которые уходили одна за другой мимо белокаменного маяка с медным сигнальным колоколом в перспективу открытого моря, слегка мглистого от заграничного ветра, с иллюзиями и военным оркестром под управлением Чернецкого на Николаевском бульваре.

То все это вдруг сметало в течение одной бурной ночи, в грозно опустевшем городе слышались лишь гулкие шаги красногвардейских патрулей, и окна особняков и банков

дрожали от проезжавших броневиков с матросами, лежавшими на крыльях, выставив вперед винтовки и маузеры. То вдруг оказывалось, что город занят петлюровцами или даже какими-то «батьковцами», и тогда на всех углах появлялись чубатые хлопцы в ободранных солдатских шинелях без хлястиков, с нечищеными винтовками вверх прикладами, требуя предъявления каких-то удостоверений, а если удостоверений не было, то они пропускали и так, без удостоверений. То на улицах появлялись веселые ребята из британской морской пехоты, беглым шагом торопившиеся неизвестно куда, гоня перед собою футбольный мяч.

То ходили по бульвару французские солдаты в синих шинелях, в гетрах, с двугорлыми алюминиевыми фляжками на боку, наполненными красным винцом и водой. Проезжали странные двуколки с громадными колесами, которыми правили громадные негры с вылупленными удивленными глазами.

Я наблюдал Бунина на солдатской барахолке, где он стоял посреди толпы с записной книжкой в руках, невозмутимо и неторопливо записывая своей четкой клинописью частушки, которые выкрикивали два братишки — черноморские военморы, лихо отплясывая, положив руки друг другу на плечо и мотая широкими клешами, модное «яблочко» или «Дерибасовскую», а вокруг стояли китайцы в армейских телогрейках, в черных обмотках и круглых кепках, держа в руках узорчатые складные веера из цветной папиросной бумаги, с ног до головы обвешанные своим традиционным китайским товаром: трещотками, гарусными птичками, маленькими растягивающимися бумажными драконами и тиграми на двух палочках, фонариками, свистульками, отрезами чесучи, туфлями на толстых подошвах из прессованной бумаги.

Помню доводящий до обморока, тошнотворный запах кунжутного масла, чеснока, едкого человеческого пота.

Но Бунин не обращал на это никакого внимания и спокойно работал, покрывая своими записями страничку за страничкой.

Самое поразительное было то, что на него решительно никто не обращал внимания, несмотря на его профессорскую внешность, которая никак не сливалась с базарной толпой, а может быть, именно вследствие этой внешности: кто знает, за кого его принимали? Мне даже тогда пришла в голову мысль: не принимают ли его здесь — этого худого костлявого барина в чудацкой шапочке, с автоматической

ручкой в руке — за какого-нибудь базарного графолога, фокусника, мага или предсказателя судьбы, который продает листки со «счастьем», что было вполне в духе времени: никто не удивился, если бы вдруг увидел на его плече попугая или обезьянку в коленкоровой юбочке.

Эту картину напомнил мне впоследствии шанхайский рынок, «Храм мэра города», где среди золоченых идолов, в дыму курительных палочек, я вытащил из священной урны свернутую бумажку с предсказанием:

«Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания, и трудно изменить волю императрицы. Но имя ваше останется в веках».

Непомерно громадная, однообразная толпа окружала меня, как бы желая стиснуть и поглотить. Я терял сознание среди розовых детских кофт с цветочками, воспаленно-красных атласных подушек и пуховых одеял, сундуков из сандалового дерева и свежих литографических портретов толстолицего китайца с опухшими глазами, мандарина в тужурке с тесным стоячим воротником — «великого кормчего», и передо мной все время маячили маково-черные ряды висящих иероглифов таинственного предсказания. И я мучительно гадал: кто же феникс, и кто солнце, и кто императрица, и чье имя останется в веках?

Посмотрим!

Однажды, желая дать ему возможность заработать, знакомые уговорили Бунина выступить с чтением своего нового, еще неизвестного в Одессе рассказа «Сны Чанга». Он долго отказывался, уверяя, что это решительно никому не интересно, что все равно никто не придет, что широкая публика его абсолютно не знает и что занимать целый вечер чтением одного рассказа просто глупо: публика не выдержит и все это предприятие принесет устроителям одни только убытки. В конце концов его все-таки убедили, он дал согласие, но предупредил, что гонорар за выступле-

ние — «за позор», как он выразился,— желает получить вне всякой зависимости от сбора, хотя бы в зале было абсолютно пусто.

— Я не настолько богат, господа, чтобы публично срамиться, да еще и бесплатно,— сказал Бунин, невесело усмехнувшись.

Были расклеены по городу афиши, выпущены узкие программы, и точно в объявленное время в артистической комнате одесского музыкального училища, где обычно устраивались наиболее изысканные концерты для избранной публики и вечера поэзии нашей «Зеленой лампы», о которой я, может быть, когда-нибудь расскажу,— появился Бунин. Он был бледен, изысканно одет, в свежем белье и высоком крахмальном воротничке, между отворотами которого свободно умещалась его острая бородка, не настолько длинная, чтобы закрыть широкий узел шелкового галстука — темного, с лиловыми разводами рисунка «павлиний глаз» и даже, кажется, жемчужной булавкой.

В плохо освещенной холодной артистической сидели устроители, среди которых главным лицом был муж толстой дамы-писательницы, похожей на Петра Великого, уже давно сидевшей в первом ряду почти пустого зала как раз против столика на эстраде, где зябко блестел традиционный графин кипяченой воды и стакан, и время от времени беспокоило поправлявшей на могучей груди аметистовую брошь.

Бунин, щелкая крахмальными манжетами, молча пожал всем нам руки и сел в стороне на диванчик, положив рядом с собой совсем небольшой квадратный портфель, скорее дамский, чем мужской, отличной желтой кожи английской выделки, в котором лежала рукопись сказа.

Было совершенно ясно, что вечер *уже* провалился: публика не пришла.

— Ночное дежурство в бюро похоронных процессий,— немного помолчав, сказал Бунин, поглядывая на давно не отремонтированный лепной потолок.— Я ведь вас, господа, предупреждал,— прибавил он с горьковатой усмешкой, в которой нетрудно было прочитать неотступную мысль о своей литературной судьбе.

(Небось на Игоря Северянина или на Вертинского набился бы полный зал! Да и на Леонида Андреева тоже, не говоря уже о Максиме Горьком. Ничего не поделаешь — властители дум! А на меня кто пойдет? Только настоящие ценители...)

— Ну так что ж, милостивые государи, будем все-таки начинать или мирно разойдемся по домам? — спросил Бунин.

— Публика помаленьку собирается, — неуверенно сказал муж толстой писательницы, — подождем еще с четверть часика, да и начнем, с богом.

— Даже как-то неловко, — проворчал Бунин, — в зале полтора человека. Я предупредил, что на меня не пойдут.

— Побойтесь бога, Иван Алексеевич, если не на вас, то на кого же? — воскликнул кто-то из устроителей лживым голосом. — А все дело в том, что афиши поздно расклеили, да и заметок в газетах было маловато, а главное, в том, что сегодня ночью предполагается вооруженное выступление гайдамаков... Так что — сами понимаете...

— Да уж вы меня не утешайте, — решительно сказал Бунин и поднес к глазам афишку, где ему сразу же бросилась в глаза глупейшая, чисто провинциальная опечатка: вместо «Сны Чанга» были жирным шрифтом напечатаны бессмысленные слова «Сны Чашка».

Лицо Бунина искривилось, как будто его внезапно ударили под вздох, и он даже вскрикнул «ой!», но сейчас же взял себя в руки и устало махнул рукой:

— А, черт с ним!

Быть может, потому, что за высокими окнами, за кремовыми воланами штор иногда на улице слышались одиночные винтовочные выстрелы, ударявшие в стекла, как тугие резиновые мячики, вызывая представление о темном, насторожившемся ночном городе с наглухо запертыми, забаррикадированными воротами и броневиками на углах, — кто-то вполголоса заговорил о поэме Блока «Двенадцать», которая лишь недавно проникла к нам с севера через демаркационную линию и сразу же вызвала среди молодежи восторг.

«Трах-тах-тах! — И только эхо откликается в домах...»

— Не понимаю, что находят хорошего в этих самых «Двенадцати» и до какой меры падения мог дойти поэт, состряпавший эти вульгарные, дубовые частушки,— отрывисто сказал Бунин, передернув плечами,— «Ванька с Катькой в кабаке, у ей керенки есть в чулке...». До такого падения еще никогда не доходила русская литература. А ведь этот поэт — хотя он и всегда был манерный, но все же поэт — когда-то писал стихи о мадонне, о Прекрасной Даме «в сиянии красных лампад»... И потом, что это за Иисус Христос в белом венчике из роз? Он, вероятно, хотел сказать — в веночке. Венчик — это не веночек, а совсем другое. Тут даже нет элементарного чутья русского языка. Типичнейший модернизм!

Говоря это, Бунин смотрел прямо мне в лицо не то чтобы злыми, а прямо-таки ненавидящими глазами, причем щеки его ввалились, сделались как бы еще более костлявыми.

— А вы, разумеется, в восторге? Ну еще бы! Вы, наверное, и «Скифы» считаете великим пророческим произведением... Как же, «держали щит меж двух враждебных рас — монголов и Европы». И потом, что это за стальные машины, где дышит интеграл? Ну, посудите сами, как это интеграл может дышать, да еще не где-нибудь, а в стальных машинах. Дичь какая-то. Декадентская чушь.

Я пришел в смятение, потому что уже давно и тайно от Бунина был влюблен в Блока, и если первая книга, которую я просил мне купить, была стихотворения Бунина, то вторая, которую я купил сам, на свои собственные деньги, была «Свежая ночь» Александра Блока.

Не могу сказать, чтобы мне тогда понравились «Двенадцать». Они во многом отталкивали меня, как, впрочем, всегда сначала отталкивает новая, небывалая в литературе, совершенно оригинальная форма, без которой невозможно новое содержание, тем более если этим содержанием является революция.

До революции я еще тогда не созрел.

Но уже и тогда «Двенадцать» потрясли меня своей неслыханной живописью — достоверной, точной, вещественной, не реалистической, а материалистической, ни на какую другую не похожей.

Черный вечер. Белый снег. Сверху снежок. Под ним — ледок. Падающая баба — и, бац, растянулась. Огни, огни, огни. Оплечь — ружейные ремни. Электрический фонарик

на оглобельке. Рвет, мнет и носит большой плакат! «Вся власть Учредительному собранию». «Шоколад «Миньон» жрала! Не видать в снегу друг друга за четыре за шага...»

О, эти четыре шага! Не два, не три, а именно четыре. Как они — эти четыре роковые шага — ранили воображение не одного поэта. Как трудно было от них избавиться.

Я уже не говорю о гениальных строчках: «...нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной», — быть может, лучших во всей мировой поэзии.

Что же касается «Скифов», то я их признавал полностью, не только восхищаясь ими, но испытывая нечто вроде подлинного священного ужаса при чтении этих пророческих тяжеловесных ямбов, сохранивших власть над моей душой и над моим воображением до сегодняшних дней.

Все было в них согласно с моим тогдашним представлением о судьбах России, все находило во мне отзвук.

...«И дар божественных видений... и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений».

В особенности дар божественных видений.

Меня несколько не пугало, что «перед Европою пригожей... мы обернемся к вам своею азиатской рожей», не коробила «варварская лира» и все резкости этой необыкновенной евразийской поэмы, открывшей для меня целый мир пробуждающегося Востока.

Ведь я был солдат, настоящий фронтовик, и меня было трудно чем-нибудь запугать, в особенности революцией. Солдаты любили революцию. Она была для них желанным избавлением от войны. В этом было мое преимущество перед Буниным, который до ужаса боялся и ненавидел солдат и матросов, совершавших величайшую в истории человечества Октябрьскую революцию; они все казались ему на одно лицо: тупые, жестокие, озверевшие от крови, разнузданные, не революционеры, а бунтовщики, погубители России.

Я же, проживший вместе с ними на войне почти два года, вместе с ними искавший и кормивший вшей, евший

и учивший некоторых из них грамоте и даже читавший им в мокрой землянке под Сморгонью во время передышек между боями Гоголя и Толстого — чуть ли даже не «Анну Каренину», которая им, кстати, очень нравилась, — лежавший вместе с ними то раненый, то отравленный газами в полевых лазаретах на гнилой соломе, знавший все их самые сокровенные крестьянские, совершенно справедливые, мечты о земле, о свободе, о всеобщем мире, о свержении ненавистного дома Романовых, об уничтожении помещиков, кулаков и капиталистов, о грядущей революции и вполне сочувствующий этим мечтам, хотя они и не имели к моей личной судьбе прямого отношения, — как мне тогда казалось! — я совсем не боялся этих людей — вовсе не жестоких и вовсе не кровожадных, а простых, добрых, хороших и справедливых русских крестьян и рабочих, измученных и доведенных до крайности преступной войной и вековой несправедливостью.

Это была настоящая Россия, а не та, которую выдумал Бунин, поддавшийся постыдному страху перед революцией, — ужасу, свойственному многим русским интеллигентам того времени.

Невольно вспоминалась мне автобиографическая заметка, написанная за два года до революции, где Бунин писал: «На первых порах чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я! Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик (каковым на самом деле я отроду не был)...»

Увы, как это ни больно, но теперь мне стало совершенно ясно, что Бунин именно испугался революции. Я думаю, в этом страхе перед революцией была главная трагедия Бунина, которую я наблюдал в годы, о которых пишу.

— Вы, конечно, не согласны со мной относительно «Скифов» и «Двенадцати», — сказал он резко. — Боюсь, что вы, как и многие молодые люди вашего возраста и положения, ваши друзья, вступили на неверный, скользкий путь, который увлечет вас в пропасть... — Он снова пронзительно посмотрел мне прямо в глаза и усмехнулся. — Однако, господа, если начинать, то пора начинать. — И с этими словами он из боковой двери поднялся по лестничке на

эстраду, сухо поклонился в ответ на легкие аплодисменты, затем уселся за шаткий столик, вынул из портфеля журнальный оттиск «Снов Чанга», взглянул на часы и, уже больше ни разу не посмотрев в полупустой освещенный зал, превосходно, четким, хорошо разносившимся голосом с великолепной дикцией прочел от доски до доски свой замечательный (тоже симфонический) рассказ, начинавшийся удивительными фразами, прозвучавшими, как траурные музыкальные аккорды:

«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон?»

Казалось бы, что за дело было всем этим людям, сидящим в разгар революции в осажденном городе, в холодном полупустом и дурно освещенном зале, до судьбы опустившегося пьяницы-капитана и его собаки Чанга, купленной в «пыльный и холодный день на широкой китайской реке» и привезенной потом на пароходе в Одессу?

Однако они просидели не шевелясь все сорок пять минут чтения, завороченные музыкой этой картинной симфонической прозы с ее перепадами ритма, синкопами и фразами, подобными мрачным аккордам, взятым руками великого органиста:

«И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением...»

Звучащее видение!..

Лишь один раз, на миг, отвлеклись слушатели от «Снов Чанга», когда за окнами, в черной бездне осажденного города, послышалась короткая пулеметная очередь, взрыв ручной гранаты-лимонки и чей-то голос негромко произнес в середине зала:

— Господа, по-моему, это стреляют на Малой Арнаутской...

В эту ночь я провожал Бунина по темному, зловеще притихшему городу. Бунин был, как мне казалось, недоброжелательно молчалив. Желая его отвлечь от тяжелых мыслей, я все время делал попытки сказать ему что-нибудь особенно для него приятное.

— Иван Алексеевич, вас, вероятно, много переводили на иностранные языки?

— Боже мой!..— раздраженно ответил он.— Ну, посудите сами: у меня, например, один рассказ начинается такой фразой: «На фоминой неделе в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда...» Попробуйте-ка это сказать по-английски или по-французски, сохранить музыку русского языка, тонкость пейзажа... «В ту прелестную пору, когда...» Невозможно! А что я стбю без этого? Нет, меня очень мало знают за границей... как, впрочем, и у нас в России,— с горечью прибавил он.

Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах и живя там столько, сколько живется, а как только надоест — отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым. Ничего лишнего. Грязную сорочку не отдавать в стирку, а просто выбрасывать, потому что гораздо интереснее и легче купить новую. Костюмы и ботинки — то же самое. В чемодане же — записные книжки, бумага и всякие мелочи, к которым привык.

— Вроде вашей пепельницы?

— Именно.

Он говорил в шутливом тоне, но, я думаю, в этом заключалась большая доля правды.

На меня производило впечатление, что Бунины всегда живут как бы на бивуаке, среди чужой мебели, чужих

квартир, драпри, посуды, ламп. Своего у них было лишь одежда, да постели, да пара плоских кожаных английских чемоданов с наклейками заграничных отелей.

Кстати, об этих наклейках.

Однажды Бунин на мой вопрос, к какому литературному направлению он себя причисляет, сказал:

— Ах, какой вздор все эти направления! Кем меня только не объявляли критики: и декадентом, и символистом, и мистиком, и реалистом, и неореалистом, и богоискателем, и натуралистом, да мало ли еще каких ярлыков на меня не наклеивали, так что в конце концов я стал похож на сундук, совершивший кругосветное путешествие, — весь в пестрых, крикливых наклейках. А разве это хоть в малейшей степени может объяснить сущность меня как художника? Да ни в какой мере! Я — это я, единственный, неповторимый — как и каждый живущий на земле человек, — в чем и заключается самая суть вопроса. — Он посмотрел на меня искоса, «по-чеховски». — И вас, милостивый государь, ждет такая же участь. Будете весь обклеены ярлыками, как чемодан. Попомните мое слово!

У него была полная возможность много раз уехать из опасной для него Одессы за границу, тем более что — как я уже говорил — он был легок на подъем и любил скитаться по разным городам и странам. Однако в Одессе он застрял: не хотел сделаться эмигрантом, отрезанным ломтем; упрямо надеялся на чудо — на конец большевиков, погибель Советской власти и на возвращение в Москву под звон кремлевских колоколов. В какую? Вряд ли он это ясно представлял. В прежнюю, привычную Москву? Вероятно, поэтому он остался в Одессе, когда в девятнадцатом году, весной, она была занята частями Красной Армии и на несколько месяцев установилась Советская власть.

К этому времени Бунин был уже настолько скомпрометирован своими контрреволюционными взглядами, которых, кстати, не скрывал, что его могли без всяких разговоров расстрелять и наверное бы расстреляли, если бы не его старинный друг, одесский художник Нилус, живший в том же доме, где жили и Бунины, на чердаке, описанном в «Снах Чанга», не на простом чердаке, а на чердаке «теплом, благоухающем сигарой, устланном коврами, уставленном старинной мебелью, увешанном картинами и парчовыми тканями...».

Так вот, если бы этот самый Нилус не проявил бешеной энергии — телеграфировал в Москву Луначарскому, чуть ли не на коленях умолял председателя Одесского ревкома, — то еще неизвестно, чем бы кончилось дело.

Так или иначе, Нилус получил специальную, так называемую «охранную грамоту» на жизнь, имущество и личную неприкосновенность академика Бунина, которую и приколотили кнопками к лаковой, богатой двери особняка на Княжеской улице.

...К особняку подошел отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела. Увидев в окно синие воротники и оранжевые распахнутые полшубки, Вера Николаевна бесшумно сползла вдоль стены вниз и потеряла сознание, а Бунин, резко стуча каблуками по натертому паркету, подошел к двери, остановился на пороге как вкопанный, странно откинув назад вытянутые руки со сжатыми изо всех сил кулаками, и судороги пробежали по его побелевшему лицу с трясущейся бородкой и страшными глазами.

— Если хоть кто-нибудь осмелится перешагнуть порог моего дома... — не закричал, а как-то ужасно проскрежетал он, играя челюстями и обнажив желтоватые, крепкие, острые зубы, — то первому же человеку я собственными зубами перегрызу горло, и пусть меня потом убивают! Я не хочу больше жить!

Мне тут же вспомнились строки его стихов:

«...Веди меня, вали под нож в единый мах — не то держись: зубами всех заем, не оторвут!»

И я ужаснулся.

Но все обошлось благополучно: особисты прочитали охранную грамоту с советской печатью и подписью, очень удивились, даже кто-то негромко матюкнулся по адресу ревкома, однако не захотели идти против решения священной для них Советской власти и молча удалились по притихшей, безлюдной улице мимо еще по-зимнему сухих стволов белой акации с грубой черно-серой корой, в глубоких трещинах которой угадывалась нежная лубяная желтизна.

В продолжение всей этой сцены я смотрел на улицу в окно, так что между моими глазами и отрядом особистов находился большой наружный термометр с шари-

ком ртути, в котором лучисто отражалось уже почти по-весеннему яркое, но все еще немного туманное солнце.

И вдруг я снова увидел и сразу узнал ее, ту самую девочку с дачи Ковалевского, которую описывал по совету Бунина пять лет назад.

Теперь ей было лет семнадцать; она стояла среди матросов и солдат, читая охранную грамоту, в распахнутом армейском полушубке и белом сибирском малахае, отодвинутом с оливково-смуглого, вспотевшего лба на затылок. Она держала в маленькой крепкой руке драгунскую винтовку, и ее зубы были стиснуты, подбородок выдавался вперед, как башмак, а на темном лице лунно светились узкие, злые и в то же время волшебнo-обольстительные глаза.

Наши взгляды встретились, и она погрозила мне — враждебному ей, незнакомому молодому человеку, находящемуся в квартире контрреволюционера Бунина, — своей ладной короткой винтовочкой.

И мы снова ненадолго потеряли из виду друг друга, а жизнь, на миг превратившаяся в страницу Гюго, опять потекла своей чередой.

Удивительно, что когда вскоре я встретил ее снова, то узнал не сразу.

«Начался трудовой, организационный период», — писал я по горячим следам событий.

«Всем оставшимся в городе новая власть большевиков предоставила право собираться и коллективно обсуждать устройство своей жизни. В большом, очень — как мне тогда представлялось — изящно отделанном зале так называемой «Литературки», где еще так недавно лакеи во фраках прислуживали эстетам в бархатных куртках и актрисам с разрисованными глазами, теперь стояли рыночные стулья и принесенные из дворницкой скамейки, на которых сидели взволнованные, выбитые из привычной колеи люди, главным образом беженцы с севера. Они должны были

определить свое отношение к Советской власти, наконец-то настигшей их на берегу Черного моря».

«Бунин сидел в углу, опираясь подбородком о набалдашник толстой палки. Он был желт, зол и морщинист. Худая его шея, вылезшая из воротничка цветной накрахмаленной сорочки, туго пружинилась. Опухшие, словно заплаканные глаза смотрели пронзительно и свирепо. Он весь подергивался на месте и вертел шеей, словно ее давил воротничок. Он был наиболее непримирим. Несколько раз он вскакивал с места и сердито стучал палкой об пол».

Примерно то же самое впоследствии написал и Олеша.

«...Когда на собрании артистов, писателей, поэтов он стучал на нас, молодых, палкой и, уж безусловно, казался злым стариком, ему было всего лишь сорок два года. Но ведь он и действительно был тогда стариком! И мало того: именно злым, костяным стариком — дедом!»

Хотя Олеша и ошибся в возрасте Бунина, которому тогда было уже под пятьдесят, но важен не возраст, а впечатление от этого возраста. Оно совпадает и с моим впечатлением. Именно был тогда злой старик.

А мы, молодые, те самые, на которых он стучал тогда палкой, были Багрицкий, Олеша, я...

Про нас тогда говорили в городе с некоторым страхом, смешанным с удивлением:

— Эти трое!

Я продолжал бывать у Бунина, хотя было ясно, что наши дороги расходятся все дальше и дальше. Я продолжал его страстно любить. Не хочу прибавлять: как художника. Я любил его полностью, и как человека, как личность тоже. Я не чувствовал в его отношении к себе сколько-нибудь заметного охлаждения, хотя и заметил, что

он все чаще и чаще очень пристально вглядывается в меня, как бы желая понять неясную для него душу современного молодого человека, зараженного революцией, прочесть самые его сокровенные мысли.

Он даже стал иногда как-то мелочно-придирчив, — например, он заметил однажды, что я стал носить на руке в виде браслета золотую цепочку с какой-то висюлькой.

Нахмурился.

— Что это за фатовство? Вы не барышня, чтобы носить золотой браслет.

— Он совсем не золотой, — сказал я, — а медный, позолоченный, дутый.

— Тем более. Настоящий золотой — это еще туда-сюда. А дутый, да еще и фальшивого золота — совсем пошло. Запомните: человек должен пользоваться и украшаться — если уж он решил украшаться! — только настоящим, подлинным... Ничего поддельного, фальшивого! А что это болтается на нем за штучка?

— Это осколок, который у меня извлекли из верхней трети бедра, — сказал я не без хвастовства, но все же покраснев до корней волос.

Бунин взял мою руку и опустил себе на ладонь острый обрывок меди с вдавленной трехзначной цифрой — кусочек центрального пояса немецкого снаряда, который мог — попади он в голову — в один миг прекратить мою жизнь; внимательно осмотрел осколок со всех сторон и спросил:

— Это сидело в вашем теле?

— Да, в верхней трети бедра, — повторил я с удовольствием.

— Ну, так и носили бы его на простой стальной цепочке. Это было бы гораздо лучше. А дутое американское золото не достойно вашего настоящего, — подчеркнул он, — осколочка. Оно только унижает его. Как это было? Только не сочиняйте.

— Меня подбросило, а когда я очнулся, то одним взглядом увидел лежащую под щекой землю, а сверху на меня падали комья и летела пыль и от очень близкого взрыва едко пахло как бы жженым целлулоидным грешком.

— Ну, носите на здоровье, если вам хочется казаться богаче, чем вы есть на самом деле, — подумав, сказал Бунин.

Было знойное лето, пустынный, вымерший город, закрытые лавки, молчаливый рынок, где приезжие мужики торопливо обменивали муку на городские вещи. Отсутствовали табак и спички.

Я принес Бунину большое увеличительное стекло, выпуклое из желтого соснового ящика Афонской панорамы. Эта панорама, купленная во время нашего путешествия за границу, считалась очень ценной вещью и стояла на третьем месте после маминогo пианино и стeнных столовых часов с боем, выигранных некогда в лотерею-аллегри.

Круглое увеличительное стекло, вделанное в крышку ящика с латунным крючком, волшебнo приближало выпукло увеличенные, по-литографски яркие открытки, крупнозернистые изображения знаменитой мечети Айя-София с пирами минаретов по углам или старинного кладбища в Скутари с беломраморными столбиками мусульманских надгробий и почти черными кипарисами на фоне лубочного, сплошь ультрамаринового неба без единого облачка.

Я завернул волшебное стекло в лист самой лучшей своей бумаги, на которой написал следующий мадригал:

«Ивану Бунину при посылке ему увеличительного стекла.

Примите от меня, учитель, сие волшебное стекло, дабы, сведя в свою обитель животворящее тепло, наперекор судьбе упрямой минуя «спичечный вопрос», от солнца б зажигали прямо табак душистых папирос.

В дни революций, и тревоги, и уравниения в правах одни языческие боги еще царили в небесах. Но вот, благодаренье небу, настала очередь богам. Довольно Вы служили Фебу, пускай же Феб послужит Вам».

Оставив без внимания мою стилизацию, Бунин скрутил самодельную папиросу из остатков скверного черного табака, взял стекло и навел на кончик самокрутки пучок солнечных лучей, бивших в пыльное окно из города, охваченного мертвой тишиной.

В жгуче суженном до размера точки кружочке фо-

куса появился седой дымок — как будто бы где-то далеко в степи загорелась сухая скирда соломы, — и Бунин стал курить, подставив под папиросу знакомую пепельницу, которая на этот раз показалась мне не так ярко начищенной самоварной мазью, как в былые дни.

— Благодарствуйте, — сказал Бунин, пожимая мне руку. — Вы меня выручили. Ваш должник!

Осенью опять переменилась власть. Город заняли денкиинцы. И вот однажды темным, дождливым городским утром — таким парижским! — я прочитал Бунину свой последний, только что тщательно выправленный и переписанный набело рассказ об одном молодом человеке — на этот раз я его из чувства упрямства сделал студентом, который, вроде пушкинского Германна, был игрок, одержимый манией во что бы то ни стало выиграть в карты много денег, в то время как другой молодой человек — его я из чувства все того же упрямства и противоречия сделал актером маленького бульварного театра миниатюр — завидует студенту и даже хочет его убить из револьвера, но не убивает по чистой случайности, причем все это разворачивается, разумеется, при участии обольстительной балерины, на фоне доживающего свои последние дни, разлагающегося, обреченного буржуазного города, осажденного Красной Армией. Как я сейчас понимаю, главная ценность рассказа заключалась именно в передаче ощущения социальной обреченности накануне революционного восстания, когда на окраинах, в рабочих кварталах, подпольщики достают спрятанное оружие и «новый день, обозначившийся светлой полосой за черными фабричными трубами, был последним днем Вавилона».

Бунин молча слушал, облокотившись на лаковый столик, и я со страхом ожидал на его лице признаков раздражения или — чего доброго — прямой злости. Но его глаза были утомленно сужены, устремлены куда-то вдаль, будто он и впрямь видел над по-верхарновски черными фабричными трубами кровавый, революционный рассвет, — и вся его фигура, даже расслабленные пальцы руки, в которых он держал дымящуюся папиросу над медной чашкой пепельницы, выражали глубокое огорчение, почти нескрываемую боль.

— Я здесь пытался применить ваш принцип симфонической прозы, — сказал я, окончив чтение.

Он взглянул на меня и сказал с горечью, как бы отвечая на свои мысли:

— Ну что ж. Этого следовало ожидать. Я уже здесь не вижу себя. Вы уходите от меня к Леониду Андрееву. Но скажите: неужели вы бы смогли — как ваш герой — убить человека для того, чтобы завладеть его бумажником?

— Я — нет. Но мой персонаж...

— Неправда! — резко сказал Бунин, почти крикнул: — Не сваливайте на свой персонаж! Каждый персонаж — это и есть сам писатель.

— Позвольте! Но Раскольников...

— Ага! Я так и знал, что вы сейчас назовете это имя! Голодный молодой человек с топором под пиджачком. И кто знает, что переживал Достоевский, сочиняя его, этого самого своего Раскольникова. Одна фамилия чего стоит! Я думаю, — тихо сказал Бунин, — в эти минуты Достоевский сам был Раскольниковым. Ненавижу вашего Достоевского! — вдруг со страстью воскликнул он. — Омерзительный писатель со всеми своими нагромождениями, ужасающей неряшливостью какого-то нарочитого, противоестественного, выдуманного языка, которым никогда никто не говорил и не говорит, с назойливыми, утомительными повторениями, длиннотами, косноязычием... Он все время хватает вас за уши и тычет, тычет, тычет носом в эту невозможную, придуманную им мерзость, какую-то душевную блевотину. А кроме того, как это все манерно, надуманно, неестественно. Легенда о великом инквизиторе! — воскликнул Бунин с выражением гадливости и захохотал. — Вот откуда пошло все то, что случилось с Россией: декадентство, модернизм, революция, молодые люди, подобные вам, до мозга костей зараженные достоевщиной, — без пути в жизни, растерянные, душевно и физически искалеченные войной, не знающие, куда девать свои силы, способности, свои подчас недюжинные, даже громадные таланты... Ах, да что говорить! — Он с отчаянием махнул рукой.

Может быть, он первый в мире заговорил о потерянном поколении.

Но наше русское — мое — поколение не было потерянным. Оно не погибло, хотя и могло погибнуть. Война его искалечила, но Великая Революция спасла и вылечила. Какой бы я ни был, я обязан своей жизнью и своим творчеством Революции. Только Ей одной.

Я сын Революции. Может быть, и плохой сын. Но все равно сын.

Это были последние месяцы перед нашей разлукой навсегда. Вот некоторые мысли Бунина того времени, поразившие меня своей *необщепринятостью*:

— Вы знаете, при всей его гениальности, Лев Толстой не всегда безупречен как художник. Есть у него много сырого, лишнего. Мне хочется в один прекрасный день взять, например, его «Анну Каренину» и заново ее переписать. Не написать по-своему, а именно переписать — если будет позволено так выразиться, — переписать набело, убрав все длинноты, кое-что опустить, кое-где сделав фразы более точными, изящными, но, разумеется, нигде не прибавляя от себя ни одной буквы, оставив все толстовское в полной неприкосновенности. Может быть, я это когда-нибудь сделаю, разумеется, как опыт, исключительно для себя, не для печати. Хотя глубоко убежден, что отредактированный таким образом Толстой — не каким-нибудь Страховым, а настоящим, большим художником — будет читаться еще с большим удовольствием и приобретет дополнительно тех читателей, которые не всегда могут осилить его романы именно в силу их недостаточной стилистической обработки.

Можно себе представить, какую бурю самых противоречивых чувств вызывали в моей слабой, молодой душе подобные мысли, высказанные моим учителем очень простым, даже обыденным тоном, лишенным какой бы то ни было рисовки или желания, как тогда любили выражаться, «эпатировать», но с той несокрушимой силой внутреннего убеждения, которая действует еще сильнее, чем сама истина.

Подобным образом говорить о Достоевском и Толстом! Это сводило меня с ума. Но... почему бы, в конце концов, и нет? Я уже и тогда подозревал, что самое драгоценное качество художника — это полная, абсолютная, бесстрашная независимость своих суждений. Ведь, в конце концов, тот же самый великий Лев Толстой совершенно спокойно, не считаясь ни с чем, подверг уничтожающей критике самого Шекспира, взявши под сомнение не только ценность его мыслей, но и просто-напросто высмеяв его как весьма посредственного — точнее, никуда не годного — сочинителя. А что сделал Толстой с Вагнером, с современными французскими поэтами, с великим Бодле-

ром, Верленом!.. Уму непостижимо. Он даже и до Пушкина добирался в конце своей жизни. Добирался, добирался!

Ну и что?

Толстой остался Толстым, Шекспир — Шекспиром, Вагнер — Вагнером, Бодлер — Бодлером. Все осталось на своем месте. Даже такому великану, как Лев Толстой, не удалось поколебать мировые струны.

Но это я понял гораздо позже, когда окреп сердцем и разумом. А в те дни со сладким ужасом слушал я слова моего учителя.

На мой вопрос о Скрябине, о его новаторской музыке, о его попытках каким-то образом соединить звук и цвет, о его странной оркестровке и небывалом контрапункте Бунин отозвался примерно так:

— Скрябин?.. Гм... Вы хотите знать, что такое Скрябин и что из себя представляет его музыка, например «Поэма экстаза»? Могу вам рассказать. Представьте себе Большой зал Московской консерватории. Сияние люстр. Овальные портреты великих композиторов, громадный орган и перед ним симфонический оркестр — скрипки, пюпитры, ослепительные пластроны и белые галстуки музыкантов, каждый из которых в своей области знаменитость. Публика — самая изысканная: великие московские знатоки и ценители музыки, курсистки, профессора, артисты, богачи, первые красавицы, офицеры — цвет московской интеллигенции. Легкий озноб ожидания. Зал наэлектризован. Сдержанное нетерпение доходит до высшей точки, но вот, вскинув фалды фрака, дирижер взмахнул палочкой — и началась знаменитая симфония — последнее, самое революционное слово современной модернистской, декадентской музыки. Ну-с... как бы вам описать эту симфонию наиболее популярно? Попробую. Итак, «ударили в смычки». Кто в лес, кто по дрова. Но пока еще более или менее общепринято, как и подбаивает в стенах знаменитой Московской консерватории. И вдруг совершенно неожиданно отчаяннейшим образом взвизгивает скрипка, как поросенок, которого режут: «И-и-ихх! И-и-ихх!» — При этом Бунин сделал злое лицо и, не стесняясь, завизжал на всю квартиру. — А потом взвился истошный, раздирающий вопль трубы...

— Иоанн, ты совершенно обезумел! — с ужасом вос-

кликнула Вера Николаевна, вбегая в комнату и затыкая уши мизинцами.

— Это я популярно объясняю, что такое «Поэма экстаза» Скрябина,— сухо сказал Бунин, устремив на меня пронзительный взгляд.— А вы, конечно, в восторге от «новой музыки», как и подобает молодому современному поэту, поклоннику Достоевского и Леонида Андреева?

— Я никогда не слышал симфонических вещей Скрябина, но фортепьянные мне очень нравятся,— сказал я, желая быть независимым. (Я даже собирался писать рассказ, где главное действующее лицо играет прелюдию Скрябина...)

Но, взглянув на Бунина, на ядовитое выражение его геморроидального лица, неуверенно добавил:

— Но, конечно, можно, чтобы мой герой играл Грига...

— А может быть, Чайковского? — спросил Бунин с непонятной интонацией.

— Можно, конечно, и Чайковского,— сказал я.

— Вот-вот,— как-то вскользь радостным голосом бросил Бунин.— Григ или Чайковский, грустная природа Левитана, мягкий юмор Чехова... Героиня, разумеется, бывшая актриса. Желтые листья. Одиночество. Акварельные краски...

И вдруг неожиданно:

— Андерсена любите?

— Н...да.

— Я так и предполагал. Вера, оказывается, он любит Андерсена. Теперь пошла мода на Андерсена. Или даже на Александра Грина. Так вот, когда будете писать свой рассказ, то, кроме Грига, Чайковского, Левитана и Чехова, не забудьте Андерсена: упомяните бедного оловянного солдатика, обуглившуюся бумажную розу или что-нибудь подобное, если удастся, присоедините к этому какого-нибудь гриновского капитана с трубкой и пинтой персиковой настойки — и успех у интеллигентных провинциальных дам среднего возраста обеспечен. О нет, вы напрасно улыбаетесь, милостивый государь. Именно эти дамы — поклонницы Грина и Грига — делают писателю славу, создают репутацию романтика, почти классика. Поверьте травленому литературному волку. Вы еще меня вспомнете не раз. Ах,— вдруг сказал он без всякой видимой связи,— да в этом ли дело? Самое главное — научиться писать просто.

— Вы ли пишете не просто? — воскликнул я.

— Нет, не то. Не так. А совсем, понимаете ли, совсем, совсем просто. Уж чтобы проще некуда! Существительное, глагол, точка, ну — может быть! — самое необходимое придаточное предложение, по-детски ясное. Как басня. Как молитва. Как сказка. Случилось соловью на шум их прилететь. Ворона видит сыр, ворону сыр пленил. А может быть, и так: «Сказка о Козе».

И начал как-то зловеще, таинственно, глухо:

«Это волчьи глаза или звезды — в стволах на краю перелеска? Полночь, поздняя осень, мороз. Голый дуб надо мной весь трепещет от звездного блеска, под ногою сухое хрустит серебро. Затвердели, как камень, тропинки, за лето набитые. Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза! Расцветают, горят на железном морозе несытые Волчьи, божьи глаза».

Здесь, конечно, тоже была простота, но совсем не та, о которой только что говорил Бунин: не басня или молитва, не сказка, а нечто вроде притчи. Скорее всего, видение. О Козе и Волке. Коза и Волк с большой буквы. Страшное пророческое видение — притча, написанная серебром на черно-вороненом, уже почти зимнем небе: голый дуб, трепещущий от звездного блеска, и под ним одна, одна, совершенно одна, до ужаса одна отбившаяся в эту морозную полночь коза: старая, со впалыми жесткими боками, русская нищая коза с мудрым, иссохшим, истерзанным лицом Ивана Бунина, с исплуканными глазами великомученицы и в то же время великой грешницы, блудницы, не имеющей силы отвести взоров от карающих божьих глаз, которые расцветают, грозно горят на железном морозе, словно глаза какого-то древнего, мерцающего инеем волка-оборотня, и этот поджарый, щелкающий желтыми зубами волк есть в то же время как бы еще одно новое воплощение все того же Бунина — одновременно и Козы с глазами будды, и Волка, и жертвы, и узкобородого палача в длинной до земли кавалерийской шинели, и дьявола, и бога.

Самое ужасное заключалось в том, что я постепенно терял контроль над своим уходящим сознанием, погружаясь в тяжелый, призрачный мир неопишуемых сновидений, чувствуя лишь свинцовое гудение крови, разогретой

до сорокаградусной температуры по Цельсию,— по очереди превращался то в Козу, то в Волка, бредущих друг за другом по набитым тропинкам, затвердевшим на морозе, словно камень.

Меня крупно знобило, морозило от полярной стужи, не попадал зуб на зуб, предсмертная тошнота подступала к горлу, и ни капли тепла не было вокруг, как в брошенном стальном бронепоезде — среди бесконечных пространств, среди этих тонких, негреющих, госпитальных одеял навсегда замерзшего Ледовитого океана, над которым переливалась стеклярусом толстая короткая занавеска северного сияния, еще более усиливая стужу, и в глаза мне смотрела остановившаяся прямо надо мной голая электрическая лампочка Полярной звезды,— смотрела, смотрела, смотрела и никак не могла насмотреться на меня своим убивающим взглядом слабого накала.

Меня посещали пророческие видения, которые я тут же навсегда забывал, но одно из них все-таки оставило слабый след в моей памяти.

...Человек, который, задыхаясь, бежал по каменным, раскаленным дворам монастыря Чойжин-ламы, одного из самых жестоких и грозных лам, носившего титул государственного оракула. Некогда Чойжин-лама обратился к маньчжурскому императору с просьбой дать имя его монастырю и получил название «Дарующий благоденствие», которое теперь было начертано на щите у входа в главный храм на маньчжурском, монгольском, китайском и тибетском языках.

Его преследовали. Он вбежал в храм, покрытый снаружи и внутри изображениями отрезанных человеческих голов и внутренних органов, висящих на разноцветных шелковых лентах. Эти изображения символизировали врагов религии и были призваны показать, что такая участь ждет неверующих и еретиков в загробной жизни.

Человек этот был Революционер и бежал из Города, временно захваченного Восставшими Ламами. Он надеялся спастись в храме, спрятавшись за сиденьем левого ряда, где во время богослужения находился один из высших Лам — халибо-лама, а перед ним были разложены предме-

ты культа: колокольчики, бубны, литавры, барабаны, трубы, раковины и стальной молитвенный жезл очир, дающий жрецу силу и власть над человеческой жизнью. Вокруг были изображения рая, а также горячего и холодного ада с голыми фигурами терзаемых грешников. Три громадные коралловые маски, изображающие ужасного бога Жамсарана с разинутой пастью, смотрели на спрятавшегося человека зияющими глазницами, а так как человек, пробегая в тесноте храма, задел плечом бронзовый гонг, то в воздухе волнами плыл приглушенный гул, колебля синеватые дымки топких и длинных ароматических свечек, время от времени роняющих сизый пепел на серебряные подносы.

Затем послышался топот ног, обутых в монгольские сапоги, в храм вбежали Враги и схватили человека, уцепившегося обеими руками за небольшую, позолоченную статую женщины — будды с обольстительно тонкой талией, скользкой улыбкой тонких козжих губ, коварно опущенными веками и стройными ногами, скрещенными таким образом, что их узкие позолоченные подошвы были каким-то образом повернуты вверх, к небу.

Человек бросился на пол. Но его схватили, поволокли, прижали к синему столбу с золотыми разводами, и бритоголовый Лама, скрипнув зубами, выхватил из-за пояса китайский пастушеский нож в сандаловых ножнах, выложенных мягким серебром, с треском вонзил узкое лезвие с глубоким желобком в грудь Революционера, просунул в багрово-красное, как бы раскаленное устье раны-цветка свою мускулистую, обнаженную до плеча руку борца и вырвал сердце, а распростертый труп человека отбросил ногой прочь с дороги, как падаль.

И этот труп Человека был Я, и это мое сердце привязали шелковым китайским шнурком к знамени контрреволюционного восстания, и оно полетело над всадниками, над развевающимися гривами лошадей, сбивавших копытами головки желтого мака, над острыми вершинами Хинганского хребта, над пустыней Гоби, где жарко свистел шелковый китайский ветер.

...Я лежал посреди раскаленного монастырского двора с вырванным сердцем, и на меня смотрели маленькие бронзовые львы, похожие на лягушат, сплошь покрытых зелеными улитками шерсти, над курильницами плыл

угарный дым сухих трав, и желтая карета богдо-гэгэна промелькнула меж красных золоченых столбов монастырских ворот с тяжелой, но стройной черепичной крышей, с поднятыми кверху углами, увешанными безмолвными колокольчиками. И в тот же миг я превратился в того железного, грубо сваренного колченого человека с мучительно вывернутыми, воздетыми вверх обрубками рук и рваной дырой посередине прямоугольного туловища, которого я однажды — сорок лет тому вперед — вдруг увидел посреди кирпичных развалин взорванного фашистами Роттердама, и чайки мрачного Северного моря с отчаянными криками пролетали туда и назад сквозь брешь в моей груди, где некогда билось сердце...

О, если бы кто-нибудь знал, какая мука быть железным человеком-городом с вырванным сердцем, обреченным на вечную неподвижность и безмолвие на своем бетонном цоколе, и в то же время быть распростертым на льдине с мертвыми открытыми глазами, в которых отражается маленькая Полярная звезда.

И когда я уже не мог больше сопротивляться этой муке и готов был навсегда погрузиться в ледяную прорубь, в ту неизмеримую глубину, где по ледяному коридору в сказочно-зеленой воде двигался сигарообразный «Наутилус» и капитан Немо, скрестив на груди руки, судорожно вдыхал последние капли кислорода, меня начинали посещать божественные видения такой небесной красоты, что останавливалось бедное земное время и начиналось какое-то иное, высшее время, как бы навсегда сделавшее мое тело нетленным.

Я испытывал какой-то душевный восторг — «Поэму экстаза» — с высоким воплем трубы, взлетевшим над глухим шепотом скрипок, — достигший своей высшей мыслимой грани, высшего блаженства и там остановившийся навсегда.

Иногда я как бы всплывал на поверхность и начинал ощущать — хотя и очень слабо — свое истощенное, обесиленное тело, покрытое тонким лазаретным одеялом, пропускавшим полярный холод.

Ко мне частично возвращались чувства, и я слышал устойчивый запах йодоформа и карболки, делавший то странное пространство, среди которого я находился, похожим на непомерно громадный запущенный вокзал — некую сыпнотифозную Жмеринку моих военных кошмаров, — наполненный бетонным гулом, хаосом ручного багажа, из которого вдруг вблизи от меня появлялись знакомые фигуры отца в стареньком демисезонном пальто и каких-то пестрых старушечьих варежках и младшего брата Жени — будущего Евгения Петрова — в съеденном молью верблюжьем башлыке. Они стояли передо мной, в отчаянии опустив руки, и я видел слезы, которые текли по щекам и поседевшей бороде отца, и темные глаза Жени, полные боли, жалости и ужаса.

Я понимал, что они думают, будто я умираю, вот-вот, сию минуту на их глазах кончусь, а может быть, уже умер и тело мое костенеет, и в то же время всей своей пробуждающейся, ликующей душой я уже знал наверняка, что кризис прошел благополучно и что я теперь буду жить, жить, жить, очень долго, может быть даже вечно, и чувствовал начавшийся прилив жизни, но только ничего не мог им сказать, даже улыбнуться...

Я слышал их как бы очень удаленные, слабые голоса, повторявшие мое имя, но, кроме этого, я еще слышал гораздо более отдаленные военные звуки, каким-то образом дававшие мне понятие о положении в городе, о последних часах его Осады и об эвакуации, воплотившейся в обнаженный лес паровозных гудков.

Наверное, в тот час навсегда покидал родину мой Бунин!

И я снова погрузился в глубину счастливых сновидений, а когда однажды проснулся, то по разным признакам понял, что вокруг меня уже началась какая-то совсем новая жизнь, и молодые поэты писали на чем попало: на оборотной стороне периодической таблицы Менделеева, разрезанной для удобства на прямоугольнички; на листах бледно-розовой тончайшей бумаги старого мира — так называемой аптекарской, поразительно непрочной, не способной пережить эпоху, почти невесомой, распадающейся в руках, как пепел; или на плотных, устойчивых страницах, выданных из тюремной книги, куда — при старом режиме — вносились денежные поступления для арестантов и где четко чернели на не успевавшей еще пожелтеть бумаге печатные графы: «Порядковый номер», «Фамилия, имя,

отчество», «Сумма руб. и коп.», «На какой предмет», «Разрешено или отказано». Книга эта после взятия города конницей Котовского и разгрома тюремного замка вместе со всем его архивом попала на рынок и была продана «на писчую бумагу».

Теперь — больше сорока лет тому вперед — я перебирал (или перебираю?) обветшалые листки с ломко осыпающимися краями, как бы сожженными серной кислотой времени.

Стихи, правду сказать, были так же плохи, как и тогда, но кусочки бумаги, на которых они были нацарапаны, хранили следы моего еще не вполне определившегося почерка, вероятно, так же, как кора головного мозга хранит отпечатки всех впечатлений жизни под надежной охраной механизма памяти, ключом к которому наука еще не овладела.

То, что было тогда «тому вперед», теперь стало «тому назад».

Рассматривая и перебирая эти чудом уцелевшие в моих папках полуистлевшие бумажки, я как бы на ощупь прокладывал путь сквозь безмолвные области подсознательно в темные хранилища омертвевших сновидений, стараясь их оживить, и сила моего воображения оказалась так велика, что я вдруг с поразительной, почти осязаемой достоверностью и ясностью увидел внутренность тесной мазаной хаты, на две трети заваленной желтой душистой соломой, и закопченное устье вымазанной мелом печи с закругленными углами, что делало ее похожей на портал маленькой театральной сцены, в глубине которой разыгрывалась феерия какого-то пожара, тревожно освещавшая фигуру единственной зрительницы — девушки в домотканой юбке, выкрашенной луковой шелухой.

Она сидела на скамеечке перед печкой и грубой, но хорошенькой ручкой щипала кудель. На конце ссученной шерстяной нитки, танцую и крутясь, но не доставая на волосок мазаного глиняного пола, висело серое веретено. А босая девичья нога с очень короткими пальчиками и совсем уже короткими, еле прорезавшимися ноготками

прилежно нажимала на рейку, и порхающий ветерок дул в лицо от крутящегося колеса.

Старуха иногда слезала задом с печки и, присев на корточки перед печью, запихивала в устье громадные охапки соломы, с трудом обхватывая их черными руками.

Солома быстро совершала цикл сгорания.

Сначала она ненадолго обволакивалась молочно-белым опаловым дымом, который сочился сквозь пористое тело соломенной охапки, через мгновение вспыхивала, охваченная со всех сторон чистым золотом пламени, в котором был как бы сосредоточен и сохранен весь нестерпимый зной июльского полевого полудня, обжигающего лицо своим сухим целебным дыханием, и сейчас же, вдруг, делалась угрюмой, маково-красной; затем темнела, становясь маково-черной, мрачной, как бумажный пепел, и после этого глубина печки скучно пустела, как сцена театра с убранными декорациями и таким громадным пустым полом, словно там никогда ничего не представляли.

Тесная хата, еще совсем недавно наполненная жаром и светом, вдруг сразу, без перехода, делалась могильно-темной, холодной, выстуженной так, что молодой человек, разложивший свои листки на выскобленном столе перед крошечным окошечком, не без труда разбираал собственный почерк.

Этот молодой человек — совсем еще на вид юноша — был я.

Вернее сказать, он мог быть мною, если бы я обладал силой воскресить себя того, давнего, молодого... Но так как у меня нет этой волшебной силы, то сейчас, когда пишутся эти строчки, я могу считать его лишь некоторым своим подобием, несовершенным воплощением моего теперешнего представления обо мне самом того времени, — если время вообще существует, что еще не доказано! — времени, оставившего единственный матерьяльный след в виде ветхих листков бумаги, исписанной дрянным карандашом номер четвертый, который не писал, а скорее царапал.

Меня того, прежнего, юного, уже нет. Я не сохранился. Карандаш исписался. А плохие стихи, нацарапанные на бумаге, легкой, как пепел, — вот они! — остались. Разве это не чудо?

«Пшеничным калачом заплетена коса вокруг милой головы моей уездной музы, в ком сочетается неяркая краса крестьянской девушки с холодностью медузы».

«С ней зимним вечером вдвоем не скучно нам: кудахчет колесо взволнованной насадкой и тени быстрых спиц летают по углам, крылами хлопая под визг и ропот редкий».

«О чем нам говорить? Я думаю, куря, она молчит, глядит, как в окна лепит — вьюга. Все тяжелей дышать. И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга».

Эти стансы, сочиненные в духе так называемой «южнорусской школы», чрезвычайно нравились самому автору, в особенности то место, где «сочетается неяркая краса крестьянской девушки с холодностью медузы». Приведенные строки должны были дать представление о широком лице и о крупных, как бы немного студенистых, ничего не выражающих — лиловатых — глазах цвета хорошо известной мне черноморской медузы или — если угодно — головы Медузы Горгоны, что также соответствовало немного мифологическому стилю того романтического времени.

Если бы мне сейчас пришлось описывать глаза этой хорошенькой деревенской таракуцки¹, — впрочем, зачем? — то я, скорее всего, сравнил бы их с бараными глазами врубелевского Пана, тем более что, сколько помнится, в окошке виднелся рожок желтого месяца, но это не меняло дела: стихи все равно никуда не годились, как подавляющее большинство описательных стихов, и, в сущности, были сочинены ради двух последних строчек — безусловно лживых, так как поздняя заря еще никогда не находила поэта и его сельскую музу в объятиях друг друга: невинная девушка обычно спала на печке вместе со старухой, а стихотворец устраивался на сухом глиняном полу под столом на рядне, на остатках сухого куриного помета и соломы, положив под голову полевую походную сумку с рукописями и укрывшись латаным-перелатаным бараньим коужухом, который удалось выменять в Балте на

¹ Т а р а к у ц к а — это маленькая высушенная тыквочка, которой обычно играли на Украине деревенские дети. Этим же словом в шутку называли хорошенькую, круглолицую девушку. (Примеч. автора.)

базаре за почти новую трофейную английскую шинель, полученную в хозяйственном отделе губревкома по записке С. Ингулова.

Стихи, по расчету молодого человека, должны были произвести сильнейшее впечатление на одну гражданку, с которой он познакомился незадолго до отъезда в командировку, не успев начать с ней романа, даже как следует ее не рассмотрев, но решив наверстать упущенное сейчас же после возвращения в город.

Пишу «гражданка» потому, что в то легендарное время дореволюционные слова вроде «барышня» или «мадемуазель» были упразднены, а слово «девушка» как обращение к девушке, впоследствии введенное в повседневный обиход Маяковским, еще тогда не вошло в моду и оставалось чисто литературным. Сказать же «молодая особа» было слишком в духе Диккенса, старомодно, а потому смешно и даже непристойно. «Красавица» — еще более смешно. «Дама» — оскорбительно-насмешливо. Оставалось «гражданка» — что вполне соответствовало духу времени, так как напоминало «Боги жаждут» Анатоля Франса, книгу, которая вместе с «Девяносто третьим годом» Гюго — за неимением советских революционных романов — была нашей настольной книгой, откуда мы черпали всю революционную романтику, эстетику и терминологию.

Теперь я бы просто сказал «девушка», тогда же можно было сказать только «гражданка», в крайнем случае «молодая гражданка» — не иначе!

...А под тип таракуцки она не подходила...

Я — или, вернее, он — предвкушал день, когда вдруг появлюсь в «коллективе поэтов» или на эстраде в «зале депеш» ЮгРОСТА — возмужавший, обветренный, полный впечатлений, слегка ироничный, совсем не сентиментальный, пусть даже грубый — и швырну на стол, покрытый кумачом, сверток новых стихов и начну их читать наизусть, — конечно, нараспев! — разумеется, не все стихи, а только самые лучшие. Сначала одно или два. А потом по настойчивым требованиям восторженной, но бесплатной аудитории и все остальное: двенадцать лирических стихо-

творений, довольно длинную революционную поэму, написанную белым пятистопным ямбом, несколько старых сонетов из цикла «Железо», но, конечно, в первую очередь:

«...И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга».

Не следует думать, что я — или, если вам угодно, тот молодой человек — находился в творческой командировке в деревне. Новорожденная Советская республика посылала своих поэтов в командировки совсем другого рода.

Он был командирован отделением ЮгРОСТА с мандатом ревкома в один из самых глухих уездов, имея задание навербовать для ежедневных бюллетеней как можно больше волостных и сельских корреспондентов. Для этой цели ему были выданы заранее заготовленные бланки с печатями, куда оставалось лишь вписать фамилию завербованного корреспондента — «волкора» или «селькора» — и вручить ему небольшую печатную инструкцию с перечислением всех его прав и обязанностей.

Прав было маловато, зато обязанностей вагон, как тогда любили выражаться, и в первую голову — обязанность бесстрашно бороться со всеми злоупотреблениями местных властей и нарушениями священной революционной законности.

Именно этот пункт первый означенной инструкции и спас мою жизнь — или, если угодно, жизнь героя этой повести, — о чем будет своевременно рассказано на этих страницах.

В мандате же, выданном ревкомом, предлагалось всем без исключения лицам, учреждениям и воинским частям оказывать всемерное содействие предъявителю сего, имеющему право пользоваться всеми без исключения видами транспорта, до аэропланов, мотодрезин, воинских эшелонов и паровозов включительно.

На практике командированные пользовались преимущественно подводами, которые со страшной неохотой наряжали местные власти, замученные гужевой повинностью.

Я дал ему свою телесную оболочку и живую душу, но имени своего давать не захотел, опасаясь сделаться чем-то вроде человека без тени.

Я назвал его Рюрик Пчелкин. Чем не имя для русского молодого человека, рожденного в конце XIX века, совсем перед революцией, когда вдруг неизвестно почему в моду вошли изысканные великокняжеские: Игорь, Глеб, Олег, Рюрик, Святослав?

После этого я вздохнул с облегчением, отныне пережив все свои заботы на чужие плечи.

Рюрик Пчелкин целыми днями трясся на подводе по уезду, заезжая в волостные правления, где предьявлял свой мандат, и председатель волисполкома определял его на постой в какую-нибудь хату, куда его и водворял сотский, предварительно постучав в окошечко бузиновым батоном, символом своей власти.

— Эй, хозяйка, принимай уполномоченного!

— А чтоб вам повылазило! Чего вы до меня причепились? Хиба не можно поставить человека у кого-нибудь другого?

— Не можно: очередь вашей хаты.

— Батьке вашему так.

После чего, постояв некоторое время перед дверью на вросшем в землю плоском поздраватом камне, Пчелкин нажимал пальцем железную щеколду, неуверенно переступал через порог и входил в темные сени, а затем на ощупь в еще более темную хату, где остро пахло куриными перьями, сухой глиной и пшеничной половой.

Когда же глаза его после яркого вечернего света на улице наконец привыкали ко тьме, то он видел перед собою старуху в клетчатой поневе и степенно снимал кепку с наголо остриженной бледно-голубой головы, стараясь произвести впечатление человека самостоятельного, понимающего толк в деревенском обращении. Скромно пряча глаза, он размахисто крестился на икону, а затем преувеличенно низко кланялся хозяйке.

— А сам, наверное, в бога не веришь? — спрашивала не без иронии старуха.

— Верю, бабушка.

— Ну и брешешь, седай на скамейку. Здесь будешь спать.

— Покорно вас благодарю.

— Смотрите, какой цикавый! Ему еще сидеть у мамки под юбкой, а он уже ездит уполномоченным. Вы, извиняй-

те, по какому делу уполномоченный? Если забирать хлеб по разверстке, то опоздали. Уже все. Чисто. А если по самогону, то не гоним, не занимаемся этим делом.

— Нет, я журналист.

Старуха с презрением собирала морщинистые губы на манер того, как затягивают на тесемочку кисет.

— Канцелярский, значит?

И никак невозможно было объяснить ей, что такое журналист.

А тем временем с печки, осторожно переставляя босые пятки по уступам припечки, уже спускалась, прижимая к груди поливленную миску с горкой голубого мака, стогающая от любопытства хорошенькая таракуцка, делая вид, что ничуть не интересуется молоденьким цикавеньким уполномоченным, и на ее круглом лице, вымазанном огуречным рассолом, возле телесно-розового ротика прилипло к тугой пунцовой щеке белое огуречное семечко.

Примерно так было в каждой деревне, где Пчелкин с большим удовольствием останавливался на день или два, а случалось, даже и на три, по принципу: «сколько хватит вашей совести».

Там после городской голодовки он вволю отъедался серым пшеничным калачом, соленым свиным салом, нарезанным кубиками, квашеными зелеными помидорами, кулешом, мамалыгой и прочей грубой, но сытной деревенской едой, которой угощали его женщины, в конце концов примирившись с постояльцем, порядочно-таки отощавшим в губернском центре, где люди жили по карточкам, имевшим скорее символическое значение, так как по ним почти ничего не выдавалось.

...Вскоре после взятия Перекопа...

Может быть, хозяйева-мужчины не так ласково обходились бы с ним, но одинокого уполномоченного по неписаному закону староста почти всегда посылал в хату какой-нибудь вдовы, солдатки или старухи, скучавшей без мужского общества, так что в смысле кормежки

командировка в деревню отчасти напоминала теперешнюю путевку в дом отдыха.

По тому же неписаному закону, если командированный задерживался в хате на несколько лишних дней, то помогал женщинам по хозяйству, справляя какую-нибудь мужскую работу,— словом, ел хозяйский хлеб не даром.

Пчелкин не обладал достаточной физической силой и, как человек вполне городской, не привык к физическому труду, так что от него хозяйкам было мало пользы, однако он никогда не отказывался от работы, даже сам напрашивался на нее, чувствуя неловкость за свое дармоедство, и рад был поковыряться вилами в сухих табачных пластах старого навоза или перетащить на спине в плетеную клуню два-три не слишком тяжелых мешка с отрубями или кукурузными початками. Спасибо и за то!

Он был миловиден, черноглаз, а его наголо остриженная голова внушала сердобольным женщинам мысль, что он недавно переболел сыпным тифом, и они жалели его, кормили и даже иногда снабжали темно-зелеными, наждачно-жесткими листьями самосада, который он тонко нарезал перочинным ножом и с удовольствием курил самокрутки, иногда употребляя вместо бумаги тонкие кукурузные листья. Он не оставался в долгу. У него в походной сумке всегда находился небольшой запасец иголок в черных конвертиках, катушки две ниток номер сороковой, дюжина перламутровых пуговичек на серебряной картонке и прочая дешевая галантерея, приобретенная на одесском базаре специально для товарообмена. Это научное слово теперь уже давно вышло из моды и осталось лишь в учебниках, но тогда оно было осью, вокруг которой вращалась вся экономика.

Гражданин получал на работе паек, часть его менял на предметы, годные, в свою очередь, для обмена с деревней, совершая этот обмен на продукты сельского хозяйства, которые частью потреблял для поддержания своей жизни, частью менял на другие предметы первой необходимости, превращенные, в свою очередь, все на том же рынке в другие не менее необходимые предметы, пользуясь законами спроса и предложения, колебаниями цен и прочими тонкостями политической экономики эпохи военного

коммунизма, и так далее до тех пор, пока товар окончательно не уничтожался, и человек, затянув потуже пояс, терпеливо ожидал выдачи нового месячного пайка или же нес на рынок что-нибудь из предметов домашнего обихода.

В деревне же этот самый товарообмен шел куда веселее, чем в городе, где человека обдирали как липку всяческие посредники, спекулянты и барышники, и давал — выражаясь научно — гораздо более высокий процент прибыли на основной капитал.

Одним словом, если, как выразился Маяковский, «мы диалектику учили не по Гегелю», то экономику мы усваивали далеко не по Марксу.

Не следует, однако, думать, что командировки в деревню представляли одно сплошное наслаждение. Отнюдь нет. Они были очень опасны. Уезды кишели недобитыми остатками деникинцев, врангелевцев, петлюровцев, махновцев, бандами различных батек: Заболотного, Зеленого, Ангела, даже какой-то Маруськи Никифоровой, — которые хозяйничали по глухим дорогам, нападали на удаленные сельсоветы, забирали подводы, лошадей, убивали продармейцев, сельских коммунистов, различных инструкторов губревкома, а потом и губисполкома, посылавшихся из центра для организации расширения посевной площади, что было решительно необходимо, так как отовсюду поступали сведения о зловещих признаках надвигающегося неурожайного, голодного года.

Банды срывали работу по восстановлению народного хозяйства, сеяли смуту. Их было трудно искоренить. Действуя вдоль границы, они в случае необходимости легко переправлялись через Днестр и укрывались в королевской Румынии.

Командировку в деревню можно было без преувеличений приравнять к отправке на фронт, на самые передовые позиции.

В подобной обстановке и протекала деятельность молодого инструктора ЮгРОСТА, забиравшегося вербовать своих корреспондентов в такие глухие углы, что если бы его там укукошила какая-нибудь банда, то вряд ли об этом кто-нибудь узнал. А ведь никакого оружия, кроме

карандаша, ему не полагалось, и в критическом случае он мог рассчитывать на свое красноречие, резвость пог либо на чудо.

Командировка приближалась к концу. Оставалось объехать две-три волости, и можно было возвращаться в центр.

Корреспонденты вербовались главным образом из деревенской интеллигенции: волостных писарей и сельских учителей, таких же зеленых юнцов, как он сам, едва окончивших учительскую семинарию и уже успевших побывать на войне в звании вольноопределяющихся второго разряда, а затем и прапорщиками, которых преследовала по пятам оскорбительная поговорка: «Курица не птица, а прапорщик не офицер».

На первый взгляд дело обстояло просто: поговорить по душам с хорошим человеком, сверстником, может быть даже фронтовым товарищем, в два счета его разagitировать, вручить служебное удостоверение с круглой советской печатью с серпом, молотом и колосьями, выдать печатную инструкцию и ехать себе помаленьку дальше, зевая по сторонам и сочиняя в уме стихи, которые так приятно было потом записывать вечером на ночлеге под кудахтанье прялки, при свете сальной плошки — каганца — или даже лучины, с которой отваливались лентообразные угольки и, шипя, гасли в подставленном корыте с водой.

Боже мой, я еще помню лучину! А ведь только что по телевизору с нашего искусственного спутника передавали панораму Луны!

Однако не все учителя и писаря охотно соглашались стать советскими корреспондентами; кое-кого приходилось долго уговаривать; некоторые же довольно решительно, хотя и мягко, отказывались под разными благовидными предложениями, вроде того, что не слишком образованные, не решаются выступать в печати, боясь осрамиться, и опасаются, как бы из этого — откровенно говоря — не вышло какой-нибудь неприятности, а какой — понимай как знаешь.

Подчас от подобных намеков Пчелкину делалось не по

себе и хотелось поскорее выбиться из этой глуши, где упадешь ни за полушку — сгинешь без следа, и никто не узнает, что ты погиб как герой за молодую Советскую власть!

В отличие от прошлых разов, когда он ехал на подводе один, теперь заведующий транспортным отделом уездного исполкома в целях экономии тягловых средств присоединил Пчелкина к некоему товарищу, отправлявшемуся по командировке из центра на рессорной бричке в глубинные волости уезда с целью там агитировать за расширение посевной площади и борьбы с кулацким влиянием на середняков и незаможников, что значит по-украински бедняков.

Кажется, его послал на село все тот же неугомонный Сергей Ингулов.

Товарищ сидел в кабинете председателя исполкома — стол, покрытый плюшевой малиновой скатертью, графин с пожелтевшей водой, полоскательница и лопнувший стакан, — уткнувшись в развернутые листы московского иллюстрированного журнала «Безбожник» под редакцией бывшего нашего же одесского большевика Емельяна Ярославского, так что его лицо скрывалось за небывалой графикой художника со странным, зловещим даже несколько, псевдонимом Моор. Это были карикатуры, изображавшие самого бога Саваофа в водевильном, старомодном пенсне, но с круглым сияньем над лысой головой, затем — раввина в пейзах, с черно-полосатым талесом на плечах, рядом с ним муллу в чалме, похожей на головку чеснока, и, наконец, нашего православного батюшку с пьяными глазками и земляничкой носа, и стихи первого пролетарского поэта, Демьяна Бедного, — кощунство, к которому тогда еще не все привыкли, казавшееся настолько чудовищным, что не было бы ничего удивительного, если бы вдруг разверзлись небеса и оттуда из черной тучи упала зигзагообразная, ослепительно-белая молния, в один миг испепелив безбожный журнал вместе с редактором, карикатуристами, стихотворцем и всеми годовыми подписчиками.

Почувствовав на себе посторонний взгляд, товарищ опустил журнал, и вдруг оказалось, он — священник с узкой бородкой, длинным носом, слегка побитым оспой, и дерзкими, петушиными глазами под высокомерно вздернутыми, изломанными бровями пророка. Стальное пенсне

с черным шнурком, заложенным за ухо, под длинные патлы, сидело на носу, прижимая его своими пробочками, значительно ниже, чем полагается, и это придавало его лицу нечто вызывающее.

— Нуте-с, молодой человек,— произнес он в нос,— так это, стало быть, вас подсудобили мне в компаньоны? Хотя я, видите ли, и предпочитаю путешествовать без попутчиков, так сказать соло, но поскольку наша молодая Советская власть еще не имеет достаточных средств, чтобы предоставить каждому своему гражданину отдельную подводу, то я не возражаю, чтобы вы воспользовались местом в моем драндулете. Однако предупреждаю: не перешу, чтобы меня стесняли, и если вы будете вертеться на сиденье и напирать на меня сбоку, а в особенности донимать меня дорожной болтовней, то я немедленно попрошу вас покинуть драндулет и продолжать свой путь по образу пешего хождения.

Оказалось, это тот самый «красный поп», о котором Пчелкин уже слышал и который теперь добровольно отправлялся в глубинные волости агитировать за увеличение посевных площадей. Но кроме этого, у него была еще и другая цель, неизвестная центру: он был проповедником идей новой, революционно-христианской церкви, недавно созданной им самим в своем воображении, и теперь решил воспользоваться своей командировкой для того, чтобы совершить некий религиозный переворот, свергнуть всю российскую церковную иерархию сверху донизу, от могучих князей церкви до местных деревенских батюшек, погрязших — по его мнению — во всяческих мирских сквернах, и водрузить на развалинах ниспровергнутой им старой церкви знамя нового, чисто мистического христианства, основанного им.

Ехать с ним на одной бричке было истинной мукой.

Он оказался человеком мнительным, капризным, крайне самонадеянным, с уязвленным самолюбием, необыкновенно высокого мнения о своей личности, которую при старом режиме не сумели оценить официальные власти русской православной церкви, все эти «консистерские крысы», вечно его затиравшие и строившие всяческие козни, не желая рукоположить его в сан архиерея. Сам же он считал себя избранником бога, воинствующим апостолом с огненным мечом в руке.

Багровой краснотой своей длинной шершавой шеи он напоминал индюка.

Всю дорогу, как только тронулись, он не переставая говорил и спорил, придираясь к каждому слову и даже междометию своего спутника. Выведав окольными путями, что молодой человек поэт, он стал ядовито высмеивать новую поэзию и живопись, называя картины импрессионистов и барбизонцев яичницей с луком, а Врубеля и Чурлёниса, перед которыми молодой человек преклонялся, — «художниками от слова «худо», причем всем своим длинным костлявым телом напирал на попутчика, который чудом удерживался на краю сиденья, испытывая боль от железных перильцев, впившихся в его зад.

Когда же священник стал поносить Маяковского, говоря, что «ему медведь наступил на ухо», то ли дело поэт Апухтин, молодой человек не выдержал и закричал на всю степь, что он сам ни уха ни рыла не смыслит в искусстве, а является самым отъявленным консерватором и контрреволюционером, что подобным типам не место в новом, коммунистическом сегодня и что он больше не желает находиться в его обществе.

С этими словами Пчелкин выскочил из брички и некоторое время с яростной независимостью шел по дороге, изо всех сил стуча своими военными башмаками с отваливающейся подошвой по чугунно-твердым колеям и грудкам замерзшей дороги, среди таких же замерзших полей, несмотря на конец зимы совершенно лишенных снежного покрова, кое-где зеленеющих чахлыми озимыми, страшными своей зловещей обнаженностью и чернотой, сулящих неурожайный год, быть может прямой голод.

Он сразу же разбил себе ноги в кровь и принужден был сесть обратно, сделав вид, что ничего не произошло. Так повторялось несколько раз, в особенности же бурная сцена разыгралась, когда священник назвал Бунина жалким декадентиком, потому что у него в одном стихотворении говорится, что, дескать, «заплакали чибисы», а затем — «на пашнях — лиловая грязь».

— Декадентская чепухенция! Как это могут птицы плакать и что это за, изволите ли видеть, лиловая грязь? Где это вы видели лиловую грязь? Надуманно, вычурно, модернисто-с!

— Но ведь он классик, классик! — кричал Пчелкин, чуть не плача. — И я не позволю так говорить об академике. Наконец, я сам его ученик.

— Оно и видно, что ученик. Лиловая грязь! Ха-ха-ха!
Когда к вечеру наконец добрались до ночлега, Пчелкин наотрез отказался продолжать дальнейший путь вместе с ним и устроился на ночь отдельно.

По селу сразу пролетел слух, что из центра приехал весьма грозный «красный поп» и будет завтра, в воскресенье, служить в местной церкви обедню и произнесет проповедь. Почему-то все это очень встревожило селян.

Придя утром в церковь посмотреть, что там делается, Пчелкин увидел своего попутчика на амвоне в пасхальной глазетовой ризе — ветхой и все же весьма нарядной своей мерцающей белизной, с крестом в костлявой руке, простертой над праздничными платками испуганных старух, стоявших в первом ряду.

Местный батюшка, добрый старичок, стоял рядом, не зная, куда девать детские коротенькие ручки, и, сконфуженно потупясь, смотрел то вниз на свои ноги в разношенных мужицких сапогах со следами засохшего навоза, то вверх на всевидящее око в лучистом треугольнике, грубо написанное в куполе доморощенным живописцем на фоне полинявшей синьки звездного неба, посреди которого на куче облаков, и сам отчасти напоминая кучевое облако, восседал кудлатый старик Саваоф, сердито прислушиваясь к тому, что говорил внизу приезжий протоиерей.

А он сначала говорил о расширении посевных площадей, все больше и больше раскалялся и вдруг, пеожиданно взглянув на местного батюшку, как петух на зерно, без малейшей паузы сел на своего любимого конька и понес, не стесняясь в выражениях, разоблачать ненавистных ему князей так называемой святой, так называемой православной, так называемой равноапостольской церкви.

— Разве это апостолы! — кричал он, все больше и больше распаляясь. — У апостолов Христовых были чаши деревянные, зато головы золотые, а у этих, извините за выражение, апостолов-самозванцев чаши золотые, да головы деревянные!

И он выразительно постучал костяшками пальцев по перилам амвона, а потом показал наперсным крестом на съезжившегося местного батюшку:

— Чревоугодник, пьяница, прелюбодей!

При последнем слове попадая в черном шелковом платье, стоявшая посередине, перед самым амвоном, на почетном месте, сначала побледнела, а потом пошла красными пятнами, заметалась, но бабы ее успокоили, а мужики в праздничных, белых, очень длинных бараньих кожихах с черными воротниками или еще в армейских походных шинелях с пожелтевшими, обдрипанными полами — хохлы и молдаване, — недавно воротившиеся домой после разгрома барона Врангеля и войны с польскими панями, стояли молча, угрюмо свесив усы, и Пчелкину показалось, что в воздухе вдруг пролетело — дуновение не дуновение, тень не тень, а нечто до того страшное, что у него невольно ослабели ноги, и он, ежась под отчужденными взглядами, выбрался на паперть и побрел к себе на квартиру.

На рассвете его разбудил негромкий, но настойчивый стук в окошечко. Это был молодой учитель, вчера забобованный в волкоры.

— Коллега, — проговорил он шепотом, — что я вам кажу. Не тратьте времени, а лучше езжайте отсюда, пока не поздно. Я вам достал у добрых людей подводу, она вас довезет до соседней волости, а отсюдова тикайте. Тикайте и тикайте.

В голосе своего коллеги Пчелкин уловил нечто такое, что с ног до головы прохватило его ознобом, тем самым дуновением смерти, которое он так явственно ощутил днем в церкви.

В те времена люди научились понимать друг друга не только с полуслова, но даже с полувзгляда, полувздоха, с полумолчания.

Пчелкин схватил под мышку сумку с бумагами и через минуту, подпрыгивая на голых досках подводы, куда не успели впопыхах постелить соломы, уже катил по твердому шляху, идущему под изволок. Стало развидняться. Потом совсем развиднелось. День был холодный, сухой, хмурый. Вокруг простиралась черная смерзшаяся земля с копнами старой соломы и ветряными мельницами, махавшими своими крыльями на горизонте, как будто куда-то бежали.

Успокоившись и осмотревшись, Пчелкин, по своей привычке, начал складывать в уме стихотворение на тему окружающей его природы. На этот раз он олицетворял ее:

«...И, распутив стремительную косу, в рубашке из сурового холста, бежит Весна в полях необозримых, и ядовитой зеленью озимых за ней горит степная чернота».

Бегущая босиком Весна была все тем же вариантом хорошенькой таракуцки, «уездной музыки», и не вполне отвечала душевной тревоге, которая все никак не могла рассеяться, хотя зловещая колокольня деревенской церкви уже давно скрылась за косогором.

Он вспомнил, как в деревенских окошках теплились огоньки свечей и как истово молились в церкви старухи, прося у бога снега на поля. Это более соответствовало его душевному состоянию.

«...Когда в селе перед весною просили снега на хлеба, цвела молебственной свечою недаром каждая изба. О том, чтоб минула засуха, в надежде темный лоб крестя, молилась каждая старуха, крестилось каждое дитя...»

Уже стихи запели, как скрипка, но вдруг на дороге как из-под земли вырос конный отряд и преградил путь. Сначала Пчелкину показалось, что это эскадрон красной кавалерии, и он даже успел порадоваться, как хорошо стали у нас обмундировывать красноармейцев: один в одного, с новенькими звездочками на фуражках.

Но в тот же миг над ним заржала, вздернутая на трензелях, лошадиная голова, роня травянисто-зеленую пену, и красавец командир в белом башлыке с позументом за спиной наклонился к Пчелкину с седла:

— Ты кто таков, мать-перемать? Уполномоченный?

— Я журналист.

— А ну, канцелярская крыса, гэтъ с подводы!

— Журналист — это совсем не то, что вы думаете, — с насильственной улыбкой прошептал Пчелкин.

— А ты скедова знаешь, что я думаю?

— Я пишу в газете.

— В газете? А ну, хлопцы, дайте ему под зад. Смотри на него: распоряжается у нас на селе все равно как у себя в хате. Чуть чего — давай ему подводу.

— Товарищ, это недоразумение. Я имею право. У меня мандат ревкома.

— Смотрите, найшелся живой товарищ. Ах ты, краснозадая гнида! Отведите его в кукурузу, а подвода нехай заворачивает обратно.

Все это произошло в одно мгновение, и теперь, вдруг очутившись среди несрезанных стеблей прошлогодней кукурузы, которые тесно стояли вокруг него, шелестя жесткими мечевидными листьями и сузив горизонт до двух шагов в окружности, Пчелкин понял, что попал в руки банды, переодетой в красноармейскую форму, и что его ведут расстреливать, грубо подталкивая в спину прикладами драгунок, резко пахнувших керосином и оружейным маслом.

Ужас охватил его душу, помрачил рассудок, а его тело ослабело, внутренние органы перестали повиноваться приказам нервных центров, парализованных внезапной спазмой, и он вдруг стал постыдно и неудержимо испражняться, в то время как атаман банды, подбоченясь в седле с бархатным комбриговским чепраком, вынимал из поданной ему сумки бумаги Пчелкина и равнодушно читал их одну за другой по складам, пока вдруг не наткнулся на печатную инструкцию; она его заинтересовала, так как в ней содержался пункт первый о борьбе со всеми злоупотреблениями местных советских властей и нарушениями законности.

Как ни странно, но именно это и спасло Пчелкина.

— Почекайте, хлопцы, — сказал атаман. — Сначала посмотрите, чи он не жид, и если нет, то отпустите его ко всем чертям. И нехай он больше не суется, куда не треба, и не попадается нам на глаза.

Весьма быстро и грубо удостоверясь, что Пчелкин не иудей, хлопцы сунули ему в руки сумку с бумагами, дали

коленом под зад и, крикнув: «Бежи, студент!» — для острастки пустили ему вдогонку две или три пули, нежно просвистевших над головой и унесшихся по крутой траектории в злоеще нахмуренное мартовское утреннее небо.

Любая из этих остроконечных, конических пуль могла ошибиться и ударить в его голову, разнести ее вдребезги и навсегда уничтожить тот божественный мир любви, красоты и поэзии, который и был тем, что называлось единственной, неповторимой, драгоценной человеческой жизнью Пчелкина со всеми стихами — своими и чужими, уже родившимися и еще не рожденными или только что им понятыми, как, например, волшебные сумасшедшие строки Велемира Хлебникова и Николая Бурлюка:

«И вот плывет между созвездий, волнуясь черными ужами, лицо отщепеня и возмездий, глава отрублена ножами... О, призрак прелести во тьме! Царица, равная чуме!.. Нет, ведро на коромысле не коснулось плеча. Кудри длинные повисли, точно звуки скрипача».

Только подобные безумные строки могли возникнуть в мозгу в миг насильственной смерти!

«Мы воду пьем — кто из стакана, а кто прильнув к струе устами, среди весеннего тумана, идя полными берегами. Не видно звезд, но сумрак светел, упав в серебряные стены. В полях наездницы не встретил, лишь находил обрывки пены. Но сквозь туман вдруг слышу шепот и вижу, как, колебля иву, струя весны, забывши ропот, несет разметанную гриву...»

Только на волосок от уничтожения навсегда среди черных замерзших полей своей дикой родины могли пронестись в памяти Пчелкина божественные звуки:

«С легким вздохом тихим шагом через сумрак смутных дней по равнинам и оврагам древней родины моей, по ее лесным цветам, по невспаханым полям, по шуршащим очеретам, по ручьям и по болотам каждый вечер ходит кто-то, утомленный и больной, в голубых глазах дремота греет вещей теплотой. И в плаще ночей широком плещет, плещет на реке, оставляя ненароком след копыта на песке».

Я описываю природу — звезды, лес, мороз, море, горы, ветер, разных людей. Это все мои краски. Но разве литература, поэзия, созданная гением человека, не является частью природы? Почему же я не могу пользоваться ею, ее светящимися красками, тем более что звезды мне еще нужно воплотить в слово, обработать, а стихи гениальных сумасшедших поэтов уже воплощены, готовы — бери их как часть вечной природы и вставляй в свою свободную прозу!..

...со всеми его страстями, догадками, постоянной жаждой любви и нетерпеливым ожиданием возвращения в город и свидания с девушкой — «молодой гражданкой», той самой, которая обещала ему блаженство...

Азраил, посланный по его душу, прошумел своими черными бумажно-пепельными крыльями, заметался зигзагами, то поднимаясь вверх, то падая вниз, как громадная гудящая оса, но промахнулся...

«Как я боялся! Как бежал! Но Эрмий сам внезапной тучей меня покрыл и вдаль умчал и спас от смерти неминуемой».

Пчелкин бежал, как заяц от охотников, спотыкаясь, и падая, и ломая палки кукурузных стеблей, лупивших его по голове, бежал, прижимая к груди сумку, на бегу приводя в порядок свою одежду, и драпал до тех пор, пока вдалеке не стих перестук подков удалявшегося на рысях бандитского отряда.

«След копыта на песке».

И в мире настала тишина. Он был жив, но его убитая душа лежала в поломанной кукурузе на чугунной земле в ожидании воскрешения, подобно тому как другая его душа, почерневшая от смерти, уже давно лежала на батарее под Сморгонью, и еще, еще одна душа мучительно расставалась с телом на койке сыпнотифозного госпиталя

под звуки буддийских барабанов под священными ламаистскими письменами, похожими на таблицу элементов Менделеева.

И все они обязательно воскреснут, потому что они бессмертны.

Оставив свою распростертую душу валяться среди сухой кукурузы в ожидании воскрешения и ощущая в своем слабом теле рождение новой души, Пчелкин шагал среди черно-зеленых полей, обходя стороной деревни и хутора, стремясь поскорее добраться до уездного города, никому больше не попадаясь на глаза.

Двое суток он пробирался к Балте, старательно обходя населенные пункты, ночуя в скирдах соломы, белых от снега, в одиноких плетеных клунях на кочанах кукурузы с каменными янтарно-желтыми зернами, питаясь кормовой свеклой, случайно оставшейся в земле после уборки.

«Умывался ночью на дворе, — твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч — как соль на топоре, стынет бочка с полными краями... Тает в бочке, словно соль, звезда, и вода студеная чернее, чище смерть, соленее беда, и земля правдивей и страшнее».

Повторяя эти стихи Мандельштама, он брел один, под низким огромным небом, под сине-пороховыми тучами, которые сгущались над его головой, становясь тяжелыми, как глыбы антрацита, каждый миг готовые обвалиться на Пчелкина.

И все это — как ни странно — казалось ему прекрасным, величественным, как произведение небывалого революционного искусства, полное божественного смысла и нечеловеческой красоты.

Бедняга от страха совсем сбрендил.

Дунуло лютым холодом. Посыпался снег. Началась завихруха, смешавшая небо с землей. Он остановился, и ему представилось, что это, «нахмуря грозные брови, ужас-

ным ликом посинев», сам бог Саваоф снизошел к мольбам людей и «отдал бурям на землю сеять белый сев...».

«А я в метели, я в тревоге, один перед тобою, бог, бесславно гибну па дороге среди занесенных дорог».

Здесь бог являлся всего лишь вариантом пушкинского Петра: «Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, он весь как божия гроза». Пчелкин обогатил ужасный лик чугунной синевой бури и вьюгой, но зато бесславная гибель среди занесенных дорог и особенно белый сев снега звучали довольно самостоятельно.

Впоследствии — много лет тому вперед — я пришел к убеждению, что в России всегда был, есть и будет всего один-единственный бессмертный поэт, национальный гений, в разное время носящий разные имена.

И в наше время тоже. Их было на моей памяти несколько.

Даже будучи на грани уничтожения, мысль Пчелкина ни на один миг не могла избавиться от образа молодой женщины, «гражданки», ранившей его душу и неподвижно преследующей его, не давая отдыха ни днем, ни ночью, как неустранимая идея, утомляя его мозг своей близостью, подлинностью, почти осязаемостью, достоверностью прелестных подробностей, которые тем не менее не могли удовлетворить его жажды обладания, потому что он уже любил ее со всей страстью, а она — конечно — об этом даже и не догадывалась и, скорей всего, давно уже забыла его, так как они виделись всего лишь несколько раз мимолетно в суете «зала депеш» и «коллектива поэтов» и за все время сказали друг другу всего лишь несколько десятков ничего не значащих слов.

И все-таки он ее любил — с каждым днем все сильнее, все отчаяннее, — а может быть, это ему только казалось? — но она стояла перед ним днем и ночью и в миг смерти, неустранимая, страстно желанная — в своей белой меховой шапке-малахае с очень длинными наушниками, которые лежали на ее груди, как две косы по поясу.

Когда она однажды сняла эту сибирскую шапку, то под ней оказалась как бы другая — черно-курчавая шапочка волос, которыми она встряхнула, так как они слежались.

Он уже забыл, как она была одета, — кажется, на ней была солдатская стеганка с чересчур длинными рукавами, которые она подвернула, чтобы они не закрывали кисти ее маленьких смуглых рук с грубо остриженными пестро-мраморными ноготками, тонкую, но крепкую талию тесно обхватывал офицерский пояс с колечками, ветхая суконая юбка едва закрывала колени, ноги были в черных солдатских обмотках и почти детских башмаках на пуговицах.

Смуглое, землисто-матовое, прелестной красоты лицо с несколько мрачными, во всяком случае, какими-то неговорчивыми глазами, с синей пороховинкой маленькой родинки на нежной щеке и смуглым пушком над бледными девичьими губами — чувственными и вместе с тем обманчиво-невинными.

Он все время видел перед собой эти плавающие губы; они как бы все время приближались к его губам и длились, длились, длились во сне и наяву, как бесконечный поцелуй, не дающий удовлетворения.

Он увидел ее такой в первый раз. Потом ее внешность немного изменилась. Кажется, она успела зимой переболеть брюшным или возвратным тифом, и когда снова появилась в «зале депеш» — похудевшая — и сняла свою белую шапку с длинными наушниками, то оказалось, что ее голова острижена под ноль, как у приготовишки, и она вынулась из шапки, как орешек из скорлупы: небольшая пропорциональная голова с твердыми ушками, одно из которых было запачкано школьными чернилами, и белой, почти голубой кожей, просвечивающей сквозь неровные дорожки, грубо проложенные машинкой больничного цирюльника.

Было известно, что она работает машинисткой в административно-хозяйственном отделе губчека, посещает совпартшколу при губнаробразе и готовится поступить в Свердловский университет в Москве.

По-видимому, для того, чтобы расширить свои знания литературы, она усердно посещала «коллектив поэтов» и «зал депеш» ЮгРОСТА, где каждый день выступали про-

пагандисты и писатели. Она приходила одна и садилась впереди с независимым и несколько презрительным видом, как человек, принадлежащий к высшему классу, внимательно слушала рассказы и стихи, но никаких чувств не выражала.

— Гражданка, я замечаю вас здесь не первый раз,— обратился к ней однажды Пчелкин.— Вы, кажется, поклонница поэзии? Или, может быть, поэтов?

— Я здесь повышаю свое общее развитие,— ответила она.

— А оно нуждается в повышении?

— Конечно.

— А мои стихи вам нравятся? — сурово, но не без кокетства спросил он.

— Нравятся,— ответила она просто.

— Польщен. А я сам?

— Тоже.

Это признание сразу же разрушило его представление о ней как о местной Теруань де Мерикур, фурии революции, сухой партийке, презирающей мелкобуржуазную божу и не признающей легкомысленного отношения к любви. Он был, однако, разочарован той легкостью, с которой она так явно пошла навстречу его заигрываниям, и он, зачислив ее в список своих поклонниц, потерял к ней значительную часть интереса. Победа показалась ему слишком легкой. Однако он от нее не отказался, а только отложил, желая продлить удовольствие сближения.

— Надеюсь, вы не поэтесса? — спросил он небрежно.

— Надейтесь,— ответила она, и как раз в этот миг он наконец заметил главную прелесть ее лица: маленькую подкожную пороховинку туманно-голубой родинки на смугловатой скуле, которая так шла к ее наголо стриженной голове, ничуть не делавшей ее похожей на мальчика, а, наоборот, еще больше подчеркивающей ее женственность.

— Возможно, мы с вами скоро увидимся,— небрежно сказал он.

— Я тоже так думаю,— ответила она, удивляясь, что он не предложил ее проводить.

— Салют и братство! — сказал он, подняв для приветствия руку над головой.

Она в ответ прощально улыбнулась.

Он чувствовал себя победителем и, лишь проснувшись среди ночи в нетопленной комнате с алмазно заиндевелыми обоями, на железной кровати, вдруг понял, какого дурака он свалил. Его уже неотступно преследовали мысли о ней. Надо было не валять дурака, а ковать железо, пока горячо. Мысленно он уже с ней целовался, держа на весу ее легкую руку, и, опережая события, складывал стихи:

«Когда в моей руке, прелестна и легка, твоя рука дрожит, как гриф послушной скрипки, есть в сомкнутых губах настойчивость смычка, поющего пчелой над розою улыбки».

«Роза улыбки», конечно, была похищена из арсенала его друга Юрия Олеши.

Пчелкин видел эту бледную розу ее улыбки, а маленькая родинка выросла до размера плавающей над ней пчелы. Дурак! Вместо того чтобы все это представлять, он мог наслаждаться вполне реально, осязаемо.

«О да, блажен поэт,— продолжал он сочинять в потемках ледяной комнаты с изморозью на подушке,— он мудрый, но не тот, который высчитал сердечные биенья и после написал, что «поцелуй поет», а тот, что не нашел для страсти выраженья».

Он не нашел для страсти словесного выражения и готов был, несмотря на глубокую ночь и осадное положение, бежать к ней, но он не только не знал ее адреса, но даже не поинтересовался, как ее зовут.

Он больше не мог заснуть. Он испытывал то чувство, которое великий русский поэт, носивший одно время в XIX веке имя Пушкин, определил с пугающей пронизательностью: «... душа тобой уязвлена...» Именно уязвлена. Его душа уже была уязвлена, отравлена. Она нарывала. Он ни о чем не мог думать, кроме как о ней. Она неустрашимо стояла перед ним — с мерцающим, лунным светом своих узких белков, — завладев всеми его мыслями и желаниями. Он не представлял себе, как дотянет до следую-

щей встречи. Но на другой день ему было приказано безотлагательно выехать в уезд. Ему и в голову не могло прийти отказаться, потому что любое служебное поручение в то время принималось как выполнение Священного Революционного Долга.

Сама Революция распорядилась тогда судьбами людей.

...Он стоял среди метели, которая кружилась вокруг него, лепя мокрым снегом в лицо и застилая окрестности льющейся мутью поземки. Он шел всю ночь без дороги, наугад и на рассвете очутился на задах какой-то деревни. Силы оставили его. Он готов был лечь под залепленный снегом плетень и заснуть мертвым сном. Уже почти ничего не соображая, он постучал в окошко, где светился огонек, его впустили, и он тотчас повалился как убитый на кучу сухих кукурузных листьев возле печки, дышавшей на него золотым жаром, а когда поздно утром проснулся, то весеннее вымытое небо синело в окошке, и оказалось, что он находится в нескольких верстах от Балты, которая блестела и мерцала в солнечном тумане, как слюда, всеми своими стеклами и церковными крестами.

Во дворе, среди навозных куч, ударивших в нос, как нашатырь, сверкали зеркальные артерии ручейков, ослепляя привыкшие к темноте глаза, пахло мокрым черноземом и слышался отдаленный перезвон церковных колоколов.

Дойдя до околицы города, он увидел газетовые хоругви странной церковной процессии, в которой участвовали красные знамена уездных учреждений, услышал церковное пенье, непонятным образом смешанное со звуками духового оркестра.

— Какой сегодня праздник? — спросил он бабу, которая несла на плече толстую мраморную плиту свиного сала, наполовину завернутого в чистую хустку.

— Це не праздник, — строго ответила она, — а це радянська власть вместе с церковью хоронят того самого красного попа — героя — и с ним еще чи трех, чи двух продармейцев, а также — кажут — ще якогось канцеляриста с города Одессы, что днями банда батьки Заболотного вбыла на селе Ожила. Хиба ж вы не чулы?

— Не чул, — не слыша собственного голоса, сказал Пчелкин.

— Как же! Налетели утречком сквозь переодетые красноармейцами, вытащили их всех из хат и тут же расстреляли, а сами тем же ходом до Днестра и обратно на ту сторону, в Румынию.

Над городом плыл похоронный звон — с томительно редкими промежутками тонкие колокола резко ударяли ля-бемоль, — слышалось надгробное пенье, смешанное с тактами духового оркестра, тяжелой отдышкой медных труб, толчками турецкого барабана, тянуло слащаво-металлическим дымком росного ладана, а Пчелкин стоял, прижав к груди сумку со стихами, как бы присутствуя на собственных похоронах. Он не знал, что в одесских «Известиях» уже появилась телеграмма о гибели на боевом посту поэта-журналиста Пчелкина и что его отец, старик Пчелкин, остановившись возле щита с пропитанной клейстером свежей газетой и прочтя телеграмму, сначала сел на тротуар, делая руками плавательные движения, а потом лег, повернулся лицом к стене дома, поджал ноги, как бы желая удобнее поспать, и его приплюснутая, как блин, старая чиновничья фуражка без кокарды, с пропотевшим кожаным ободком в середине свалилась с головы, открыв багрово покрасневшую плешь, и ангел смерти, поспевший как раз вовремя, прошумев черными крыльями, быстро и почти безболезненно, как хороший дантист, вынул — не вынул, а скорее вывернул крупным поворотом окровавленной десницы — его душу, и его тело стало медленно, блаженно остывать и остывало до тех пор, пока не сравнялось с температурой окружающего воздуха и тротуара, выложенного голубыми плитками лавы, — примерно около пятнадцати градусов выше нуля по Цельсию, и в дальнейшем перенимая температуру окружающей его среды — приемного покоя, городского морга, нетопленной пустой церкви и, наконец, кладбищенской земли, навалившейся на крышку дешевого лилового гроба, выданного бесплатно в коммунальном отделе его соседям...

И только тогда, на третий день после погребения, его сын — еще ничего не зная — вернулся из командировки и вдруг все узнал, ужаснулся и теперь с чувством ужаса перед бездной смерти, открывшейся перед ним, с чувством независимости, освобождения, щемящего душу сиротства

и страстной запоздалой нежности к отцу стоял перед глиняным холмиком могилы, которая уже стала оседать и проваливаться под двумя или тремя жалкими провололочными венками с бумажными цветами и серыми коленкоровыми лентами, с газетными буквами надписей, также бесплатно полученными в коммунальном отделе.

Рядом с этой новой могилой была старая могила с железным крестом «под березу», как бы сваренным из самоварных труб и раскрашенным под мрамор свитком, на котором масляной краской было написано черными печатными буквами нежное имя его матери.

Здесь же, покосившись в разные стороны, чернели совсем старые дубовые кресты над еле заметными холмиками бабушки и дедушки, которых Пчелкин не помнил. Мать он тоже почти не помнил, и в его представлении она была в шляпе с пером, с милым, но каким-то отвлеченно-строгим замерзшим лицом, и всегда казалось непостижимым, что после смерти она не уничтожалась, а до сих пор под землей в тесном гробу лежит тщательно одетая дама в корсете на китовом усе, с щеточкой на подоле длинного муарового платья, в атласных туфлях, сшитых на живую нитку, и с бумажной полоскою на ледяном лбу.

Он стоял один среди длинных игл новорожденной кладбищенской травы, растущей из-под земли, усыпанной седыми угольками панихиды, испытывая такую мучительную жалость и любовь, а главное, такую неискупимую вину перед отцом, которого, сам того не сознавая, убивал всей своей жизнью: корью, дифтеритом, скарлатиной, когда заплывал далеко в море, войной, где каждая пуля и каждый осколок, благополучно пролетавшие мимо сына, тысячу раз убивали отца — неминуемо, ежечасно, ежесекундно, где ядовитый немецкий удушливый газ фосген травил его по ночам и одно лишь представление о хлорциане медленно разрушало его легкие, доводя до кровавого кашля... в то время как он — его сын — ничего этого не понимал и жил как живется, редко думая о смерти, и десятки раз умирал, не жалея жизни, и в то же время упивался этой жизнью, неповторимым величием эпохи, в которую имел счастье родиться, — эпохи войн и Революций.

Потупив голову, он как бы видел сквозь слой желтой

и черной земли четкий рисунок отцовского гроба с кистями по углам и неудобной, выкрашенной охрой крышкой с жестяными накладными «ветками Палестины» над белым запавшим лицом с почерневшими веками.

Он был один во всем этом мире, продолжая испытывать странное чувство освобождения, от которого мучительно больно захватывало дух, которое не только не давало желанной свободы, но, наоборот, приковывало к земле страшной силой такого горя, самую возможность которого он даже не мог себе раньше представить. Но все же это была свобода, и для того чтобы она стала полным освобождением — совершенной идеальной свободой, — надо было освободиться от всего материального, что связывало его с отцом. От всего, кроме любви к нему. Любовь была неистребима.

Это был акт отчаяния, восторг самосожжения, когда в затхлой, запущенной маленькой комнатке отца, где даже обои еще как бы хранили разные сухие стариковские запахи, вдруг появились два старьевщика все еще в традиционных котелках, но уже в советских толстовках под лапсердаками, два выходца из-под обломков рухнувшего старого мира, и они стали оценивать имущество покойного, рассматривая на свет сильно поношенные, поредевшие суконные брюки, чесучовый пиджак, узконосые штиблеты на крючках с овальными, слоистыми протертостями до дыр на подметках, бросая их в кучу на разостланное рядом.

Пчелкин стоял, отчужденно прислонившись к двери, курил самокрутки, слезы текли по его юношеским щекам, жгучее наслаждение полной свободы, открывшейся перед ним, как пропасть, клочкотало в горле, и он неподвижно смотрел, как разные домашние вещи летели в кучу: гремящий шахматный ящик, пожелтевшие воротнички и манжеты «композиция», манишки, чернильница с высохшими мухами в середине, плюшевый фамильный альбом с латунными застежками, увеличенная фотография матери в черной деревянной раме — да, да, и портрет матери тоже! Пусть у него ничего не останется! Пусть он вступит в новую жизнь, освобожденный от всех чувств и вещей!..

Здесь я расстаюсь с Пчелкиным...

«Кто может знать при слове «расставанье», какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушье восклицанье, когда огонь в акрополе горит, и на заре какой-то новой жизни...»

И на заре какой-то новой жизни... И на заре какой-то новой жизни... И на заре какой-то новой жизни...

Чувствуя на себе любопытные, даже восхищенные взоры, я вышел на эстраду «зала депеш» и с торжеством бросил на стол сверток своих новых стихотворений. Я подошел к рампе и стал читать наизусть. Когда я дошел до строчки, на которую возлагал так много надежд: «И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга», — то голос мой запел, как виолончель. Но я напрасно старался: ее не было в зале, она не пришла на мое выступление.

— Увы,— сказал мне за кулисами мой друг, поэт Э.,— пока ты метался, как вялая листва, по уезду, вербуя сельских корреспондентов, и воевал с бандами, твоя возлюбленная прицепила тебе чайник. Она теперь гуляет с небезызвестным Петькой Соловьевым, который, несмотря на весь свой былой шик, скромно служит в губтрамоте, в поте лица трудясь над восстановлением городского транспорта.

При этом Э., пуская слюни сквозь дырку от выбитого переднего зуба и ядовито шипя, прочитал не вполне цензурную эпиграмму по поводу моего неудачного романа.

В этот же день я увидел ее на бульваре Фельдмана против клуба красных моряков. Она шла под руку с долговязым Петькой Соловьевым, которого я до сих пор знал больше понаслышке как одного из лучших теннисистов рижельской гимназии. Однако мне его приходилось видеть на гимназической спортивной площадке — красавца и щеголя — с золотым жетоном в виде теннисной ракетки, прицепленным ко второй пуговице его диагоналевой куртки. На войне он был тоннягой-артиллеристом. Теперь он шел в толстовке и сандалиях на деревянной подошве, держа под руку мою бывшую любовь и нежно к ней наклонившись. Она держала связку учебников и весело улыбалась, глядя на него снизу вверх своими темными узкими глазами, в глубине которых как бы таинственно мерцал лунный свет. Я обогнал их и сказал:

— Драссс...

— Драссс... — ответил, узнав меня, Петька и тонно приложил руку к старой артиллерийской фуражке без кокарды.

Она повернула ко мне лицо, продолжавшее сиять от счастья и любви.

— Салют и братство, гражданка! — сказал я, приветствуя ее поднятой рукой. — Ваше сердце оказалось непостоянным!

Она сузила глаза, нахмурилась, своенравно вздернула подбородок и вдруг совсем по-детски лукаво показала мне кончик языка, как бы желая этим сказать: проворонил! — и в ту же минуту я вдруг узнал ее.

Это была та самая девочка в матроске, которая некогда прошла мимо нас с Буниным по гравию на даче Ковалевского, а затем несколько лет спустя в группе матросов пыталась ворваться в особняк на Княжеской улице, а теперь училась в совпартшколе, *та самая*, которую я много лет тому вперед мимолетно встречу в разные моменты своей жизни: сначала средних лет, потом пожилую и, наконец, совсем старую — среди мерцающих оленьих рогов уральской сорокаградусной зимы и разноцветных дымов, выползающих, как бараны, из целого леса магнитогорских труб.

Она отвернулась от меня, прижалась кудрявой головой к плечу Петьки Соловьева, и они, повернув за угол, где стоял громадный щит-плакат под Матисса работы художника Фазини — два революционных матроса в брюках клеш с маузерами на боку на фоне темно-синего моря с утюгами броненосцев, — вошли в столовую ЕПО — Единого Потребительского Общества, — по всей вероятности, обедать по талонам, то есть съесть квадратную плитку сухой ячменной каши, политой сверху несколькими каплями зеленоватого машинного масла, и выпить кружку морковного чаю с двумя ландринками.

Жгучая страсть, ревность, тоска пронзили мгновенно мою душу, но так же быстро и прошли, уступив место другим страстям, другой любви.

Я потерял ее из виду, так и не узнав ее имени.

Что касается Петьки Соловьева, то он, будучи офицером, оказался замешанным в контрреволюционном заговоре, и я прочел его имя в списке расстрелянных, наклеенном на афишную тумбу. Быть может, это именно о нем какой-то тюремный остряк сочинил куплеты на мотив очень известной в то время сентиментальной песенки Вертинского «Три юных пажа покидали навеки свой берег родной».

«Три типа тюрьму покидали: эсер, офицер, биржевик. В глазах у них слезы сверкали, и где-то стучал грузовик».

(Тогда расстреливали в гараже.)

«Один выходил на свободу, удачно минуя гараж; он продал казенную соду и чей-то чужой экипаж. Другой про себя улыбался, когда его в лагерь вели; он сбытом купюр занимался от шумного света вдали. А третий был штабс-капитаном, он молча поехал в гараж и там был наказан наганом за Врангеля и шпионаж. Кто хочет быть штабс-капитаном, тот может поехать в гараж!»

И все же меня мучило, что не знаю ее имени.

...Муравей, ползущий по цветку, не имеющему имени, переползает на мой подставленный палец, который для него, может быть, представляется продолжением цветка, потом он ползет по моей обнаженной, соленой от морской воды руке, пробирается в дебрях волосков, ощущает лапками мою теплую, загоревшую на солнце эпидерму и все же не может по этим ничтожным частностям представить себе все мое неизмеримо громадное, сложное тело, все его тайны, тысячи, миллионы его нервных узлов, зрительных, обонятельных механизмов, мозговых центров — словом, всего меня как произведение искусства, как личность, как нечто неповторимое, как галактику, — он не знает, как я называюсь, как мое имя, и это мучит: для него я всего лишь невоплощенный будда, лишенный жизненного назначения и какой бы то ни было идеи.

Я ползу по волосатой руке громадного мироздания, но я отличаюсь от муравья хотя бы тем, что не похож на нотный знак; тем, что у меня есть фантазия, тем, что я могу назвать вечность вечностью, а время назвать временем, хотя и не знаю, что это такое.

Я могу воплотить любую свою идею в нечто зрительное, объемное, в художественный образ, хотя это бывает почти всегда мучительно трудно, но не потому, что не могу создать образ, а потому, что отсутствует идея, нечего воплотить.

Но зато какое счастье охватывает душу, когда ею овладевает мысль, страстное желание воплотить ее, дать ей имя...

Наконец я сам дал ей имя: Клавдия Заремба. Да, именно так: Клавдия Заремба. Или Зарембо?

Что меня заставляет писать о ней, о мало мне знакомой — может быть, даже выдуманной — женщине Клавдии Зарембе? Привычка вообще писать, сочинять, выдумывать? Не думаю. На мою душу постоянно воздействуют извне миллионы осязаемых и неосязаемых раздражителей, которые вдруг начинают со страшной настойчивостью требовать, чтобы я воплотил их в нечто материальное, объемное.

Откуда идут эти настойчивые требования написать портрет молодой женщины, героини первых лет революции?

В те годы Сергей Ингулов обвинял молодых писателей в том, что они не пишут о Революции и отмалчиваются, ссылаясь на то, что нет сюжетов, нет героинь.

«Да, — писал Ингулов в харьковском «Коммунисте», — это не та героиня, которая должна в литературу революционной эпохи прийти вместо тургеневской Елены, вместо гончаровской Верочки, вместо Веры Павловны Чернышевского. Она не характеризует нашу эпоху, но она вышла из этой эпохи. Поэтому о ней расскажу», а дальше и рассказал историю девушки из совпартшколы, молодой коммунистки, помогшей органам губчека ликвидировать опасный контрреволюционный заговор. Для того чтобы взять эту

организацию, чрезвычайной комиссии надо было ввести в нее своих людей. Во главе организации стоял молодой врангелевский штабс-капитан. И надо было начинать с него. Это было очень трудно. Офицер был чрезвычайно осторожен, ни с кем не знакомился и внутри своей организации был связан только с несколькими офицерами, им же привлеченными к работе. Однако он не нашел в себе достаточно сил, чтобы побороть свое желание познакомиться с девушкой, которую он вот уже несколько дней подряд встречал на улице и в столовой ЕПО. Он уступил своей слабости. Познакомился. Она не знала, кто он. Он не знал, кто она. В губчека ей объяснили, с кем она познакомилась, и приказали влюбить в себя штабс-капитана. Задание было выполнено с лихвой: она не только влюбила его в себя, но влюбилась сама и не скрыла этого от заведующего секретно-оперативным отделом губчека, который взял с нее слово, что, несмотря ни на что, она доведет дело до конца. Девушка торопила. Она говорила, что больше не может вынести этой пытки. Но дело с ликвидацией заговора затягивалось, так как взять следовало не только верхушку, а и хвосты. Она твердо исполнила свой партийный, революционный долг, ни на минуту не выпуская из виду своего возлюбленного до тех пор, пока они не были вместе арестованы, сидели рядом в камерах, перестукивались, пересылали записки. Затем он был расстрелян. Она освобождена.

«Писатели и писательницы,— гремел Ингулов,— трагики и поэты, акмеисты и неоклассики, о ком рассказываете вы нам? Вы художники, вы не можете не воспринимать революционного быта, жизни — не классов, не слоев, не групп,— отдельных людей в революции...»

«Поэты и поэтессы, вы сумели воспеть любовь Данте и Беатриче, разве вам не постичь трагической любви штабс-капитана и девушки из партшколы?»

«Почему же вы молчите?»

Как сейчас вижу сердитое лицо моего старшего товарища и друга Сергея Ингулова, здоровое, цвета сырого

мяса, с раздвоенным, как помидор, подбородком. В пенсне с толстыми стеклами без ободков, с несколько юмористически сжатыми губами провинциального фельетониста, слегка подражающего Аркадию Аверченко, и вместе с тем волевое, даже иногда грозно-беспощадное лицо большевика-подпольщика, верного ленинца, как бы опаленное пламенем тех незабвенных лет.

Но и его в некий срок не пощадил ангел смерти, прошумев над ним складками своих черных шелковых одежд, и на лету вырвал из него пламенную душу, оставив на земле — неизвестно где! — неподвижно распростертое, бездыханное тело человека, так и не успевшего услышать ответ на свой вопрос:

«Кто же была она, эта девушка из партшколы?»

...И что испытала она, ожидая развязки, в тот до ужаса знойный июльский день, пылающий, как багровый цветок бигнонии, куда с угрожающим ворчанием медленно вползала оса, мягко расталкивая крыльями внутренние органы нагретого солнцем цветка, преграждавшие ей дорогу в тупик, откуда уже не было возврата.

Весь город — его пустынные каменные улицы, его гранитные мостовые, неподвижное море, бездыханная перистая листва акаций, сухие фонтаны — в эти страшные часы солнечного удара как бы весь помещался внутри закрывшегося багрового цветка, — весь город вместе с портовым маяком, а главное, вместе с громадным, многоэтажным зданием, которое как бы возглавляло и подавляло все прочие строения и в котором в эти часы что-то готовилось на вечер.

Клавдия Заремба не знала в точности, как это делается. Но она сама была заперта в одной из камер этого здания, и все, что совершалось вокруг, в страшной близости от нее, сейчас же превращало ее догадки в нечто абсолютно достоверное.

Цветок бигнония имел еще другое название: текола.

Клавдия Заремба знала этот дом сверху донизу, все его парадные и черные лестницы, закоулки.

Не так давно — до революции — это был новый доходный дом какого-то акционерного общества на шикарной полузагородной улице против парка и славился своими дорогими барскими квартирами в пять, шесть и даже восемь комнат со всеми удобствами: ваннами, ватерклозетами, газом, лифтами, с конюшнями и гаражом во дворе, с цветниками, круглым бассейном, мраморными скамейками, плакучими японскими деревцами посредине газонов и асфальтовыми дорожками, которые вели от калиток в кованой железной ограде к парадным входам дома, освещенным по вечерам матовыми электрическими плафонами, где жили очень богатые семьи.

Теперь здесь у всех входов и выходов стояли часовые частей особого назначения: китайцы, латыши, русские солдаты экспедиционного корпуса, вернувшиеся из Франции.

Дом этот возвышался над всем городом, как Акрополь, а ночью один донизу был освещен ярким электричеством среди погруженных во мрак домов.

Бессонный, как совесть, он беспощадно озарял самые темные закоулки человеческого сознания, где, быть может, еще гнездились преступные мысли, порожденные моралью старого мира.

Но не менее страшен казался этот дом в разгар лета, в конце мучительно-нескончаемого июльского дня, когда время по декрету переводилось на три часа вперед, так что, когда по солнцу было еще только пять, городские часы показывали восемь вечера и вступал в силу комендантский час, после наступления которого появление на улицах без специального пропуска каралось расстрелом на месте.

Ослепительное солнце стояло еще высоко над крышами, а уже город был зловеще безлюден, в пустынных улицах по тротуарам косо и жарко дрожали зеркальные отражения оконных стекол, стучали шаги одинокого патруля, и дома изредка содрогались от проезжавшего мимо запертых ворот военного грузовика.

Что осталось у нее в памяти от этих дней?

Стена пустынной комнаты с громадным, роскошным письменным столом, на синем сукне которого лежал маузер в деревянной кобуре, кожаный диван и над ним, прямо по дорогим кабинетным обоям, размашисто написанные широкой кистью золотой краской слова: «Смерть контрреволюции».

Это был кабинет начальника секретно-оперативной части, из венецианского окна которого над верхушками Александровского парка с его обезглавленной колонной виднелась полоса кубово-синего одичавшего моря без единого паруса, без единого дымка на горизонте.

Встретившись через очень много лет с человеком, который тогда сидел за письменным столом, она напонила ему эту золотую надпись на обоях, но он с удивлением посмотрел на нее:

— Не было такой надписи, дорогуща, ты что-то напутала.

— Уверю тебя, была. Как сейчас вижу.

Он нахмурился.

— Это тебе показалось.

— Клянусь.

— Ну так кто-то из нас псих.

— Значит, ты.

Но прошло еще очень много времени — тому вперед, — и они встретились в центральной поликлинике возле кабинета зубного врача, перед массивной ясеновой дверью с начищенной медной шишкой, среди квадратных колонн из искусственного мрамора и декоративных растений в фаянсовых горшках на теплом толстом подоконнике громадного окна, из которого открывался вид на ветхие особнячки Сивцева Вражка и на мягкий голубой силуэт высотного здания с вышками, обелисками и приземистым шпилем.

— Здравствуй, Викентий.

— Здравствуй, товарищ Заремба. Ты заметила, что мы с тобой встречаемся раз в семнадцать лет? Ты полностью?

— Полностью.

— Я тоже полностью, и даже уже на пенсии. Персональный пенсионер. Вот, брат. Делаю себе новые мосты.

— Я то же самое. Больше половины зубов потеряла.

— А ты тем не менее здорово прибавила. Сколько ты тянешь? Килограммов семьдесят?

— Зачем уточнять?

— А была хрупкая девушка, мечта поэта.

— Хрупкой никогда не была. Была тонкая, но плотная. И все-таки я утверждаю, что на обоях было написано: «Смерть контрреволюции». Хоть что хочешь, а было.

— Ты знаешь, действительно было, — засмеялся он. — Я потом вспомнил. Хотел даже тебе позвонить, но у нас там, вообрази себе, не было ни одного телефона-автомата.

— Ишь ты какой веселенький!

— А что! Знаешь, как это произошло: мы в отделе готовились к первомайской демонстрации, и падо было написать на знамени какой-нибудь подобающий лозунг. Мы приложили кумачовое знамя к стене, растянули, и Ангел Смерти, — ты его помнишь, нашего Колю Березовского, по кличке Ангел Смерти? — красивый был парень и хорошо рисовал, царство ему небесное, — так он взял здоровую кисть и золотой краской написал: «Смерть контрреволюции». Краска прошла сквозь материю, и буквы отпечатались золотом на обоях.

— Вот видишь. А ты еще спорил.

— Прости, душенька. Однако ты нам тогда здорово помогла. Помню, как ты переживала!.. Страшное дело!

Они смотрели друг на друга, вспоминая себя такими, какими были в те времена. Он довольно смутно представил ее в своем кабинете совсем молодой, в трофейном английском френче, со стриженной, как у мальчика, головой, худой от голода, с несколько запавшими глазами, неподвижно устремленными на золотую надпись над кожаным адвокатским диваном. А она вспомнила его довольно суетливым человечком лет тридцати с внешностью мелкого ремесленника, каковым он в действительности и был до революции — типичный русский уездный портной-неудачник в ситцевой рубашке и жилетке с сине-вороненой пряжкой сзади, с яростно-веселым выражением коротконосого, плебейского лица, истерзанного ненавистью к классовым врагам, которых он поклялся всех до одного уничтожить, стереть с лица земли, не зная ни пощады, ни жалости, ни усталости. Его однообразно темные глаза в форме вишенки внимательно, даже как бы предупредительно смотрели на собеседника, так что могло сложиться впечатление, что он человек добрый, даже жалостливый. Но ничто не могло

быть более ошибочно, чем это впечатление: он был беспощаден, неподкупен и принципиален.

С детских лет хлебнувши в жизни много горя, несправедливости и унижений, сначала от зверя-хозяина, а потом от своих заказчиков — пехотных офицеров захолустного гарнизона, на которых он никогда не мог угодить, которые часто не платили ему за работу, требовали бесконечных переделок, перешивок, пригонок, которые били ему морду и вытаскивали в три шеи из собрания, куда он приходил за деньгами с раздутой щекой, подвязанной цветным платком, и с черно-свинцовым синяком под заплывшим глазом, он так ненавидел их, что у него кровь оглушительно стучала в висках и перехватывало дыханье, и он готов был истребить их всех до одного, сколько бы их ни было на свете, истреблять без устали, день и ночь, планомерно и яростно-хладнокровно, и делать это до тех пор, пока на земном шаре не восторжествует Справедливость и Владыкой Мира станет Труд.

В тот день у него на письменном столе была разложена выполненная акварельными красками цветная схема контрреволюционной офицерской организации со всеми ее разветвлениями и связями, где каждый член преступной организации был изображен в виде условного знака — кружка, треугольника, ромба, квадратика с именем заговорщика, и Заремба прочитала в центре на зеленом треугольнике имя своего возлюбленного, к которому сходились все нити заговора.

Он допросил ее для проформы, все время суетясь, стараясь быть радушным хозяином и приговаривая:

— Сейчас я сбегая за кипяточком... Попьем с тобой чайку... Бери ландринку, хлебца. Небось проголодалась. Ты нас здорово выручила, спасибо тебе за это от имени Революции. И не переживай. Вытри щеки. Вот на тебе платочек. Поверь мне, этот подлец, твой штабс-капитанишка, не стоит слез. Был бы их верх — он бы всех нас развесил на фонарях и железнодорожных переходах; и тебя тоже, несмотря ни на что, — будь в этом уверена. Или мы их, или они нас. Пей чайку. Потерпи до завтра. Нынче мы их всех ликвидируем. Завтра можешь спокойно выходить на работу.

Вечером из своей камеры она слышала, как их привезли на грузовике из тюрьмы и вызывали куда-то по одному и как через некоторое время в коридоре раздался топот ног, звуки борьбы, тяжелое дыханье, окрики. Она

прильнула к окошечку в двери и увидела часть сумеречного коридора, оклеенного грязными бумажными обоями, и засиженную мухами голую электрическую лампочку на толстом витом шнуре, которая только что стала слабо накаляться, освещая все вокруг призрачным красным светом, и по этому коридору конвойные волокли, толкая в спину и хватая за плечи, громадного, костлявого, длинноносого парня с потным лицом, побитым оспой, с длинными обезьяньими руками, низким вогнутым лбом и далеко выдающимся дегенеративным затылком, известного налетчика, грабителя, разбойника, запросто убивавшего топором целые семьи, не жалея старых и маленьких детей, а кроме того, добровольного палача деникинской контрразведки, лично повесившего несколько десятков рабочих-коммунистов на железнодорожном переходе станции Одесса-Главная, по фамилии Ухов. Теперь его тащили из камеры для того, чтобы вывести в расход, и он, рыдая от ужаса и буйствуя, время от времени теряя сознание или делая вдруг отчаянные попытки вырваться, убежать и куда-нибудь спрятаться — хотя бы под скамейку, — не переставая слюпил своими толстыми мокрыми губами огрызок карандаша и норовил как можно разборчивее, громадными буквами написать на обоях свою фамилию Ухов. Его тащили, а он все писал, разрывая обои, одно за другим — Ухов, Ухов, Ухов, Ухов... — пока его не подхватили под мышки и повесли, а карандаш в последний раз провел по обоям глубокую рваную борозду и обломился...

Заремба хотела в последний раз посмотреть на Петю Соловьева, но их всех так быстро, почти бегом, провели по коридору фотографировать, что она его не заметила, легла в угол своей общей камеры и потеряла сознание, а потом обморок перешел в странный, почти летаргический сон, продолжавшийся несколько суток, а когда она очнулась, то увидела, что лежит на белой койке в больнице, и с большим трудом припомнила, что с ней было.

Года два после этого ее лечили и возили по санаториям, и в конце концов она выздоровела.

Несколько раз мы сталкивались с ней мимолетно, иногда узнавали друг друга, иногда не узнавали; молча проходили мимо или обменивались несколькими словами, и

тогда в ее изменившемся стареющем лице я угадывал черты маленькой девочки в матроске или девушки из совпартшколы, в которую так страстно и так ненадолго влюбился.

Однажды я увидел ее на мраморной лестнице поликлиники; она шла вниз с отдышкой, располневшая, почти седая, с толстыми ногами, обутыми в тесные туфли на высоких каблуках, которые, очевидно, причиняли ей страдание.

— Здорово, парень, — сказала она печально. — Как живешь? Ты уже дедушка? А я уже бабушка. Вспоминаешь ли ты когда-нибудь нашу молодость? Ну, топай, топай.

Сколько раз я брался за перо, чтобы исполнить совет покойного моего друга и старшего товарища Сергея Ингулова и написать роман о девушке из совпартшколы. Может быть, это был единственный настоящий сюжет, алмаз, который стоило, не жалея времени и сил, огранить, превратить в сверкающий бриллиант. Но каждый раз я чувствовал свое бессилие: тема была во много раз выше меня и ее нельзя было обработать так себе, в старой манере, которой она никак не поддавалась.

Девушку из совпартшколы нужно было писать совершенно по-новому, небывало и, как сказал бы Осип Мандельштам, «на разрыв аорты». А я еще к этому не был готов.

«Как жалко, что нам не хватило времени написать наш «Революционный катехизис искусства!» — с горечью воскликнул Эдмон Гонкур.

И как не хватало этого катехизиса мне, тогда еще не открывшему мовизма.

«...На протяжении всех трехсот страниц с топотом опрокидывать все священные мнения, вековое восхищение, академические программы профессоров эстетики, всю эту старую веру искусства, еще более лишенную критического духа, чем религиозная вера...»

Нет, нет, успокойтесь, товарищи, это не я написал, а Гонкур!

«Интеллектуальное «наплеватьство» на всеобщее мнение: самая редкая смелость, какую я когда-либо встречал, и, только обладая этим даром, можно создавать оригинальные вещи...»

Короче говоря, нужно было быть не Буниним, а, по крайней мере, Маяковским.

«...Я ищу... чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим... Решительно, слово «роман» уже не определяет книги, которые мы пишем. Я хотел бы дать им другое название».

...Если не мемуары, не роман, то что же я сейчас пишу? Отрывки, воспоминания, куски, мысли, сюжеты, очерки, заметки, цитаты...

Но все равно мне не под силу заполнить этими жалкими обломками своей и чужой памяти ту неизмеримую, вечную пропасть времени и пространства, на краю которой я ворочаюсь до рассвета, измученный, истерзанный тяжелыми мыслями.

Иногда я сам себе напоминаю счастливого царя, вдруг без всякой видимой причины заболевшего бессонницей.

Сказка о подушке.

С некоторого времени царь потерял способность спать. Лучшие врачи и маги не могли излечить его от этого смертельного недуга. Ни одно снотворное не действовало на царя. День и ночь он метался на своей постели с открытыми глазами, и его мозг был истощен постоянной, непрерывной, бесконечной работой воображения. Он умирал. Казалось, ничто не может его спасти. И вот однажды, глухой ночью, когда ангел смерти уже совсем низко летал над

его головой, в спальню царя тайно пробралась босиком самая молодая, и самая прелестная, и самая любимая из его жен в тончайших, полупрозрачных шальварах в пестрых цветочках, потрогала своими нежными пальчиками изголовье царя и сказала:

— Дорогой, мне кажется, я знаю причину твоей болезни. Не можешь ли ты ответить мне на один вопрос: давно ли ты спишь на этой подушке?

— Давно.

— А когда ее перебивали в последний раз и подсыпали в нее нового пуха?

— Сравнительно недавно.

— И конечно, это делала твоя первая, главная жена?

— Ну да, по обычаю.

— Так вот что я тебе скажу, любимый: старушка переложилла пуха. Я ничего не хочу сказать о ней плохого. Она это сделала любя, чтобы тебе было лучше. Но потрогай — она ее так набила, что подушка стала как каменная. Разве на ней заснешь? Дай, милый, я выпущу из нее лишний пух, и ты сразу забудешь, что такое бессонница.

Она вспорола своими проворными ручками наволоку и вынула несколько горстей драгоценного пуха, затем взбила подушку, царь положил на нее свою голову, почувствовал воздушную прохладу и легкость и заснул блаженным сном, а младшая жена выгнала полотенцем ангела смерти в форточку и, поцеловав своего повелителя и возлюбленного, удалилась так же неслышно, как и пришла.

Но сказка на этом, однако, не копчается.

Царь стал сразу же засыпать, как только ложился, и спал долго и сладко до самого позднего утра, когда ему приносили кофе с молоком. Сначала ему это очень нравилось, но потом он заметил, что совсем перестал перед сном размышлять о судьбах своего царства и даже немного поглупел. Тогда он позвал к себе молоденькую жену и шепнул ей на ухо:

— Старушка, конечно, тогда сильно переложилла пуха, это верно, но ты — о самая моя любимая! — сделала мой сон слишком легким, счастливым и бездумным. А для царя это не годится. Не можешь ли ты добавить в подушку

совсем небольшую горсточку пуха, чтобы я засыпал не сразу и у меня было бы немного времени для полезных размышлений?

— С удовольствием, дорогой, — ответила младшая жена и добавила в подушку царя одну, совсем маленькую горсточку лебяжьего пуха.

— Вот теперь будет в самый раз, — сказал царь, и с той поры ежедневно перед сном его посещали самые важные мысли.

Разумеется, эти мысли не всегда были веселые, но зато они всегда озаряли его душу светом истины.

«Два сонных яблока у века-властелина и глиняный прекрасный рот... Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, и некуда бежать от века-властелина... Пылает на снегу аптечная малина... Ужели я предам позорному злословью — вновь пахнет яблоком мороз — присягу чудную четвертому сословью и клятвы крупные до слез?»

Пылала на снегу аптечная малина, и в агонии красных огней и вагонов в лице изменялась столица...

«Один: я заметил знамена у ложа и черную флейту над пультом; я видел, как с глиною борется, лежа у гроба, измученный скульптор. Другой: как столетье, стояла минута, проверенной совести проба. Он был неподвижен, во френче, как будто диктующий лозунг из гроба. И третий: с мешками у глаз среди зала, седая и руки сухие, жена, неподвижно дежуря, стояла у тела в ногах, как Россия...»

Во сне сквозь шум темных крыльев я услышал стук в дверь. Стук судьбы. Я проснулся и долго не мог понять, где я нахожусь, медленно всплывая на поверхность из таинственных глубин сновидений, не успевших еще дойти до сознания.

Передо мною стояла большая фигура очень высокого человека в фетровой шляпе, и я услышал слова, сказанные знакомым голосом — баритональным басом, который как бы *мягко сходил на низы*:

— Вы рады?

Он мог этого не спрашивать. Конечно, я был рад. Но меня удивило, что он не на бегах, хотя был беговой день, 13 апреля. Он вошел в комнату, уже еле-еле тронутую приближающимися сумерками, поставил палку в угол, а

шляпу повесил на пуговку самой верхней полки шведского книжного шкафа, предварительно попробовав пальцами, крепко ли она держится, эта самая пуговка, которую он в прошлый раз оторвал, так что мне пришлось обернуть ее стерженек бумагой.

Снимая пальто и бросая его на валик дивана, он роко-чушим приглушенным басом приговаривал:

— Рад, что вы рады, и рад, что рад аппарат. Аппарат прекрасный, аппарату рад,— рад и я, и мой аппарат. Узнаете?

— Конечно. «Баня».

— А знаете, откуда это попало в «Баню»?

— Не знаю.

— Из детства. Купили фотографический аппарат. Вся семья очень радовалась. Немедленно выразил это стихами: «Мама рада, папа рад, что купили аппарат». Это и было мое первое стихотворение.— Он помолчал, высморкался, вытер свой гриппозный нос.— Когда будете писать воспоминания о Маяковском — не забудьте этого факта. Пригодится. Или продайте кому-нибудь другому.

— Обязательно!

Затем он спросил традиционное:

— Как живете, караси?

— Ничего себе, мерси,— ответил я столь же традиционно.

Это было двестише из моей уже давно изданной детской книжечки под названием «Радиожираф», которое понравилось Маяковскому, и он пустил его в ход, так что в нашей компании, а потом по всей Москве оно сделалось как бы шуточным военным паролем.

Он вообще часто подхватывал чью-нибудь крылатую фразу и в течение долгого времени не расставался с ней, повторяя на все лады, так что иногда создавалось впечатление, что это придумал он сам.

Так, одно время он без конца повторял шуточный стишок Ильфа: «Марк Аврелий не еврей ли?»

Знаменитые рекламные строчки Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме» — стали пословицей, но другой подобный же афоризм: «Кто куда, а я в сберкассу» — был сочинен Васей Лебедевым-Кумачом, хотя это также приписывали Маяковскому.

Вообще, как человеку очень известному и популярному, ему приписывалось множество чужих остроумий и шуток, подобно тому как почти все анекдоты и эпиграммы некогда приписывались Пушкину.

Кстати, выражение: «Инцидент исперчен» — вместо «исчерпан» — я слышал еще до революции. Его придумал друг моей юности, большой остряк Арго. От него это выражение и пошло по рукам, пока им окончательно не завладел и не закрепил навсегда за собой Маяковский.

В этот день он острит скорее по привычке. Мне показалось, что нынче он что-то невесел, озабочен, будто все время прислушивается к чему-то. Наверное, подумал я тогда, замучил грипп.

С некоторым беспокойством следил я за всеми его передвижениями, так как обычно, входя в мою комнату, он учинял небольшой шуточный дебаш, безвредный, но пугающий своей стремительностью. Одним движением смахивал оп с письменного стола рукописи, засовывал под диван книги, ставил на подоконник, за портьеры, как за кулисы, письменные принадлежности, бутылочки с чернилами, коробку канцелярских скрепок.

— Запомните, — приговаривал он ворчливо, — у писателя на столе должно быть абсолютно пусто. Шурум-бурум к черту! Это отвлекает.

В особенности его раздражал небольшой матово-серебряный юбилейный прибор в стиле модерн, доставшийся мне в наследство от моего полтавского дяди, известного в свое время земского деятеля. Я держал прибор исключительно из уважения к памяти дяди.

С непостижимым проворством фокусника Маяковский рассовывал все составные части этого юбилейного прибора — подсвечники без свечей, ножик для разрезания, пресс-папье без промокашки, две пустые чернильницы с серебряными колокольчиками крышечек, спичечницу — с глаз долой, куда попало: в книжный шкаф, под кресла, даже в устье голландской печки, если дело было летом.

Совершая все эти забавные безобразия, он рычал из Хлебникова: «И тополь земец, и вечер темец, и моря речи, и ты — далече».

Этим он как бы отдавал долг вежливости моему дяде, который был земец.

Думаю, что подобного рода торопливое освобождение стола от посторонних предметов была, скорее всего, привычка игрока, не теряя золотого времечка, готовить зеленое поле для ночного сражения.

На этот раз он ограничился лишь тем, что с нескрываемым презрением покосился на юбилейный прибор и, отодвинув в сторону легковесный серебряный подсвечник, присел боком на угол стола, обтянутого зеленым сукном, и в такой позе — полусидя-полустоя — сказал, отвечая на мой вопросительный взгляд:

— Ни за чем. Пришел просто так. Вы удивлены? Напрасно. Посидеть с человеком. Как гость. Хотите — «будем болтать свободно и раскованно»?

И в ту же минуту надолго замолчал, ушел глубоко в себя.

Его по-украински темно-карие, несколько женские глаза — красивые и внимательные — смотрели снизу вверх, отчего мне всегда хотелось назвать их «рогатыми».

Рогатые глаза. Глупо. Но мне всегда так хотелось. Может быть, в этом и есть самая суть мовизма — писать как хочется, ни с чем не считаясь.

В углу его крупного, хорошо разработанного рта опытного оратора, эстрадного чтеца с прекрасной артикуляцией и доходчивой дикцией, как всегда, торчал окурок толстой папиросы высшего сорта, и он жевал его, точнее сказать, перетирал синеватыми искусственными зубами, причем механически двигались туда и сюда энергичные губы и мощный подбородок боксера.

В его темных бровях, в меру густых, таких, которые, как я заметил, чаще всего встречаются у очень способных, одаренных юношей, было тоже нечто женское, а лоб, мощно собранный над широкой переносицей, был как бы рассечен короткой вертикальной морщиной, глубоко черневшей треугольной зарубкой.

С недавнего времени он почему-то отрастил волосы, и они разваливались посередине лба на стороны, придавая

несвойственный ему вид семинариста, никак не соответствующий тому образу Маяковского — футуриста, новатора, главаря, который сложился у меня с первых дней нашего восьмилетнего знакомства, то есть с самого начала 20-х годов.

Теперь, когда он стал памятником, очень трудно представить его себе не таким, как на площади Маяковского, на невысоком цоколе, с семинарскими волосами. Между тем почти все время, за исключением самого начала и самого конца своей писательской жизни, он коротко стригся, иногда наголо, машинкой под нуль, и его голова — по-моему, иногда даже просто начисто выбритая — определенностью своей формы напоминала яйцо, о чем свидетельствуют фотографии разных лет, в том числе одна из самых похожих, работы друга Маяковского, художника и фотографа, лефовца Родченко, где великий поэт с наголо остриженной головой, с внимательными агатовыми глазами сидит без всякой позы на простом венском стуле с гнутой спинкой прямо посреди какой-то пустынной комнаты, похожей на кухню.

Передо мной, облокотившись задом на стол — на тот самый стол, за которым мы — Асеев, Светлов, Олеша, Крученых, Маяковский, — бывало, резались до утра в девятку, без умолку остря, в клубах зеленого табачного дыма, — стоял уже почти памятник, во всяком случае, на его знаменитом лице лежали чугунные тени хмурого апрельского предвечерия, холодного и сырого.

У него было затрудненное гриппозное дыхание, он часто сморкался, его нос с характерной бульбой на конце клубнично краснел. Он привык носить с собой в коробочке кусочек мыла и особую салфеточку, и, высморкавшись, он каждый раз шел в кухню и там над раковиной мыл руки этим своим особым мылом и вытирался собственной, особой салфеточкой, причем, доставая их из кармана, по своей неизменной привычке, начинал перекидывать из кармана в карман различные предметы: из заднего кармана брюк извлекал, например, пачку бледно-зеленых двадцаток, приготовленных для уплаты фининспектору подоходного налога, и перекидывал ее в боковой карман пиджа-

ка, а на место пачки двадцаток засовывал маленький маузер, извлеченный из левого кармана брюк вместе с кусочком мыла, завернутого в салфетку, а мыло и салфетку перекладывал в правый карман, откуда на миг доставал стальной кастет и быстро прятал его обратно, причем заодно проверял, на месте ли в нагрудном кармане авторучка, или, как он любил ее называть несколько высокопарно, — «стило́».

«Вот вам, товарищи, мое стилó, и можете писать сами!»

Подобные операции с перекладыванием вещей он производил довольно часто. Доставая один какой-нибудь предмет, он как бы приводил в движение некий скрытый механизм, после чего происходил неотвратимый, законченный цикл перекладывания предметов, их появления и исчезновения, щелканья, чем-то напоминавший движение механических фигурок в тире, приведенных в действие метким выстрелом в маленькую красную мишень.

И вверх ногами рушилась на своей оси железная фигурка убитого человечка...

— Катаич, — сказал он, пряча в карман последний предмет, — вот вы южанин. Скажите, как вы переносите север? Часто простужаетесь?

— Бесперывно.

— И я то же самое. До сих пор никак не могу привыкнуть к этому паршивому климату. Апрель пазывается!.. Разве это апрель? Гибну, как обезьяна, привезенная из тропиков.

Он снова высморкался и характерным жестом глубоко, обеими руками одновременно заправил сорочку под ремень своих просторных брюк — узких в бедрах, широких в шагу, в глубоком кармане которых часто лежала его «краснокожая паспортина» — «молоткастый, серпастый советский паспорт».

Именно тогда мне в голову пришла простая мысль, догадка, объяснявшая многое в его характере, в особенностях его творчества. В сущности, он был человеком из другой

страны, южанин. Приезжий. И до сих пор никак не мог акклиматизироваться. Заморский страус. Во всяком случае, именно так назвал он себя в стихотворении «России».

«Вот иду я, заморский страус... Я не твой, снеговая уродина. Глубже в перья, душа, уложись! И иная окажется родина, вижу — выжжена южная жизнь. Остров зноя. В пальмы овазился... Ржут этажия. Улицы пялятся. Обдают водой холодá. Весь истыканный в дымы и в пальцы, переваливаю года».

Впервые понял я, как ему трудно переваливать года.

«Что ж, бери меня хваткой мёрзкой! Бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовства всех декаблей».

Я повторял про себя эти строчки, а он — их творец, в любую минуту готовый исчезнуть, чужой и заморский, весь истыканный в дымы и в пальцы, — внимательно смотрел в мое маленькое окно почти на уровне земли, выходящее во двор извозничьего трактира, одной из тех чайных, каких в то время осталось еще довольно много по переулкам Сретенки.

Двор был заставлен кончавшими свой век ободранными пролетками, и лошади с надетыми на морды торбами заглядывали в окошко, встречаясь взглядами с Маяковским, по-видимому чувствуя его хорошее к себе отношение.

Очень медленно, чересчур медленно темнело в этот неопределенный час между концом дня и началом вечера в одном из бедных переулков, куда не долетал глухой мельничный шум по-китайски многолюдной, пешеходной Сретенки, и мы вдвоем с Маяковским в еще не освещенной комнате — он, уже знаменитый на весь мир поэт, и я, так и не написавший до сих пор «Девушки из совпартшколы», — оба, как мне тогда казалось, уже далеко не молодые — ему тридцать семь, а мне — господи, неужели? —

уже тридцать три — и жизнь прошла! — все это вместе вызывало во мне страшную, безвыходную горечь, ощущение безвозвратно ушедшей молодости, чуть ли не наступившей старости, когда все прошло и больше уже ничего не будет, или, как тогда говорилось в нашем кружке: «Больше ничего не покажут».

А впереди, на сумеречной стене, водянисто-пепельная тень неопределенных очертаний, которую можно было при желании истолковать как угодно, даже как пепельные одежды летящего Азраила.

«И день сгорел, как белая страница: немного дыма и немного пепла!»

Может быть, именно вот так — в дореволюционные годы — сидел в своей петербургской конурке некий непризнанный литератор, жалкий подражатель Достоевского, — и вдруг на пороге — весь темный, в темной широкополой шляпе, в шерстяном кашне, тихий, неясный, как сон, — Александр Блок, который пришел навестить собрата. Пришел ни за чем. Просто так. Посидеть с человеком. Как гость. По литературной традиции. Ходят же люди в гости друг к другу. Ведь ничего нет страшнее, когда *некуда* человеку пойти. И так далее.

Было во всем этом острое ощущение традиционного русского писательского быта, возможно, даже смены поколений, горечь неизбежного отмирания. И то, что мне представилось явление Александра Блока, было понятно.

Маяковский любил Блока, едва ли не считал его самым великим русским поэтом со времен Пушкина.

Он никогда об этом не говорил. По крайней мере, прямо. Но я чувствовал, что это именно так.

Однажды в начале 20-х годов Маяковский вернулся из заграничной поездки — кажется, из первой своей заграничной поездки, — вернулся домой, в Москву, в квартиру Бриков в Водопьяном переулке у Мясницких ворот, наискосок от почтамта, полный впечатлений, и был крайне удивлен, даже потрясен, когда на другой же день «Известия» прислали к нему интервьюера. Это воспринялось как нечто из ряда вон выходящее, еще небывалое.

Несмотря на бурно разворачивающийся нэп, в совет-

ских центральных газетах продолжал царить строгий стиль военного коммунизма, не допускавший ни малейшей бульварщины, желтизны, сенсаций, свойственных буржуазной прессе. И уж разумеется, никаких интервью, в особенности с поэтом-футуристом, вернувшимся из заграничной поездки. Однако времена, по-видимому, менялись. Нэп наступал. И вот первая ласточка: сотрудник «Известий», явившийся к Маяковскому взять интервью.

Взвинченный, веселый, изысканно вежливый, сверкающий всеми красками своего неповторимого юмора, Маяковский в парижском пуловере, с узким ремешком карманных часов на лацкане пиджака — было сверхмодно носить часы в нагрудном карманчике пиджака, — с наголо остриженной головой — гигиенично, современно, конструктивно, а также потому, что: «Причесываться? На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно!» — шагая среди своего полуразобранного багажа, расшвырянного по всей комнате, то и дело наступая новыми заграничными башмаками на коробки, свертки, на раскладную гуттаперчевую ванну-таз, отбрасывая из-под ног цветные резиновые губки, нераскупоренные флаконы с аткинсоновской лавандой и зелено-полосатые жестянки с тальком для бритья «пальмолив», Маяковский в одно и то же время и усаживал сотрудника «Известий» за стол, и наливал ему «напареули», и придвигал тарелку с громадными свежими пирожными «от Бартельса», и краем рта, показывая синеватые зубы, победно улыбался, глядя на членов редакции «Лефа», собравшихся на заседание по случаю возвращения из-за границы своего главного редактора.

Проходя мимо, сказал:

— Как вы думаете, если бы — вообразите себе! — не я вернулся из Парижа, а Блок, то прислал бы ему Стеклов сотрудника взять интервью для «Известий»?

Уверен, что вечно в душе Маяковского жил Александр Блок, тревожа его, заставляя завидовать и восхищаться.

Блок был совестью Маяковского.

Однажды в какой-то редакции среди общего разговора, шума, гама, остроумия Маяковский вдруг ни с того ни с сего как бы про себя, но достаточно громко, чтобы его все услы-

шали, со сдержанным восхищением, будто в первый раз слыша музыку блоковского стиха, от начала до конца сказал на память без единой запинки волшебное стихотворение:

— «Ты помнишь? В нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда...»

Глаза Маяковского таинственно засветились.

— «Четыре — серых...» — сказал он и помолчал. Было видно, что его восхищает простота, точность, краткость и волшебство этих двух слов: «Четыре — серых». Целый морской пейзаж.

— «Четыре — серых. И вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас».

Он даже при этих словах сделал несколько шагов вперед, на один миг как бы перевоплотившись в загорелого французского матроса в шапочке с красным помпоном, и закончил стих, неожиданно вынув из кармана, предварительно в нем порывшись, маленький перочинный ножик — возможно, воображаемый.

— «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран — и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман!»

Маяковский протянул слушателям воображаемый ножик и даже подул на него, как бы желая сдуть пылинку дальних стран.

Голову даю на отсечение, что в это время он видел вдали перед собой мираж своего «острова зноя, овазившегося в пальмы».

Главная сила Маяковского была — воображение.

«Океан — дело воображения, — писал он где-то. — И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, — только это воображение есть Атлантический океан».

Гениально просто, но именно в этом и заключается самая суть поэзии.

Антагонизм литературных направлений. Не выдумка ли это? По-моему, не существует никаких литературных направлений. Есть одно только направление в искусстве: всепокоряющая гениальность. Даже просто талант. И — воображение.

Ленин назвал Достоевского архискверным, что не помешало ему подписать декрет о сооружении Достоевскому памятника.

Однажды я был свидетелем встречи Маяковского с Мандельштамом. Они не любили друг друга. Во всяком случае, считалось, что они полярные противоположности, начисто исключающие друг друга из литературы. Может быть, в последний раз перед этим они встретились еще до революции, в десятые годы, в Петербурге, в «Бродячей собаке», где Маяковский начал читать свои стихи, а Мандельштам подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр». Маяковский так растерялся, что не нашелся что ответить, а с ним это бывало чрезвычайно редко. И вот они снова встретились.

В непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще стоявшего на Тверском бульваре, в доме, которого уже давным-давно не существует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в дореволюционном стиле,

Однажды в этом магазине, собираясь в гости к знакомым, Маяковский покупал вино, закуски и сладости. Надо было знать манеру Маяковского покупать! Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую начальную арифметику, да и то всего лишь два действия — сложение и умножение.

Приказчик в кожаных лакированных нарукавниках — как до революции у Чичкина — с почтительным смятением грузил в большой лубяной короб все то, что диктовал Маяковский, изредка останавливаясь, чтобы посоветоваться со мной.

— Так-с. Ну, чего еще возьмем, Катаич? Напрягите все свое воображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните, почтеннейший, еще два кило копченой «московской». Затем: шесть бутылок «абрау-дюрсо», кило икры, две коробки шоколадного набора, восемь плиток «Золотого ярлыка», два кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов, швейцарского сыра одним большим куском, затем сардинок...

Именно в этот момент в магазин вошел Осип Мандельштам — маленький, но в очень большой шубе с чужого плеча до пят — и с ним его жена Надюша с хозяйственной сумкой. Они быстро купили бутылку «каберне» и четыреста граммов сочной ветчины самого высшего сорта.

Маяковский и Мандельштам одновременно увидели друг друга и молча поздоровались. Некоторое время они смотрели друг на друга: Маяковский ядовито сверху вниз, а Мандельштам заносчиво снизу вверх, и я понимал, что Маяковскому хочется как-нибудь получше сострить, а Мандельштаму в ответ отбрызнуть Маяковского так, чтобы он своих не узнал.

Я изучал задранное лицо Мандельштама и понял, что его явное сходство с верблюдиком все же не дает настоящего представления о его характере и художественно является слишком элементарным. Лучше всего изобразил себя сам Мандельштам:

«Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заест ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак».

Он сам был в этот миг деревянным щелкунчиком с большим закрытым ртом, готовым раскрыться как бы на шарнирах и раздавить Маяковского, как орех.

Сухо обменявшись рукопожатием, они молчаливо разошлись; Маяковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордости, произнес на весь магазин из Мандельштама:

— «Россия, Лета, Лорелея».

А затем повернулся ко мне, как бы желая сказать: «А? Каковы стихи? Гениально!»

Это была концовка мандельштамовского «Декабриста»:

«Все перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, все перепуталось и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея».

По отношению к прошлому будущее находится в настоящем. По отношению к будущему настоящее находится в прошлом. Так где же нахожусь я сам?

Неужели для меня теперь нет постоянного места в мире?

Или «теперь» — это то же самое, что «тогда»?

— Ну так что же,— сказал *теперь* Маяковский, усаживаясь на диван,— вы хозяин. Я гость. Занимайте.

— Я вас?

— Меня!

— Мчать болтая, будто бы весна,— свободно и раскованно?

— Вот именно.

Ох, какие мы были тогда остряки!

— Давайте. Расскажите что-нибудь раскованно о Блоке. Вы ведь с ним встречались?

— Хотите: о моей одной исторической встрече с Александром Блоком? Еще до революции. В Петрограде. У Ли-

лички именины. Не знаю, что подарить. Спрашиваю у нее прямо: что подарить? А у самого в кармане... сами понимаете. Нищий! Дрожу: а вдруг захочет торт — вообразите себе! — от Гурмэ или орхидеи от — можете себе представить! — Эйлера? Жуть! Но она потребовала книгу стихов Блока с автографом. «Но как же я это сделаю, если я с Блоком, в сущности, даже не знаком? Тем более — футурист, а он символист. Еще с лестницы, чего доброго, спустит». — «Это ваше дело». Положение пиковое, но если Личка велела... О чем тут может быть речь?.. Спатался с лестницы. Слышал, живет на Офицерской. Мчусь на Офицерскую. Пятый этаж. Взбежал. Весь в пене. Задыхаюсь. Дверь. Здесь. Стучусь. Открывают. «Не могу ли видеть поэта Александра Блока?» — «Как доложить?» Так прямо и режу: «Доложите, что футурист Маяковский». А сам думаю про себя: нахал, мальчишка, апаш, щен, оборванец. Никому не известен, кроме друзей и знакомых, а он — Блок! Нет, вы только вообразите себе, напрягите всю свою фантазию: Александр Блок. Великий поэт. Сам! Кумир. По вечерам над ресторанами. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай. Стою. Жду. Сейчас спустят с лестницы. Ну что ж... Не так уж высоко. Всего пять этажей. Пустяки. Но все-таки... Однако нет, не спустили. Услышав мой голос, выходит в переднюю. Лично. Собственноручно. Впервые вижу вблизи. Любопытно все-таки: живой гений. При желании могу даже потрогать. Александр Блок. Величественно и благосклонно. С оттенком мировой скорби: «Вы Маяковский?» — «Я Маяковский!» — «Рад, что оказали мне честь. — И этак многозначительно: — Знал, что вы придете. Чувствовал. Давно жду встречи с вами», — и вводит в свой кабинет. Ну, конечно, кабинет не то что ваш, с юбилейной чернильницей от полтавского земства! Сами понимаете: книги, корректуры. Письмо трагической актрисы. «Розы поставьте на стол, и приходилось их ставить на стол». «Садитесь». Сажусь. Не знаю, куда спрятать ботинки. Один из них с латкой. Неловко. Сижусь, как на еже. Несколько раз порываюсь что-нибудь насчет книги стихов с автографом. Но он не дает сказать ни одного слова. Сам! Подавляет величием. И что самое ужасное: чувствую, что придает моему визиту всемирно-литературное значение. Высший исторический смысл. Свиданье монархов. Встреча символизма и футуризма. Мы, говорит, уходим, а вы, говорит, приходите. Мы прошлое, вы будущее. Футуризм идет на смену символиз-

му. Вы наша смерть. Принимаю в вашем лице грядущее Мира. И конечно, русской литературы, хотя вы и бросаете Пушкина с парохода современности. (Дался им всем этот несчастный пароход современности. Даже мама говорила: «Зачем тебе это, Володечка?» Знал бы, не подписывал бы.) И вообще, говорит, Маринетти. У вас, Маяковский, «особенная статья». С радостью и печалью принимаю ваш приход ко мне. Это было predetermined. В один роковой миг будущее всегда появляется на пороге прошлого. Я прошлое. Вы будущее. Вы — возмездие. У нас с вами будет длинная беседа.— И так далее, по принципу: «...громя футуризм, символизмом шпынял, заключив реализмом».

(А дома Лиличка с нетерпением ждет автографа! Представляете мое состояние? Без этого автографа мне хоть совсем не возвращаться. Сказала — не пустит. И не пустит. Положение безвыходное.) А он все свое: мировая музыка, судьбы мира, судьбы России... «Вы согласны? — спрашивает.— Не так ли? А если не согласны, то давайте спорить. В споре рождается истина. Хоть мы идем и разными путями, но я глубокий поклонник вашего таланта. Даже если хотите — ученик. Ваш и Хлебникова. Хлебников гений. Вы до известной степени тоже». Ну, тут он для красного словца немножко загнул, потому что, как впоследствии выяснилось, один из вариантов его стихотворения «День приходил, как всегда: в сумасшествии тихом» содержит такие строчки:

«Хлебников и Маяковский набавили цену на книги, так что приказчик у Вольфа не мог их продать без улыбки».

— Вот как уел! Это строфа,— заметил Маяковский,— тогда почему-то в печать не попала. А жаль! Все-таки реклама. Хотя и была воткнута ироническая шпилька в футуристические зады. Но не в этом дело. Дело в том, что время неумолимо шло, а собственноручной подписи Блока все нет и нет! Терпел час, терпел два, наконец не выдержал. Озверел. Лопнул. Прерываю Блока на самом интересном месте: «Извините, Александр Александрович. Договорим как-нибудь после. А сейчас не подарите ли экземплярчик ваших стихов с собственноручной надписью? Мечта моей жизни!»

Отрепленно улыбаются. Но вижу — феерически польщен. Даже не скрывает. «У меня ни одного экземпляра. Все разобрали. Но для вас...» — «Только подождите, не пишите: Маяковскому. Пишите: Лиле Юрьевне Брик». — «Вот как? — спросил с неприятным удивлением. — Впрочем, говорит, извольте. Мне безразлично...» И с выражением высокомерия расчеркнулся на книжке. А мне того только и надо. «Винovat». — «Куда же вы?» — «Тороплюсь. До свиданья». И кубарем вниз по лестнице. По улице. Одна нога здесь, другая на Невском. Так что брюки трещали в ходу. Вверх по лестнице. В дверях — Лиличка. «Ну что?» — «Достал!» Рассиялась. Впустила.

Смеркалось.

Я хотел включить свет, но Маяковский остановил меня величественным мановением руки:

— Не надо. Будем экономить электроэнергию.

Я сбегал на Сретенку в «Гастроном» купить что-нибудь поесть, но полки были пустые, в витрине виднелись деревянные муляжи окороков и красных головок голландского сыра, а в отделе закусок были выставлены штабеля пачек злакового кофе и возвышались горы чего-то тошнотворно-перламутрового под угнетающей надписью «бычьи семенники».

Но шампанское еще имелось, хотя и в ограниченном количестве.

Я принес бутылку полусухого «абрау-дюрсо» и поставил на зеленом сукне письменного стола.

— К сожалению, больше ничего не достал.

Он усмехнулся половиной лица, и характерная для его улыбки толстая складка оползла вокруг его рта, сделав выражение его лица с косыми скулами еще более саркастическим.

— Фазанов не достали? — деловито спросил он.

— Фазанов не достал.

— Я вам никогда не рассказывал?

— Про что?

— Про фазанов.

— Нет.

— Много потеряли. Из эпохи моей голодной юности. Мою автобиографию, надеюсь, читали? Называется «Я сам». Там есть глава под заглавием «Куоккала». Начинается эпически: «Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств, В воскресенье «ем»

Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д.». Так вот о Евреинове. Вы знаете, что такое Евреинов? Нет, вы не знаете, что такое Евреинов. Известнейший в свое время режиссер, сноб, теоретик, эстет, создатель знаменитого «театра для себя». Барин, дворянин, любил покровительствовать молодым гениям. Пытался их даже подкармливать. Я был в то время молодой гений. Прихожу однажды к Евреинову подкармливаться. Голодный, как черт. Вола б съел.

— А, Маяковский! Рад вас видеть. Вытирайте ноги и входите. Вы, наверное, не против хорошего ужина, по лицу вижу. Гении всегда голодают. Но сейчас мы это все устроим. Фазанов любите?

(Господи, думаю, каких там еще фазанов! Мне бы любительской колбасы с французской булкой фунта полтора да чаю с сахаром внакладку стаканов шесть. А то каких-то фазанов! Но ничего не поделаешь, театр для себя.)

Принимаю великосветский вид и небрежно роняю:

— Фазанов? Обожаю!

— Превосходно.

Великолепным жестом Евреинов нажимает кнопку электрического звонка, и появляется горняшечка в кружевной наколке.

— Поля,— говорит томно Евреинов, запахиваясь в шелковый халат,— молодой гениальный поэт проголодался. Пойдите на кухню, узнайте там, остались ли от обеда фазаны, и велите подать молодому человеку.

— Слушаюсь.

— Садитесь, Маяковский. Сейчас вам подадут холодных фазанов. По-моему, это самый изысканный завтрак: холодные фазаны. Бисмарк всегда ел за завтраком холодных фазанов.

И он, подлец, так вкусно произнес на немецкий манер слово «фазаны», что у меня потекли слюни прямо-таки как вожжи.

— Однако, я вижу, вы большой гурман,— говорит Евреинов, и в это время входит горничная.

— Николай Николаевич, фазанов не осталось.

— Видите, Маяковский, к сожалению, фазанов не осталось,— огорченно произносит Евреинов, разводя руками.— Ничего не поделаешь. Придется вам сегодня остаться без ужина.

Представьте себе, Катаич, я чуть не заплакал от огор-

чения. А он ничего. Завел разговор о Гордоне Крете и Метерлинке. Это у него и называлось «театр для себя».

— Выпьем по этому случаю шампанского,— предложил я.

— Сколько раз я говорил вам, чтобы вы никогда не произносили этого глупого слова. Только выскочки и парвеню кричат на весь кабак: «Шампанского!» А всякий уважающий себя человек должен говорить «вино». А уж все окружающие должны сразу понять, что раз вы говорите: вино, то имеете в виду именно шампанское, а не что-нибудь другое. И в ресторане никогда не кричите: «Шампанского!» Заказывайте официанту вполголоса, но внушительно: «Будьте так добры, принесите мне вина». Он поймет. Уж будьте уверены. Принесет, что надо.

Чтобы не вызвать язвительной полуулыбки у Маяковского, который не переваривал «хлопанья пробок», хотя и вполне признавал волшебную звукопись «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой» и «вошел — и пробка в потолок»,— я снял железную скобку, почти совсем бесшумно отвинтил пробку «абрау-дюрсо» и скромно налил в наши стаканы шипучее вино. Маяковский его только пригубил. Видно, не хотел пить. Он вообще пил немного, преимущественно легкое виноградное вино, в чем сказывалось его грузинское происхождение.

«Только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я — грузин».

Водку совсем не признавал. С презрением говорил, что водку пьют лишь чеховские чиновники.

Мы долго молчали, думая каждый о своем. Не знаю, о чем думал Маяковский, но он все время как бы к чему-то прислушивался, ожидал чего-то. Я же думал о нем, которого с давних пор страстно любил как поэта, считая его равным Пушкину.

Каким же, в сущности, был этот человек, задумчиво, но прямо сидевший в темноватой комнате на диване под ленинградской афишей моего провалившегося «Авангарда»?

Горький однажды сказал при мне полушутя-полусерьезно, что он уже не человек, а учреждение. В чем-то он был прав. Маяковского же, несмотря на всю его громадную общественно-политическую, в том числе и организационную, работу поэта-главаря, новатора, создавшего новый русский поэтический язык, работу, которую Маяковский неустанно вел не меньше Горького, его никак нельзя было назвать учреждением. Он всегда оставался только человеком — великим художником слова, новатором-революционером с очень сложным, противоречивым характером и нежной, легко ранимой душой, «истыканной в дымы и в пальцы».

Недавно в этой же комнате Мейерхольд, засидевшись до зари, со свойственной ему страстью и преувеличениями развивал план тургеневских «Отцов и детей» для постановки в кинематографе.

Фильм должен был начаться с черной классной доски, на которой Базаров рисует мелом схему человеческой грудной клетки — белые ребра и в них — как в темнице — за решеткой — нарисованное человеческое сердце, бьющееся сначала ритмично и размеренно, подчиняясь закону кровообращения, а потом трепещущее, скачущее и вдруг замирающее в последней конвульсии.

— Базаров нигилист? Вздор! — торопливо говорил Мейерхольд своим сильным голосом, закидывая назад узкую голову с большой беспорядочной шевелюрой, так что его носатый профиль полишинеля временами принимал как бы совсем горизонтальное положение. — Базаров умирает не от заражения крови! Базаров умирает от любви. Его убивает страсть к женщине. Да, да, вот именно! Безумная страсть! Базаров обводит углем на своей груди место, где у него колотится сердце. Он сам с ужасом замечает, что его сердце сжимается от любви, от страсти, от желания! План постановки разработан у меня до последнего кадра.

— Кто же будет Базаров? — спросил я.

— Охлопков, — ответил Мейерхольд, — я вижу Охлопкова. Только Охлопкова, и никого другого. — И вдруг, повернув ко мне лицо, которое в фás казалось настолько узким, что как бы имело только два измерения и в третьем вовсе не просматривалось, воскликнул: — Нет! Не Охлопков! Ведь Базаров был футурист! Есть только один настоя-

щий Базаров, который сможет умереть от любви: Маяковский! Тем более что он сам очень хороший актер. Зина, ты согласна, что Маяковский очень хороший актер в жизни? Он должен сыграть у меня Базарова. Он уже много раз снимался для синемаатографа. Но только не попадал в руки настоящего режиссера. Наконец — он автор нашего театра. Мы его уговорим. Решено!

И тут же он стал развивать уже совсем другой план, план постройки для его театра совершенно нового помещения.

— Это будет театр-арена. Зрители вокруг. Почти вокруг. Вокруг на три четверти, на четыре пятых. Товарищи, представьте себе,— все больше и больше распался Мейерхольд, взбивая длинными пальцами свою высокую шевелюру и шагая, как на шарнирах, по комнате, то сторбившись в три погибели, то закидывая голову назад и резко поворачиваясь.— Для открытия — «Отелло». Совершенно пустая сцена, где абсолютно ничего нет, кроме громадного, во всю арену, одноцветного ковра. Ярко-малинового. Что? Зеленого? Вот видите, Зина находит, что зеленого. Она не совсем права, но тем лучше. Громаднейший, во всю арену, без единой морщины темно-зеленый ковер, ослепительно ярко освещенный сверху всеми прожекторами; и в самом центре этого ковра... Нет! Не в центре, а чуть-чуть вне центра, но все-таки посередине — маленький...— Он сделал паузу и, сладостно зажмурившись, протянул руку, как бы держа в своих пальцах, длинных, как у Паганини, нечто воздушно-легкое, маленькое, волшебное.— И посередине этого ярко освещенного зеленого...— он разжал пальцы, — маленький, совсем крошечный, но пронзительно заметный из самых отдаленных точек зрительного зала — кружевной платочек с вышитой в уголке земляничкой. Больше ничего! Это и есть «Отелло». Это и есть подлинный, настоящий Шекспир. Не правда ли, это гениально просто?

Гениально-то гениально, подумал я, но ведь все-таки Шекспира, а не Маяковского мечтает он поставить для открытия своего ультрасовременного, нового театра-арены. Почему же все-таки не Маяковского? Неужели время Маяковского — зенит его славы — прошло или, во всяком случае, проходит?

Не стал ли это чувствовать с некоторых пор и сам Маяковский?

Все тяжелее становилось ему переваливать года. Это уже был совсем не тот Маяковский первых лет революции, которого я некогда увидел в Харькове, в дни поволжского голода.

Очень хорошо об этом у Олеси:

«Мы с Валентином Катаевым сидели в ложе и с неистовым любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление только что возвестил председатель. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президиум — по всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакций, из руководства комсомола. Пустая огромная сцена, в глубине ее голые стены даже с какими-то балконами...

Не только я и Катаев — два молодых поэта — охвачены волнением. Назад мы не оглядываемся, так что не можем определить, что переживает весь театр, но те, что сидят за столиком, — люди бывалые, да еще и настроенные, как это чувствуется, скептически, — вперились, видим мы, глазами туда, в тайну кулис.

Я был уверен, что выйдет человек театрального вида, рыжеволосый, почти буффон... Такое представление о Маяковском могло все же возникнуть у нас: ведь мы-то знали о желтой кофте и о литературных скандалах в прошлом!

Совсем иной человек появился из-за кулис!

Безусловно, он поразил тем, что оказался очень рослым; поразил тем, что из-под чела его смотрели необыкновенной силы и красоты глаза... Но это вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек, в полушубке с барашковым воротником и в барашковой же, чуть сдвинутой назад шапке».

Хорошо помню и я этот вечер — Ингулов в президиуме! Может быть, рядом с ним и Клавдия Заремба! И Маяковского, так прекрасно описанного Олешей. Однако я бы не сказал, что Маяковский был в полушубке с барашковым воротником и барашковой шапке. Это неточно. Я бы сказал так: на Маяковском было темно-серое, зимнее, ко-

роткое, до колен, полупальто с черным каракулевым воротником и такая же черная — но не шапка, а, скорее, круглая неглубокая шапочка, действительно несколько сдвинутая на затылок, открывающая весь лоб и часть остриженной под машинку головы.

Он вышел сбоку и, сделав строевой шаг с левой ноги вперед, громко сказал, как бы подавая самому себе команду:

— Раз-з-з!

Но это не был счет шагов, а первый слог его знаменитого «Левого марша»:

«Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер».

Это была его программная вещь, и с особенной энергией он отбивал ее твердый революционный ритм, точно гвозди вколачивал в голые доски сцены.

«Левой! Левой! Левой!»

Потом он, не передохнув, прочитал от начала до конца свою громадную, совсем недавно написанную, но уже известную нам с Олешей анонимную поэму «150 000 000», потрясшую нас своим неистовством:

«Выдь не из звездного нежного ложа, боже железный, огненный боже, боже не Марсов, Нептунов и Вег, боже из мяса — бог-человек!»

Чугунно шагая по эстраде, он сделал такой жест, как будто вдруг выхватил из кармана на бедре пистолет и направил его в зрительный зал:

«Пули, погуще! По оробелым! В гущу бегущим грянь, парабеллум!»

Затем его голос загредел яростно, и он не произнес, а как-то проскрежетал:

«Самое это! С доньшка душ! Жаром, жженьем, железом, светом, жарь, жги, режь, рушь!»

И когда он дошел до стиха:

«Мы тебя доконаем, мир-романтик!» —

то нам с Олешей показалось, что он смотрит прямо на нас своими прекрасными грозными глазами, и мы даже немного подались в глубь ложи, прикрыв глаза, как от слишком яркого света.

«Вместо вер,— продолжал греметь Маяковский,— в душе электричество, пар. Вместо нищих — всех миров богатство прикарманьте!»

И тут впервые до нас полностью дошла безусловно самая страшная, беспощадная, кровавая строчка во всей мировой революционной поэзии, которая, когда мы читали ее глазами в книге, как-то ускользала от нас, а теперь неожиданно раскрылась во всей своей невероятной силе, обрушилась на нас, как взорванная стена:

«Стар — убивать. На пепельницы черепá!»

Это было так страшно, что даже потом, когда, переменив манеру чтения, Маяковский почти пропел в стилизованно русской частушечной манере строчки об Америке:

«Мир, из света частей собирая квинтет, одарил ее мощью магической. Город в ней стоит на одном винте, весь электро-динамо-механический», — мы уже не могли оценить их по достоинству. И лишь когда Маяковский, до последней степени усталый, вытирая шапкой блестящую от пота свою коротко остриженную голову, в последнем уси-

лии напрягая свой рокочущий, уже сорванный голос, бросил в черный молчаливый зал концовку своей героической поэмы:

«...Цвети, земля, в молотье и в сеятьбе. Это тебе революций кровавая Илиада! Голодных годов Одиссея, тебе!» —

мы очнулись и то не сразу — и впервые поняли, что собой — по-настоящему — представляет Маяковский, его подлинный масштаб.

По самой своей духовной сути он был поэт трагический и только на этом пути мог создавать действительно гениальные вещи.

Тема вечной неразделимой любви и смерти всегда находилась в центре его творчества, его человеческой личности. Каждая его поэма — хождение души по мукам, гибель и затем апофеоз воскресения для новой, неслыханно прекрасной и справедливой, вечно счастливой, идеальной общечеловеческой жизни.

В поэме «Владимир Ильич Ленин» — то же самое. Тема смерти переходит в апофеоз:

«Выше, солнце!.. Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева смерть... Рабы, разгibasьте спины и колени! Армия пролетариев, встань стройна! Да здравствует революция, радостная и скорая! Это — единственная великая война из всех, какие знала история».

...Он жаждал Революции, радостной и скорой...

Одна из моих любимейших вещей Маяковского — «Хорошо!», где в трагическом зареве уличных октябрьских костров так неповторимо-прекрасно «тонула Россия Блока», тоже заканчивается апофеозом: «Жизнь прекрасна и удивительна».

Я уже не говорю о поэме «Про это» с потрясающим романсом о мальчике-самоубийце.

«Вата снег. Мальчишка шел по вате. Вата в золоте — чего уж пошловатей?! Но такая грусть, что стой и грустью ранься! Расплывайся в процыганенном романсе.

Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат непревзойдимо желт. Даже снег желтел в Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. В шелк рук сталь. С час закат смотрел, глаза уставя, за мальчишкой легшую кайму. Снег хрустя разламывал суставы. Для чего? Зачем? Кому? Был вором-ветром мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. Стал ветер Петровскому парку звонить:

— Прощайте... Кончаю... Прошу не винить.

До чего ж на меня похож!»

Когда я впервые услышал эти строки-исповедь, прочитанные Маяковским с эстрады Политехнического музея перед стулом, на котором висел его пиджак и узкий галстук, мне сразу же представился другой Маяковский, автор поэмы «Люблю», нищий мальчишка, мечтающий о вечной, единственной, великой любви.

«Любить? Пожалуйста! Рубликов за сто. А я, бездомный, ручища в рваный в карман засунул и шлялся, глазастый».

Для Маяковского — да и для всех других поэтов — время шло по вертикали сверху вниз; так он и записывал свои строки. Для меня же время идет по горизонтали — туда или даже иногда обратно, — поэтому я записываю стихотворные строчки в одном направлении — по течению времени.

Однажды ночью мы шли с ним по горизонтали пустынной Мясницкой — он заходил ко мне в Мыльников, и я пошел проводить его до Лубянского проезда, ныне Серова, — я попросил его как-нибудь прочесть мне «Облако в штанах».

Он остановился, посмотрел на меня исподлобья и неожиданно рывкнул на всю улицу, разевая свою львиную пасть:

— Редчайшая бестактность!

Я струхнул.

— Почему же бестактность? Простите... Но мне давно уже... так хотелось... Почти все ваши вещи слышал в вашем исполнении... А «Облака» не слышал... не пришлось...

Он взъерился еще пуще.

— «Облако в штанах»! — заревел он. — А почему вы не просите меня прочесть «Хорошо!»? Почему?

В голосе его я уловил горечь.

— Что? Думаете, «Облако» лучше? А я считаю, что «Хорошо!» лучше. «Хорошо!» — лучшее мое произведение. И вообще, — снова поднял он свой разъяренный голос, — никогда не смейте просить поэта прочесть что-нибудь старое, вчерашнее. Нет хуже оскорбления. Потому что у настоящего мастера каждая новая вещь должна быть лучше прежних. А если она хуже, то, значит, поэт кончился. Или, во всяком случае, — кончается. И говорить ему об этом — феерическая бестактность! Зарубите себе на носу. Фе-е-ри-чес-кая!..

Я понял, что, совсем не желая того, коснулся самого его большого места:

«Все меньше любитя, все меньше дерзается, и лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизаций — амортизация сердца и души».

...Сумерки продолжались. Маяковский пронизательно посмотрел на меня и улыбнулся половиной лица.

— Катайч, у меня сложилось такое впечатление, что у вас назначено свидание, вам надо сломя голову мчаться, чтобы не опоздать, а вы стесняетесь сказать мне это.

«Я был молод, когда познакомился с Маяковским, — пишет Олеша, — однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским».

Я тоже любил Маяковского не менее сильно, чем Олеша, и я тоже был молод, но даже ради него не мог нарушить данного слова.

Он поощрительно кивнул мне головой.

Оставив Маяковского одного в своей комнате, я вышел из дома и, мобилизовав все виды транспорта, слетал туда и обратно — извинился, отменил, перенес, поцеловал, обнял — и, вернувшись минут через сорок, нашел его все на том же месте возле совсем посиневшего окна.

— Простите,— сказал я.

Он невесело улыбнулся одной щекой.

— Поминаю вас.

И пояснил своим любимым четверостишием из «Онегина»:

— «Я знаю: век уж мой измерен; но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».

В этот миг вдруг раздался звонок до сих пор молчавшего телефона.

По-видимому, наступил тот московский час, когда знакомые начинали перезваниваться, сговариваясь, где бы провести сегодняшний вечерок. В последнее время почти каждый день почему-то собирались у меня, так что моя квартира превратилась в подобие ночного клуба.

Едва я успел снять трубку, как Маяковский стремительно шагнул ко мне и сделал повелительный жест рукой, обозначавший приказание, прежде чем ответить, прикрыть телефонную трубку, что я и выполнил.

— Кто звонит? — спросил Маяковский.

— Сейчас узнаем.

Дальнейшее происходило так: я спрашивал, кто говорит, закрывал ладонью трубку и вполголоса сообщал Маяковскому имя звонившего, а он, несколько мгновений подумав, утвердительно или отрицательно, но чаще отрицательно качал головой. Иногда прибавлял при этом что-нибудь вроде: «Пусть приходит», или: «А ну его к черту», а то еще и значительно похуже, после чего я покорно говорил в трубку: «Я сегодня вечером занят»: или «Приходите».

В этот день как раз звонило особенно много разного народа, и Маяковский, как золотоискатель, самым тща-

тельным образом промывал звонки, оставляя редкие крупинки чистого золота: тех людей, которые должны были сегодня вечером составить ему компанию.

Было трудно понять, чем он руководствовался при этом выборе. Удивляло, что он отверг некоторых своих общепринятых друзей, товарищей по «Лефу», и сделал это с выражением — я бы даже сказал — яростного отвращения: «А, пошел он к...»

Такая же участь постигла и одного очень известного поэта другого лагеря, позвонившего мне в этот вечер.

— Не надо, — буркнул Маяковский, махнув рукой, и повернулся спиной к телефону.

Он недавно вступил в РАПП и, конечно, уже страшно раскаивался. Поспешил. Погорячился. Сделал ложный шаг. Я думаю, он уже понимал, что, в сущности, РАПП такой же вздор, как и «Леф». Литературная позиция — не больше.

До живого же Маяковского — человека, поэта, сложного и очень противоречивого, независимого и одинокого, как Пушкин, — большинству из них не было никакого дела. Для них — и для футуристов в прошлом, а нынче «лефов» в том числе — он был счастливая находка, выгоднейший лидер, человек громадной пробивной силы, за широкой спиной которого можно было пролезть без билета в историю русской литературы. Рай для примазавшихся посредственностей, оперативных молодых людей, бряцавших своим липовым лефовством, которые облепили Маяковского со всех сторон, общими усилиями принижая его до своего провинциального уровня, выросли на нем, как ракушки на киле океанского корабля, мешая его ходу.

Он был в отчаянии, он не знал, как от них избавиться, от всех этих доморощенных «лефов», невежественных и самонадеянных теоретиков, высасывающих теорию литературы из гимназических учебников старших классов...

Каких только монстров не было среди них!

Был даже один среднего размера карлик — страшный новатор, формалист и революционер в искусстве, разумеется превратившийся с течением времени в самого вульгарного, благонамеренного наукообразного строчкогона-кон-

серватора, имеющего репутацию большого знатока литературы: фельдшер, выдающий себя за доктора медицины.

Поэт, неустанно боровшийся за освобождение человека от всех видов духовного рабства, незаметно для самого себя превратился в раба, по рукам и ногам скованного предрассудками так называемой литературной борьбы, которую совсем недавно сам же публично назвал «литературным мордобоем — не в буквальном смысле слова, а в самом хорошем».

Ну, пусть даже так: в самом хорошем смысле. Но страшно подумать, сколько он потратил своих драгоценнейших душевных сил на весь этот вздор.

Теперь он как бы вдруг на моих глазах сбросил с себя эти оковы и стал безгранично свободным, как и подобало поэту, одна лишь поэма которого стоила в тысячу раз дороже всех внутрилитературных скандалов и направлений, вместе взятых.

Пора великих превращений начиналась для него с возвращения внутренней свободы, душевной раскованности. Ему уже не надо было в угоду чьей-то выдуманной теории наступать на горло собственной песне, вычеркивать из своих стихов поразительные по силе куски, как это случилось со знаменитым:

«Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят — что ж?! По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь».

За одно это четверостишие — по-моему — ему нужно было поставить памятник, а ему пришлось в угоду кому-то или чему-то публично за это четверостишие каяться, называя его «райским хвостиком, приделанным к одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов», добавляя при этом:

«Несмотря на всю свою романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал».

Какие же унижения при этом должен был испытывать он, мастер, отлично знающий настоящую цену этим своим строчкам!

Что же заставило его так несправедливо, а главное, неверно назвать одни из своих лучших строк «подмоченными»?

А бесконечные унижения, связанные с оскорбительным прохождением через тогдашний Главрепертком комедии «Баня», где он так блестяще дрался на два фронта — против правых оппортунистов и левых загибщиков?

Сначала все шло как будто хорошо.

Чтение в фойе театра Мейерхольда — там, где сейчас Зал имени Чайковского. Окна — на Триумфальную, ныне площадь Маяковского с его памятником, на месте которого тогда был зеленый провинциальный сквер, и вокруг него, как заводные игрушки, бегали, роняя искры, еще не вполне устаревшие электрические трамваи, те самые московские трамваи времен юного Маяковского, о которых он так замечательно сказал:

«Язык трамвайский вы понимаете?»

И еще более замечательно:

«...Тысячью поцелуев покрою умную морду трамвая».

Над домиком трамвайной станции, над нестриженной зеленью сквера виднелись отовсюду знаменитые часы — как сказал бы Олеша, «бочка счастья», — знаменитые электрические часы, под которыми обычно назначались в Москве наиболее важные любовные свидания, в том числе, конечно, назначались и самим Маяковским.

Пыльное, особенно неприютное какое-то при свете буднего дня фойе, где ничего не говорило о том, что это

фойе всемирно известного театра режиссера-новатора, каждая новая постановка которого — событие, драка, скандал.

Скрипучие старые венские стулья, расставленные как попало перед маленьким кухонным, ничем не покрытым столиком с графином водопроводной воды и полоскательницей, уже полной скисших окурков.

Но зато какие люди! Цвет театрального мира, цвет художественной интеллигенции.

Писатели, которых притащил с собой Маяковский, были: Эрдман, Зощенко, Бабель, Вольпин...

Наконец, сам Мейерхольд, элегантно-затрапезный, с вьющимся, полуразвязанным, узким, сильно поношенным, но тем не менее явно парижским галстуком, с заброшенной назад, за плечи, носатой головой и музыкальными руками, так странно движущимися, что можно поклясться, что их не две, а, по крайней мере, четыре, как у индийского божества. Это не я придумал. Так его написал Борис Григорьев, кажется даже в цилиндре: несколько рук в белых перчатках. А может быть, и не Григорьев. Не помню.

Кажется, даже пришли кое-кто из мхатовцев. Так сказать, лазутчики из враждебного лагеря. Аки. Наверное — Марков Паша, как мы его тогда называли, со своими вздернутыми короткими черными бровями, как у самурая, и простодушно-ядовитейшей улыбкой. Он уже давно, втайне, охотился за Маяковским, желая заставить его написать пьесу для МХАТа. Маяковский — на сцене Художественного. Вот был бы номерок! Скандал на весь крещеный мир!

(— Хо-хо-хо,— захлебываясь, хохотал Марков.)

— А, собственно, почему бы и нет? Ведь сам мастер Мейерхольд из тех же конюшен. Бывший актер Художественного театра. (Играл Треплева, играл Шуйского в «Царе Федоре».)

Марков недавно, путем невероятных трудов и хитростей, затащил Маяковского во МХАТ на «Дни Турбиных» Булгакова. Маяковский улизнул после третьего акта.

На вопрос Маркова:

— Ну, что вы скажете? — Маяковский ответил:

— Не знаю. Не видел хвоста. Поэтому не могу и определить, что это за зверь ваш Булгаков: крокодил или ящерица.

Сняв, по своему обыкновению, пиджак и повесив его на спинку стула, Маяковский развернул свою рукопись — как Мейерхольд любил говорить: манускрипт, — хлопнул по ней ладонью и, не теряя золотого времени на предисловие, торжественно прорычал:

— «Баня», драма в шести действиях! — причем метнул взгляд в нашу сторону, в сторону писателей; кажется, он при этом даже задорно подмигнул.

Он читал отлично, удивив всех тонким знанием украинского языка, изображая Оптимистенко, причем сам с трудом удерживался от смеха, с усилием переводя его в однобокую улыбку толстой, подковообразной морщиной, огибающей край его крупного рта с прилипшим окурком толстой папиросы «госбанк».

После чтения, как водится, начались дебаты, которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава богу, среди нас наконец появился новый Мольер.

Как говорится, читка прошла «на ура», и по дороге домой Маяковский был в прекрасном настроении и все время допытывался: не кажется ли нам, что в шестом действии чего-то не хватает?

— Чего же?

— Не знаю. Вам, как автору всемирно популярной «Вишневой квадратуры», должно быть виднее. Нет, нет, не сердитесь, это я любя.

— Любя вставили мой водевильчик в свою высокую комедию?

— Зато какая реклама! Так все-таки чего же не хватает у меня в шестом действии?

— Не знаю.

— А я знаю, — подумав, сказал Маяковский. — Еще должен быть какой-то вставной номер о пафосе наших дней. Без этого нет равновесия. Я его завтра утром напишу.

Когда мы на другой день встретились с ним случайно на Большой Дмитровке, против ломбарда, — он сразу же сказал:

— Только что написал. Именно то, чего не хватало.

Он достал из бокового кармана вчетверо сложенный

лист графленой бумаги, но не стал в нее смотреть, даже не развернул, а, продолжая идти по улице, под ногу прочел «Марш времени»:

— «Шагай, страна, быстрее, моя,— коммуна у ворот. Вперед, время! Время, вперед!»

— Как вы думаете, Мейерхольду понравится?

— Он будет в восторге. В этом же самая суть нашей сегодняшней жизни. Время, вперед! Гениальное название для романа о пятилетке.

— Вот вы его и напишите, этот роман. Хотя бы о Магнитострое. Название «Время, вперед!» дарю,— великодушно сказал Маяковский, посмотрев на меня строгими, оценивающими глазами.

Однако вскоре на пути «Бани», к общему удивлению, появилось множество препятствий — нечто весьма похожее на хорошо организованную травлю Маяковского по всем правилам искусства, начиная с псевдомарксистских статей одного из самых беспринципных рапповских критиков, кончая замалчиванием «Бани» в газетах и чудовищными требованиями Главреперткома, который почти каждый день устраивал обсуждение «Бани» в различных художественных советах, коллективах, на секциях, пленумах, президиумах, общих собраниях и где заранее подготовленные ораторы от имени советской общественности и рабочего класса подвергали Маяковского обвинениям во всех смертных литературных грехах — чуть ли даже не в халтуре.

Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательствах над украинским народом и его языком.

Никогда еще не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным. Куда девалась его эстрадная хватка, убийственный юмор, осанка полубога, поражающего своих врагов одного за другим неотразимыми островами, рождающимися мгновенно.

Он, первый поэт Революции, как бы в один миг был сведен со своего пьедестала и превращен в рядового, дюжинного, ничем не выдающегося литератора, «протаскивающего свою сомнительную пьеску на сцену».

Маяковский не хотел сдаться и со все убывающей энергией дрался за свою драму в шести действиях, которая сейчас, когда я пишу эти строки, уже давно и по праву считается классической.

— Слушайте, Катаич, что они от меня хотят? — спрашивал он почти жалобно. — Вот вы тоже пишете пьесы. Вас тоже так режут? Это обычное явление?

— Ого!

Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованный красными чернилами, что Станиславский часок-другой не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца.

Маяковский брал меня с собой почти на все читки. По дороге обыкновенно советовался:

— А может быть, читать Оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете?

— Не поможет.

— Все-таки попробую. Чтобы не быть великодержавным шовинистом.

И он пробовал.

Помню, как ему было трудно читать текст своего Оптимистенко «без украинского акцента». Маяковский всю свою энергию тратил на то, чтобы Оптимистенко получился без национальности, «никакой», бесцветный персонаж с бесцветным языком. В таком виде «Баня», конечно, теряла половину своей силы, оригинальности, яркости, юмора.

Но что было делать? Маяковский, как мог, всеми способами спасал свое детище. Все равно не помогло. К великодержавному шовинизму на этот раз, правда, не придирались, но зато обвинили в «барски пренебрежительном отношении к рабочему классу».

— Что это за Велосипедкин! Что это за Фоскин, Двойкин, Тройкин! Издевательство над рабочей молодежью, над комсомолом. Да и образ Победоносикова подозрителен. На кого намекает автор? И прав товарищ Мартышкин, когда отмечает, что характеры, собранные Маяковским, далеко не отвечают требованиям единственно правильной марксистской теории живого человека. Так что учтите это, товарищ Маяковский, пока еще не поздно, пока вы еще не скатились в мелкобуржуазное болото.

— Запрещаете?

- Нет, не запрещаем.
- Значит, разрешаете?
- Не разрешаем.
- А что же?

— А то, что сделайте для себя надлежащие выводы, если не хотите из левого попутчика превратиться в попутчика правого, а то еще и похуже...

Маяковский метался по фанерному закутку среди приказов и пожелтевших плакатов, как бы с трудом пробиваясь сквозь слоеные облака табачного дыма, висевшего над столом с блюдечками, наполненными окурками, с исписанными листами газетного срыва, с обкусанными карандашами и чернильницами-непроливайками с лиловыми чернилами, отливающими сухим металлическим блеском. И за его острыми, угловатыми движениями с каменным равнодушием следили разнообразные глаза распаренных многочасовым заседанием членов этого адского художественного совета образца тысяча девятьсот двадцать девятого года, как бы беззвучно, но зловеще повторяющих в такт его крупных шагов: «Очернительство... очернительство... очернительство...»

Особенно душил его сам председатель, доведя Маяковского до того, что однажды он в поезде «Красная стрела» Москва — Ленинград, стоя в коридоре международного спального вагона, держа в руке стакан чаю в тяжелом мельхиоровом подстаканнике, поставив толстую подошву своего башмака на медную панель отопления, яростно перетирая окурки боковыми зубами и глядя в окно на проносящиеся мимо парные телеграфные столбы — одна опора прямо, другая отставлена в сторону, что делало их похожими на двух чечеточников, — вдруг начал читать только что сочиненные им злейшие эпиграммы. Одна была на поэта С. и заканчивалась цитатой из Крылова: «И рылом подрывать у дуба корни стала», в другой говорилось: «И бард поет, для сходства с Байроном на русский на язык прихрамывая», а третья была такая: «Подмяв моих комедий глыбы, Главрепертком сидит Гандурин.— А вы ноктюрн сыграть могли бы на этой треснувшей бандуре?»

Он прочел эти эпиграммы, окружив рот железными подковами какой-то страшной, беспощадной улыбки.

Такую железную улыбку я видел у него несколько раз,

в частности в тот день, когда я познакомил его в редакции «Красного перца» с Булгаковым, которого Маяковский считал своим идейным противником.

Булгаков с нескрываемым любопытством рассматривал вблизи живого футуриста, лефовца, знаменитого поэта-революционера; его пронзительные, неистовые жидковато-голубые глаза скользили по лицу Маяковского, и я пощипывал, что Булгакову ужасно хочется помериться с Маяковским силами в остроумии.

Оба слыли великими остряками.

Некоторое время Булгаков молча настороженно ходил вокруг Маяковского, не зная, как бы его получше задрать. Маяковский стоял неподвижно, как скала. Наконец Булгаков, мотнув своими блондинистыми студенческими волосами, решил:

— Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обладаете неистощимой фантазией. Не можете ли вы мне помочь советом? В данное время я пишу сатирическую повесть, и мне до зарезу нужна фамилия для одного моего персонажа. Фамилия должна быть явно профессорская.

И не успел еще Булгаков закончить своей фразы, как Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, отчетливо сказал своим сочным баритональным басом:

— Тимерзев.

— Сдаюсь! — воскликнул с ядовитым восхищением Булгаков и поднял руки.

Маяковский милостиво улыбнулся.

Своего профессора Булгаков назвал: Персиков.

Из воспоминаний о Маяковском. Стружки.

— Володя, ты совсем перестал заниматься французским языком!

— Тише, Лиличка, не спугни: он у меня сам собой зреет во рту, как колос.

— Сколько должно быть в пьесе действий?

— Самое большое пять.

— У меня будет шесть.

В конце вечеринки:

— Ну, товарищи, Олеша уже начал говорить по-французски. Пора расходиться.

— Сначала вы всех любите и вас все любят. И все идет хорошо. Потом вас все любят, кроме одной, именно той, которую вы любите. И так всегда.

— Плюну я, кажется, на все и буду читать свои стихи из-под полы по рублю за строчку.

— Коля — звезда первой величины.

— Вот именно. Первой величины, четырнадцатой степени.

— Чего бы вы хотели больше всего на свете?

— Иметь карликового бегемотика, ручного, чтобы он сидел под столом, как собака.

— А есть такие?

— Своими глазами видел в Америке. Стоят шесть тысяч долларов штука.

...Вот он теперь опять передо мной — то сидит, то встает, то ходит, то поворачивается в совсем уже темной комнате с посиневшими окошками, — воплощенная метафора из «Облака».

«Меня сейчас узнать не могли бы: жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется! Ведь для себя неважно и то, что бронзовый, и то, что сердце — холодной железкою... И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное...»

Ну и так далее.

Прислушивался. Ждал. Сказал ходовую фразу, популярную тогда в нашей компании:

— Чарли ждет гостей, а гости не пришли.

Но как раз в этот миг в передней раздался звонок. Шум голосов. Вспыхнул свет. Восклицания. Все изменилось. Еще звонок. Еще восклицания. Стали подваливать выбранные Маяковским гости...

Что же было потом? Обычная московская вечеринка. «Завернули на огонек». Сидели в столовой. Чай, печенье.

Бутылки три рислинга. Как большая редкость — коробка шоколадного набора: по краям бумажные кружевца, а в середине серебряная длинногорлая фляжечка ликерной конфеты. В виде экспромта, забавного курьеза остатки от обеда — миска вареников с мясом, которые еще больше подчеркивали случайный характер вечеринки, ее полную непреднамеренность. Сидели тесно вокруг стола. Стульев, конечно, не хватило. Мы с Маяковским рядом на большой бельевой корзине, покрытой шкурой бурого медведя.

Маяковский опирался локтем на громадную тяжелую медвежью голову, изредка ее приподнимал за черное рыло и нежно заглядывал в стеклянные карие глазки и в узкую крашеную пасть с белыми зубками и желтыми клыками.

Он был совсем не такой, как всегда, не эстрадный, не главарь. Притихший. Милый. Домашний.

— Владимир Владимирович, хотите вареников?

— Благодарю вас.

— Благодарю вас — да или благодарю вас — нет?

Можно себе представить, каким фейерверком остроут, шуток, каламбуров взорвался бы в другое время Маяковский, не упускавший ни малейшего повода устроить блестящий словесный турнир и, разумеется, выйти из него победителем. В этой области у него не было соперников. И вдруг ему предлагают вареников — простых, обыкновенных, общечеловеческих вареников с мясом. Какой богатейший материал для остроумия, для словесной игры!

Однако в этот вечер Маяковского как будто подменили. Он вежливо отвечает:

— Да, благодарю вас.

Он, который даже в парикмахерской требовал:

«Причешите мне уши».

За столом в этот вечер острили все, кроме Маяковского. Молодые мхатовские актеры, львы, все время задирали знаменитого поэта и остроуслова, вызывая на турнир остроумия. Не без опаски пробовали свои силы. Но он либо отмалчивался, либо вяло отбивался. Можно было подумать, что он вдруг под действием какого-то странного волшебства потерял дар остроумия.

Но зато в нем в полную силу засияло другое качество — драгоценный дар душевного тепла, доброты, нежности,

скромности, всего того, что он так застенчиво таил в своем большом жарком сердце.

Молодой Борис Ливанов, в те времена еще подававший большие надежды, красавец актер ростом почти с Маяковского, ну, может быть, на два пальца ниже, обаятельный простак и герой-любовник, уже хлебнувший сладкой отравы сценического успеха, весельчак и душа-парень, жаждал помериться остроумием с Маяковским и все время задирался, подбрасывал ему на приманку едкие шуточки, однако безрезультатно. Маяковский отмалчивался. Не отставал от Маяковского и молодой Яншин; тоже уже знаменитый на всю Москву, прославившийся в роли Лариосика в наимоднейшей пьесе Булгакова «Дни Турбиных», — тоненький, немного инфантильный, мягко ритмичный, полный скрытого мягкого юмора, не лишеного, однако, большой дозы сарказма. Такому — пальца в рот не клади, не доверяй его детской улыбке!

Если наскоки Ливанова на Маяковского имели характер железных перчаток, вызова на турнир, то реплики Яншина, сказанные слабым невинным комедийным голоском и поданные в духе дружеской шуточки, жалили Маяковского исподтишка, но тоже без видимого результата. Они не могли вывести Маяковского из того странного лунатического состояния, в которое он как бы погружался все глубже и глубже, лишь изредка приходя в себя — всплывая на поверхность — и оглядываясь по сторонам, ища точки опоры.

Человеческая память обладает пока еще необъяснимым свойством навсегда запечатлевать всякие пустяки, в то время как самые важные события оставляют еле заметный след, а иногда и совсем ничего не оставляют, кроме какого-то общего, трудно выразимого душевного ощущения, может быть даже какого-то таинственного звука. Они навсегда остаются лежать в страшной глубине на дне памяти, как потонувшие корабли, обрастая от киля до мачт фантастическими ракушками домыслов.

Память моя почти ничего не сохранила из важнейших подробностей этого вечера, кроме большой руки Маяковского, его нервно движущихся пальцев — они были все время у меня перед глазами, сбоку, рядом, — которые машинально погружались в медвежью шкуру и драли ее,

скубали, вырывая пучки сухих бурых волос, в то время как глаза были устремлены через стол на Нору Полонскую — самое последнее его увлечение, — совсем молоденькую, прелестную, белокурую, с ямочками на розовых щеках, в вязаной тесной кофточке с короткими рукавчиками — тоже бледно-розовой, джерси, — что придавало ей вид скорее юной спортсменки, чемпионки по пинг-понгу среди начинающих, чем артистки Художественного театра вспомогательного состава.

Это уже была не таракуцка, а девушка модного типа «ай добль-добль ю», как мы тогда говорили, цитируя стихи Асеева.

С немного испуганной улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени бросал ей через стол и, ожидая ответа, драл невычищенными ногтями пыльную шкуру медведя, «царапая логово в двадцать когтей», как говорилось в его до сих пор еще кровоточащей поэме «Про это».

Картонные квадратики летали через стол над миской с варениками туда и обратно. Наконец конфетная коробка была уничтожена. Тогда Маяковский и Нора ушли в мою комнату. Отрывая клочки бумаги от чего попало, они продолжали стремительную переписку, похожую на смертельную молчаливую дуэль.

Он требовал. Она не соглашалась. Она требовала — он не соглашался. Вечная любовная дуэль.

Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно. Во всяком случае, тогда мне казалось, что он влюблен. А может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные кусочки, клочки разорванных записок и яростно смятых бумажек. Особенно много их было в корзине под письменным столом.

В третьем часу ночи главные действующие лица и гости — статисты, о которых мне нечего сказать, кроме хорошего, — всего человек десять — стали расходиться.

Маяковский торопливо кутал горло шарфом, надевал пальто, искал палку и шляпу, насморочно кашлял.

— А вы куда? — спросил я почти с испугом.

— Домой.

У него всегда было два дома. Комната у Бриков и комната в большом доме на Лубянском проезде, где он рабо-

тал: большое, конструктивно-целесообразное шведское бюро желтого дерева; стул, железная кровать; на пустой стене небольшая распространенная фотография Ленина на трибуне: та самая комната, в которой:

«Я и Ленин — фотографией на белой стене».

Сюда пришел я однажды к Маяковскому пригласить его сотрудничать в «Красном перце» и помню его коротко остриженного под машинку, веселого, задиристого, боевого, полного жизни и энергии; он тотчас же изъявил готовность тряхнуть стариной, вспомнить сатириконовские времена. Тут же, стоя во весь свой могучий рост возле этого самого шведского бюро, он предъявил журналу свои условия и обязался приходить на все редакционные, так называемые темные (от слова «тема») заседания, что исполнял всегда с точностью настоящего, профессионального журналиста.

На первом же заседании он буквально завалил нас темами, мелочишками, идеями, подписями под рисунками, так что журнал сразу засветился всеми красками «маяковской сатиры», его неповторимого юмора.

Мне казалось, что это было очень давно, вечность назад, хотя на самом деле прошло не больше шести лет,

Как сказал бы Бунин:

«Прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах...»

Внешне Маяковский мало изменился, почти совсем не постарел, но в то же время был уже совсем другим, явно отягощенным жизнью, которая каждый день требовала от него нечеловеческого творческого напряжения, отдачи всего себя без остатка делу Революции.

В передней была обычная суматоха, толкотня, назначение свиданий, неразбериха кашне, шапок, пальто, кепок; расталкивая всех локтями, подавали дамам манто. Восклицания. Извинения. Кто-то зевал — сладко, откровенно, предрассветно, по-московски.

Слышу трудное, гриппозное дыхание Маяковского.

— Вы совсем больны. У вас жар! Оставайтесь, умоляю. Я устрою вас на диване.

— Не помещусь.

— Отрублю вам ноги.

— И укроете меня энциклопедическим словарем «Провещение», а под голову положите юбилейный прибор вашего дяди — земца?.. Нет! Пойду лучше домой. На Гендриков.

В голосе его слышалось глубокое утомление.

— Кланяйтесь Брикам. Попросите, чтобы Лиля Юрьевна заварила вам малины.

— Брики в Лондоне, — мрачно пробормотал он, и мне вдруг стало поразительно ясно, как ему одиноко по вечерам в пустой квартире на Гендриковом.

— Что же вы один будете там делать?

— Искать котлеты. Пошарю в кухне. Мне там всегда оставляет котлеты наша рабыня. Люблю ночью холодные котлеты.

Я чувствовал, что ему совсем плохо.

Прощаясь, Ливанов, по московской привычке, поцеловался со мной. Маяковский в это время подавал пальто Норочке. Увидев, что мы с Ливановым целуемся, он двинулся между нами, ревниво отстранил Ливанова и, наклонившись, приблизил ко мне свое длинное скуластое лицо, показавшееся мне в сумерках передней громадным, чугуно-черным. Я никогда еще не видел его так близко и не представлял себе, каким пугающим оно может быть вблизи. Он как бы через увеличительные стекла заглянул в мои глаза — с торопливой нежностью, с отчаянием, — и я почувствовал на своем лице колючее прикосновение его скуластой небритой щеки. Потом он поцеловал меня громадными губами оратора, плохо приспособленными для поцелуев, и сказал, впервые обращаясь ко мне на «ты» — что показалось мне пугающе-странным, так как он никогда не был со мной на «ты»:

— Не грусти. До свиданья, старик.

И сейчас же — огромный, неповоротливый, со шляпой, надвинутой на нос, с горлом, закутанным шарфом, — вышел вслед за Норой Полонской на темную, совсем не освещенную лестницу, где Яншин, приговаривая что-то своим юмористическим театральным голосом, водил по воздуху зажженной спичкой, отчего на голой стене лестничной клетки как бы пролетела тень — черно-пепельных крыльев Азраила.

...Он зигзагами метался на небольшой высоте, облетая старинные шатровые колоколенки и повторяя ломаные повороты московских улиц и переулков, метался по пред-
рассветному городу, шуршал над крышами угловатыми складками обугленных одежд, выставив вперед на вытянутой руке обоюдоострый меч.

Очень поздним утром меня разбудил повторный телефонный звонок. Первого я не услышал.

— Только что у себя на Лубянском проезде застрелился Маяковский.

Он выстрелил себе в сердце из маленького карманного маузера, и в тот же миг время для него уже потекло в другую сторону, «все перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, все перепуталось и сладко повторять:

Россия, Лета, Лорелея».

Сблизив головы, мы сидели в пустой, холодной пивной на Никольской против ГИЗа, за ярким от солнца ясеневым столиком, желтизну которого усиливали лаковые отражения жигулевского пива, падавшие из наших стаканов, к которым мы так ни разу и не прикоснулись губами, охваченные холодом сиротства, и говорили вполголоса о Маяковском — все о нем, все о нем, — напрягая все свои умственные и душевные силы, тщаь объяснить то, что было, в сущности, так просто и что казалось нам тогда необъяснимым.

— Если бы Брики были в Москве, он бы этого не сделал, — время от времени повторял Бабель с горестным изумлением, почти с ужасом поднимая брови и оглядывая нас — Олешу и меня — своими маленькими, детскими кругленькими глазками — робкими, наивными и вместе с тем полными скрытого лукавства, озорства и еврейской иронии, сейчас неуместной.

Его круглые, немодные, стариковские очки в тонкой оправе как нельзя больше соответствовали характеру его лица с большим, лысым, покатым, но неровным лбом, с некоторыми вогнутостями над бровями, что делало выражение его лица еще более удивленно-напряженным. Утиный нос, срезанный на самом кончике, и тонкие улыбающиеся губы, изогнутые ижицей, как бы готовые каждый миг раскрыться для того, чтобы медлительно произнести ядови-

тейшее замечание, как он любил выражаться: «Замечание из жизни».

— Слушайте, я вам сейчас скажу замечание из жизни,— обычно говорил он,— недавно побывал я в нашей с вами родной Одессе.— Саркастически благостный взгляд из-под очков.— Пошел на Привоз. На наш с вами знаменитый Привоз. Надеюсь, вы еще не забыли его? Такой же самый, как был при нас. Сидит торговка перед своей корзинкой с куриными яичками и на весь Привоз стонет: «Ох, эта мне дороговизма!»

Но сейчас его лицо растерянно, бледно, на порозовевших веках слезы.

— Слушайте меня, поймите: мы все в этом виноваты. Все люди, которые его любили по-настоящему. Его нужно было обнять, может быть поцеловать, сказать, как мы его любим. Просто, по-человечески пожалеть его. А мы этого не делали. Мы стеснялись быть сентиментальными. Мы обращались с ним, как с бронзовым. Уже как с памятником. А он был самый обыкновенный человек. Подверженный простудам. Вечно в гриппу. Со слабыми нервами. Почему, ах, почему вы его отпустили среди ночи, не оставили у себя?

— Но разве я мог хоть на один миг предположить, что...

— Вот именно, именно! Все относились к нему, как к бронзовому. А он был «боже из мяса — бог-человек». А главное...— Тут Бабель снова посмотрел на нас — на Олешу и на меня — не то вопросительным, не то пророческим взглядом.— А главное,— медлительно проговорил он,— Маяковский был слишком идеалист. Вы знаете женщин, которые слишком страстно отдаются своей любви. Это прекрасно, но это трагично. Чаще всего они гибнут, будучи не в состоянии вынести ни малейшего охлаждения, неизбежного при длительной связи. Жизнь оказывается для них слишком матерьяльной. Их души слишком нежны, слишком легко ранимы. «Любовная лодка разбилась о быт». Это как раз тот случай. Перечтите внимательно все его стихи. Мы просто ослепли, лишились разума!

Олеша отрывисто поддакивал. Кивая своей великолепной большой головой, причесанной а-ля Титус, с квадратным подбородком, что не соответствовало его небольшому росту, он говорил:

— Да, да. Совершенно верно. Бабель бесконечно прав. «Она — Маяковского тысячи лет, он здесь застрелился у

двери любимой», «Не поставит ли лучше точку пули в своем конце», «Мяукал кот. Коптел, горя, ночник. Звонюсь в звонок. Аптекаря!.. Протягивает. Череп. «Яд». Скрестилась кость на кость. Кому даешь? Бессмертен я, твой небывалый гость», — понимаете, товарищи: он был небывалый гость в нашем мире. Помните? «...И вдруг я плавно огибаю прилавок. Потолок разверзается сам... Над домом вишу». — Олеша посмотрел своими серыми глазами слоненка вверх, как бы наблюдая человека, висящего над домом, — от возбуждения он стал, как всегда, немного шепелявить.

— «Над бандой поэтических рвачей и выжиг», — сказал Бабель, не слушая Олешу. — Ведь это же не просто так, для красного словца. Это написано кровью сердца. Значит, есть банда. Понимаете?

— Подождите, — сказал Олеша. — Это не самое странное. Самое странное, даже, я бы сказал, необъяснимое, при всей своей матерьяльности, было то, что я видел вчера в Гендриковом переулке, где еще совсем недавно мы играли в карты до рассвета... Вы знаете, что это? Мозг Маяковского. Я его уже видел. Почти видел. Во всяком случае, мимо меня пронесли мозг Маяковского.

И Олеша, перескакивая с образа на образ, рассказал нам то, что потом с такой поразительной художественной точностью появилось в его книге «Ни дня без строчки».

«...Вдруг стали слышны из его комнаты громкие стук — очень громкие, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах — не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, словом, человек посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платком, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского...»

Молодой Олеша, молодой Бабель, молодой я. Конечно, сравнительно. Мы-то сами себе казались уже не молодыми. С легкой руки Асеева считалось, что:

«Мы никогда не встретим сорок».

Подбирались к сорока. Особенно остро ощущали это сегодня, когда вместе с Маяковским уходила какая-то часть нашей жизни.

— Теперь мы особенно нежно должны любить друг друга, — говорил Бабель, глядя меня и Олешу по плечам.

А «он» в это время лежал в правом крыле особняка на улице Воровского — бывшей Поварской, — описанного Толстым в «Войне и мире». Доме, где жили Ростовы.

Зал был узкий. Гроб был узкий, красный, по росту Маяковского — длинный. Над гробом узкая, резко обретенная, четырехугольная черная декоративная плоскость. Она начиналась низко над изголовьем гроба и, постепенно расширяясь, косо уходила вверх, в никуда. Конструкция работы лефовца Лавинского, как бы на миг приоткрывшая что-то бесконечное, бездонное, готовое навсегда затвориться.

Гроб был мелкий, стоял невысоко, и тело спящего Маяковского в новом заграничном костюме с артистически изогнутой кистью руки, будто бы вот только что, сию минуту, выпустившей из побелевших пальцев стилё, виднелось почти целиком, стройное, длинное, моложавое, с темными волосами, неестественно гладко зачесанными — чего при его жизни никогда не было, — а наискось через нахмуренный лоб, через переносицу тянулся свежий, синевато-чугунный шрам — след падения после того, как он выстрелил себе в сердце, и мишень щелкнула, и механизм сработал, зажужжал, и комната стала вращаться вокруг него вместе с шведским бюро, железной кроватью и фотографией Ленина на белой стене, и уже ничем нельзя было помочь, и вернуть роковой порыв, и даже повернуть голову, прижатую страшной силой земного притяжения к полу, и, постепенно холодея, все перепуталось... все перепуталось... все перепуталось...

В край гроба упирались ноги в больших, новых, очень дорогих башмаках заграничной работы на толстой подошве со стальными скобочками, чтобы не сбивать носки, предмет моей зависти, о которых Маяковский позавчера сказал мне в полутемной комнате: «вечные».

Я стоял с черно-красной повязкой на рукаве, — в почетном карауле — у его изголовья и против себя — по ту сторону лежащего Маяковского — видел его маму, малень-

кую старушку, и сестер в трауре, которые сидели на стульях, не спуская глаз со спящей головы их Володи.

«Алло! Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда деться».

Потом я увидел как бы все вокруг заслонившее, все облитое сверкающими слезами скуластое темногубое лицо мулата. Я узнал Пастернака. Его руки машинально делали такие движения, как будто он хотел разорвать себе грудь, сломать свою грудную клетку, а может быть, мне только так казалось.

Народу было еще не слишком много. По углам гроба бесшумно сменялся почетный караул. Не помню, была ли музыка. Наверное, была. Но она не могла заглушить тишины. Со двора по лестнице поднимались один за другим его читатели, главным образом молодежь, вузовцы, школьники, рабочие, красноармейцы, курсанты — юноши и девушки. Они шли цепочкой один за другим — заплаканные, помертвевшие — мимо узких вазончиков с длинными, бледными парниковыми розами, расставленными снизу вверх на каждой ступеньке и вдоль стены коридора, который вел к его гробу.

Они проходили мимо, видя его, быть может, впервые в жизни. Среди них несомненно была Клавдия Заремба в старой кожаной куртке и красной женотделовской косынке, которые в то время уже становились редкостью. Она плакала и вытирала слезы согнутым указательным пальцем. Она еще была молода, и в глубине ее узких таинственно-темных глаз как бы светилась лунная ночь. Она узнала меня и грустно улыбнулась.

— Видишь, какая стряслась беда, — сказала она, крепко, по-мужски, пожав мне руку, и вышла из зала.

...Потом она уехала на работу в Монголию...

А он все лежал, и лежал, и лежал на спине, уже начисто выбритый, в спокойной, совсем несвойственной ему позе, и только нахмуренный лоб со шрамом говорил о том,

с каким нечеловеческим напряжением он писал и чего стоили ему его гениальные поэмы... Уже, собственно говоря, и не он, а лишь его телесная оболочка — лицо цвета магнолии и гладко причесанная голова.

«И в подошвах его башмаков так неистово виделись гвозди, что, казалось, на дюйм выступали из толстых подошв... Он точил их — но тщетно! — наждачным километром Ниццы, он сбивал их булыжной Москвою, — но зря! И, не выдержав пытки, заплакал в районе Мясницкой, прислонясь к фонарю, на котором горела заря».

...На бульваре в Сочи черномазый глазастый мальчик проворно слазил на старую магнолию и принес мне мглисто-зеленую ветку с громадным цветком. И мальчик и цветок напомнили мне Маяковского.

«Маяк заводит красный глаз. Гремит, гремит мотор. Вдоль моря долго спит Кавказ, завернут в бурку гор. Чужое море бьет волной. В каюте смертный сон. Как он душист, цветок больной, и как печален он! Тяжелый, смертный вкус во рту. Каюта — узкий гроб. И смерть последнюю черту кладет на синий лоб».

Он уже давно существовал в каком-то другом измерении, я же продолжал двигаться во времени и пространстве, как обычно, и однажды лет тридцать тому вперед, выйдя из лифта на последнем этаже, в мокрых дождевиках, «импермеаблях», по которым как бы еще продолжали струиться отражения разноцветных огней Пасси, — жена и я очутились перед коричневой дверью. Лет сорок назад эта дверь, вероятно, была еще совсем новая, и в теплой лестничной клетке хорошо пахло дорогой масляной краской, полированным деревом, начищенной медью.

Помню маленькую желтую кпшечку на столе у Бунина — «Дверь ста печалей» Киплинга, которая вышла тогда под его редакцией. Оказывается, Бунин очень признавал Киплинга, что меня тогда крайне удивляло. Что общего между Буниным и Киплингом? Мне даже подумалось тогда, что Бунин несколько рисуется любовью к Киплингу или взялся за его редактирование лишь для того, чтобы подработать во время своей тогдашней полуэмиграции. Впоследствии я понял, что между ними, как это ни странно, много общего: ощущение наступившей в мире эпохи империализма, художественный космополи-

тизм при остром чувстве своей национальной исключительности.

...В этой лестничной клетке я уже однажды побывал тридцать лет назад, когда на несколько недель попал в Париж, и бросился разыскивать Бунина, и очутился перед этой дверью — молодой, взволнованный, в щегольском габардиновом темно-синем макинтоше на шелковой подкладке, купленном у Адама в Берлине, в модной вязаной рубашке, в толстом шерстяном галстуке, но в советской кепке, побывавшей уже вместе со мной на Магнитострое, сдвинутой немного на ухо — под Маяковского.

Я несколько раз постучал в дверь, но, не получив ответа, уже было собрался уходить, как вдруг дверь напротив щелкнула, отворилась, и я увидел знакомое «еще с тех пор» лицо друга Бунина, художника Нилуса. Это он некогда жил в Одессе в особняке Буковецкого на Княжеской улице, на чердаке, и часто, не застав Бунина дома, я взбирался по крутой лестнице в его мастерскую, описанную в «Снах Чанга», и читал ему, вместо того чтобы читать Бунину, свои новые рассказы и стихи. У него была запоминающаяся внешность, и по-моему, именно с него написал Бунин портрет композитора из рассказа «Ида».

«Господа,— сказал композитор, заходя на диван и ваясь на него своим коренастым туловищем,— господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, служающий, самобраную скатерть как можно щедрее,— сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками.— Вы мои королевские замашки знаете».

А может быть, Бунин написал героя «Иды» с Ипполитова-Иванова?

Теперь уже королевских замашек не было; был обновившийся коротенький пиджачок, который он придерживал опухшей рукой на горле, но широкое, монголовидное лицо с узкими глазками осталось, хотя и заметно постарело, утратило былое оживление.

— Что вам угодно, мосье? — спросил он по-французски.— Вы, вероятно, разыскиваете господина Бунина, но его в данное время нет в Париже.

— Здравствуйте, Петр Александрович,— сказал я по-русски.

Он осмотрел меня с ног до головы, еще более сузил свои татарские глазки, но без всякого удивления, очень просто, как будто бы мы расстались вчера.

— Иван Алексеевич в департаменте Приморские Альпы, в Грассе, в квартире никого нет. Заходите ко мне, Валя. Я читал в газетах, что вы в Париже. А моих тоже никого дома. Жена и дочь в Гренобле. Я один как перст. Что бы вам прийти позавчера? Вы бы его еще застали.

Видно, мне уже не судьба была застать его когда-нибудь.

Без преувеличения могу сказать, что вся моя жизнь была пронизана мечтой еще хоть раз увидеться с Буниным.

Я провел несколько часов в неубранной квартире Нилуса, где так по-русски на столе стоял простой эмалированный кухонный чайник и лежали глубоко русские щипчики для того, чтобы колоть твердый рафинад, хотя сахар был французский, хрупкий, маленькими кубиками. Мы пили чай вприкуску, дуя в блюдечки, и спорили, спорили до тех пор, пока у нас не осипли голоса.

Он кричал, что у нас в Советском Союзе нет свободы, а я кричал, что у них во Франции нет свободы. А потом мы оба со слезами любви и умиления кричали о Бунине, о его гениальности, неповторимости, недооцененности... А потом он начинал расспрашивать про Россию, и я рассказывал ему о гигантском строительстве, о Днепрострое, похожем в своих строительных лесах на осажденную Трою, и о Магнитогорске — металлургическом гиганте, волшебным образом возникающем в пустынных пугачевских степях, где стремительно бегут косые коричневые башни буранов и вихри срывают палатки и несут их под облаками, как стадо диких гусей...

Париж, конечно, был, как всегда, обольстителем, но мне не хватало в нем Маяковского. Я жил в отеле, который мне некогда порекомендовал Маяковский. Его уже не было на свете, а в моей записной книжке сохранился небольшой список монпарнасских отелей, продиктованный

мне Маяковским, и среди них отель «Распай», где я и поселился. Сам Маяковский, ярый «монпарнасец», обычно останавливался неподалеку, в отельчике «Истрия» на Рю Кампань-Премьер, в маленьком дешевом номере. Он «сидел» в баре кафе «Куполь», где его всегда можно было застать, когда он бывал в Париже. На стене «Куполя» имеется почетная доска, длинный список знаменитых завсегдатаев этого заведения, где можно прочесть имя Маяковского. Я стал завсегдатаем «Куполя». Без Маяковского «Куполь» казался мне пустым. Здесь по утрам я работал над продолжением своей хроники «Время, вперед!», которая печаталась глава за главой в «Красной нови», а фигура Маяковского как бы незримо стояла возле моего столика. Его «Марш времени» гремел над Советской страной, приступившей к неслыханному трудовому подвигу первых пятилеток. Я был весь переполнен ритмами рождающегося социализма и все никак не мог оторваться от своей хроники и писал, писал, писал, где только мог и на чем только мог: в записной книжке, на бумажных салфетках, на коробках из-под сигарет...

Магпитогорск стал уже для меня городом Маяковского, и я нетерпеливо ждал свидания с первой, уже почти готовой, самой большой в мире домной, стремительно шагающей по строительной площадке в своем железном расстегнутом пальто, на голову выше всех остальных объектов, плывущих в облаках раскаленной степной пыли навстречу тучам и буранам.

Вскоре я уехал в Москву, торопясь отдать очередные главы в журнал и целый день качаясь на диване в пустом купе, глотая жадно новые, неизвестные мне стихи и рассказы Бунина, приводившие меня в восхищение и вместе с тем как-то тягостно меня не удовлетворявшие, в чем мне было трудно самому себе признаться. И мне хотелось плакать от отчаяния, думая о той страшной трагедии, которую пережил Бунин, о той непоправимой ошибке, которую он совершил, навсегда покинув родину. И у меня не выходила из ума фраза, которую мне сказал Нилус:

— Какие же у Ивана тиражи? Пятьсот, восемьсот экземпляров.

— У нас бы его издавали сотнями тысяч,— почти проstonал я.— Поймите, как это страшно: великий писатель,

который не имеет читателей. Зачем он уехал за границу? Ради чего?

— Ради свободы, независимости,— строго сказал Нилус.

Я понял: Бунин променял две самые драгоценные вещи — Родину и Революцию — на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости, которых он всю жизнь добивался, в чем я убедился, получив от него уже после войны, в 1946 году, одну из лучших его книг — «Лику», где прочел следующие, глубоко меня потрясшие места:

«Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому не нужна!.. Брал... всякие «Биографии замечательных людей»: все затем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми... «Замечательные люди»! Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей, а сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечные! Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарка... Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте... Расин, Мольер... Все тот же «Дон Кихот», все та же «Манон Леско»... В этой комнате я, помню, впервые прочел Радищева — с большим восхищением. «Я взглянул окрест — душа моя страданиями человечества уязвлена стала!» Этот язык, этот строй души я понимал».

«...Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы «бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений»!

«Социальные контрасты!» — думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины... На Московской я заходил в извозчицью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мною два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!»

(Ах, этот знаменитый русский трактир, кто из поэтов не увлекался его красками. Помните, у Маяковского: «Влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки!»)

«Сидя в санках,— читал я у Бунина, в то время как мимо окон пробегали маленькие домны Бельгии,— вместе с ними ныряя и спускаясь из ухаба в ухаб, поднимаю голову — ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему! Тучи идут, открывают его, опять заволакивают — ему все равно, нет никакого дела до них! Я до боли держу голову закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять, когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из туч: какое оно? Белая маска с мертвеца? Все изнутри светящееся, по какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Так и скажу где-нибудь!»

Он и меня учил этому. «Опишите воробья. Опишите девочку». Но что же получилось? Я описал девочку, а она оказалась «девушкой из совпартшколы», героиней Революции. А Революции меня учил Маяковский. «Опишите Магнитогорск. Время, вперед!» И девушка из совпартшколы, вернувшись из Монголии, превратилась в бригадира бетонщиков и прошла по лесам коксохима в кожаной старой куртке и выгоревшей на степном солнце красной косынке.

Иногда на некоторое время я снова превращался в Пчелкина, который продолжал заниматься поэзией, а стихи Пчелкина были так себе, в духе раннего, еще очень сырого мовизма.

«Весну печатью ледяной скрепили поздние морозы, но пахнет воздух молодой лимонным запахом мимозы, и я по-зимнему бегу, дыша на руки без перчаток, туда, где блещет на снегу весны стеклянный отпечаток.//Был май, стояли ночи лётные, и в белом небе без движения висели мертвые животные аэростатов заграждения.//Уже давно, не день, не два, моя душа полужива, но сердце ходит, дни кружатся, томя страданием двойным, что невозможно быть живым и трудно мертвым притворяться.//Когда я буду умирать, о жизни сожалеть не буду, я просто лягу

на кровать, и всем прощу, и все забуду.//Величью цезаря не верь, есть только бронзовая дверь, во тьму открытая немного, и два гвардейца у порога.//То очень медленно, то быстро неуловимая звезда, всегда внезапная, как выстрел, блеснувши, гасла без следа».

У них у обоих учился я видеть мир — у Бунина и у Маяковского... Но мир-то был разный.

Бунин думал, по-видимому, был глубоко убежден, что он совершенно независимый, чистый художник, изобразитель, ничего общего не имеющий ни с «социальными контрастами», ни с «борьбой с произволом и насилием, с защитой угнетенных и обездоленных» и, уж конечно, ничего общего не имеющий с Революцией, точнее сказать, никак не принимающий ее, даже прямо враждебный ей.

Это была лишь детская иллюзия, порыв к воображаемой художественной независимости.

Если бы Льву Толстому, который начисто отрицал всяческую революцию, был глубоко ей чужд, считал ее делом абсолютно не моральным, в один прекрасный день сказали, что он зеркало русской революции, то он бы, наверное, был возмущен до глубины души, совершенно искренне считая, что это вздор. И однако же, это истина.

Бунин хотел быть совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств по отношению к обществу, в котором он жил, по отношению к родине. Ему думалось, что, попав в эмиграцию, он добился своего. За границей он казался сам себе совершенно свободным, чтобы писать все, что ему вздумается, не подчиняясь ни государственной цензуре, ни суду общества. До Бунина не было никакого дела ни французскому государству, ни парижскому обществу, ни католической церкви. Он писал все, что хотел, не сдерживаемый никакими моральными обязательствами, даже иногда простыми приличиями. Как изобразитель он рос и к концу своей жизни достиг высшей степени пластического совершенства. Но отсутствие морального давления извне привело к тому, что Бунин-художник перестал выбирать точки приложения своих способностей, своих душевных сил. Он не мог справиться с «тысячеглавой гидрой эмпиризма», о которой говорил Гёте, и она поглотила его, вернее, он был разорван на куски, как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному давлению десятков, сотен, может быть, тысяч атмосфер

и вдруг оказавшаяся на поверхности, почти не испытывая больше никакого давления.

Для него художественное творчество перестало быть борьбой и превратилось в простую привычку изображать, в гимнастику воображения.

Я вспомнил его слова, некогда сказанные мне, что все можно изобразить словами, но все же есть предел, который не может преодолеть даже самый великий поэт. Всегда остается нечто «не выразимое словами». И с этим надо примириться. Может быть, это и верно. Но дело в том, что Бунин слишком рано поставил себе этот предел, ограничитель. В свое время мне тоже казалось, что он дошел до полного и окончательного совершенства в изображении самых сокровенных тонкостей окружающего нас мира, природы. Он, конечно, в этом отношении превзошел и Полонского и Фета, но все же — сам того не подозревая — уже кое в чем уступал Иннокентию Анненскому, а затем Пастернаку и Мандельштаму последнего периода, которые еще на какое-то деление передвинули шкалу изобразительного мастерства.

Но все равно ему всегда было далеко до Пушкина, который сказал в «Барышне-крестьянке»: «маленькие пестрые лапти...»

Все эти мысли пронеслись в моей голове в то время, как мы, позвонив, стояли перед дверью Бунина, и вслед за тем она щелкнула, отворилась, и я на фоне совсем не парижской, а какой-то весьма старорежимной московской запущенной прихожей увидел перед собой Веру Николаевну, высокую, нескладную, дурно одетую, глубокую старуху, опустившуюся, добрую, бессильную барыню, в больших стоптанных туфлях, сохранившую в своих повадках нечто свойственное московской курсистке старых времен из либеральной семьи. Ее некогда светло-льняные легкие волосы давно уже поредели, побелели как снег, но все еще были убраны жидким узлом на затылке, а заострившийся хрящеватый нос с лазурными прожилками возле некогда прекрасных голубых глаз, ее чистый лоб по-прежнему чем-то напоминали греческую богиню. Я думаю, ей уже шел девятый десяток.

Радостно и грустно, сквозь слезы, рассматривала она нас, и я чувствовал даже как бы нечто родственное в ее измученном, прозрачно-белом, бескровном добром лице.

— Вот мы и свиделись наконец с вами, Валя,— сказала она, покачивая немного трясущейся головой,— а вашу жену мы себе с покойным Иваном Алексеевичем именно такой и представляли, детей же ваших никак не могли себе вообразить. Ивану Алексеевичу это казалось как-то совсем невероятно: дети Вали Катаева! Знали только, что есть мальчик и девочка.

— А недавно появилась еще и внучка,— сказал я не без хвастовства.

— Боже мой, боже мой,— воскликнула Вера Николаевна, сплетая и расплетая свои старческие пальцы.— Ведь мы, Валя, виделись с вами последний раз сорок лет назад. Сорок лет! Мы даже не успели проститься.

— Я лежал в сыпняке.

— Мы это знали. Иван Алексеевич даже порывался поехать к вам в госпиталь... Но ведь вы знаете Ивана Алексеевича... его боязнь заразиться... Он был уверен, что вы не выживете, а я верила... И молилась за вас, и верила... А потом еще сколько раз... И то, что я снова вижу вас, того самого, живого... Но не будем лучше об этом говорить... Все это невероятно, невероятно... А вы помните,— вдруг с оживлением сказала она помолодевшим голосом светской дамы,— Наташу Н.? Какая была прелестная девушка, не правда ли? И вы так подходили друг другу. Мы с покойным Иоанном исподтишка любовались вами. И потом часто, часто вспоминали.

У меня хорошая память, но, как ни странно, именно эту прелестную шестнадцатилетнюю девушку я почему-то очень быстро забыл, никогда больше о ней не думал, и только сейчас, после слов Веры Николаевны, вдруг на меня нахлынули воспоминания о каких-то лунных, поразительно ярких ночах над серебристым морем, жарком полуночном ветре, торопливо бегущем по серебряным кустам степной полыни с ее странным, неприятно-бальзамическим ароматом, о веточке слишком ярко-белого при лунном свете жасмина с желтой серединкой каждого светящегося цветка, которая украшала аристократически маленькую черноволосую головку Наташи, своим большим ртом и оживленно страстными глазами напоминавшую Наташу Ростову.

Быть может, за это сходство и запомнил Бунищ ее, а в паре с ней и меня?

Нет слов, она была хороша, но я не запомнил ее, а на всю жизнь врезалась в мою память та маленькая босая девочка, которую Бунин несколькими годами раньше, на даче Ковалевского, велел мне описать!

— Так вот вы какая! — обратилась Вера Николаевна к моей жене и поцеловала ее в мокрую от слез щеку. — Иван Алексеевич любил Валю, всегда о нем помнил, все о нем знал, читал все, что он написал, и гордился его успехами. Ведь Иван Алексеевич был литературным крестным отцом вашего мужа, — прибавила она, строго взглянув на жену, а я смотрел на нее с тем же тревожным вниманием, с каким некогда молодой Бунин смотрел на луну, желая возможно точнее определить: какая она? Стеариновая?

Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны. Цвет белой мыши с розоватыми глазами.

Она повела нас в столовую, и опять меня поразила запущенность, чернота ненатертого паркета, какой-то ужасно дореволюционный русский буфет с прожженной в нескольких местах доской, обеденный стол, покрытый тоже какой-то дореволюционной русской клеенкой, рыжей, с кружками разводов от стаканов, с обветшалыми краями, и на проволочной подставке обожженный газом чайник, разнокалиберные русские кузнецовские и французские лиможские чашки и среди них — тарелка с меренгами — украшение стола.

— Ваши любимые, — сказала она, заметив удовольствие, с которым я посмотрел на меренги.

— Откуда вы знаете, что я люблю меренги?

— Помню, — грустно ответила она. — Однажды вы сказали, что когда разбогатеете, то будете каждый день покупать у Фанкони меренги со взбитыми сливками.

— Неужели я это говорил?

— Конечно. Еще Иоанн ужасно над этим смеялся: как мало ему нужно для счастья! Разве вы не помните, как однажды у Наташи Н. за чаем вы съели все меренги, так что ее великосветская маман едва не отказала вам от дома?

— Вы и это помните!

— Я все помню,— грустно сказала она, покачивая трясущейся головой.

Тут же я представил себе, как она под зонтиком в старом «импермеабле» шла под дождем на сияющую ртутно-белыми лампами витрин площадь Мюэтт в кондитерскую и как мадемуазель в кружевном фартучке, оставив розовый пальчик с отделанным перламутровым ноготком, осторожно брала широкими серебряными щипцами хрупкие меренги со взбитыми сливками и укладывала их рядом, как детей, в картошную коробку.

— Вот — Иван Алексеевич, тот, которого вы знали,— сказала она, вводя нас в маленькую комнатку, где на стене на темных ветхих обоях был устроен как бы небольшой иконостас — фотографии Бунина разных лет и среди них — «тот Бунин, которого я знал», — наиболее известная, дореволюционная его фотография: Ив. Бунин, академик, в зените славы, на всю жизнь запомнившиеся мне черты падменного лица с треугольной щегольской бородкой и дальнозоркими, как бы заплаканными глазами.

Была здесь фотография и другого Бунина, того, которого я не знал,— молодого, в черной бурке на плечах и дворянской фуражке, а также Бунина последних лет, без усов и бороды, с наголо выбритым мускулистым старческим лицом, но все с тем же острым взглядом, может быть еще более высокомерным, непреклонным, как бы говорящим: к прошлому возврата нет! — но все с теми же узкими козьими щеками, так что в нем без труда узнавался прежний Бунин.

— Вообразите себе,— говорила Вера Николаевна, следя за выражением моего лица, с каким я разглядывал фотографии Бунина.— В один прекрасный день является из парикмахерской без усов и без бороды. Я так и ахнула! Первое время никак не могла примириться: что-то актерское, иностранное, глое, а потом привыкла. Но объясните мне, бога ради, зачем это ему понадобилось!

Я уже много раз до этого видел фотографии бритого Бунина и привык к его новому лицу. Для меня старый и новый Бунин как бы слились в нечто единое, мало чем отличающееся от моего привычного представления о нем. Это был все тот же человек, художник, поэт, учитель, великий изобразитель природы, тот самый, который, будучи еще совсем молодым человеком, написал:

«Вот капля, как шляпка гвоздя, упала — и, сотнями иголок затоны прудов бороздя, сверкающий ливень запры-

гал» — строки, удивительные тем, что потом множество раз на всякие лады повторялись, как свои, разными посредственными прозаиками и поэтами, наивно уверенными, что это именно они открыли сходство упавшей капли со шляпкой гвоздя, не подозревая, что магическая сила этого образа заключается не в зрительном сходстве с гвоздем, а в звуках «пля» и «шля», вызывающих в представлении читателя не произнесенный поэтом, но как бы таинственно присутствующий за пределами словесной ткани звук этой самой капли, похожей на шляпку гвоздя, — звук шлепанья по воде пруда.

Хотя должен заметить, что старик Некрасов задолго до Ивана Алексеевича написал: «Светлые, словно из стали, тысячи мелких гвоздей шляпками вниз поскакали».

Однажды, желая как бы навсегда покончить с прошлым, Бунин решительно сбрил усы и бородку, бесстрашно обнажив старческий подбородок и энергичный рот, и уже в таком обновленном виде, во фраке с крахмальным пластроном на широкой груди, получил из рук шведского короля диплом Нобелевского лауреата, золотую медаль и небольшой портфель желтой тисненой кожи, специально расписанной красками в «стиле рюс», которого Бунин, кстати сказать, не переваривал.

Показала нам Вера Николаевна также и пожелтевшую французскую газету, где во всю страницу и во весь рост все в том же фраке, с выставленным вперед голым католическим подбородком был изображен лауреат «При Нобель» Жан Бунин, и во всем этом было что-то бесконечно горькое, я бы даже сказал, жестоко бессмысленное.

— Вот здесь, на этом «сомье», Иван Алексеевич умер. — И Вера Николаевна подошла к продавленному, на ножках, покрытому ветхим ковром матрасу, в изголовье которого на столике стояла старинная черно-серебряная икона-складень, с которой Бунин никогда не расставался, возил с собой повсюду. Тут же на стене висело еще несколько иконок в золоченых окладах, крестильных крестиков и даже, кажется, граненых пасхальных яичек, но все это лишь подчеркивало нищенский вид ложа, на котором умер Иван Бунин.

— Как это было? — спросил я.

— Иван Алексеевич обладал железным здоровьем, он почти никогда не болел. Врачи говорили, что у него грудь молотобойца. У него за всю его жизнь была одна-единственная болезнь. Вы знаете эту единственную болезнь Бунина, — сказала Вера Николаевна с полуулыбкой, обратившись ко мне, как к «своему человеку», перед которым нечего стесняться. — Геморрой. Но от геморроя не умирают, — грустно улыбнулась она. — Иван Алексеевич умер просто от старости. Ему уже было восемьдесят три года. В последнее время он очень ослабел. Его нужно было на руках носить в ванну, чтобы выкупать. Не желая его оставлять одного ночью, я спала вместе с ним на этом сомье, ложась у него в ногах — тихонько, калачиком, лишь бы не потревожить.

Седьмого ноября — в тот самый день, когда вы праздновали годовщину своей революции, — вечером он заснул и спал все время довольно спокойно. Но вдруг в третьем часу вскочил, как от удара электрического тока, и, толкнув меня, сел на постели с выражением такого непередаваемого ужаса на лице, что я похолодела и поняла — это конец. При свете мутных ночных огней Пасси мне даже показалось, что остатки его серо-белых волос поднялись над худой плешивой головой. Он что-то хотел сказать, может быть даже крикнуть, дернулся всем своим старческим, костлявым телом, и вдруг рот его странно разинулся, нижняя челюсть отвалилась вот так...

Вера Николаевна с привычным автоматизмом изобразила предсмертную конвульсию Бунина, ее рот странно разинулся, нижняя челюсть отвалилась, и я вдруг как бы воочию увидел перед собой лицо Бунина в последний миг его жизни, обезумевшие белые глаза Иоанна Грозного, череп, покрытый холодным потом, черный провал разинутого рта с отвалившейся челюстью.

— И он свалился на кровать мертвый. Я подвязала ему челюсть салфеткой, привела в порядок его еще теплое тело, сложила на груди его высохшие руки, закрыла глаза, надавив на веки большими пальцами, и до утра никому не стала звонить. Остаток ночи, нашей последней ночи, провела я, по-прежнему лежа у его холодеющих ног, на рваной простыне, под совсем прохудившимся одеялом, вспоминала нашу с ним мучительно трудную жизнь вдвоем, нашу былую любовь, наши скитания, и плакала, пла-

жала, плакала одна с ним наедине до тех пор, пока не выплакала всех слез. С тех пор я уже больше не в состоянии плакать. У меня вечно сухие глаза. Нет слез, нет больше слез.

Через некоторое время — вскоре — я узнал, что Вера Николаевна умерла, и я представил себе Пасси, площадь Мюэтт, маленькую улицу Жак Оффенбах и на некоторое время опустевшую квартиру, давно не отремонтированную, запущенную, с застарелыми запахами несвежего постельного белья, с невымытыми окнами, за которыми по вечерам виднелись огни Парижа, с ванной комнатой, где на веревочках сушилось штопаное белье и на дне облупившейся ванны желтела неспущенная вода, а в уборной черные толстые трубы отстойника и чугунный бачок сочились ржавыми каплями холодной воды, и деревянное сиденье стояло в сыром углу, как хомут, и плитки пола были слегка заслякочены, а в открытые двери кухни виднелась покрытая пожелтевшими листьями «Фигаро» газовая плита с невымытыми кастрюлями, а в углу, перевязанная шпагатом, стояла стопка авторских экземпляров «Темных аллей».

Но была прелестная французская весна, слегка дождливая, с голубыми просветами в мутном движущемся небе, с солнечным туманом над грифельными черепичными крышами старинных городков, над готическими и романскими соборами, над лугами, рощами и цветущими каштанами — розовыми и белыми — вокруг замков и нормандских ферм, и мы возвращались в Париж из поездки по берегам Ла-Манша.

Зимой я летал в Магнитогорск, а когда вернулся в Москву, то через некоторое время получил из Магнитогорска письмо, написанное неразборчивым, незнакомым мне почерком.

«Что же ты не зашел, собака, навестить меня, когда приезжал к нам? Я уже давно живу в Магнитогорске у своей старшей, нянчу ее папанов, конечно, уже на пенсии,

но на общественных началах читаю у нас в домоуправлении лекции по истории партии. Последнее время сильно болею. Сломала ногу. Лежу дома, а то бы тебя разыскала. Недавно меня положили в клинику, резали, зашили, сказали, что все в порядке, ничего нет, скоро поправлюсь. А по-моему, врут. Тоже гуманисты нашлись. Чувствую, что скоро отдам концы. Может быть, больше никогда не увидимся. Одному тебе признаюсь перед смертью: я любила его и не забывала ни на минуту всю свою жизнь. Ты знаешь кого. Но моя совесть перед нашей Революцией и перед собой чиста: не я его предала, а он предал Родину. И мы его казнили. Это только справедливо. Я не жалею. Он заслужил смерть. Но я его все-таки любила. Хочешь знать правду — и сейчас люблю, пишу это перед смертью. Сердце у меня давно вырвано. Прощай, старый товарищ. Царапаю тебе потому, что больше никого не осталось из друзей того времени. Вряд ли переживу эту зиму. Все хуже мне и хуже. Они меня утешают, что я еще встану на ноги, но я чувствую правду. Я ее не боюсь. Привет тебе и братство, как мы говорили друг другу в то незабвенное время. А все-таки наша Революция победила! Я знаю, ты меня тоже любил, но только на одну минуточку, на один миг. И за то тебе спасибо, ты бы меня не узнал — такая страшная.

Жму руку. Твоя *Заремба Клавдия*.

Вскоре я узнал, что она умерла, и представил себе... нет, не представил, а вообразил вид Урала с высоты нескольких километров — двух или трех. Уральские горы сплошь покрывали темные зимние тучи, непроницаемые для глаза, и лишь в одном месте из-под них, подобно ключу среди волнистой пустыни, выбивались какие-то дымы, которые я сначала принял тоже за тучи, но потом по их оттенкам понял, что это дымы невидимого внизу Магнитогорска, и самолет, полуопрокинувшись над ними, описывал круг и снижался, чтобы идти на посадку. Вокруг стемнело. Потом я ехал с аэродрома к центру в машине, которая как бы с усилием пробивалась сквозь плотные облака сорокаградусного мороза, среди гипсовых уральских снегов, леденцово освещенных медно-розовым кружочком крещенского солнца, лишённого лучей. Впереди до половины небосвода возвышалась как бы некая гора, состоящая из разноцветных угольно-черных, ярко-белых,

рыже-коричневых, лимонных, аметистовых — дымов, медленно вылезавших, как бараны, из двухсот труб металлургического комбината, который длинно лежал в сумраке у подножия этой дымовой горы скоплением покрытых инеем доменных печей, мартенов, висящих в воздухе газопроводов, извивающихся, как огромные удавы, эстакад, высоковольтных передач. Машина как бы въезжала в темную пещеру дыма, но по мере продвижения вперед дымные стены раздавались на стороны, солнечные лучи проникали сквозь топазовые глыбы пара и дыма, нарядный январский день горел вокруг, и на фоне густой ляпис-лазури неба, над низкими узорчатыми оградами, отлитыми из магнитогорского чугуна, отчетливо выступали сады и аллеи, обросшие толстым слоем инея. Каждое дерево и каждый куст — карагач, сирень, тополь, липа, — которые я видел еще саженцами, теперь представляли чудо зимней красоты: иные из них напоминали волшебные изделия русских кружевниц, иные стояли вдоль палевых и розовых многоэтажных жилых корпусов, как некие белокаменные скульптуры, иные были разительно схожи с хрупкими кустами известковых кораллов синеватого подводного царства, иные — с ветвистыми оленьими рогами, пантами, осыпанными мельчайшими, пылевидными осколками уральских самоцветов, и город Магнитогорск, потонувший в облаках солнечного тумана, был сказочно хорош в своем царственно-русском горностаевом убранстве — город осуществленной мечты, — провожавший в последний путь под звуки медного духового оркестра грузовик с красным, очень ярким, почти светящимся, как брусок раскаленного железа, гробом, в котором, вытянув руки со сжатыми смугло-известковыми пальцами, лежала, навсегда закрыв глаза, Клавдия Заремба — девушка из совпартшколы.

А ночью волшебно сияли ярчайшим зелено-голубым светом сплошные клетчатые окна кислородного завода и облака пара клубились над теплым Магнитогорским морем, куда, как таинственный град Китеж, ушла навсегда старинная казачья церковь бывшей крепости Магнитной, упомянутой Пушкиным в «Истории Пугачева».

...Пепельница. Салют и братство. Ангел Смерти. Заморский страус. Книга сновидений. Девушка из совпартшколы. Клавдия Заремба. Пчелкин. Два поэта...

Посмотрев вокруг, я с удивлением увидел цветущие каштаны и кладбищенскую стену с открытыми воротами.

— Господа, может быть, вы пожелаете посетить русское эмигрантское кладбище? Здесь есть любопытная церковка в древнем новгородском стиле, построенная по эскизам покойного русского художника Александра Бунуа. И, если хотите, можете здесь же увидеть могилу «При Нобель» Бунина, которого вы, кажется, знали. Гастон, остановитесь. Мы выйдем на несколько минут.

Носатый старик со следами военной выправки, в пенсне, с белой пуговичкой слухового аппарата в ухе — по видимому, из бывших русских — продавал у кладбищенских ворот очень крупные французские ландыши. Я выбрал в плоской камышовой корзине букетик и вдруг узнал его: это был Петька Соловьев, тот самый, но только постаревший лет на сорок пять. Вероятно, смятение, даже ужас выразились на моем лице, потому что он улыбнулся заученной, самолюбивой улыбкой, показав неисправные зубы, и сказал:

— Да, да. Не падай в обморок. Ты не ошибся. Это именно я сам.

— Но ведь тебя расстреляли, — пробормотал я. — Я собственными глазами читал в газете список.

— Я тоже собственными глазами читал этот список. Однако — ничего подобного. По дороге из тюрьмы в гараж я выскочил из грузовика и драпанул через стенку Второго христианского кладбища. Они выстрелили по мне пару раз из винтовок и наганов, но промазали, а вместо меня во избежание неприятностей Ангел Смерти вывел в расход для ровного счета какого-то налетчика. А я остался в списке.

Сначала я остолбенел, но потом пришел в себя. А почему бы, собственно говоря, и нет? Ведь бывали же подобные случаи в то время.

— И что же ты здесь делаешь? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить.

— Сам видишь. Кто я? Ни то ни се. Политикой не занимаюсь, так что ты меня не бойся. Я лояльный. Иногда читаю ваши газеты, слушаю радио и завидую вам. Дуррак я был. Честно говорю, как перед богом. Горько мне, понимаешь. Внуки у меня французы, — сказал он, и мне показалось, что он собирается заплакать. — Жизнь как в печке сгорела!

— Клавдию Зарембу помнишь? — спросил я. — Она совсем недавно умерла в Магнитогорске.

— Как говоришь?

— Заремба Клавдия.

На его лице выразилось тупое напряжение, как у глухонемого.

— А кто она?

— Тогда была комсомолка.

— Ах, та, черненькая комсомолочка... Да-да... Что-то такое смутно припоминаю... Но ведь прошло столько лет! — прибавил он, как бы извиняясь. — Разве все запомнишь...

И он стал перекладывать в своей корзине букетики.

О чем нам еще было говорить?

Могила Бунина оказалась совсем не такой, как представлял сам Бунин, в середине своей жизни, еще живя в России:

«Могильная плита, железная доска, в густой траве врастающая в землю... Под эту же плиту приду я лечь — и тихо лягу, с краю».

И не такой, какая виделась ему уже в изгнании:

«Пылай, играй стоцветной силою, неугасимая звезда, над дальнею моею могилою, забытой богом навсегда!»

Смотритель кладбища, небрежно одетый русский господин, с несколько иронической улыбкой на потертом, но еще вполне приличном лице — чем-то неуловимо похожий на моего Петьку Соловьева, — повел нас по прямой аллею, мимо православных крестов и высоких надгробий, и остановился возле серого гранитного креста не совсем обычной формы, напоминающего скорее какой-то каменный орден, может быть даже Георгиевский крест, но только приземистый, темный, тяжелый.

— Вот ваш Бунин, любуйтесь, — сказал смотритель. — А что касается креста, то знатоки уверяют, что это копия какого-то не то древнерусского, псковского, не то византийского памятника старины, найденного когда-то, как-то, при каких-то раскопках — не сумею вам точно сказать

при каких, так как я в области археологии полный профан,— что же касается места могилы, то, как видите, не слишком на задворках и вокруг вполне приличное общество,— сказал он, указывая гостеприимным жестом на соседние могилы, где можно было прочесть несколько некогда очень известных русских фамилий, ныне уже давно у нас забытых.— Их тащат к нам со всего мира: из Англии, из Швейцарии, даже везут из Америки на пароходах. Ничего не поделаешь. Наиболее respectable православное эмигрантское кладбище. Скоро не останется ни одного свободного участка. Уже начинаем в одной могиле хоронить по два человека, разумеется одной фамилии. Например, в могилу Ивана Алексеевича Бунина — у него в ногах — пришлось недавно закопать Веру Николаевну. Так что теперь наконец они навсегда соединились, лежа под одним крестом.

Он хозяйственно подгреб ногою к сторонке несколько черепков битых вазонов, какие-то засохшие цветы, еще не успевшие полинять траурные ленты, проволочный остов небольшого, по-французски круглого венка...

— Остатки ее похорон,— заметил зритель брезгливо.— До сих пор не удосужились убрать этот мусор. Придется сделать серьезный нагоняй сторожу. Эге,— сказал он, посмотрев тревожно на небо, где над голубыми елочками, над купами цветущих каштанов, из-за которых выглядывали синий купол и белые стены прелестной древнерусской церковки, как-то незаметно сгруппировались темноватые тучи, сильно разбавленные свинцовыми белилами, и вдруг вверх, как бы по пороховому шнуру, побежал летучий огонек, над самой головой блеснуло, сухо затрещало, как подожженная шутиха, и мелкие раскаты сухого апрельского грома посыпались вниз, напоминая грохот небольшого горного обвала.

...Московское время десять часов. В эфире эстрадные мелодии...

Неужели всему конец?

Голубой ливень повис над вьющимися кладбищенскими розами, над желто-красными пальчиками бигноний, над каменным крестом с золотыми именами Бунина и Веры Николаевны, смиренно лежащей у него в ногах, ми-

лой, доброй, старой русской женщины — московской кур-
систки, — на могилу которой я и положил букетик ланд-
дышей, но при этом не мог не вспомнить стихи Ивана
Алексеевича:

«В голых рощах веял холод... Ты светился меж сухих,
мертвых листьев... Я был молод, я слагал свой первый
стих — и навек сроднился с чистой, молодой моей душой
влажно-свежий, водянистый, кисловатый запах твой!»

— А где любимая пепельница Ивана Алексеевича, —
спросил я во время последнего свидания с Верой Нико-
лаевной, — помните, та самая, которая всегда стояла на
лаковом круглом столе, на Княжеской, в доме Буковец-
кого? Сохранилась ли она?

— Вы ее запомнили? — спросила Вера Николаевна, и
робкая черта оживления тронула ее бескровное, белое,
старческое лицо.

— На всю жизнь, — ответил я.

Тогда она, постояв некоторое время на одном месте и
глядя прямо мне в глаза с нежной, глубокой грустью, по-
шла в другую комнату и скоро вернулась, держа в круп-
ных ревматических руках так мучительно знакомую и
дорогую для меня пепельницу.

— Эта? — спросила Вера Николаевна.

Я ничего не ответил, не в силах оторвать глаз от этой
тонкой латунной чашки, пиалы с восточным орнаментом,
которая теперь показалась мне гораздо меньше, чем была
когда-то, как будто бы уменьшилась от старости. Теперь
она не была начищена суконкой и не блестела, как жар,
и внутри сплошь почернела, как та лампада, которую од-
нажды нашел Бунин в горах Сицилии...

Бигнония. Ода Революции. Четырежды благословен-
ная.

«Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней.
До черноты сгори».

Или лучше всего так:

«Играй же, на разрыв аорты, с кошачьей головой во
рту, — три черта было, — ты четвертый: последний, чуд-
ный черт в цвету!»

1964—1967

Переделкино

КУБИК

...Неужели этот мальчик тоже я?..

В один прекрасный день ему стало казаться, что в городе орудует преступная шайка.

Кое-где на стенах появились буквы ОВ. Что они обозначают? Не Оля же, в самом деле, какая-нибудь Васильева и не Осип же, в самом деле, какой-нибудь Вайнштейн! Зачем бы им понадобилось шляться по всему городу, по окраинам, по воровским трущобам, за вокзалом, в приморских переулках, на кладбищах, всюду на заборах царапая свои инициалы?

Нет, нет!..

Что-то опасное и в то же время притягательное было в этих то больших, то маленьких буквах ОВ, какой-то тайный смысл. Они были совсем не то, что, например, общеизвестные черные буквы ПЖ на красной железной табличке в нижнем фойе городского театра возле плоского стеклянного ящика с брезентовым пожарным шлангом с длинным коническим наконечником из ярко начищенной красной меди, снабженным лопаточкой, которая придавала трескучей водяной струе форму широкого пальмового листа.

Она — эта табличка — принадлежала к семейству пожарных орудий, таких, как широкий брезентовый пояс с кольцом, асбестовая несгораемая рубашка, топорик, багор, раздвижная лестница, медная каска, в которой в час

беды, под звон ночного набата, отражался огненный хвост летящего факела.

Буквы ПК обозначали не что иное, как пожарный крап.

ОВ — были нечто совсем, совсем другое.

Преступников следовало обезвредить, упрятав в тюрьму Синг-Синг, главаря посадить на электрический стул, а сокровища забрать себе. Но необходимо действовать крайне осторожно, чтобы не спугнуть голубчиков, распутывать клубок не торопясь, ярд за ярдом, пока все нити не будут в руках, в противном случае негодяи могут убить его отравленным кинжалом негуса в спину или покончить с ним выстрелом из бесшумного духового ружья, а труп выбросить в Темзу.

Он видел даже высокий решетчатый мост и желтую луну в ярко-синем лондонском небе над Темзой, куда падало его бедное тело.

Весь погруженный в эти мысли, стиснув зубы, наморщив лоб и сжав кулаки, с безумными глазами, мальчик дошел до угла и вдруг увидел новую девочку, сразу же удивившую его своим бедным клетчатым платьем.

Вы заметили, что удивление — первый шаг к любви?

Ее выгоревшие, стриженные волосы торчали во все стороны из-под ядовито-зеленой, почти синей гребенки из числа тех круглых кухаркиных гребенок, которые, будучи неряшливо положены на чугунную доску кухонной плиты, вдруг покрываются черными язвами ожогов и, прежде чем вспыхнуть, наполняют всю квартиру клубами удушливого, непрозрачно-белого дыма, нестерпимым, пронзительным запахом горящего целлулоида.

У нее были кошачьи глаза цвета еще не вполне зрелого крыжовника; она была прекрасна, как ни одна девочка в мире; у нее были бедные шерстяные чулки на клетчатых подвязках с металлическими пристежками.

Надувшись от смущения и засунув руки в карманы, причем его животик и короткая нагнувшаяся шея сразу же сделали его чем-то отдаленно похожим на кузнечика,

мальчик повернулся к девочке боком, как бы собираясь в случае чего подраться, и спросил:

— Девочка, хочешь со мной играть?

Она окинула его презрительным взглядом и сказала:

— Мурлб.

Мальчик опешил.

— Сама мурлб,— немного подумав, ответил он и стал еще более похожим на кузнечика, собирающегося прыгнуть.

Но тут наверху отворилась форточка и женский голос позвал:

— Саня, иди заниматься.

И девочка исчезла.

Неужели этот мальчик тоже я? Если и не вполне, то, во всяком случае, отчасти. Не исключено, что это все тот же милый моему сердцу Пчелкин, только совсем маленький, лет восьми.

— А это видела? — спросил в следующий раз он, или я, похлопывая себя по мелкому карману штанов, откуда выглядывал кончик рогатки. — Знаешь, как бьет?

— А как? — спросила она.

— Навылет!

— Смотря через чего,— заметила она.

— Через чего хочешь,— хвастливо сказал мальчик.

— А через доску? — спросила она.

— Через доску не,— честно ответил он.

— А через фанерку? — продолжала допытываться она.

— Через фанерку тоже не,— выдавил из себя мальчик, вдруг потерявший способность врать перед этой девочкой.

— Так через чего же?.. — насмешливо спросила она.

— Через картонку — да. Хочешь, дам стрельнуть?

— Смотря чем.

— Кремушком.

— Тю! Нашел чем! Кремушком даже кицку не добьешь.

— Зато голубя добьешь.

— Голубя грех. Голубь — святой дух,— набожно сказала Санька и перекрестилась. — За голубя бог накажет.

— За белого да,— сказал мальчик.— Белый безусловно святой дух. Его — грех. А дикаря не грех. За дикаря не накажет.

— Все равно. Дикарь тоже святой дух.

— А вот нет!

— А вот да!

— Много ты понимаешь в голубях.

— Во всяком случае, больше твоего.

— Спорим!

— Не хватало! И не стой передо мной, как лунатик. Ты мне уже надоел. Отлипни. Иди, откуда пришел.

— Не твоя улица.

— А вот моя.

— Ты ее не купила. Улица общая. Хочу и стою.

— Ну и стой, если тебе так нравится на меня смотреть. Любуйся. Пожалуйста.

— Саня, иди делать арифметику,— послышался голос из форточки.— А ты, мальчик, ступай отсюда со своей рогаткой и не морочь девочке голову. Иди, иди...

— Ты опять тут? — спросила Санька по прошествии того, что в физике называется временем.

Он притворился, что не слышит, но через несколько земных суток, оказавшись, как по волшебству, на том же самом месте, спросил чужим, как бы безвольно расцепленным голосом:

— Так будешь со мной играть?

— Не буду.

— Почему?

— Потому что не собираюсь.

— А если я тебе подарю свои кремушки?

Она подумала, молчаливо пошевелив губами с небольшой заедой в одном углу рта.

— Смотря какие кремушки.

Мальчик вынул из кармана четыре кремушка и подкинул их на ладони так, что они чокнулись.

— Это не настоящие, а простые: обыкновенные галечки с Ланжерона,— сказала девочка презрительно.— Вот у меня кремушки — так настоящие, ты таких сроду не видел. Они электрические. Их чокнешь — искры летят, как из кресала.

Она из предосторожности и застенчивости поверну-

лась к мальчику худой, твердой спинкой, залезла через квадратный вырез платья за пазуху и достала кукольный чулочек, откуда вытряхнула на ладонь несколько темных от мазута кремушков.

— Обыкновенные железнодорожные, — презрительно сказал мальчик, — таких между шпал валяются миллиарды.

— Зато настоящие кремушки. А у тебя просто галечки. Таких на Ланжероне можешь за одну минуту набрать миллионы миллиардов. Они без электричества. А мои с электричеством.

Мальчик засуетился и стал чокать своими кремушками, но искры не высекались. Электричество не показывалось. Один камешек даже мягко раскололся.

Девочка оскорбительно громко захохотала.

— Можешь спрятаться в будку со своими простыми галечками и даже не думай равнять их с моими железнодорожными, электрическими, со станции Одесса-Сортировочная.

Тогда-то и прилетел воробей, легко сев на забор, утыканный сверху зелеными и голубыми бутылочными осколками.

— Например, в воробья попадешь? — спросила девочка.

— Ого!

Вот этого-то именно и не следовало говорить, да еще так хвастливо. А может быть, именно следовало.

...Как знать, как знать!..

История девочки Саньки и мальчика Пчелкина, которую я собираюсь здесь рассказать, как и все то, что происходит в мире, не имеет начала, а тем более конца, так что примем за точку отсчета тот характерный звук, который раздался на одной из четырех тенистых улиц дачной местности «Отрада» в начале этого века.

«Для меня главное — это найти звук, — однажды сказал Учитель, — как только я его нашел — все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы,

не соглашаясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание — литературное искусство!»

«Не смею», — имел мужество признаться Учитель. Это надо заметить. Он не смел, а я смею! Но точно ли я смею? Большой вопрос. Скорее — хочу сметь. Вернее всего, я просто притворяюсь, что смею. Делаю вид, что пишу именно то, что мне хочется, и так, как мне хочется. А на самом деле... А на самом-то деле?.. Не уверен, не убежден. Кое-кто, правда, осмеливается писать «так, как ему хочется», не соглашаясь ни с какими литературными приемами. По-видимому, литературный прием, заключающийся в полном отрицании литературного приема, это и есть мовизм.

Кое-кто написал однажды и даже напечатал черным по белому: «С выпученными глазами и облизывающийся — вот я. Некрасиво? Что делать».

Я так не умею, просто не могу. Не смею! По природе я робок, хотя и слышу нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдавил из себя раба. Я даже боюсь начальства. Недавно, уже дожив до седых волос, я испытал ужас, когда на меня вдруг, совсем, впрочем, не грозно, а так, слегка, поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унижительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже «все кончено»... Чувство, что меня только что выгнали из гимназии: сон, который повторяется в моей жизни бесконечное число раз, как зеркало в зеркале — уходящий в вечность ряд уменьшающихся в перспективе зеркал, — в одну и в другую сторону, — в пропасть прошлого и в пропасть будущего и мое опрокинутое, полуобморочное трусливое лицо, вернее — бесконечное число лиц и горящих стеариновых свечей и отчаяние, отчаяние...

Мне стыдно во всем этом признаваться, но что же делать, дорогие мои, что же делать?..

Слово «звук» не вполне точно выражает то, что мне нужно, чтобы «остальное далось само собой», как сказал Учитель. Я думаю, одно дело звук, а другое дело ин-

тонация, музыкальная фраза, мелодия. Учитель, видимо, не отделял одно от другого. Да и надо ли отделять? Ведь и без одного и без другого ничего не делается само собой. Но лично я очень строго разделяю эти понятия: интонация и звук. Ну, интонация, мелодия — это ясно: то самое, внутреннее, а потом и внешнее, заставляющее сжиматься горло и дрожать на губах — «м... м... м... м...» — запевка всей вещи, ее музыкальный ключ, ее тайная речь: никто в эту ночь не спал в доме Болконских. Звук же совсем другое дело. Весьма возможно, что звук — самое не исследованное в мире. В звуке содержится гораздо больше того, что мы улавливаем своим несовершенным слуховым аппаратом. Это всегда какая-то тайная информация, поток сигналов, как бы моделирующих звучащую вещь в мировом пространстве. Волшебный «эффект присутствия».

Не может быть звука вне материи, породившей его, так же как не может быть сознания вне бытия. Звук — это сознание колеблющейся материи.

Заседание — это тоже нечто материальное, обладающее присутствием ему одному звуком, в особенности если заседает Бодлеровский комитет в Намюре, в душной комнате с видом на мост через реку, по которой буксир с усилием тянул баржу, почти до самой палубы погруженную в воду, и я, подобно этому буксиру, погруженный с головой в медленное течение почти ощутимого средневропейского времени, произносил на ужасном французском языке свою речь, свое эссе о Бодлере, и вот уже наконец дотащился до финала, где заключалась мысль, что будто бы каждый великий поэт постоянно умирает и постоянно рождается в поколениях для новой, еще более прекрасной жизни, так непохожей и в то же время так похожей на прежнюю, как звук не похож и вместе с тем до ужаса похож не только на душу композитора, виртуоза, но также на всю материальную структуру инструмента, рождающего эти звуки, будь то дыхательный аппарат, горло певца, его носоглотка, маска, диафрагма или группа духовых, ударных или смычковых инструментов. В прелюдиях Скрябина я всегда, кроме души композитора, ощущаю громоздкое тело концертного инструмента, все материалы,

из которых он построен на фортепьянной фабрике, ощущаю даже самую фабрику с ее высококвалифицированными столярами, обойщиками, политурищиками и хозяином-немцем, поклонником великого Баха, Бетховена или Моцарта, чьи латунные медальоны украшают его изделия. Фортепьянный концерт как бы проецирует — во всех четырех или даже пяти измерениях — вещественное содержание инструмента, не только его неповторимую конструктивную форму с черным лакированным крылом поднятой объемной крышки, в которой снизу отражается внутренность инструмента, как бы модель целого среднеазиатского города с глухими дувалами, но без крыш, пересеченного натянутыми струнами внутренних коммуникаций, может быть, даже некоего железнодорожного узла, — не только его силуэт, напоминающий выкройку фрака, но также и его вес, его замшелые молоточки, сорта дерева, доску резонатора из бледного бронзового сплава, даже литые стеклянные розетки, подложенные под медные колесики его могучих бильярдных ног. Мощный удар по клавишам, аккорд, является в одно и то же время и смертью звука, и рождением его для новой, уже не материальной, но духовной жизни, — наверное, даже вечной, так как она уже таинственным образом навсегда остается в сознании человечества и, таким образом, начнет отсчет своего бессмертия, в то время как на маленькой старомодной бельгийской станции резервисты прыгали на ходу в отходящий воинский эшелон, и почти никто из них потом не вернулся живым...

Звук, раздавшийся *тогда*, состоял из множества других, сопутствующих ему звуковых колебаний, которые все время создавали стройную картину небольшого уличного скандала.

Галечка вылетела из рогатки, с шумом выдирая из акации божественно-перистые желто-зеленые веточки; в тот же миг старая, никуда не годная резинка порвалась именно в том месте, где была прикручена проволочкой от домашнего электрического звонка к одному из концов рогатки, выломанной из куста великолепной персидской сирени на даче местного греческого негоцианта Халайджоглу; кожичка тоже оторвалась с собственным, особым звуком, шлепнув мальчика по глазу; рогатка сухо трес-

пула, раздался мелодичный, хотя и жидковатый звон, и выбитое из рамы уличного фонаря стекло — каким-то чудом пока еще почти совсем целое, — с водянистым звуком поколебавшись в воздухе, на некоторое время как бы повисло в пустоте, а затем легко — планирующими зигзагами, — все еще продолжая оставаться совершенно целым! — упало на тротуар, музыкально распавшись на четыре разноформатных куска; а воробей как ни в чем не бывало продолжал чирикать на заборе, с большим любопытством посматривая сквозь листву акации то на мальчика, то на девочку с таким видом, как будто бы не имел никакого отношения ко всей этой суматохе.

— Киш, паршивый! — закричала девочка, замахав руками на воробья, который продолжал попрыгивать на одном месте, а затем перебрался на другое, поближе, как бы желая лучше рассмотреть свежий синячок под глазом у мальчика, не понимая, что мальчик хотел его убить.

Синяк, похожий на цветок анютины глазки. Ну — непохожий! Не все ли равно?

— Бежи! — крикнула девочка, но теперь в ее голосе слышался ужас.

Увы, было уже поздно: перед мальчиком, заслоняя собою всю природу, стоял довольно известный в этих краях дворник Василий. Он подобрал с тротуара четыре осколка, завернул их в фартук, покосился на фонарь, в котором стояла керосиновая лампа с жестяным резервуаром и медной горелкой, из прорези которой высовывался почерневший язык фитиля, — и, широко, медленно шагая, блестя своей нагрудной бляхой, повел мальчика за ухо по мостовой, как арестованного. Рука дворника держала ухо мальчика таким образом, что оно сложилось вдвое, как блинчик.

— Дяденька, — рыдая, произносил мальчик общеизвестные слова, которые еще никогда никому не помогли, — я больше никогда не буду, отпустите, умоляю вас.

— Бежи, дурень, — сказала девочка, в отчаянии ломая руки. — Чего ж ты не бежишь?

— Когда он не пускает, — продолжая рыдать, ответил мальчик.

— Тогда кусай его за руку! Кусай!

— Не достаю,— успел ответить мальчик и тут же был введен во двор, где уже в полном составе стояли родственники и прислуга, на чем я и закончу описание этой ужасной, молчаливой картины, будучи не в силах изобразить дальнейшее: уплату сорока копеек серебром, сожжение в плите остатков рогатки, наложение на ухо тряпочки со свинцовой примочкой и прочее.

— Видала ухо? — спросил мальчик, остановившись перед девочкой, которая, стоя на одной ноге, как цапля, подбрасывала на ладони электрические кремешки.— Теперь уже, слава богу, как слива, а было как вареник с вишнями.

— Дай потрогать.— И девочка протянула светящиеся на солнце розовые пальчики к уху мальчика.

— Не лапай, не купишь,— сварливо буркнул мальчик скорее по привычке.

Девочка отдернула руку и вспыхнула.

— Тогда скатертью дорожка,— сказала она, повернувшись спиной.

— Ладно тебе, ладно. Если хочешь, потрогай. Мне не жалко.

— Не нуждаюсь.

— Почему?

— Потому, что *тб* ты не хотел, а *тб* теперь я не хочу,— сухо сказала девочка, не оборачиваясь,— можешь уходить, откуда явился.

— Пожалеешь, да поздно будет,— горько сказал мальчик.

— А что? — встревожилась девочка, услышав в этих словах тайное обещание, и глаза ее загорелись любопытством.— А что?

— Ничего. Одна тайна,— загадочно усмехнулся мальчик.

— Какая? — еще больше встревожилась девочка.— Скажи!

— А будешь со мной играть?

— Смотря какая тайна.

— Преступная шайка,— прошептал он, раздув ноздри и приблизив свое лицо к ее лицу.— Я их выслеживаю. Уже все нити у меня в руках. Две буквы.

— Какие?

— О и В.

— Ну и что? — равнодушно сказала девочка.

— А то, что это таинственные знаки. Поняла теперь?

— Да? — спросила девочка с непонятной интонацией иронии и превосходства.

Ее лицо было так близко, что мальчик не только видел созревший ячмень на рубиновом веке Санькиного глаза с желтой точкой, как зернышко проса, но также чувствовал жар, исходивший от ее пылающих щек, и луковый запах бедного платья из шотландки, обшитого бордовой тесьмой.

С глазами, сияющими торжеством, она ухватила его за рукав, молча повела через их двор, и они спустились в подвал и на ощупь пошли в крошечной тьме, полной опасностей,— по земляному коридору, где справа и слева нащупывались дощатые двери дровяных сарайчиков с висящими замками на задвижках, которые, будучи задеты локтем, издавали тяжелые звуки постукивания по неструганым сухим доскам, давая представление о поленицах дубовых дров с их сухо-кисловатым запахом и серебряными лишаями мха, о пустых бутылках и о разной домашней рухляди.

— Не бойся,— шепнула Санька, задевая Пчелкина плечиком, и вдруг отошла в сторону, как бы сразу растворилась в подземной тьме.

Мальчику стало страшно, но сейчас же он услышал успокоительные звуки: девочка рядом с ним рылась в куче хлама, наполнявшего воздух невидимой душной пылью, той особенной пылью, которая свойственна лишь подвалам и чердакам. Раздалось позвякивание чего-то медного и шуршание спичечной коробочки, так что в воображении мальчика встала вся картина, скрытая мраком, прежде чем она явилась воочию перед его глазами при лазурно-багровом сжатом пламени огарка, постепенно и таинственно осветившего во всех подробностях старый каретный фонарь с зеркальным рефлектором и толстыми бемскими стеклами, facets которых, как бы сквозь слезы счастья, отбрасывали на ракушниковые стены короткие радуги, бессильные полностью преодолеть мрак подвала. Девочка подняла над головой фонарь, и мальчик увидел, что ее глаза при этом блеснули торжеством. Радужный световой круг полез по стене, остановился; в середине этого многослойного хрустального круга мальчик увидел буквы ОВ. На этот раз знакомые буквы были огромны, как будто бы их наца-

рапали малограмотные великаны. Один нацарапал кривое О, другой — косое В.

Наверное, эти буквы были здесь вырезаны давно, потому что почти совсем сровнялись с поверхностью ракушниковой стены, покрытой многолетним слоем бархатно-черной пыли самоварного угля, некогда хранившегося здесь в туго набитых, звенящих джутовых мешках с сетчатым верхом, сквозь который виднелись крупные куски. Если бы не селитренные кристаллики, выступившие по контуру букв, то их можно было бы совсем не заметить, но при свете фонаря они морозно мерцали — пугающе грозные, — вызывая в воображении груды сокровищ, добытых путем кровавых преступлений неуловимой шайкой...

— Видал буквы? — спросила она.

— Еще раньше тебя, — ответил он.

— А вот я раньше.

— А я еще в прошлом году.

— А я еще в позапрошлом.

— А я еще в поза-поза-поза-позапрошлом.

— Все равно мои буквы.

— А вот мои.

— А вот я сейчас задую фонарь, тогда посмотрим. —

Она проворно открыла стеклянную дверцу и задула свечу. — Боишься? — раздался ее шепот в темноте.

— Не боюсь, — сумрачно пробормотал мальчик и соврал, потому что на самом деле было так страшно, что сердце дрожало, как овечий хвост. — Только ты не уходи, — жалобно попросил он.

Она затаилась и молчала.

— Где ты там? — позвал он.

Она молчала. Не слышалось даже ее дыхания. Он сделал несколько плавательных движений руками, как бы желая разогнать темноту, но от этого она стала еще непрогляднее.

— Где ты там, Санька?

Теперь ему показалось, что ее уже вовсе нет в сарае, — наверное, незаметно выбралась наверх, во двор, где в небе горело солнце, а его оставила одного на съедение крысам. Он ужаснулся.

— Ну, Санька же... Не будь вредной... — взмолился он и жалобно заныл.

Молчание, молчание, глухая тишина.

Было слышно, как по стенам бегут сверху вниз маленькие ручейки подземной пыли и что-то потрескивает — может быть, медленно нарастают на таинственных буквах селитренные кристаллики. Он затаил дыхание и вдруг услышал недалеко от себя звуки как бы мягко тикающих часиков, но только это тиканье было не механическое, а живое, теплое и каким-то необъяснимым, волшебным образом давало представление о маленьких ребрах, грудобрюшной преграде, спертom дыхании и нежном шелесте кровообращения. Он протянул руку и пальцами коснулся теплой материи ее платья.

— Это ты? — спросил он.

Она молчала и, видимо, отодвинулась, потому что пальцы Пчелкина перестали ощущать материю и теперь блуждали в темноте.

У него уже успело составиться кое-какое представление о девочках: белые башмачки на пуговицах, английские локоны по сторонам личика, холодное шелковое платье с воланами на разгоряченном теле. Нарядная, с густыми ресницами, опущенными на фарфоровые щечки. Прямая, как струнка, идет прямо на него, покачивая белым атласным бантом. Не доходя двух шагов, останавливается и делает то, что у них называется «реверанс»: одну ножку заводит назад, другую выставляет голым коленом вперед и слегка приседает, как послушная цирковая лошадка.

— Мальчик, хотите со мной играть?

— С девочками не играю.

— Извините.

И уже через минуту — обольстительная и навсегда потерянная — бежит как ни в чем не бывало вокруг громадного газона вместе с другим мальчиком, — даже, может быть, с кадетиком в красных погонах, с рубашкой, вздувшейся на спине пузырем! — высоко подбрасывая в небо и ловя на косо натянутую между двумя палочками нить ту новомодную игрушку, странную штучку, как бы составленную из двух черных резиновых конусов — посик к носу — наподобие песочных часов, под названием «дьябло». А то и ловит деревянный шарик на шнурке в лакированную чашечку на ручке — так называемое «бильбоке», маленькая бессердечная кокетка, холодная, скользкая, как ее шелковое платье, жестокая и, наверное, дура душой.

Подобное представление о девочках было ничуть не лучше представления девочек о мальчиках: идет мимо, засунув немытые руки в мелкие карманы, плюется через выпавший зуб, заплетает ногу за ногу, делает вид, что ни на кого не обращает внимания, а сам небось норовит зацепить локтем или дернуть за локон.

Может быть, он и был именно таким мальчиком, да она была совсем другая девочка. Ему еще никогда не попадались такие девочки.

— Боишься? — послышалось возле самого его уха.

— Боюсь,— сказал он.

— Ага, трусишка, сознался!

Послышались знакомые звуки фонаря и спичек, появилось лазурно-желтое сжатое пламя огарка, и на стене из тьмы медлительно выступил алмазный вензель.

— А буквы чьи: мои или не мои? — спросила она.

— Твои,— согласился мальчик.

— Так-то лучше. Теперь я буду твоя повелительница.

— Хорошо,— покорно сказал Пчелкин.— Будь.

Они уселись рядом на крупную модель черноморского военного корабля времен Севастопольской кампании — фрегата без мачт и такелажа величиной с маленькую настоящую шлюпку, который лежал на боку, весь в пыли, среди прочего хлама, рядом с медной яхт-клубской сигнальной пушечкой на деревянном ступенчатом лафете, и Пчелкин сейчас же представил себе, как фрегат под всеми парусами огибает маяк на выходе из военной гавани, а из пушечки вылетает маленькое белое облако и звук выстрела сначала катится по синей воде, а потом прыгает по амфитеатру портовой части города и стучит, как резиновый мячик, в каждое окно, неся с собой эффект присутствия великолепной картины выхода в открытое море стопушечного фрегата.

— Тут все мое. И фрегат мой. И пушечка моя. Мой дедушка был боцман, севастопольский герой, его даром пускали в городской театр. А ты просто мурло.

Мальчик был очарован. Неприятный же вопрос о том, кто первый открыл таинственные буквы, решил сам собой: они открыли оба и теперь вместе будут распутывать клубок и следовать за нитью до тех пор, пока не откроют тайну и не завладеют сокровищами.

И тогда...

А что, собственно, будет тогда? Ну что? Что?

— У нас будет мешок денег,— сказал мальчик.

Она засмеялась.

— Чудило. Не мешок, а сто мешков.

— Тысяча тысяч мешков,— поправил он.

— И тогда мы себе купим все на свете.

Кто из нас не говорил так? Или, во всяком случае, не думал. В один роковой миг в детскую душу вселяется жажда обогащения. Является разрушительная идея денег. Вы заметили, что дети часто говорят о деньгах? Они их копят, собирают, ищут на тротуарах. Они вдруг начинают понимать, что за деньги можно приобрести почти все на свете.

Но почему, собственно, кубик? Потому что — шесть сторон в трех измерениях пространства и времени. А может быть, просто имя собачки. А верней всего, просто так. Захотелось. Что может быть лучше свободной воли!

Многие мои детские мечты из-за отсутствия денег так и остались навсегда мечтами, терзая душу своей несбыточностью. С деньгами связано все самое возвышенное и все самое низменное. Звук разбитого стекла уже содержал в себе, кроме всего прочего, страшное требование уплатить сорок копеек, и крупные осколки падали на тротуар со скрежещущим звуком «соррок-соррок-соррок»... Что может быть желаннее иметь рогатку с хорошей, новой резинкой квадратного сечения? Но резинка стоила денег. Прежде чем получить в руки пол-аршина черной резинки квадратного сечения, надо было положить на прилавок аптеки двадцать копеек... Двадцать! Почти недоступная для меня сумма! Где ее взять? Ах, да о чем речь! Все, все в этом мире стоит денег.

Чижик... Ну да, простой чижик. Птичка, которая летает со своей стаей среди кустов сухого репейника, мелькая мутно-серо-зелеными крылышками; она ничего не стоит до тех пор, пока ее не накроют сеткой, и в тот же миг чижик уже не бесплатный, он уже стоит три копейки. Даже четыре. В этом есть какое-то наваждение, колдов-

ство. Превращение бесплатной, свободной птицы в товар, имеющий рыночную стоимость, в детские годы мучительно терзало мое воображение, мой слабый, невинный ум, еще незнакомый со знаменитой формулой Маркса насчет сюртука и холста.

Время давно скосило мой детский каблук, ботинок покривился, но я до сих пор мучительно переживаю угнетающую мысль, что набойки стоят пять копеек, а то и весь гривенник — круглый, серебряный, с рубчатым краем, с орлом и решкой, с тонким, почти волосяным звоном, когда он бегаёт, как по треку, по мраморному кружку кассирши и вдруг падает плашмя, придавленный проворным пальцем с новеньким обручальным кольцом.

Я мог бы рассказать сотню историй, где деньги были причиной детских преступлений, не говоря уже о невинных похищениях сдачи, оставленной на буфете, о продаже старьевщику за три копейки еще вполне годных сандалий «скороход»... Всегда нужны были деньги, без которых невозможно было осуществить мечту, пусть самую скромную. Даже пустить обыкновенный монгольфьер из папиросной бумаги стоило денег. Всего два листа папиросной бумаги, немного тонкой проволоки для каркаса, клей, кусочек гигроскопической ваты, несколько золотников спирта, спички... Казалось бы, какие пустяки! Но все это надо было купить.

Чудо полета не могло произойти бесплатно. Неужели и Христос в своем кубовом хитоне ходил бесплатно по водам Тивериадского озера?

В конце концов не так уж дорого: четыре копейки два листа тончайшей папиросной бумаги, пять копеек гуммиарабик, шесть копеек кисточка. Вата — даром — в ящике у тети. Две унции спирта — десять копеек. Проволока — даром — в сарае, где целыми связками лежат разноцветные стеклянные фонарики для царских дней. Спички — даром — из кухни с плиты. Всего копеек не больше тридцати. Тридцати!.. Громадная сумма. Где ее взять? Пришлось прибегнуть к унижительным просьбам, к мелкой краже

сдачи с буфета, наконец, к экономии на церковных свечах и просфорках. Для того чтобы могло совершиться чудо полета, пришлось ограбить бога, в которого я еще тогда так свято, так горячо верил всей своей душой. Тем ужаснее была экономия на священных предметах. Подлинное святотатство, связанное с ложью.

— Ты поставил свечку?

— Поставил.

— А купил просфору?

— Купил...

— А ты положил что-нибудь на тарелку?

— Положил.

— Сколько?

— Эти... три копейки.

— А ты не сочиняешь?

— Святой истинный крест...

— Не крестись, не надо. И никогда не призывай имени господина бога всуе.

Если бы бог действительно существовал, то он бы немедленно разразил меня — маленького лжеца и святотатца, бросил бы на меня испепеляющую молнию, вверг бы мою душу в преисподнюю, в геенну огненную.

К счастью, бога не существовало. Он был не более чем незрелая гипотеза первобытного философа-идеалиста.

И вот мальчик и девочка стоят на краю обрыва, поросшего душистой полынью.

У нее в поднятых руках монгольфер, неумело склеенный из драгоценной папиросной бумаги, которая крахмально шуршит при малейшем движении голых, худых рук девочки. Она сжала губы и дышит носом. Но даже эта предосторожность не может остановить опасного колебания папиросной бумаги. Мешок монгольфера, еще не наполненный горячим воздухом, все время никнет, норовит сложиться пополам и свешивается набок. Приходится приподнимать пальчиками его неумело склеенный купол, готовый вот-вот разойтись по швам, и тогда все погибло!

Под монгольфером на проволочке висит тампон гигроскопической ваты, облитой спиртом, источающим лету-

чий наркотический запах, от которого у детей слегка кружится голова.

Осторожно, чуть дыша, с остановившимся сердцем, мальчик поджег спичкой вату. Спирт жаркой невидимкой вспыхнул в опасной близости с папиросной бумагой, которая могла загореться при малейшем дуновении морского ветерка. Так уже случалось несколько раз: дуновенье — и монгольфьер уничтожался сразу, лишь на один миг охваченный голубым, а потом розовым огнем — жаркой плазмой пламени, — и вот уже в траву падал лишь почерневший проволочный обруч и продолжающий гореть синезелтым огнем кусочек ваты...

И огонь бежал по сухой летней траве приморских холмов, и горячо, до головокружения, пахло горящим спиртом...

Сколько невозвратно погибших усилий!

С неистощимым упорством они снова воздвигали это легкое, почти невесомое здание полета. Теперь они не топились. Они выбрали самое тихое время за несколько минут до начала вечернего бриза, когда небо, и земля, и море, и круглое нежно-малиновое облако над заливом охвачены мертвым штилем, который Учитель назвал бы Летаргией. Такую полную неподвижность я видел только один раз на сцене городского театра, где среди неподвижно повисших новгородских парусов, мертвых багровых облаков, освещенный со всех сторон неподвижным искусственным светом рампы и софитов, богатый гость Садко в стрелецком кафтане и с подстриженной бородкой, держа в руках свои звончатые гусли, вслед за тяжелым бочонком червонного золота медленно опускался в театраль-ный трап, в пучину океана, как бы скованного переливчатой музыкой Римского-Корсакова, протянув между нарисованным небом и картонным морем свои гусельные струны.

Все вокруг было тягостного штилевого цвета, и даже полная луна на еще дневном небе казалась нарисованной мелом. Спирт горел. Жаркий воздух, струясь вверх, наполнял монгольфьер, медленно расправлял складки папи-

росной бумаги. Монгольфьер сперва принял форму папской тиары, затем округлился, и пальцы детей ощутили, что он становится все более и более невесомым. Они стояли, повернувшись друг к другу, образуя поднятыми руками воздушную арку, как в известной игре: «пáси-пáси-пасира́, золотые ворота, ключиком-замочком, шелковым платочком», — и слегка поддерживали самыми кончиками пальцев, чутких, как у слепых, уже совсем невесомый, полупрозрачный белый храм монгольфьера, поднимаемого вверх потоком нагретого воздуха. Миг божественного равновесия — и вот уже монгольфьер поднялся над протянутыми к небу руками и стал уходить в оцепеневшее небо, давая понять о своем движении вверх только тем, что он стал уменьшаться, оставаясь все таким же круглым, — и мальчик и девочка стояли, задрав головы, а он все уменьшался и уменьшался, как бы оставаясь на одном и том же месте — такой же белый, будто нарисованный мелом, как и священная сблатка белой июльской луны, к которой он приближался до тех пор, пока воздушное течение не подхватило его и плавно понесло в открытое море по направлению к Констанце, к Турции, к Босфору, к Стамбулу, — все такой же целый, не трону́тый невидимым, но тем более опасным огнем, который принужден был нести с собой, пока вдруг не накренился, и тогда гангрена огня с молниеносной быстротой съела папиросную бумагу, и монгольфьер превратился в нечто, освободив место в непомерно громадном небе, а проволочный кружок вместе с горящей ваткой упал в открытом море, где кувыркались дельфины, вспарывая кожаными ножами своих плавников синюю воду Понта Эвксинского, быть может, потому именно Эвксинского, что оно имело густой оттенок синьки...

Но все равно, чудо уже совершилось. Оно было как бы преддверием другого чуда — чуда богатства, которое сулили две буквы: О и В. И хотя очень скоро Санька умерла от дифтерита, как это часто бывало с детьми, и ее узкий розовый гроб увез катафалк с серебряным крестом на крыше и со стеклянными — почти каретными! — фонарями по углам на Второе христианское кладбище, где в нетопленной, промерзшей церкви гроб поставили на ужасный помост, покрытый старым черным ужасным сукном, побитым молю, и рыдал хор мальчиков из сиротского при-

юта, наряженных в не по росту длинные кафтаны с дутыми серебряными пуговичками в виде бубенчиков, и синие клубы ладана уже касались белого личика покойницы с печатной молитвой на лбу, а потом на крышку гроба посыпалась земля, — но все равно ничто не изменилось в мире, потому что на месте Савьки явилась другая девочка с голыми полными ногами, в английских локонах, с красным лакированным «бильбоке» в руке, и Пчелкин спросил ее: «Девочка, как тебя зовут?» — а она ответила: «Тебе какое дело?» — и, пожав худенькими плечиками, ушла походкой принцессы, со скрипом затворив за собой калитку, а он дерзко крикнул ей вслед: «Сама мурло!», но в следующий раз они подружились, и он посвятил ее в тайну букв О и В, и они сидели во дворе за домом на досках и строили воздушные замки, охваченные страстной жаждой обогащения, а когда однажды Пчелкина увезли навсегда к бабушке в Екатеринослав, вместо него появился другой мальчик, и новая девочка поведала этому новому мальчику тайну загадочных букв, сулящую им сказочные богатства. Потом на смену новой девочке пришла другая — совсем новая, а на смену новому мальчику, утонувшему против большефонтанского маяка, явился другой — совсем, совсем новый, можно сказать новейший, и эти новейшие мальчик и девочка, как и прежние, продолжали жить мечтой о сокровище, спрятанном где-то рядом... Разные мальчики и разные девочки росли, вырастали, продолжая оставаться все теми же, первыми, единственными мальчиком и девочкой, и они стояли друг против друга возле старого ракушникового забора с бутылочными стеклами наверху, и перед ними поблескивали селитренным блеском давно-давно выцарапанные кем-то буквы О и В.

Эти буквы забывались и вновь всплывали где-нибудь в самом неожиданном месте — то большие, то маленькие, то кривые, то старые, еле заметные, то совсем свежие, как будто их вот только что — сию минуту — вырезали на стене неуловимые преступники, давая тайный знак своим сообщникам.

Не хочу сказать: «Между тем шло время», — потому что время никуда и никогда не идет: ни справа налево, ни слева направо, ни вверх, ни вниз. Оно гнездится где-то во мне самом, делая свои отпечатки в самых тайных клет-

ках моего мозга, вернее же всего — оно просто рабочая гипотеза, абстракция, а я человек земной и верю только в мир материальный, который хотя постоянно изменяется, но всегда остается по самой своей сути единым, и вот однажды в этом материальном мире среди развалин разбомбленного и взорванного города на чудом уцелевшей могиле Канта чья-то недрогнувшая рука написала мелом по-русски:

«Ну что, Кант, теперь ты видишь, что мир материален?»

А мальчик и девочка, так и не открыв тайны ОВ, претерпев тысячи изменений — качественных и количественных, — вдруг в конце концов из бедных русских превратились в богатых пожилых — как это ни странно — французов, хотя, увидев со спардэка туристского теплохода забытый берег своей бывшей родины, очень взволновались, глаза их наполнились слезами — может быть, впрочем, лишь потому, что в их воспоминаниях это море, куда некогда упала черная железка сгоревшего монгольфера, и этот берег были совсем другими: неизмеримо более прекрасными, почти сказочными, полными прелестных подробностей и поразительно прозрачных, почти светящихся красок, на самом же деле все оказалось гораздо беднее и некрасивее: новороссийская степь, которую они видели в своих снах когда-то драгоценного, аметистового цвета, в лучах заходящего солнца, и резко очерченные высокие глиняные обрывы, сотни верст песчаных пляжей и отмелей, просвечивающих сквозь малахитовую воду, воображаемые виноградники, их античные листья с бирюзовыми пятнами купороса, — все это превратилось в низкую полосу черной земли, протянувшейся над невыразительной морской водой, и бедный солнечный закат некрасивого, небогатого, какого-то ветрено-красного, степного цвета под бесцветным небом... И не слишком длинный силуэт города, некогда казавшегося лучшим в мире...

Ну и так далее — как любил говорить председатель земного шара Велемир Хлебников, прочитав начало своей новой поэмы и вдруг потеряв к ней всякий интерес...

Уже давно мир охвачен опасной жаждой обогащения.

Лишь в одном месте на берегу моря они увидели две поздреватые скалы, в подводной части поросшие зеленой бородой тины и водорослей. Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. Яма между ними, наполненная тихой морской водой, казалось, была та самая, в которой некогда девочка Санька училась плавать. Впервые, со сладким ужасом, голая, худая, покачивая раскинутыми руками, вроде канатной плясуньи, девочка опускала сначала одну ногу, потом другую в мелкую воду, коварно реявшую по смоленской крупе перламутрового песка, а дальше начинались колючие камни и дно стремительно понижалось. Свежая морская вода была так прозрачна, что сквозь нее в глубине во всех подробностях виднелась растительность подводного царства. Девочка на цыпочках начала входить в воду; пальчики ее ног то натыкались на колючие камни, обросшие гнездами старых мидий, то скользили в зарослях водорослей, сквозь которые стремительно проносились стаи почти прозрачных мальков, делая резкие повороты и скрываясь из глаз с молниеносной быстротой. У нее захватывало дух от страха каждый раз, когда она начинала ощущать, как уровень воды ползет вверх по ее телу, сначала до шершавых колен, потом до пупка, потом по ребрам до крошечных, совсем кукольных сосков, до горячих подмышек, и она, чтобы не замочить сухих рук, покрывшихся гусиной кожей, старалась держать их выше уровня поднимающейся воды и с удивлением рассматривала нижнюю половину своего тела, голубого и нежного, почти не преломлявшегося сквозь слой прозрачной воды. Все ее косточки были легки, как у птицы. Наконец вода подступила ей к горлу, коснулась ее узкого детского подбородка. Боясь захлебнуться, она плотно закрыла рот и стала дышать носом и в этот же миг почувствовала, что пальчики ее ног больше не касаются дна, а как бы висят среди полупрозрачных серых креветок, мальков и всего этого японского пейзажа подводного царства. Уровень воды перестал подниматься, остановившись примерно на уровне ее рта. Она осторожно вздохнула, испытывая чувство невесомости, как тот монгольфьер, который некогда на миг неподвижно повис над поднятыми к небу руками мальчика и девочки, а потом стал удаляться по направлению к предвечерней июльской луне, как бы нарисованной мелом в летаргическом небе. И теперь снова — уже не она, не ее тело, а лишь ее не имеющая возраста кочующая душа — стояла около каменистой ямы, где впервые в жиз-

ни испытала наслаждение невесомости, вспоминая, как ее уже теперь не существующее детское тело в первый и последний раз в жизни пришло в равновесие со всей вселенной и стало воистину частью мироздания, как любая звезда, как любой красный или белый карлик, как любой атом космической пыли, как альфа-частица, как позитрон, как любой продукт распада, происходящего в миг превращения одного элемента в другой...

А уж потом не то... совсем не то...

Старая богатая дама в темно-зеленых очках заплакала и стала вытирать щеки шелковистой бумажкой «kleenex», которую вынула из сумочки, — она всегда брала с собой во время автомобильной поездки небольшой запасец этой бумаги, которой так удобно было вытирать руки, стирать дорожную пыль со своих нежных щек.

— Я здесь когда-то училась плавать, — сказала она, — здесь учились плавать все наши девочки.

— А меня, — ответил он, — тоже учили плавать где-то здесь, поблизости, в Сухом лимане.

Ведь, в сущности, он и был я. Во всяком случае, мы оба были созданы из одних и тех же элементарных частиц, но только в различных комбинациях.

— Здесь было село Александровка. Но я его что-то не вижу. Ну что ж, поехали дальше? Давайте. Я сидел на корме шаланды в матроске, в соломенной шляпе, в чулках и башмаках, как приличный городской мальчик. «Умеешь плавать?» — спросил студент. «Не умею», — сказал я. Тогда он просто взял меня за шиворот и швырнул, как щенка, в теплую, совершенно пересоленную — так называемую рапную — воду лимана, которой я нахлебался на всю жизнь... Но выплыл... И плыл за лодкой по-собачьи, пуская пузыри и рыдая, пока студент не втащил меня в лодку, причем я ободрал не только свою матроску, но и кожу на груди. Зато без хлопот научился в десять минут плавать. До сих пор у меня в горле эта едкая, целебная соль Сухого лимана.

Они поехали посмотреть это место, но вместо него нашли громадный новый грузовой порт — скопление железных кранов, которые в беллетристике обычно сравнивают с клетчатými жирафами, стальными страусами и тому подобным, что хотя и довольно похоже, но лично на

меня уже не производит никакого впечатления, как давно отчеканенная и уже сильно потертая разменная монета. Пусть ею расплачиваются другие. В крайнем случае, если уж вам так хочется: морды морских коньков.

Интуристы велели поворачивать и поехали обратно в город мимо кукурузных полей, новостроек и каких-то космических ракетных установок, скрытых в пыльной зелени акаций. Уже потянулись пригороды, как вдруг в глаза бывшего мальчика и бывшей девочки бросились знакомые, но давно уже забытые буквы О и В, совсем новые, только что вырезанные на ракушниковых камнях какого-то глухого забора с битым стеклом наверху.

Ошеломленные Мосье и Мадам схватились за руки, как дети.

— Ты видишь? Ты видишь?..

Самое поразительное заключалось в том, что под свежыцарапанными буквами в небольшой траншее сидели какие-то люди. Не могло быть сомнения, что именно они только что и надарапали эти буквы.

— Подождите! Остановитесь! — взволнованно крикнул Мосье Бывший Мальчик водителю.

Они вышли из машины и по вскопанной земле неумело пошли к траншее.

(В сущности, им уже не нужны были никакие сокровища; они и так были сказочно богаты; но старая мечта вдруг с новой силой встала перед ними, ошьявила, привела в смятение, словно обварила их души кипятком.)

Что же они увидели?

Глубоко в траншее сидели двое: чумазые юноша и девушка, оба в старых рабочих спецовках с новенькими значками какого-то фестиваля; вокруг них валялись черные слесарные инструменты и на разостланной газете «Черноморская коммуна» стояла бутылка кефира — ярко-белого, как в первый день творения, с еще более яркой зеленой крышечкой, на которой был оттиснут день его появления на свет: *вторник* — и, разумеется, два бублика. Неожиданно увидев людей, стоящих во весь рост над

их ямой, они в замешательстве отпрянули друг от друга — небось целовались! — и залились темным румянцем.

— Простите, мы вам, кажется, помешали завтракать, — на хорошем русском языке вежливо сказал Бывший Мальчик. — Приятного аппетита.

— Милости просим, седайте с нами, — бойко сказала девушка, поправляя косыночку.

— Мерси, мы уже завтракали, — сказала Мадам Бывшая Девочка. — Не можете ли вы нам сказать, кто написал эти буквы ОВ?

— Ну мы, а что? — спросил парень и бдитительно насутился.

— Что же это обозначает?

— То и обозначает. А вы кто такие?

— Интуристы.

— Из какой, я извиняюсь, страны?

— Из Франции.

— Ну, из Франции — это еще ничего. Интересуетесь, что обозначают эти буквы ОВ? Пожалуйста. Могу сказать, в этом нет никакой тайны: одесский водопровод. Каждый раз делаем эти отметки О и В, чтобы всегда было известно, где проложены трубы, чтобы даром не ковырялись другие чудаки.

Бывшие Мальчик и Девочка посмотрели друг на друга и невесело рассмеялись.

— Как просто! — воскликнула она.

Штучка посильнее «Фауста» Гёте...

Они взялись за руки и некоторое время стояли перед ракушниковой стеной своего детства, с крупными буквами, которые вдруг потеряли для них всякий интерес, как, впрочем, и все в мире, лишённое тайны, однако же они — эти некогда великолепные буквы — остальную жизнь продолжали преследовать их, время от времени вдруг возникая в воображении, иногда без всякой видимой причины, как, например, однажды совершенно неожиданно Мосье Бывший Мальчик увидел их внутренним взором как бы рядом с собою, когда он поднимался по старой винтовой парижской лестнице, сначала по ковровой дорожке, кое-где протертой до основы, а потом уже без дорожки, прямо по деревянным, музыкально поскрипывающим ступеням

и — в соответствии с жанром психологической новеллы — «ловил себя на мысли» и так далее, в то время когда он никогда ни на чем себя не ловил, а просто привычно морщился от сладкого химического запаха дезодорантов, незаметно расставленных кое-где на лестнице, чтобы хоть немного отбить застоявшиеся кухонные и другие, еще более неприятные запахи, вызывавшие в человеке непривычным легкую тошноту; однако дезодораторы не только не устраняли вонь, но усугубляли ее, доводили до непереносимой приторной мерзости, подобно тому как нечистоплотная красавица не может смягчить запах своего тела, натираясь под мышками герленовскими духами, абстрактной смесью амбры, мускуса и болгарского розового масла. Скверный запах на лестнице Мосье переносил стойко, как должное, твердо зная, что есть люди очень богатые, менее богатые и просто бедные, которые живут, как им и полагается, в бедных кварталах, где по железным эстакадам каждую минуту со страшным шумом проносятся поезда метро, а под эстакадами всегда царит сырой сумрак и бетонные стены воняют мочой и на мокрой черной земле попадают окаменевшие собачьи экскременты, почему-то чаще всего принадлежащие таксам, — такие же длинные, узкие, напоминающие бледные стручки перезрелой фасоли.

Тайные свидания. Рассказ в духе Мопассана.

Она открывала ему опрятную лакированную дверь, не дожидаясь звонка, пропускала в свою комнату и через полчаса уже провожала его по коридору обратно до дверей, придерживая голой рукой на горле пестрый халатик, а он небрежно, хотя и не без удовольствия, целовал ей что попало — полный локоть, щеку или шею за ухом — и говорил ей: «А бьентó, шери», — на что она неизменно отвечала ему: «А бьентó, мосье мон ами», — не решаясь назвать его просто «мон ами» или еще проще — «шери», на что, по парижским неписаным законам, имела полное право, разумеется, наедине.

Обычно в таких случаях принято оставлять что-нибудь на камине, но он изменил этому правилу, деликатно кладя одну или несколько очень крупных ассигнаций на письменный столик, где иногда находил наспех брошенные школьные учебники дочери своей любовницы, которая

всегда была или в школе, или на это время уходила к подруге, и когда он подсовывал деньги или узкий голубой чек под учебник алгебры или под изящный светящийся внутри электрический глобус, его подруга — назовем ее Николь — довольно холодно благодарила его коротким: «Вы очень любезны». Она была довольно привлекательна, имела ровный, покладистый характер и никогда не обременяла его никакими просьбами, а тем более требованиями, видимо довольствуясь тем, что он ей давал, и не делала ни малейших попыток узнать, кто он такой, хотя и подозревала — по разным мелочам его туалета, — что он богат, даже, может быть, очень. Она знала свое место и никогда не пыталась перешагнуть черту, которая их разделяла. Самое же главное — она была добрая женщина и не старалась казаться тем, чем она не была. Догадавшись, что у нее есть дочь-школьница, он спросил: «Но где же ваш муж, Николь?» — «Его нет», — ответила она коротко, и он больше не стал ее ни о чем расспрашивать, главным образом потому, что ему это было совершенно безразлично. В начале их связи, которую он, в сущности, даже и не считал связью, он сказал ей:

— Вы не должны на меня сердиться, Николь, как-никак я уже старик.

Не опуская ресниц, она сказала:

— Каждому столько лет, сколько он сам себе дает. Вы, мосье, совсем не кажетесь мне старым.

— Мерси, — ответил он на ее любезность.

Как это ни странно, Мопассан до сих пор не вполне признан во Франции.

Зачем она ему была нужна? Просто он давно уже привык иметь кого-нибудь на стороне. Для него не представляло никакого труда взять себе любую красавицу из тех, которые самой природой были созданы для богатых стариков его круга. Они попадались на его пути всюду. Но по всем своим привычкам он был человек умеренных вкусов. Все его тайные подруги были женщины простые, незаметные. Одна сменяла другую, а эту он получил от своей прежней любовницы, которой посчастливилось найти себе мужа. Николь была всегда к его услугам, стоило только ему заблаговременно позвонить по телефону. Ва-

риант отельчиков и студий она отвергла, не желая себя компрометировать, и ему это понравилось. Понравилось ему также и то, что она не сидела дома сложа руки, а работала, так что дни и часы свиданий приходилось сообразовывать с ее рабочим днем. Однажды, через несколько лет, она объявила ему, что завтра будет занята, так как ее дочь выходит замуж, и прибавила, как бы для того, чтобы предупредить его подозрения, что венчание состоится в церкви Сент-Огюстен на бульваре Мальзерб.

— Вот как! — воскликнул он. — Это очень шикарно!

— Да, ее берут в хорошую семью, — ответила она без скромной гордости.

Ее можно было понять: одна, без мужа, она все-таки сумела дать дочке образование, поставить на ноги и удачно выдать замуж.

...Многие, особенно во Франции, считают Мопассана «мове». Может быть, именно поэтому я его так люблю: мовист! Кстати: рассуждая о женщинах, старик Карамзов тонко заметил: «Не презирайте мовешек», или: «Не пренебрегайте мовешками» — что-то в этом роде, уже не помню...

Ему захотелось посмотреть на эту свадьбу (а может быть, проверить свою любовницу), и он поставил свою машину на стоянке возле церкви, а сам вмешался в толпу любопытных перед церковной оградой. Судя по тому, что несколько дам в толпе были в настоящих норковых шубках, свадьба была богатая. Он едва не опоздал. Таинство только что кончилось. Гости выходили из церковных дверей. Три маленькие девочки с распущенными волосами, в гранатовых бархатных платьях испанских принцесс с длинными тяжелыми шлейфами, не без труда преодолевали каждую ступеньку, спускались по лестнице. Самая маленькая, совсем крошечная, с трудом приподнимала ручками грузную материю, для того чтобы освободить ножки в белых лайковых башмаках, но окончательно запуталась в шлейфе и уже готова была зареветь и сесть на ступеньки, с отчаянием протягивая ручки в длинных белоснежных перчатках к пожилой нарядной даме, которая поправила ей подол и под общий смех свела за ручки маленькую ип-

фанту вниз по лестнице, в то время как из обитых сукном церковных дверей, из холодного мрака, в глубине которого пылали золотые костры свечей, на ослепительно яркий парижский полдень вышли присутствующие при таинстве, среди которых Мосье не без труда узнал немного смущенную Николь; она была в шляпке, белых перчатках, старалась держаться на втором плане, очевидно стесняясь, что попала в такое избранное общество, в то время как отец жениха, красивый старик в визитке, с красной розеткой Легиона и цветной ниточкой Сопротивления в петлице, в полосатых брюках и серых гетрах — точно такой, как в начале века в иллюстрированных журналах было принято изображать дипломатов, — все время старался оказывать своей новой родственнице, матери жены его сына, знаки внимания, как бы подчеркивая, что хоть она и женщина другого общества, всего лишь скромная лаборантка, без мужа, но что же делать? — что же делать! — с этим приходится мириться, тем более что она держится превосходно, скромно, ненавязчиво и, надо надеяться, не будет злоупотреблять своим новым положением, жаль только, что отсутствует ее муж, отец невесты — а теперь уже и жены, — потому что два отца, одинаково одетые в визитки, и две матери, примерно в одинаковых шляпках, всегда придают свадебной процессии известную респектабельность, семейную законченность, особенно когда так удачно одеты маленькие сестренки и кузины жениха в своих длинных бархатных платьях, с распущенными волосами — настоящие испанские принцессы, — озаренные этим сверкающим парижским полуднем, когда немного туманный горячий воздух пронизан по всем направлениям зеркальными стрелами проезжающих машин и то и дело — от парка «Монсо» до «Мадлен» — слышится острый визг тормозов, — и он деликатно поддерживал Николь под локоть рукою в замшевой перчатке из самого лучшего перчаточного магазина на авеню Оперá. И вот наконец в открытых дверях церкви, где в черной глубине дрожали огни свечей, появились жених и невеста, оба молодые, строгие, он в очках и белом галстуке, она в коротком платье, в нарядной белоснежной фате — тоже чересчур короткой, — даже как будто немного легкомысленной, но необыкновенно идущей к ее русой, небрежно подстриженной под мальчика голове — на вид жесткой, а на самом деле, если потрогать, мягкой, как шелк; она держала в руках белые, еще не вполне распустившиеся розы от Баумана, и ее круглое

серо-зеленоглазое лицо с густыми мальчишескими ресницами казалось типичным лицом хорошенькой прилежной сорбоннской студентки из числа тех, которые всегда пишут какую-нибудь диссертацию и временами проводят вечерок в Куполе, где в веселой компании едят шестифранковый луковый суп в маленьком заочечном горшочке и пьют красное «ординер» в очень умеренном количестве, всего два-три глотка за весь вечер.

Пока свадебная процессия рассаживалась за оградой по своим автомобилям, а зеваки снаружи делали, как водится, различные замечания и обменивались мыслями по поводу свадьбы, он потерял из поля зрения Николь и думал о ее дочери, удивляясь, как долго уже тянутся эти тайные свидания с ее матерью и вообще как быстро летит время. И представлял себе, как молодые муж и жена поедут в свадебное путешествие по-студенчески: по каким-нибудь общеизвестным туристическим маршрутам, как они будут спать в больших отелях и в семь часов утра съедят свой среднеевропейский маленький завтрак — пти дежёне — в постели, пачкая тончайшие линобатистовые, скользкие наволочки абрикосовым джемом, и как они будут подниматься пешком на какую-нибудь лесистую гору, осматривать замок, равнодушно трогать руками средневековую мебель и ходить рядом, прижавшись друг к другу; как он будет забрасывать себе на шею, как коромысло, ее крепкую, покрытую золотистым загаром руку, а она будет обнимать его за талию, и они будут целоваться — он бородатый, в очках, нагруженный фотоаппаратами и транзисторами, в ярко-красном свитере коль-руле, а она в хорошо сшитой, складненькой мини-жюп, — однако целоваться не так уж часто и не так уж откровенно, как все эти разбогатевшие неженатые западные немцы, которых расплодилось великое множество, как будто бы их совсем и не побили, а наоборот — они всех отлупили и победили и теперь пользуются плодами своей победы. И они — он и она — через несколько дней поедут в тесном туристском автобусе по каменистой дороге вдоль болтливой болгарской речки, которая, пробиваясь сквозь горные хребты, стремительно с шумом бежит в Эгейское море, и над ними низко пролетит громадный долговязый аист, свесив свои зубчатые крылья и длинные ноги. А быть может, уже в другой стране, в Молдавии, их повезут на экскурсию, где они увидят в холодных монастырских катакомбах среди груды других черепов череп легендарной Калипсо, гречанки легкого по-

ведения, с которой целовался Байрон и которой, как говорят, великий русский поэт посвятил стихотворение «Черная шаль», — череп, который теперь, в отличие от других черепов, лежит на особом аналое посреди ледяного погребца и его можно взять в руку, как шкатулку или, вернее, как пустой панцирь черепахи, на котором какой-то ученый румынский монах вырезал мемориальную надпись, и они — он и она, — лежа вечером в постели, будут представлять себе, какой была из себя эта обольстительная гречанка — черноглазая, страстная, с горячим дыханием, — и как она после ряда приключений и светских скандалов в русском аристократическом обществе Кишинева наконец уединилась, выдав себя за юношу, в Румынии, в Нямецкой обители, а потом умерла и только тогда, при омовении тела, обнаружилось, что молодой послушник — женщина...

Мосье старался представить их во всех тех местах, которые он сам уже посетил отчасти как любитель путешествовать, отчасти по коммерческим делам, которые у него случались почти во всех частях земного шара, а в последнее время также в социалистических странах.

Одно время у него появились крупные интересы в Румынии, и он соединил приятное с полезным.

Если бы он был великим живописцем, то, несомненно, написал бы большое полотно в духе флорентийских фресок Мазаччо или Пьетро Перуджино, а может быть, даже самого Эль Греко. И назвал бы его «Крещение младенцев в Констанце»; в той самой Констанце, до которой так и не долетел детский монгольфьер, сгорев в июльском предвечернем небе незадолго до первой мировой войны по дороге в Истрию, в Трою, в Элладу, в Афины, над которыми вечно царит мраморный ковчег Парфенона, терзая человеческую душу своей неслыханной красотой.

Их было четверо, этих румынских младенцев: три мальчика и одна девочка. Они были крепко завернуты в белые парадные одеяльца и лежали на руках у своих

крестных матерей, напоминая голубцы или даже плацнды с творогом. Рядом с крестными матерями стояли крестные отцы, напоминая стражей, держа в руках вместо поднятых мечей удивительно большие палки крестильных свечей, украшенных атласными бантами и букетиками живых цветов. Об этих крестильных свечах следует сказать особо. Они были сделаны — скорее скатаны, чем отлиты — из неестественно белого воска, более напоминающего путряное сало, чем продукт, вырабатываемый трудолюбивыми добруджскими пчелами, которых здесь — кстати сказать — возят на грузовиках и расставляют ульи возле поля, где начало что-нибудь цвести, а по окончании цветения увозят в другое место, так что пчелам не приходится далеко летать, и они работают со всеми удобствами, имея возможность тратить свою энергию, не только добываясь количества, но также и качества.

Необожженные льняные фитили этих свечей были сильно выпущены в виде неразрезанной петли, как того, может быть, требовал церковный ритуал.

Окруженные родственниками, просто зеваками, а также иностранными туристами, все эти люди толпились посередине церкви, составляя живописную группу, в которой преобладали парадные цвета упомянутых белых детских одеялец, белых свечей, до синевы белых мужских нейлоновых сорочек, а также смуглые лица крестных матерей, их маслиново-черные прически, так хорошо рифмующиеся с новыми черными брюками, черными пиджаками и оранжевыми, немного волосатыми руками мужчин.

Путешественников-молодоженов не могло не волновать зрелище крещения только что появившихся на свет малюток. Она с нежной, лучезарной улыбкой несколько застенчиво положила руку на плечо своего мужа, который, уже как бы чувствуя себя отцом, начинал возиться со своими фотоаппаратами, чтобы снять младенцев. Один из них уже немного перерос грудной возраст и вертелся на руках у крестной, которая с опаской поглядывала на свое праздничное платье. Вокруг в сумраке летнего полдня матово золотились иконы, в несколько рядов, сверху донизу, покрывая высокие стены, колонны, двери притворов и царские врата с красной шелковой завесой, просвечивающей сквозь червонные завитки деревянной резьбы, кое-где озаренные скупыми огоньками свечей. Это была не слишком старинная православная церковь, известная в Констанце

тем, что ее расписал весьма талантливый местный художник, человек беспшабашной жизни. Так как, по румынской восточнохристианской традиции, пришедшей сюда из Византии, храмы расписываются не только внутри, но также и снаружи пестрыми многофигурными фресками, на что обычно уходит несколько лет, то наш живописец нашел для себя самым удобным на все время работ переселиться в церковь вместе с женой, детьми и всеми своими подручными учениками, которые внутри храма не только ели, спали и выпивали розовое добруджское вино, имеющее тот недостаток, что оно несколько более сладковато, чем бы следовало, — вроде «анжу розе», — что не мешает ему, как говорят, «очень хорошо давать себя пить», — но также жарили мясо на шкаре, раскладывая уголья прямо на каменном полу — к ужасу и тайному восхищению церковной общины.

Больше ничем этот кафедральный собор не знаменит, разве еще тем, что именно здесь венчались родители знаменитой современной художницы Франчески Буковалэ, некогда расписавшей смелыми фресками местный спортивный зал, а теперь приведшей сюда, в церковь, нас, своих московских друзей. Говорят, сохранилась фотография, снятая за несколько лет до катастрофы (имеется в виду, конечно, первая мировая война), на которой изображены родители Франчески; они стоят на ступенях церкви — после бракосочетания, — он во фраке и шапокляке, она в длинной густой фате с флердоранжем в волосах и букетом роз в руках, туго обтянутых по самый локоть белыми лайковыми перчатками, и перед ними как бы открывается рай, исполненный вечного счастья, долголетия и всяческого благополучия, в то время как на заднем плане довольно разборчиво получился кусок фрески — фрагмент ада, — написанный на наружной церковной стене: огненно-сुरиновая река, охваченная сернистым дымом, — по всем видимостям, геенна, фигурки чертей, волокущих в эту самую геенну различных грешников, а также наглядные, почти научно-популярные, как в детской азбуке, изображения семи смертных грехов, из которых особенно удачно вышел на фотографии грех прелюбодеяния: двое довольно прилично одетых любовников на высокой византийской двуспальной кровати с надежной спинкой, смятые шелковые одеяла, а черти с хвостами, рогами, копытами и гнусными

свинными рыльцами, угрожая трезубцами, уже собираются тащить бледных от ужаса прелюбодеев прямо в огненную реку, протекающую поблизости.

Я уже не помню последовательности отдельных моментов крещения, да это и не важно, так как хронология, по-моему, только вредит настоящему искусству и время — главный враг художника.

Знаю только, что хора не было, и это очень обедняло торжество, так как молодой человек в штатском, стриженный, бритый и даже в небольших испанских бачках, — псаломщик, заменяющий хор, — исполнял свои песнопения гнусаво, хотя и самоуверенно; к счастью, он торопился и, по-моему, пропустил добрую половину текста — что называется, пятое через десятое. Он уже сноровисто распорядился всей церемонией, давая указания, куда кому идти и где стоять; он же в надлежащее время вынул из бокового кармана парикмахерские ножницы и привычным движением обрезал необожженные фитили крестильных свечей, расправил их пальцами, подровнял, зажег, и в церкви как бы сразу прибавилось радости. Священник и дьякон в быстром, бодром темпе делали свое дело, однако относились к службе добросовестно, и если полагалось прочесть из Евангелия, скажем, две страницы, то батюшка читал их полностью, от строчки до строчки, не делая поблажек восприимчикам и зевакам, которым не терпелось увидеть поскорее самый торжественный момент — опускание младенцев в купель. Серебряная и, как водится, довольно помятая купель стояла тут же, рядом со столиком, и вода в ней таинственно поблескивала, слегка позлащенная отблесками свечей.

Франческа шепотом высказала предположение, что, наверное, в этой самой колченогой купели крестили и ее и что с тех пор прошло уже несколько войн и одна большая революция, а купель была все та же, лишь немного больше помялась.

Франческа оказалась сентиментальна, и слезы блестели на ее щеках и на длинных ресницах.

Впечатляющим был момент, когда под руководством псаломщика крестные отцы с белыми дубинами своих

нарядных свечей и крестные матери с младенцами на руках выстроились в шеренгу, повернувшись лицом к распахнутым церковным дверям, за которыми угадывался знойный портовый город с его музеями, минаретами, генуэзским маяком, с памятником великому римскому поэту-изгнаннику Публию Овидию Назону, с археологическими раскопками на том месте, где в древности находился город-государство Тома, некогда основанное пришельцами из Милета, с торговым центром эпохи императоров Константинов, с площадью и торговым базаром, с крупной городской набережной за площадью Овидия, где совсем недавно был обнаружен фрагмент очень хорошо сохранившейся мозаики, обломок головы Гермеса, — все это у входа в громадный порт, за которым великолепно простиралось Черное море — Понт Эвксинский — и сбоку припека виднелась маленькая прямоугольная гавань для небольших судов, у входа в которую грязные волны сбились в кучу и топтались на месте, как отара овец у тесных ворот загона, как бы подтверждая тревожные, плохо сформулированные мысли Осипа о том, что «проза асимметрична, ее движения — движения словесной массы — движение стада, сложное и ритмичное в своей неправильности; настоящая проза — разнобой, разлад, многоголосие, контрапункт...».

И вот началась церемония Изгнания Сатаны, быстро и умело проведенная бритым батюшкой в старой газетовой ризе с круглым крестом, рельефно вышитым серебром на горбатой спине. В тонких очках, докрасна натерших его хрящеватую переносицу, с кудрявой серебристо-темной шевелюрой, с живыми глазами, он скорее напоминал не апостола, а школьного учителя — строгого, но справедливого, который публично выгоняет из класса провинившегося ученика. Крестные матери прилежно повторяли за ним гневные слова, обращенные к изгоняемому из младенцев Сатане, и плевали в малюток, причем это было отнюдь не символическое плевание, а самое что ни на есть подлинное, старательное — вроде того, как плюются между собой поссорившиеся девочки, так что обильная слюна восприемниц вполне материально текла по красным, сморщенным личикам младенцев. Затем вслед за не на шутку рассердившимся священником они трижды повторили: «Изыди, Сатана! Изыди, Сатана! Изыди, Сатана!» — а священник при этом непреклонным жестом указывал на распахнутую

дверь, так что Сатане ничего больше не оставалось, как покинуть храм, и я живо представил себе изгнанного Сатану, который в призрачно развевающихся одеждах, опозоренный, оплеванный и бездомный, слоняется по всей Добрудже, ища, в кого бы вселиться.

...По ее густым темно-зеленым кукурузникам, по бесконечным пшеничным полям — какого-то особого оранжевого цвета, какого я больше нигде не встречал, — по отлогим холмам и длинным степным, почти незаметным долинам, где так удобно было разбивать коновязи и прятать артиллерийские парки, обозы первого разряда и передки батарей, в то время как трехдюймовочки, укрытые за обратными склонами холмов, со звонким тьюканьем, выбрасывая красные кинжалы пламени, стреляли засухой степной горизонт и с наблюдательного пункта, разместившись в копне пахучей соломы, стоя наверху, как аист, я видел в цейсовский бинокль, между его плюсами, черточками и минусами, как, подобно коробочкам хлопчатника, в воздухе лопались наши шрапнели, в то время как походные колонны генерала Макензена из-за горизонта наступали на нас, опускаясь в лощины и вновь показываясь уже гораздо ближе, на каких-то по-турецки сухих холмах, таща за собой толстые пушки крупных калибров, и все это было так красиво и так грустно, и так хотелось получить легкое, — и, совсем, совсем легкое! — ранение и получить Георгиевский крест и героем возвратиться домой — в страду ОВ, — в знойный город, где на бульваре вокруг черноголового Пушкина уже начали желтеть клены и платаны, в цветниках горели винно-красные канны с чугунно-синими толстыми листьями, а на горизонте весь день сонно маячили серые паруса заштилевших дубков с арбузами из Голой Пристани, и сердце мое — а может быть, это был уже не я, а ты — Мосье Мой Друг и Мой Двойник — но это не имеет значения, — и сердце Мое — или Твое — изнывало в ожидании вечера, предчувствуя свидание, которое наконец успокоит душу, взбудораженную жаждой любви, которая одна могла нас всех спасти от смерти, но так и не спасла; вернее сказать, спасла одного из нас...

Между тем дьякон уже опрашивал крестных матерей и, наклонившись над столиком, заполнял метрики младенцев, те самые метрики, которые, весьма вероятно, в некий час пройдут через опытные руки воинского начальника и будут

фигурировать в канцелярии призывного пункта в День Всеобщей Мобилизации, а затем вернуться в семью в казенном пакете с сургучными печатями.

Но торжественная минута приближалась, наступила пауза, легкое замешательство: крестные матери, наклонившись над столом, вынимали из одеял и освобождали из теплых сырых пеленок крошечные тельца слегка заправших малюток, и вот священник, деловито засучив рукава и поправив очки, приступил к таинству: он проворно брал горячего младенца, укладывал его себе на правую руку так, что личико оказывалось надежно прикрытым ладонью священника, и затем — ногами вверх, головой вниз — гоп! — глубоко окунал ребенка в купель, и в тот миг, когда казалось, что младенец захлебнулся, вытаскивал его из купели, поворачивал вверх головкой, по которой ручьями, как с утопленника, текла вода, возносил вверх, к небу, и снова головой вниз опускал в купель до самого дна, и так три раза — пока наконец ребенок снова не попадал в теплое одеяльце крестной мамы, быстро превращавшей его опять в плацинду. Когда же очередь дошла до девочки — самой крошечной из всех детей, — то между вторым и третьим погружением в купель священник сделал некоторую довольно значительную паузу, высоко над головой держа крошечную голенькую будущую даму, с которой ручьями текла вода, как бы раздумывая, стоит ли ее вообще крестить, достойна ли она этого — крошечное существо, похожее на очищенную раковую шейку, — как бы не вышедшее еще из утробного периода, — но затем махнул рукой и с улыбкой всепрощения окунул ее в третий раз, под одобрительные восклицания прихожан. Вообще каждый раз, как из воды появлялся младенец со своими слипшимися волосами, кисло зажмуренными глазками и ртом, открытым, как у золотой рыбки, толпа раздражалась сдержанным одобрительным смехом, и я, увидев личико одного из младенцев с головой продолговатой, как дынька, увидев кисло зажмуренные глазки и горестно сжатый лобик, — вдруг вспомнил, как лет около семидесяти тому назад крестили моего младшего брата Женечку, ставшего впоследствии знаменитым Евгением Петровым, и я увидел его, поднятого из купели могучей рукой священника, с мокрыми слипшимися волосиками, с дынькой крошечной головки, увидел страдающе зажмуренные кислые глазки китайчонка, по которым струилась вода, открытый булькающий ротик, судорожно хватающий воздух, — и острая, смертель-

ная боль жалости пронзила мое сердце, и уже тогда меня охватило темное предчувствие какой-то непоправимой беды, которая непременно должна случиться с этим младенцем, моим дорогим братиком, и потом, через много лет, точно с таким же выражением зажмуренных китайских глаз на удлинившемся, резко очерченном лице мужчины с черным шрамом поперек носа лежал мертвый Женя, засыпанный быстро увядшими полевыми цветами в наскоро сколоченном из неструганых досок случайном военном гробу, и взвод солдат стрелял из винтовок в воздух, отдавая ему прощальный салют, знак воинской почести среди этой донской степи, где в разных местах валялись части разбившегося «дугласа», а на горизонте кое-где вставал дым горящих хуторов, и там уже кружились немецкие «мессершмитты».

Под пенью псаломщика, предводительствуемые священником, восприемники со своими пылающими гигантскими свечами трижды обнесли своих младенцев вокруг уже пустой купели, а из-под серебряной крышечки кадила, звенящего всеми своими серебряными цепочками, вылетели клубы бальзамически едкого дыма тлеющего росного ладана, покрывая все вокруг мглистыми лиловыми облаками.

Художница Франческа стояла у распахнутых дверей собора, пропуская мимо себя процессию крестных матерей, которые бережно засовывали под одеяльца окрещенных младенцев метрические свидетельства, где были навечно записаны их имена: Пауль, Петру, Христиан и девочка Даниела — такая крошечная, что среди белоснежных кружев с трудом можно было рассмотреть ее личико величиной с грецкий орех.

Франческа была в коротеньких брючках, туго натянутых, синих, в мелкую розочку. На ней был грубо вязанный толстый свитер с короткими рукавами. Ее полуобнаженные тонкие жилистые, как бы копченые коричневые руки художницы, которая, видимо, также занимается скульптурой, были украшены толстыми серебряными браслетами, а на пальцах горели перстни с крупными янтарями, и ее кокосовое лицо напоминало музейный муляж как бы с нахлобученной конической шапкой иссиня-чер-

ных конских волос — лицо пугающее и вместе с тем волшебнo-прекрасное своими янтарно-коричневыми, живыми, добрыми, женственными глазами, полными любви и счастья, — говорящее моему воображению о пальмовых циночках, кокосах, Океании, может быть, даже о древней культуре ацтеков, о серебряных рудниках Мексики.

Она была мексиканским божеством, переселившимся на Сен-Жерменский бульвар в кафе «Де Маго».

Скоро доокрещенных младенцев разнесли по всем четырем сторонам Констанцы, где их уже ожидали родители — настоящие отцы и настоящие матери, хлопочущие у праздничных столов, где можно было заметить бутылки добруджского розового, импортного итальянского кампари, графины пуйки, запотевшие голубые сифоны содовой, только что вынутые из холодильников, ну и, разумеется, дымящуюся мамалыгу с четырьмя сортами закусок: соленой и сладкой брынзой, шкварками и жареным карпом из дельты Дуная.

Некоторых, более зажиточных, младенцев везли на такси, и так как свечи не помещались внутри, их выставили в открытые окна наружу, как стволы корабельной артиллерии.

Город снова впал в полуденное оцепенение, и отвесные лучи июльского солнца падали на все его археологические памятники — громадные сосуды из красной глины для зерна, вина и масла, остатки крепостных стен, мраморные капители античных колонн и обломки скульптуры — руки, ноги и торсы, — водруженные в разных местах города на железных полках неутомимым археологом Канаракке, страстным поклонником древней культуры Левого Понта, другом Кув де Мюрвиля и восхитительным собеседником, одержимым благородной идеей превратить родную Констанцу в древние Афины или, по крайней мере, в Неаполь; во всяком случае, кажется, по его инициативе на набережной против знаменитого на все Черное море казино выстроен аквариум вроде неаполитанского аквариума на Виа Караччиоло, где в темном коридоре в стеклянных ящиках, эффектно освещенных скрытыми электрическими лампочками, я долго в этот знойный полдень любовался обитателями Черного моря и дельты Дуная, проплывающими

мимо меня за толстыми стеклами на фоне марсианского пейзажа подводного царства. Там я лицом к лицу столкнулся с мучительно знакомым молодым осетром, который смотрел на меня своими круглыми выпуклыми глазами наглеца, двигая костяным рылом и шевеля небольшими усиками сукинсына, надежно защищенного от общественного мнения толстым стеклом аквариума и дымчатыми очками.

Я заметил, что иногда телевизор похож на аквариум, где время от времени возникает узкая рыба голова.

Мы были окружены турецкими названиями: Меджидие, Бабадах, Байрам-Деде, Исакчи, Мэчин, Таравердиев,— а между тем Черное море, которое, если верить энциклопедическому словарю, является всего лишь заливом Средиземного, подобно тому как соловей является не более чем маленькой птичкой из семейства воробьиных, гнало крупную красивую волну на кессоны нового мола, взрывалось, как гейзеры, и крепкий ветер нес нам в лицо тучи соленых брызг, и мы гуляли по мокрой набережной возле казино, попирая ногами мозаичные изображения крабов и морских коньков, а неистовое добруджское солнце продолжало палить обнаженную голову римского поэта, о котором другой изгнанник сказал, что, «мешая в песнях Рим и снег, Овидий пел арбу воловью в походе варварских телег»...

Почему лучшие мировые поэты всегда изгнанники?

...Затем, обнявшись, молодожены стояли в маленьком провинциальном археологическом музее перед плексигласовой витриной, где на черном бархате лежал венец чистейшего золота.

Болгария. Город Враца. Фракийские находки. В 1966 году в городе Враца при постройке кооперативного дома нашли остатки фракийской гробницы IV—III веков до нашей эры. Восемнадцатилетняя фракийская принцесса в золотом венце, и при ней нянька, двое слуг, ездовой конь, разубранный серебряными украшениями. Золотой венок остролистого лавра весом в двести сорок шесть граммов

чистого золота. Золотая чаша — двести семьдесят граммов, сережки и т. д. Предметы маникюра, весьма напоминающие современные. Она была женой фракийского полководца. Ее убили коротким обоюдоострым мечом и похоронили вместе с мужем. От самой принцессы ничего не осталось, она давно уже превратилась в прах. Но, затмевая все вокруг, ее золотой венец сиял, как желтое солнце.

— Ты бы хотела быть фракийской принцессой? — спросил он, вытаскивая из футляра маленький фотоаппарат, чтобы снять свою молодую жену на фоне золотого венца.

— Ничуть, — ответила она. — Зачем?

— А золотой венец?

— Мне дороже жизнь.

Сначала он не понял, а потом помрачнел.

— Ты уверена, что я умру раньше тебя? Не рассчитывай на это. Я не фракийский полководец.

— Но ты можешь сделаться французским солдатом.

— Только в случае войны.

— Этого-то я и боюсь, шери.

Бородатый и широкоплечий, он действительно мог бы сойти за фракийского военачальника, а она со своими серо-зелено-голубыми глазами и персиковыми щечками, прелестная, восемнадцатилетняя, вполне подходила для фракийской принцессы...

Он достал из кармана куртки маленький стеклянный кубик, укрепил его над видоискателем фотоаппарата и несколько раз щелкнул, вызвав в середине кубика с крошечным зеркальным рефлектором магниевые вспышки, как бы вырвавшие из времени и пространства и навсегда сделавшие неподвижными золотой венец фракийской принцессы, хорошенькую французенку в мини-жюп и четырех болгарских милиционеров с револьверами в белых кобурах, которые днем и ночью бдительно охраняли бесценные фракийские находки. Значительно позже, уже вернувшись в Париж, молодой турист проявил свои снимки и остался недоволен: лучше всего получились милиционеры, их белые кобуры, все остальное вышло так себе и не производило особого впечатления, в особенности не удался знаме-

нитый на весь мир золотой венец. О нем можно было только догадываться.

Выходя из музея, он выбросил уже теперь ненужный ему кубик с истраченными лампочками, и долго еще в цветнике возле фонтана валялась эта плексигласовая штучка с маленькой мертвой машинкой внутри, но с еще вполне целым зеркальным рефлексом, в фокусе которого, как в мертвом зрачке, может быть, навсегда остался нетленный отпечаток золотого венца вокруг прекрасного, хотя и невидимого лица мертвой фракийской принцессы с закрытыми глазами, ждущей часа своего воскрешения, или, как теперь принято говорить научно, «эффекта присутствия».

Воскрешение — это переход «эффекта отсутствия» в «эффект присутствия».

Плексигласовый кубик. Латерн мажик. Эффект присутствия. Мертвый глаз. Зрачок.

У нее на розовом носике возле глаза был след маленькой старой ссадины, белое атласное пятнышко: однажды во время студенческой демонстрации на площади Республики ее саданул какой-то хулиган-фашист палкой, но промазал, зацепил только краем.

Ничего не изменилось после свадьбы дочери.

— Теперь я осталась совсем одна, — сказала она без всякой грусти. — Но я рада, что, по крайней мере, девочка так удачно устроилась. Выгодный брак по любви — это случается не часто.

Она не изменила своего образа жизни, продолжала работать лаборанткой в маленьком кустарном производстве косметического крема в Нейи, и от ее рук всегда пахло миндальным маслом и душистыми притираниями.

Мосье встречался с ней один или два раза в месяц, по-прежнему не удлиняя своих не частых коротких свиданий. Иногда он уезжал по делам или путешествовать, и они не виделись два-три месяца. Но, возвратившись, он звонил ей домой, и свидания продолжались по-прежнему.

— Наверное, без меня вы путались с кем-нибудь другим,— сказал он шутливо.

— Клянусь,— ответила она вполне серьезно и подняла над головой руку.

Всякий раз после более или менее продолжительного перерыва он давал ей денег раза в три больше, чем обычно, считая, что она не должна терпеть убытки потому, что он засиделся на курорте или летал в Америку. Она принимала это как должное и говорила: «Мерси, мерси, вы слишком добры». — «А, пустяки», — отвечал он.

Поставив дочку на ноги, она как бы еще больше посвежела, стала менее озабоченной.

Однажды он не виделся с ней целых полгода, а когда наконец позвонил, то услышал незнакомый женский голос, чего раньше никогда не случалось. Он положил трубку и позвонил позже. Послышался все тот же чужой, неприятный голос пожилой дамы, по-видимому соседки, подумал он, и попросил позвать к телефону Николь.

— Она умерла,— услышал он в ответ.

— Когда?! — воскликнул он.

— Ровно месяц назад, в пятницу.

Он долго молчал, совершенно не зная, что сказать.

— Если вы тот самый мосье, друг бедной Николь, который время от времени навещал ее, то я прошу вас зайти, я соседка покойной и должна вам кое-что передать.

Он молчал.

— Не беспокойтесь, все останется в строгой тайне.

— Хорошо, мадам,— сказал он,— я сейчас приеду.

На лестнице возле знакомой двери его встретила пожилая дама, которая, недоброжелательно оглядев с ног до головы всю его уже немного расплывшуюся фигуру и все еще довольно красивое лицо с изящным матово-мучнистым носиком и мутноватыми лазурными глазами, которые когда-то, видимо, были тоже очень красивы, ввела его в свое жилище на той же площадке, жилище, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что здесь обитает одинокая, бедная, порядочная и чистоплотная женщина; и там, не подавая ему руки и не называя по имени,— ведь они не были официально представлены друг другу! — протянула довольно большую коробку из-под бисквитов.

— Покойная Николь просила меня, если вы придете, передать вам это, а также письмо. Вот оно.

— От чего она умерла?

— Ей сделали неудачную операцию запущенного ап-

пендицита. Накануне смерти я посетила ее в клинике, она была уже очень плоха, но в полном сознании и, видимо, сильно страдала.

Он развернул записку, нацарапанную карандашом, и, повернувшись лицом к стене, прочел следующее:

«Мой дорогой Мосье и Друг. Вероятно, я умру, и мне бы не хотелось, чтобы Вы думали обо мне плохо. Возвращаю Вам все то, что Вы мне оставляли, начиная с того дня, когда я поняла, что люблю Вас. Эти бумажки имели для меня ценность только лишь как сувениры, как память о Вас. Я знаю, Вы не любили меня, но иногда — сознайтесь! — Вам было со мной неплохо, и я рада, что могла Вам доставить хоть маленькую радость и минутный отдых. Спасибо за то, что Вы были ко мне всегда так добры. Не сердитесь. Я любила Вас. *Николь*».

В коробке находились связки кредитных билетов разных достоинств и невостребованные чеки. Он не знал, что с ними делать, и сначала подумал, не отдать ли все эти бумажки пожилой даме, но, взглянув на нее, на ее строгие глаза, не посмел этого сделать. Тогда он взял коробку под мышку и, притронувшись к шляпе, спустился вниз по знаковой вонючей лестнице, почти теряя сознание от сладкого химического запаха дезодораторов, а затем пошел по безрадостной Театральной улице и повернул за угол, где на грязном тротуаре стоял его маленький спортивный «ягуар», где на красных сафьяновых подушках терпеливо дожидался маленький чертенок Кубик, уткнув морду в протянутые лапы.

Потом он некоторое время искал забвения в путешествиях...

...Чернильница, брошенная в черта, была тяжелая, литого иенского стекла, и она со звуком «брамбахер» разлетелась вдребезги, оставив чернильное пятно на облупленной стене недалеко от окна, откуда Лютер иногда с опаской посматривал на карнизы замка, по которым ходили красивые откормленные голуби, на бронзовые пушки возле амбразур, на широкий тюрингенский пейзаж, на верхушки остроконечных черепичных крыш города Эйзенаха, потонувшего в синем тумане лесистого дефиле, в то время как забрызганный чернилами черт, по всей видимости, нырнул в камин, ободрав ноги о громадное буковое бревно, целое

дерево, приготовленное для топки, и вылетел из трубы замка в виде хвоста темного дыма, а затем превратился в комету. Однако это не более чем легенда, и не будем на этот счет строить никаких иллюзий, хотя путешественники и экскурсанты, к числу которых принадлежали Мосье Бывший Мальчик, и Мадам Бывшая Девочка, и все сопровождающие их лица, остановившиеся здесь проездом на Лейпцигскую ярмарку, и мы, и все прочие до сих пор с любопытством рассматривают стену с оббитой штукатуркой, под которой заметны не то старые кирпичи, не то почерневшие дубовые балки. Несколько поколений почитателей Лютера брали себе на память по кусочку священной штукатурки, пропитанной чернилами, так что теперь Мадам и Мосье, сопровождающие их лица и мы все не заметили ни малейших следов знаменитой кляксы, которая, как уверяют, была некогда весьма похожа на тень распластанной лягушки.

Как это ни странно, легенду чернильницы и черта разрушил наш Петр Великий, однажды посетивший замок на горе Варбург. Непомерно высокий, как ярмарочный великан, в треугольной шляпе и военных ботфортах, он послюнил свой громадный указательный палец, потер тогда еще сохранившуюся кляксу, попробовал на язык, понюхал, раздув кошачьи усы, затем по-солдатски сплюнул на дубовый пол, вытер палец о полы шелкового, в цветочках камзола и сказал сопровождавшему его обер-коменданту замка:

— Это шарлатанство, герр комендант: чернила-то совсем новехонькие, химические, это я чувствую на вкус и на запах.

Обер-комендант не осмелился, да и не нашелся, что ответить, только поморщился. А лет этак что-нибудь через полтора ста другой чужеземец — в просторном сюртуке и белой пуховой шляпе, человек с молодой дымчатой бородой и пронзительными серо-голубыми глазами — хотя и несколько медвежьими, — придиричиво, со знанием дела осмотрел тяжелый грубый деревянный стол, за которым Лютер перевел Евангелие на простой, народный немецкий язык, желая сделать священную книгу доступной не только для избранных, но и для самых простых людей, — а затем долго глядел в окно, рассматривая пейзаж с такой тщательностью, словно хотел открыть в нем что-то весьма для себя важное, какую-то самую сокровенную суть. Всласть наглядевшись на этот саксонский пейзаж, он про-

изнес загадочные слова: «Театр военных действий». Обмениваясь мыслями со зрителем замка, пожилым немецким служакой из отставных военных, чужеземец выказал изрядное знание немецкого литературного языка, но его мысли о боге, о народе, дворянстве, герцогах, королях, о войнах, которые в течение многих столетий терзали — и еще много раз будут терзать — эти живописные, прелестные среднеевропейские земли с их мягким климатом, плодородной почвой, редкостными еловыми лесами драгоценных пород, как бы нарочно созданные природой для счастья человека, весьма смущали, даже сердили зрителя, принужденного слушать эти дерзкие, смутьянские речи, о чем он впоследствии написал в своих мемуарах. А когда историки прочитали эти мемуары, то заинтересовались оригинальным чужеземцем, имени которого зритель так и не удосужился узнать. Однако при просмотре толстой книги, где посетители записывали свои впечатления о замке Варбург, была обнаружена запись незнакомца и его подпись: граф Лев Толстой. Вот к каким открытиям привело слово «брамбахер», преследовавшее нас — и их — во все время, пока мы носились по рокадам Восточной Германии, по полям бывших и будущих войн.

Брамбахер.

«Разве вещь — хозяин слова? — слегка шепеляво говорил Изгнанник, высокомерно задирая маленькую лысеющую головку с жиденьким хохолком. — Слово Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещь, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела».

Вокруг какой вещи свободно блуждало это мучительно привязавшееся к нам слово, как бы нарочно созданное для того, чтобы вселиться в грохот сражения, а потом тревожно метаться в подавляющей мертвой тишине внезапно заключенного перемирия?

«Пиши безобразные стихи — ударение на «о», — если сможешь, если сумеешь», — говорил Изгнанник, стоя на тесном балконе пятого этажа и разглядывая все еще мирные крыши Замоскворечья, на которые уже незаметно

наползала тень войны, ночных бомбежек, вой сирен воздушной тревоги, автогенный блеск зажигалок, скрещенные прожектора с кусочком плавящегося сахара над голубым пламенем жженки. «Пиши безобразные стихи — если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ...»

Молнии еще нет, добавлю я, есть только та внезапно проведенная между небом и землей борозда — безмолвная и невидимая, может быть, лишь слегка шуршащий зигзаг, — как бы первый карандашный набросок молнии, ее Психея, след, по которому через мгновение, слепя и вселяя в душу восторг грозы, промчится подлинная молния, преображая окружающий пейзаж, делая мир черно-белым негативом. Может быть, это и есть один из главных законов мовизма — начертить бесшумный проект молнии.

«Как странно, как странно», — звучит из «спидолы» на письменном столе, где пишутся эти страницы, мучительно-страстный голос, как бы опережая или прокладывая путь к чему-то еще более мучительному, страшному, непоправимому, как сама смерть, которая все-таки сильнее любви.

Не знаю, вокруг какого брошенного тела блуждало слово-Психея «брамбахер». Во всяком случае, не вокруг бутылки немецкой минеральной воды с привкусом залежей железного лома, ржавеющего под слоем этой серой земли со времен множества битв, некогда здесь гремевших, или, может быть, того самого железа, из которого иерусалимские кузнецы выковали некогда синие кустарные гвозди, которыми римские легионеры-захватчики прибили к деревянному кресту молодого пророка-мовиста Иисуса Христа, создателя новой религии — «умеренного демократа», как

его назвал однажды Пушкин. Вода в бутылке, ржавая на вкус, лишенная настоящей души, выделяла пузырьки сухого углекислого газа третьего сорта, во всяком случае, не идущего ни в какое сравнение со свежим, острым углекислым газом минеральной воды «борзиг», «аполинарис» или нашего «нарзана», доставать который становится все труднее и труднее, а «брамбахер» преследует меня повсюду, как та оса, которая однажды решила меня во что бы то ни стало погубить.

Лично я предпочитаю «ижевскую» или в самом крайнем случае «перье» в зеленой, отчасти напоминающей ваньку-встаньку овальной бутылке, извлеченной из ведерка с колотым льдом,— воду такую острую и холодную, что ее глоток обдирает гортань и язык, как битое стекло.

Дальше идет описание моей схватки с осой — воспоминание, вызванное, возможно, тончайшим, чисто музейным звуком дрожащего листового золота.

Все осы злы. Но не все умны. Бывают осы злые, как человек, к тому же еще и коварные. Я сразу узнаю их по нервному, целенаправленному полету. Они уже издали узнают меня среди множества других людей и немедленно бросаются на меня в слепой ярости, готовые вонзить свое жало мне в голову и убить на месте. Одна такая оса в течение нескольких дней преследовала меня. Я сразу узнавал ее, потому что она, влетев в форточку, имела обыкновение сначала плавно спуститься по воздуху вдоль стены, как бы измеряя глубину комнаты от потолка до пола, затем она снова поднималась тем же путем до потолка, причем никогда не изменяла строго горизонтального положения своего длинного тела, как бы слегка надломленного посередине вроде коромысла. Мне казалось, что она старается не смотреть в мою сторону, для того чтобы не вызвать подозрений, а все время что-то вынюхивает на потолке, и вдруг она стремительно бросалась на меня, кружась над головой и задевая мои волосы. Я с отчаянием отмахивался от нее руками, норовил убить ее газетой, даже кричал на нее: «Поди прочь, гадина!» Она делала вид, что оставляет

меня в покое, но вдруг возвращалась и с удвоенной злостью продолжала свое нападение.

Я боялся этой завистливой, низменной твари, боялся ее полосатого тела, жесткого звука ее полета, в котором мне слышалась дрожащая струна смерти; мне трудно было понять ее необъяснимую ненависть именно ко мне, желание меня погубить. Я становился болезненно подозрительным, меня охватывало нечто вроде мании преследования. Я бросался на нее с открытой книгой, желая ее прихлопнуть, уничтожить, так как понимал, что не я ее, так она меня! Как-то я воевал с ней в течение целого длинного летнего дня и вконец обессилел. Настала ночь, и оса исчезла из поля моего зрения. Форточка была открыта, и я подумал, что насекомое улетело спать в свое мерзкое грушевидное гнездо, слепленное из серого воска. Я еле добрался до постели, лег щекой на еще прохладную подушку и сейчас же увидел свой постоянный, единственный, никогда не прекращающийся сон: человека с узкими глазами убийцы.

Я видел его в виде прямоугольного цветного портрета в обществе других портретов: кудлатого журналиста с крючковатым носом и пенсне без ободков, тыквоголового китайца, молодого рыжеватого неврастеника. Бонапарта кисти Антуана-Жака Гро. Поднятые на палках, они бежали, как на ходулях, над невежественной толпой на фоне парижских фасадов, зловеще озаренных багровыми дымными фестонами мусорных куч, подожженных вдоль всего Бульмиша, вдоль позолоченных пик Люксембургского сада и музея Клюни.

Вдруг я услышал нечто, прервавшее мой сон. Это был звук осы, которая вдруг завозилась где-то совсем близко от моего лица, под моей подушкой... Она вывернулась из-под горячей наволочки, выползла и так стремительно бросилась на меня, что я еле успел закутать голову одеялом, но сейчас же с ужасом понял, что она тут же, завернута вместе с моей головой и уже путается у меня в волосах, ползет по щеке, катясь, как маленький раскаленный уголек, пытается проникнуть в мое ухо, — Психея, избравшая своим временным убежищем мое похолодевшее тело, — я вскочил, обливаясь потом, с гудящей осой в шевелюре, завернутый вместе с нею в одеяло, и она, путаясь в тяжелых складках, вдруг вырвалась и прожгла мне через рубаху

руку, и тогда я наконец бросился на нее, схватил пальцами ее извивающуюся, упругое, как бы заряженное электрическим током тело, сжал ее, как щипцами, превратил в комок, бросил на пол и окончательно раздавил босой пяткой, явственно услышав в ночной темноте хруст ее проклятого тела, неповторимый звук, в котором как бы заключалось все: подбородок, крашенные усы, багровая индюшечья кожа его шеи, прищемленная стоячим воротником императорского мундира, — и шелест темного яда, проникшего в мою кровь, заставившего мгновенно распухнуть мою руку... А полосатый комочек все еще катался на полу, и я еще раз раздавил его, надеюсь, на этот раз уже окончательно...

Звук раздавленной осы. Не более чем крошечный «брамбахер», ничем не лучше звука разбитой об стену чернильницы. Не более чем филологический эксперимент. Осип считал, что Лютер был плохой филолог, потому что вместо аргумента запустил чернильницей. В свою очередь, этот аргумент Осипа тоже не имеет ровно никакого значения, потому что на самом деле Лютер никогда не запускал в черта чернильницей. Даже и не думал! А все произошло потому, что на вопрос одного из обитателей замка, где он скрывался от преследования, что он делает по ночам в своей комнате, Лютер ответил: «Воюю с чертом», имея в виду свой перевод Евангелия на простой немецкий язык. «Как же вы с ним воюете? Каким оружием?» — «Чернильницей», — ответил Лютер, показывая на свою рукопись и на письменные принадлежности: чернильницу и гусиное перо.

Это сразу же превратилось в легенду, которая облетела весь мир. Таким образом, игра слов сделалась метафорой, а метафора, в свою очередь, чуть ли не реализовалась в историческое событие, в театральную сцену с участием Черта, нечто весьма похожее на «эффект присутствия», где изображение, переданное по лазерному лучу, игольчатому лучу квантового генератора — как предсказывает современная физика, — будет не только объемным, но создаст чудо «эффекта присутствия».

Метафора, рожденная в моем воображении, в один прекрасный день сможет материализоваться в комнате моего читателя в полном своем объеме, в абсолютной своей подлинности. Вероятно, к этому с помощью науки в конце

концов и придет искусство будущего — мовизм. И пожалуйте, не думайте, что это мои домыслы или, чего доброго, мистификация. Отсылаю неверующих к номеру «Правды» от воскресенья 29 сентября, ищи на первой полосе в самой середине:

«Лазер выходит в эфир. Киев, 28 (ТАСС). Сегодня здесь закончилась Всесоюзная конференция по проблемам передачи информации лазерным излучением. Возможности, которые открывает лазерное излучение для сбора, хранения и передачи информации, кажутся поистине фантастическими. В одном кубическом сантиметре вещества, обладающего эффектом объемной фотографии (голографии), получаемой с помощью оптического луча, может содержаться столько же сведений, сколько в пяти миллионах книг. Игольчатый луч квантового генератора может передать одновременно несколько тысяч телевизионных программ¹. Причем изображение будет не только объемным, но и создаст «эффект присутствия»...»

В конце концов я начинаю подозревать, что все мои странные цветные сны, мои метафоры, обладающие почти полным эффектом объемной фотографии, приходят ко мне откуда-то по вполне реальному лазерному лучу, а оса, с которой я сражался однажды ночью и которая так больно (но, к счастью, не смертельно!) ужалила меня, была, быть может, первым в истории удавшимся физическим опытом.

Слово, рожденное материей, обратно превращается в материю, в вещь. Самый надежный способ организации материи есть превращение ее в отпечаток мысли, а потом в слово, в метафору, которая в конечном итоге с помощью оптического луча квантового генератора станет не только объемной, но и создает «эффект присутствия». До этого, конечно, еще очень далеко, — не надо обольщаться! — но ведь что такое далеко?

Надо уже сейчас готовиться к этому чуду, приучая себя мыслить образами, ибо это есть один из самых экономных способов художественного — да и не только худо-

¹ Какой ужас! (Примеч. автора.)

жественного! — мышления: например, описание пятьюдесятью словами бабочки, моделирующее целый сложный ассоциативный, не только художественный, но также научно-исторический комплекс:

«Длинные седые усы этой бабочки имели остистое строение и в точности напоминали ветки на воротнике французского академика или серебряные пальмы, возлагаемые на гроб. Грудь сильно развитая, в лодочку. Головка незначительная, кошачья. Ее глазастые крылья были из прекрасного старого адмиральского шелка, который побывал и в Чесме и при Трафальгаре». Не хватает только лазерного луча, для того чтобы рядом с нами, вдруг, возникло объемное, цветное и вполне материальное изображение.

О, как страстно жаждет моя душа создания этого феномена.

«Желание создать есть уже создание», — сказал Скрябин, у которого желаний было все-таки больше, чем созданий, как и у всех нас, впрочем.

«Эффект присутствия» — вот сокровенная суть подлинно современной поэзии.

«Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы, — заметил Осип, — снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсяннико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы».

О, как страшен зрительный мир рыбы, в котором агонизирует Пушкин!

«Экутэ ля шансон гриз», — грустно и мечтательно процитировал все тот же Осип строчку из Верлена. А я уже давно заметил, что он любил «экутэ». Его «экутэ» породило множество подражателей, — например, В. Набокова.

Мы окружены великой анархией вечно разрушающейся и вечно воссоздающейся материи, огромной, неизмеримой, без начала и конца. Она непрерывно уничтожает старые формы и создает новые.

Есть такие небесные тела — пульсары. Они вечно, с точностью атомных часов, увеличиваются в объеме и опадают: так сказать, раздуваются, как «лягушка, на лугу увидевши вола»...

А что, если мы тоже так же ритмично пульсируем?

Боже мой, из какой мелочи, из какой трухи, из какой мировой пыли мы все состоим!

Я не пишу, не создаю музыку, не вижу, не слышу, не понимаю, — да и зачем? — я непрерывно звучу, как некий резонатор, волшебный прибор, принимающий отовсюду из мирового пространства миллионы миллиардов сигналов, с непостижимой скоростью несущихся в мое бедное тело, в мою нежную, такую хрупкую Психею. Все, кому не лень, посылают в мою душу, в мой мозг свои сигналы, свои категорические приказы, как бы управляя мною на расстоянии: все эти пульсары, туманности, астероиды, белые и красные карлики, солнечный ветер, магнитные поля, северные сияния, вся беззвучно гремящая вокруг меня бесконечная и безначальная Материя, весь этот космический «брамбахер». Они насылают на меня объемные сновидения, мучающие меня, как события подлинной жизни. Они погружают меня в божественную кажущуюся летаргию вселенной, против моей воли они заставляют меня мыслить, воображать, творить. Со стороны может показаться, что я творю из ничего. Но это совсем не так. Я творю из подручного материала неистовствующей, вечно изменяющейся Материи. Я ее крошечный слепок. Каждый атом, из которого состоит мое тело, мой мозг, — модель вселенной. Я ее раб, и вместе с тем я ее повелитель.

Я жертва космических бурь, протуберанцев, бешенства солнечной плазмы.

«Ум человеческий, — писал Ленин, — открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней...»

«Представление не может схватить движения *в целом*, например, не схватывает движения с быстротой 300 000 км. в 1 секунду, а *мышление* схватывает и должно схватить».

Мое мышление схватывает не только быстроту самого взрыва, но также тишину, наступающую после взрыва, тишину, более могущественную, чем сам взрыв. Чем страшней взрыв, тем страшней тишина. Пустота, возникшая на месте взорванного здания, материальнее самого строения. Строение разрушено, его больше не существует, тишина уже стоит на его месте и будет стоять вечно. Пустота тоже материальна. Но она неразрушима. Ее ничем нельзя взорвать.

«Что ж: броди среди этих развалин, черным воздухом смерти дыши. Как он страшен и как он печален, этот город, лишенный души».

Город нельзя разрушить. Навсегда остается эффект его присутствия, более прочный, чем грубая каменная суть его домов, дворцов, колоколен, башен, эстакад. Разве можно изменить воздух, свойственный только ему одному: сухой, средневропейский, насыщенный запахом бурых брикетов, спрессованных из каменноугольной пыли и торфа. Все призрачно в этом абстрактном городе зияющих архитектурных пустот, созданных из самой прочной тишины затянувшегося перемирия, где некогда при свете все того же пепельно-серебряного солнца можно увидеть среди университетских корпусов ту самую маленькую площадь, где некогда горел костер и почерневшие страницы великих книг устилали своим пеплом всю пустынную улицу вплоть до самых брамбахерских ворот, повернутых всей своей серой колоннадой в туманное Никуда с крылатым гением золотой победы, летящей над призрачной зеленью потустороннего парка.

...Отлично ложилось оно на музыку, ненадолго поселилось в слове «Вагнер», сразу же одухотворив его, придав ему внешний вид: выдвинутый вперед подбородок деревянного щелкунчика, бархатный берет, вставные глаза и стук дирижерской палочки по пульта из черного дерева, как бы

по волшебству поднимающей из оркестровой ямы первые парадные такты «Тангейзера», в одном названии которого было больше истинной музыки, чем во всей этой опере, некогда родившейся все в том же легендарном замке на вершине горы Варбург, где Лютер воевал с Чертом, а глубоко внизу, в Эйзенахе, в средневековом домике родился Иоганн Себастьян Бах, и Психея брамбахера, покинув милое тело Вагнера, уже металась по маленькому музею старинных музыкальных инструментов, не в состоянии сразу решить, куда бы ей вселиться: в узкий треугольный еловый столик Цимбалó, откуда некогда своими могучими пальцами молодой Бах извлекал слабые, дребезжащие, какие-то проволочные аккорды, или в европейскую сестру тех самых почерневших от времени дощатых кобз, которые я еще застал в своем детстве на украинских базарах: на холщовых коленях сидящих среди базарной толкотни белоглазых слепцов-кобзарей с седыми волосами, подстриженными «под горшок», которые пели старинные украинские псалмы и после каждой строфы вертели ручку этой странной «шарманки» с волосяными струнами, производившими жалобное, ноющее жужжанье — очень долго не утихающее, как бы дополняя смысл старинной баллады, поэмы еще каким-то другим, тайным значением, каким-то гоголевским предвечерним степным пейзажем с мучнистозеленым заходящим солнцем, сухой пылью, запахом скота, чабреца, полыни, предчувствием холодной лунной ночи с матовой росой, лежащей на кавунах и дынях, ночующих на твердой, потрескавшейся земле бахчи; или в семиствольную цевницу Пана, или, наконец, в так называемый гармоний — изобретение Вениамина Франклина — его хобби, — инструмент со стеклянным цилиндром в середине, издающим под опытыми пальцами музыканта мокрый звук удрученно поющего иенского хрусталя, подобно тому как поют винные бокалы, если осторожно провести мокрым пальцем по их верхнему фаяцету, — или в стаканы, которые тетя мыла в полоскательнице своими длинными музыкальными пальцами. Да мало ли куда каждую минуту порывалась вселиться непоседливая Психея, пока мы как очарованные расхаживали по этой средневековой комнатно-музею, похожей на старинную гавань, тесно заставленную судами и суденышками, начиная от маленького фарфорового кораблика итальянской окарины, как бы всегда наполненной нежным посвистываньем средиземного ветерка, — до громоздкого баркаса контрабаса с морскими кана-

тами слабо натянутых струн... Стихия музыки, как предметная значимость, как некогда брошенное милое тело, неодолимо влекла к себе Психею, и она, следуя за нами, залетала то под готические своды лейпцигской Томас-кирхи, где посередине громадного, некрасивого и холодного пространства лютеранского храма лежала как бы распростертая на полу, широкая, совсем простая и все же невероятно торжественная, как его собственная органная музыка, могильная плита Баха, в течение многих лет заставлявшая ежедневно звучать неподвижный воздух, хранящий голос Лютера, раздававшийся иногда с трибуны, высоко прилепившейся к каменному столбу, как маленькая неуклюжая беседка, сделанная руками малоталантливого каменотеса, слепого последователя великого реформатора; то — вдруг капризно променяв музыку на поэзию — проникла вслед за нами в готический погребок Ауэрбаха, с красноногим Мефистофелем верхом на громадной, овальной бочке, окруженной пьяными студентами...

Я уже не помню, когда именно тайный советник Гёте, надутый господин с высокомерными, отечными глазами немецкого сановника, любивший надевать черный фрак с белой звездой и высокий черный цилиндр, любитель античной скульптуры, анатомии, оптики, минералогии и физики — не говоря уже, конечно, о поэзии, — автор военно-патриотических агиток и апофеозов, а также Вертера, маленький томик которого всегда возил в своем походном чемодане большой мастер истреблять людей — кровавый император Наполеон... Когда именно этот тайный советник превратил плод своей досужей фантазии, Мефистофеля, в пуделя — и превратил ли вообще? Не ручаюсь, но могу дать честное слово, что совсем недавно мы увидели глухой ночью в одном из средневековых закоулков Веймара, где-то на задах городской ратуши, а может быть, между большим домом Гёте и маленьким домом Шиллера, освещенных газосветными призрачными фонарями второй половины XX века, — на мостовой, блестящей, как черная змеиная шкура, — мы увидели — человека с черным пуделем на поводке. «Это он!» — успел воскликнуть я, но в тот же миг человек и пудель повернули за угол и навсегда исчезли из глаз, как бы растворились среди круглых подворотен и нависших чердаков этого старинного переулочка, оставив после себя совсем слабый запах паленой шерсти и серы.

Не знаю, успела ли вселиться Психея брамбахера в черного пуделя — плод досужего воображения Гёте, — но кажется, не успела, потому что я еще долго чувствовал ее присутствие сначала в переоборудованном номере старинной веймарской гостиницы под вывеской «Слон», выходящей на средневековую рыночную площадь с фонтаном и весьма некрасивой статуей Нептуна или Тритона, для чего-то вывезенной неутомимым тайным советником из Италии, а потом в разных других местах, где мы побывали, надеясь еще хоть раз увидеть легендарного Доктора с не менее легендарной собакой, еще раз доказавших мне могущество поэтической мысли, превратившей метафору в предмет, в милое тело, в вещь. Однажды нам показалось, что это именно они мелькнули в подземной пустоте, темной, как безысходная ночь, на черных гранитных ступенях, поблескивающих в слабом свете подземных фонарей искрами селитры: там беззвучные рельсы эсбана или унтергрунда плавно заворачивают в никуда, чем-то очень отдаленно напоминая неполное кровообращение в результате удачной операции артериально-венозной системы. Затем пудель мелькнул за углом серого мавзолея, где перед ложно-классическими почерневшими колоннами стояли два серо-зеленых солдата в почти плоских — как тарелки — военных касках, — сухие, вытянутые, желтолицые, как два муляжа, поставленные при входе в гулкое помещение, где нет ничего, кроме черного Камня Каабы, на котором некогда лежал круглый венок из дутого крупновского железа с прорезями дубовых листьев — звонкий сквозной брамбахер, — а теперь там же твердо и вещественно лежит его пустота, его обратный слепок, — плод моего воображения! — как бы выдутый «из ничего», прочного, как самая высококачественная послевоенная — или даже предвоенная — тишина... И сухие венки с выцветшими национальными лентами, и черная, никогда не высыхающая сырость под бетонными стенами, навсегда лишенными солнца, жестко, гулко отражающими каждый человеческий шаг, потревоживший кубическую пустоту этого старого городского резонатора, уцелевшего во время катастрофы.

И все-таки мы его наконец настигли, но уже где-то совсем в другом измерении, и тогда увидели, что это был совсем маленький черно-пепельный пуделек на узком по-

водке, который вечно кружился под ногами у Мосье Своего Хозяина, когда он выводил его погулять. Дома же он бегал на свободе и вечером сидел под столом, иногда без всякого видимого повода рыча и покусывая ботинки гостей. Довольно часто собачку водили делать туалет в специальное заведение, по-моему, где-то недалеко от Бальмена или Кристиана Диора, в районе Елисейских полей и Рон-Пуэн, в шикарном доме, по всему фасаду которого снаружи в дни рождества среди гирлянд хвойной зелени ярко и празднично горели жирондели электрических свечей, не боявшихся ни дождя, ни снега...

...Но это уже из другой оперы...

Там Кубика фигурно стригли, мыли специальным собачьим шампунем, вычесывали хвост, а так как собачка была нервная, с плохим характером, а главное, избалованная богатой жизнью, то приходилось прибегать к успокоительным уколам.

Поверьте мне. Я сам однажды был избалованной собакой, правда недолго. Тогда меня все раздражало. На меня вдруг нападало необъяснимое желание кусаться. Я думаю, что меня больше всего раздражали запахи. В особенности я не переносил запаха того подлеца, который в собачьей парикмахерской занимался моей внешностью. От него пахло аткинсоновской лавандой, которую он по своему невежеству считал самым элегантным одеколоном в Европе, в то время как все порядочные люди никогда не употребляли ее после бритья, считая это дурным тоном. А он, дурак, почему-то вообразил, что самые изысканные французы употребляют именно эту лаванду. Мне же, с детских лет привыкшему только к туалетной воде Ланвена, одна мысль об аткинсоновской лаванде причиняла чисто физические муки, я начинал рычать и чувствовал непреодолимое желание немедленно укусить парикмахера, распространявшего ненавистный мне запах. Когда же мне делали успокоительный укол, я сразу переставал раздражаться и покорно, даже не без некоторого удовольствия отдавался в руки этого человека, который, завязав мне на всякий случай морду специальной лентой, приводил меня в порядок. И когда за мной заезжал Мосье и надевал на меня пово-

док, я уже был одним из самых красивых карликовых пуделей не скажу всего Парижа, но, во всяком случае, Восьмого аррондисмана, куда, как известно, входят Елисейские поля, с его лучшим рестораном Фукьеца, где я пользовался разными привилегиями, главным образом той, что меня, в нарушение всех правил, охотно пускали в общий зал вместе с моими хозяевами, — Мосье и Мадам — и подавали мне отличный шатобриан, разрезанный официантом на маленькие кусочки, и ставили мне серебряную мисочку, куда Мосье собственноручно наливал для меня превосходную гигиеническую воду швейцарских ледников с красивым названием «эвиан» — единственное, что я переносил из напитков без особого раздражения. В самом крайнем случае я еще мог пить воду «витель». Не буду лгать: все это подавалось мне, конечно, под стол, во главе которого с одной стороны всегда сидела Мадам Моя Хозяйка, а напротив нее, с другого конца, — Мосье Мой Хозяин, а между ними всякий сброд — биржевики, маклеры, валютчики, петрольчики, которых я ненавидел всей душой за омерзительный запах их дорогой, но неряшливой обуви, а также за то, что я внутренним чутьем понимал, что именно они когда-нибудь разорят и ограбят Моего Хозяина, пустят все его богатства под откос, доведут его до опеки и первые же будут потешаться над его крахом, предварительно хорошенько нагрев на нем руки. Я их всех называл про себя презрительной кличкой «и сопровождающие его лица». Иногда, не в силах совладать со своим характером, я кусал их за ноги, но не слишком сильно, потому что зубы у меня были мелкие и слабые, хотя в случае особенно сильного раздражения я мог ими укунить до крови, что и случилось однажды, когда в бюро я укунул за палец самого Мосье Моего Хозяина, собиравшегося подписать ловко подсунутый ему страшно невыгодный контракт, и другой раз в скором поезде Париж — Довиль, где я цапнул за ногу одну даму, поднявшую такой скандал, что Мосье Мой Хозяин едва его сумел потушить, и то лишь обязавшись платить пострадавшей пожизненную ренту в триста тысяч старых франков, что, в общем-то, для него было в то время сущим пустяком, хотя все же не очень приятно. Я бы еще многое мог рассказать о Своем Хозяине, например, о том, как он в конце концов, вдруг, совершенно неожиданно, прогорел дотла и превратился почти в нищего, но мне больно об этом вспоминать, да и нет больше времени, так как моя душа снова вернулась в тело автора этих строк, а я, к не-

счастью, как был, так и остался довольно глупым и дурно воспитанным неграмотным пуделем, и мой ум постепенно померк, как испорченный телевизор, и уже не способен больше ни на какие обобщения и абстракции.

Снова обретя свою живую бессмертную человеческую душу, я продолжу начатую здесь печальную историю, но уже не как участник ее, а лишь как свидетель, хотя и не вполне посторонний, но достаточно беспристрастный.

Я бы, конечно, мог прибегнуть к старому, надежному литературному приему, которым иногда пользовались Наши Великие: перевоплотиться в животное и писать как бы от его имени. Но я вовсе не желаю очеловечивать этого пуделя с высокой, искусно сооруженной прической и африканскими глазами, весьма похожими на небольшие эскорго. Пусть собака остается собакой со всем ее сложным собачьим характером.

Самое основное в Кубике был черный цвет, несколько пыльный, матовый,— не только цвет самой шерсти, но также и кожи, из которой эта шерсть росла,— черный цвет носа, губ и когтей,— за исключением недоразвитого декоративного ротика — миниатюрной пасти, где за ожерельем мелких зубов шевелился узкий красный язык, покрывавшийся легкой горячей пеной, когда собачке вдруг хотелось кусаться. Внезапное желание укусить возникло, как молниеносный припадок безумия,— и тогда берегись!

Но, может быть, подобные припадки вызывал не только какой-нибудь неприятный запах, но еще какие-то частные причины, таящиеся в неисследованных глубинах спящего сознания.

Мадам Хозяйка и Мосье Хозяин были уверены, что более умной собаки еще не видывал свет! Простим же им это невинное заблуждение, вполне понятное, если принять во внимание, что у них никогда не было детей. Собачка заменяла им единственного обожаемого ребенка — гениального, как все единственные сыновья, наследники более чем крупного состояния. С того дня, как Мосье Хозяин принес двухмесячного Кубика в бархатном кармане своего великолепного демисезонного пальто от Ланвена на драго-

ценной шелковой подкладке, с вышитой гладью большой монограммой и подал Мадам Хозяйке, держа в ладони, как маленькую прелестную игрушку, и Мадам Хозяйка, прижав его к дряблему, но нежному подбородку, под которым матово сверкали четыре нитки самого отборного крупного натурального жемчуга от Картье, воскликнула: «Ах, какой славенький Кубик!» — и бросила на мужа благодарный взгляд все еще прелестных карих иронических глаз, — с того самого мига собачка стала главным существом в этой богатой парижской квартире, занимавшей целый этаж в одном из самых фешенебельных районов, не буду уточнять каком: парка «Монсо», Отейля, Фобура, Сент-Оноре или Марсова поля.

Поздно вечером, перед сном, Мосье Хозяин лично выводил собачку погулять возле дома, предварительно надев на нее вязаное пальто; там он снимал с нее поводок, и собачка бегала по асфальту между кое-как поставленными на тротуаре автомобилями лучших мировых марок последних моделей, брошенными богатыми хозяевами на ночь. Запах дорогих автомобилей, самого очищенного высокооктанового бензина и набора превосходных смазочных масел, первоклассной резины и сафьяна сидений не раздражал собачку, даже наоборот — по-видимому, доставлял ей большое удовольствие, так как она вообще любила запахи богатства, роскоши и очень тонко в них разбиралась, в то время как запахи не то чтобы нищеты, а просто приличной бедности могли — как я уже говорил — вызвать в ней приступ мгновенного умоисступления и жажду кусаться.

Пока собачка бегала вдоль стен, возле фонарей, по чугунным составным решеткам, плоско лежащим на земле вокруг элегантных платанов, необыкновенно подходивших к стилю высоких парижских окон с низкими балкончиками, просторных подъездов с медными розетками электрических звонков, говоривших о богатстве и комфорте, Мосье Хозяин без шляпы и пальто, подняв воротник пиджака вокруг шерстяного кашне, прохаживался по-домашнему от подъезда до угла и обратно, все время видя над крышей противоположного дома утолщение на верхушке Эйфелевой башни, откуда вырывались в туманный воздух влажной парижской ночи медленно вращающиеся по горизонту два или три луча маяка. Наверху всегда было туманно, и эти немного расширяющиеся лучи всегда напоминали Мосье Хозяину какую-то русскую народную сказку в книжке с картинками, где старуха, а может быть, и не

старуха, несет на палке конский череп, из круглых глазниц которого бьют в разные стороны страшные лучи, постепенно поглощаемые непроглядным русским туманом забытого детства.

В эти минуты Мосье Хозяин был вполне доступен для людей, искавших с ним встречи, но только эти люди — увы! — не знали, что он прогуливает по ночам своего песика, а в другое время он был недоступен. Дойдя до угла, он видел ночные огни площади, стоянку такси рядом с отделением «Лионского кредита», несколько угловых бистро, устричных прилавок и два довольно приличных ресторана, создающих впечатление кое-где разбросанных рубиповых угольев, — ночной парижский пейзаж, который он предпочитал всем другим пейзажам мира. В это время он обычно обдумывал свои новые финансовые операции, то самодовольно улыбаясь, то болезненно морщась, если предчувствовал опасную неудачу. А собачка в это время пускала по серым цокольным стенам жиденские потеки, прихвываясь к запахам роскоши и бедности, которые всегда тонко сплетаются в туманном парижском воздухе. Она шныряла между мусорницами, полными всякой дневной дряни, выставленными из домов к обочине мостовой, — длинная шеренга баков и цилиндров, из-под крышек которых выпирал мусор: картонная тара, стружки, черные водоросли, пластмассовые бутылки, пергаментные стаканчики, комки оберточной бумаги, кожура фруктов, скорлупа лангустов, раковины устриц, обглоданные куриные кости, букет засохших цветов... На рассвете сюда приедут мусорщики-негры и опрокинут всю эту дрянь в свои гремящие и воняющие машины — неуклюжие, как танки, — но прежде чем приедут эти машины, появятся с небольшим перерывом — один за другим — несколько нищих стариков и старух и будут копать в мусорных бидонах, надеясь извлечь для себя хоть что-нибудь годное в пищу.

Собачка видела их однажды на рассвете, когда заболела расстройством желудка, наевшись в ресторане Фукьеца фирменным блюдом так называемого кассуле, которое там обычно готовят по пятницам, и ее пришлось несколько раз в течение ночи срочно выводить на улицу.

Старик копался в мусоре, и собачка видела, как он извлек из бидона куриную кость и половину круассана и, завернув все это в пергаментную бумагу, раздобытую тут

же, бережно спрятал во внутренний боковой карман поношенного клетчатого жакета. Старик этот вызвал в Кубике припадок такого озлобления, что если бы не понос, обессиливший собачку, то она, наверное, куснула бы этого неряшливого человека, от панталон которого воняло плохо отстиранным бельем.

Дико озираясь по сторонам своими светящимися африканскими глазками, собачка бегала туда-сюда по улице, и черная прическа на ее голове время от времени еще больше поднималась, становилась дыбом, а усы топорщились под дрожащим носом, делая ее чем-то похожей на капитана Скарамуша кукольного театра «Гран-Гиньоль».

Я склонен думать, что это была собака не натуральная, а искусственная, созданная человеческими руками, в лаборатории какого-нибудь гениального экспериментатора-кибернетика или бионика, сумевшего создать во времени и пространстве искусственное существо — подобие гораздо более сложного животного организма по типу обыкновенного карликового пуделя, каких миллионы, очень может быть, того самого, которого мы, как я уже упоминал, однажды ночью видели в Веймаре и который, по словам ныне забытой, но замечательной поэтессы Наталии Крандиевской, кажется, Фаусту прикидывался пуделем, женщиной к пустынноку входил, простирал над сумасшедшим Врубелем острый угол демоновых крыл — или что-то в этом роде.

Я думаю, что экспериментатор создал в своей лаборатории именно этот тип собаки, даже не подозревая, какой оборотень послужил ему моделью. Мне кажется, ученый слишком усложнил нервную организацию этой собачки, сделал ее чересчур восприимчивой к сигналам внешнего мира. Кубик был один из первых, не вполне удачных экземпляров искусственного животного, созданного в упомянутой лаборатории с чисто коммерческими целями — на продажу — ввиду большого рыночного спроса именно на такую породу собак.

В Кубике было множество недостатков, чисто технических просчетов, недоделок. Для обыкновенной натуральной собаки он, например, получился слишком глупым. Его мозг был создан небрежно из недорогого материала, без учета равновесия, гармонии, взаимодействия всех его сиг-

нальных узлов, а уж о сером веществе и говорить нечего: оно получилось совсем не того высшего качества и клетки коры головного мозга не очень закрепляли впечатления и удерживали информацию.

...А потом со страшным скрежетом на улице появились уродливые гиганты-роботы, и негры со светящимися глазами и белоснежными, фосфорическими зубами с хохотом стали опорожнять мусорницы в разинутые пасти своих железных машин, облитых помоями, и распространилось такое зловоние, что Кубик завыл и потерял сознание.

Самый же главный дефект в конструкции этого животного был тот, что аппарат ощущения времени работал крайне неkoordinированно и эффект времени в ощущении животного не имел той диалектической непрерывности, без которой даже весьма сложное живое существо остается на самой низкой ступени своего интеллектуального развития. «...отмечая и подчеркивая прерывистость времени, — прочитал я в одной умной книге, — следует опасаться и абсолютизации этой стороны времени».

По-моему, в случае с Кубиком произошла именно эта абсолютизация.

«...Уместно вспомнить апории Зенона, в которых ставится вопрос о прерывности и непрерывности времени, в частности апорию «стрела». В этой апории Зенон пытался доказать невозможность движения ссылкой на то, что летящая стрела находится в каждый определенный момент времени лишь там, где она находится, то есть что каждый данный момент времени она покоится, а стало быть, в целом она неподвижна».

Мучительная прерывистость времени, каждый миг которого, как проклятая стрела Зенона, останавливался над бедным недоделанным животным, причиняла невероятные страдания его несовершенному мозгу, и Кубик моментами впадал в буйный идиотизм, будучи не в силах справиться с миллионами угрожающих сигналов, летящих в него со всех концов не только возбужденного Парижа, находящегося на грани революции, но и всего мира со всеми его зонами напряжения и военными действиями с применением самого совершенного способа уничтожения людей, животных и растений.

Здесь нельзя не вспомнить задачу, которую великий экспериментатор Капица задал не менее великому теоретику Ландау: «С какой скоростью должна бежать собака, к хвосту которой привязана сковородка, чтобы она не могла слышать грохот сковородки о мостовую?» Ответ Ландау был величественно прост: «Собака должна сидеть на месте».

Настоящая, натуральная собака — да. Но сидеть на месте в то время, когда весь мир грохотал по мостовой бесконечности, как сковорода, привязанная к его короткому хвосту, как бы состоящему из семи или восьми распущенных черно-серых веревочек, — искусственной собаке было не под силу. Стрела Зенона впивалась в ее черное тело, и собака вдруг начинала вертеться на поводке, как бешеная, сверкая своими безумно светящимися глазами, полными статического электричества.

В такие минуты лишь Мосье Хозяин и Мадам Хозяйка могли кое-как его успокоить: в нем было надежно запрограммировано уважение к хозяевам.

Впрочем, это всего лишь мои догадки. Очень возможно, что я ошибаюсь. И даже наверное. Просто это была паршивая собачонка, воспитанная в буржуазном духе: она ненавидела бедность — все ее оттенки и виды — и бесилась всякий раз, когда чувствовала наступление какого-нибудь социального конфликта. В особенности ее раздражало приближение какой-нибудь забастовки; сначала оно приводило ее в состояние депрессии, а потом она — вдруг — теряла рассудок и могла укусить первого встречного из низших слоев общества.

Однажды в Монте-Карло, где Мосье и Мадам вместе с приглашенными и сопровождающими их лицами проводили пасхальные каникулы — «ваканс», — занимая целый этаж в лучшей в мире гостинице «Отель де Пари», на прелестной тончайшей японской бумаге которой — с нежно-голубой коронкой наверху — пишутся страницы этой печальной истории, Кубик устроил большой скандал, укусив официанта, вкатывавшего в салон люкс стол с сервированным на нем пятичасовым чаем.

С утра назревала забастовка электриков, и уже было известно, что повсюду в Монако в течение трех часов будет выключен электрический ток.

...О, эти не слишком крупные грушевидные жемчужины яркой, живой белизны, в которой как бы вследствие некоего оптического чуда угадываются все семь светящихся цветов весенней радуги; они свисали с декадентских веточек, набранных из светлых изумрудов чистейшей воды... Что это? Вход в старинную станцию парижского метрополитена или первомайские ландыши, украшающие по бокам пасхальное яйцо из чистого золота, покрытого сеткой голубой или гранатовой драгоценной эмали, выставленное в пустой витрине легендарного Картье — золотых дел мастера и брильянтщика — на черной бархатной подушке среди скрытой электрической сигнализации как символ воскрешения Христова...

А Мадам, в прелестном весеннем костюме от Диора, в туфельках первой весенней модели, в темно-зеленых легких дамских очках на слабых, стареющих глазах, с милой улыбкой, уже несколько сторбившаяся, идет мимо витрины дальше, все дальше, совершая с Кубиком предпраздничную прогулку по пустынному солнечному Монте-Карло, время от времени заходя в нарядные магазины и делая, — нет, не делая, а совершая! — *совершая* небольшие покупки, делая заказы: там пасхальные яйца из шоколада «миньон», которые душистая продавщица с серебряными щипчиками в руках затейливо завертывает в золотую бумагу, здесь выбирает сырые цветы — темно-синие пармские фиалки, белую и лиловую отборную сирень, горшочки с кустиками азалии, густо усыпанными розовыми цветами, розы цвета кардинал — маленькие бутоны на длинейших стеблях, — букетики первых незабудок и тигровые орхидеи в прозрачных кубических коробках, перевязанных лиловыми шелковыми лентами с праздничным бантом, а затем, присев на золоченый стул, пишет за крошечным будуарным столиком, скрытым в тропически влажной глубине магазина, среди драгоценных растений, дышащих теплой сыростью оранжерейной земли, поздравительные карточки, вкладывая их в крошечные, совсем кукольные конвертики, а потом идет дальше, в другие лавки и магазины делать заказы на фрукты, касаясь небольшой изящной ручкой в замшевой перчатке разных плодов: авокадо, персиков, очень крупного дымчатого алжирского винограда, манго, лесной удлиненной

земляники и сухой садовой желтовато-розовой клубники, мандаринов, черешни — выставленных в плетеных корзиночках, коробочках, нейлоновых сетках, а Кубик — тем временем — вертится на своем поводке под ногами Мадам Хозяйки и сопровождающих ее лиц, благосклонно перенося запахи их, в общем-то, довольно тщательно вымытых тел, надушенных приличной туалетной водой и духами, а также их легкой, модной, очень дорогой весенней обуви, и ему нравится опережать их и первому останавливаться возле тех магазинов, куда они собираются войти.

Он прекрасно изучил эти магазины, наполненные драгоценными пасхальными сувенирами, а также поздравительными картинками, разноцветными восковыми свечами самых причудливых форм, подносами с воспроизведенными на них картинами постимпрессионистов, еще более ярких и художественных, чем их подлинники в холодных холщовых залах парижских музеев. Кубик видел, что у нарядной девушки Ренуара с вишневыми губками, в деревенской соломенной шляпке с маками или васильками, сидит на руках странное мохнатое существо, в котором он не хотел и никак не мог признать своего брата собачку, хотя в глубине души и чувствовал нечто родственное, заставлявшее его еле слышно повизгивать и еще шибче кружиться на поводке вокруг старчески прелестных ножек Мадам Хозяйки.

По календарю еще зима, февраль, но молодой предпасхальный воздух, льющийся вдоль побережья Ривьеры прямо из Италии, дрожит над божественно-лазоревым заливом, над квадратным акваторием гавани, где на якоре стоит яхта легендарного Арахиса — неряшливого старика, носатого грека-пиндоса в больших очках с залапанными стеклами, с плохо застегнутой ширинкой поношенных серых штанов — как говорят, самого богатого человека в мире и собственника всего, что видит вокруг бедный человеческий глаз — и ванны литого чистого золота в будуаре яхты, — кроме, конечно, высокой гряды Приморских Альп, не пускающей сюда зимний холод, дожди, парижские туманы, назревающую на Левом Берегу революцию... — таким образом, больше половины года здесь царит мягкая, прохладная весна, светит солнышко и даже в январе, среди влажных газонов, прямо в открытом грунте, под войлочными стволами финиковых декоративных пальм, как бы среди вечного пасхального стола, цветут

нежные цикламены, осененные водянистым перезвоном итальянских колоколов, доносящихся сюда из Вентимильи...

...и странные флаги над глупейшими куполами и безвкуснейшими вышками игорного дома — казино, — где в похоронной тишине громадных, недоброжелательно-равнодушных залов днем и ночью бегают по кругу и щелкают по металлическим шипам костяные шарик рулеток.

Все было бы здесь хорошо, — лучше не надо! — если бы не забастовка электриков, приближающаяся из метрополии, неотвратимая, как тень давным-давно уже предсказанного затмения, которая вот-вот пересечет высокий гребень Приморских Альп и траурным покрывалом сползет на весь этот сияющий радостью и комфортом весенний мир экс-монархов и миллиардеров.

...сигналы тревоги, сигналы бедствия неслись отовсюду, ну и так далее.

У Кубика были слишком восприимчивые рецепторы и плохо работала тормозная система. Он раньше всех почувствовал приближение тени, сползание ее с горы. А ведь, в сущности, какой пустяк была вся эта забастовка электриков: с четырех до семи; всего каких-нибудь три часа без электрического тока — и то не абсолютно, потому что освещены были электричеством собственной станции больницы, родильные дома, пункты Скорой помощи, все медицинские учреждения, а также, разумеется в первую очередь, громадное здание игорного дома с его могучим подземным хозяйством: дежурными пожарными командами, нарядами вооруженной охраны, бюро тайной полиции, сейфами, набитыми запасом резервной валюты, золота, драгоценностями и всяческими ценными бумагами.

Ну, и что за беда, если в течение каких-нибудь трех часов в «Отель де Пари» не будет электрического освещения? Там уже давно повсюду в апартаментах, ресторанах, холлах и коридорах на всякий случай были приготовлены спиртово-калильные лампы, свечи в серебряных шанда-

лах, площадки с таким расчетом, что в нужный миг — когда вдруг всюду, как по команде, погаснет электричество — весь отель мягко, хотя и скупо, засветится внутри как бы восковым церковным светом — таким теплым, живым, трепетным, а в роскошном баре нижнего этажа, скорее похожего не на бар, а на библиотеку какого-нибудь английского замка, с его глубокими кожаными креслами, старинными раскрашенными гравюрами на мотивы скачек и охоты, не тесно развешанными на матовых, темно-зеленых стенах, как будто дьявольски элегантного, суконного, охотничьего цвета, с солидной стойкой и круглыми столами ценного палисандрового дерева, что напоминало не только библиотеку, но также некую респектабельную контору в старом лондонском Сити, а в этом роскошнейшем баре, говорю я, — вдруг зашипели калильные лампы в стиле начала XIX века, воспламеняя красное опорто в толстых, как лампы, старинных стеклянных рюмках, поставленных на легкие кружочки прессованной японской бумаги все с тою же голубой коронкой «Отель де Пари»...

Могло показаться, что отсутствие тока даже к лучшему: гораздо красивее, праздничнее, таинственнее — в особенности робкие, даже как бы несколько греховные огоньки парафиновых плашек в конце длинных, заворачивающих куда-то гостиничных коридоров, поглощавших шаги толстой дорожкой, и уже совсем волшебным блескела внизу в громадном холле против входной вертящейся двери бронзовая лошадка с выставленным вперед, как медная ручка, коленом, до золотого блеска натертая руками суверенных игроков в рулетку, верящих, что прикосновение к ноге бронзовой лошадки на высоком пьедестале принесет им удачу.

Однако остановились лифты, и тут уже ничего нельзя было поделать: как бы ни был богат постоялец отеля, будь он королем нефтяного флота всего земного шара вроде южноамериканца греческого происхождения Арахиса, все равно ему — хочешь не хочешь — приходилось с легкой одышкой тащиться вверх по ковровой дорожке парадной лестницы в свои апартаменты, выходящие окнами в морской простор. Даже сама мадам Ротшильд бодро поднималась пешком по лестнице в легком распахнутом манто из серебристо-розовых порок, всем своим видом показывая, что ей это даже любопытно. Бывшая югославская королева, дама бедная и сварливая, тоже делала вид, что, в

сущности, ничего особенного не произошло, хотя ее склеротические ноги порядком-таки побаливали и даже как бы слегка потрескивали на каждой ступени. Конечно, для Кубика ровно ничего не составляло, крутясь на поводке, взбежать на свой бельэтаж, но животное настолько привыкло ездить вверх и вниз в зеркальном лифте, что один лишь вид парадной лестницы, неярко озаренной канделябрами, по которой надо было бежать наверх, перебирая лапками по жесткому ковру, привел его в состояние скрытого бешенства. Сотни тысяч, миллионы тревожных, пугающих сигналов возбуждали его несовершенную, болезненно-чуткую нервную систему, вселяя в животное ужас перед какими-то непостижимыми силами, власть которых делала бессильным даже Мосье Хозяина, — несомненно, самое могущественное существо в мире, разумеется, после Арахиса...

Кубик смутно представил себе всех этих подлецов в старых тергалевых костюмах, пропитанных запахом пота и ненавистной лаванды Аткинсона, которые, где-то собравшись вместе по ту сторону горной цепи, в полутемном помещении, молчаливые и неумолимые, приказали погаснуть яркому электрическому свету и остановиться лифтам ровно на три часа — ни секунды больше, ни секунды меньше, и плевать им на то, что короли, королевы и самые богатые люди в мире — даже Арахис, даже Арахис! — в это время должны, крихтя и делая вид, что в мире ровно ничего не произошло, подниматься со своими породистыми собаками по великолепной мраморной лестнице середины XIX века с торжественными двойными спусками, как бы созданными для полонеза Огинского.

О, тягостное чувство зависимости от каких-то подлецов, думал Кубик, чувствуя расстройство своего вестибулярного аппарата, от подлецов, называющихся забастовочным комитетом...

...и тень упала на княжество Монако...

Стрела Зенона в каждый данный момент времени висела в состоянии покоя над возбужденной собакой, а

стало быть, в целом она — эта стрела Зенона — была неподвижна.

Ну уж!..

Впрочем, все это весьма возможно, однако лишь при условии, если точно известно, что из себя на самом деле представляет слово «момент», не говоря уже о таком противоестественном сочетании, как «момент времени». Таким образом, лишь *не зная*, что такое время, можно себе представить неподвижно летящую стрелу. Но... кто знает доподлинно, что такое время и как его себе вообразить... У Кубика воображение было сконструировано на скорую руку, весьма халтурно, в самом зачаточном виде. Это были какие-то нервные вспышки, дающие обрывки картин и образов, ничем между собою не связанных, что причиняло собачке дополнительные муки. Вселенная постоянно грохотала за ее хвостом, как чугунная сковородка с многочисленными трещинами.

...сковородка Галактики...

Кубик ощущал всю опасность окружающей его вселенной, попавшей в руки негодяев, но эта опасность — или, вернее сказать, миллионы смертельных опасностей — была лишена зрительного или логического воплощения. Она раздражала нервную систему. И только. Если собака была действительно искусственная, — в чем я не совсем уверен, даже совсем не уверен! — то, по-видимому, ее сконструировали и пустили в продажу люди определенной социальной среды; в противном случае откуда бы у собаки взялось это как бы врожденное презрение к бедности, ненависть ко всему хотя бы отчасти — не скажу революционному, а просто невинно-радикальному. Эта ненависть приливалась и отливалась по каким-то еще не исследованным законам. Именно в данный момент неподвижного времени, собственно говоря, и начался бурный прилив ненависти, и глаза Кубика налились кровью, когда он увидел из-под дивана ноги официанта, вносящего накрытый стол. Это был новый официант, совсем недавно устроенный в «Отель де Пари» корсиканской родней.

Актеры любят видеть своего Смердякова — в примерном зеркале между двух голых электрических ламп — примерно таким: опрокинутое скопческое лицо сероватого

оттенка, лакейский фрак, нервные руки в несвежих нитяных перчатках и под черной кожей штиблет на резинках с синими матерчатыми ушками — раскаленные мозоли, доводящие до иступления; отдаленно подобное было и в этом официанте плюс нечто корсиканское: жгучий брюнет, заросшая шея... Однако при наличии высокой чаадаевской лысины и бритого иссиня-голубого рта, окруженного двумя толстыми саркастическими морщинами, он мог бы сойти за католического священника низших степеней, понапрасну бреющего дважды в день свою неистребимую щетину. Его третье имя было Наполеон. Жан-Пьер-Наполеон: дань преклонения перед Императором, обязанным семье нашего официанта своим спасением, когда вскоре после смерти Людовика XVI Корсикой управлял генерал Паоли, человек энергичный и жестокий, ненавидевший революцию, между тем как Наполеон Бонапарт, молодой артиллерийский офицер, проводивший свой отпуск на родине, в Аяччо, старался использовать все свое влияние, а также влияние членов своей семьи для торжества новых идей. Молодой Бонапарт и генерал Паоли уже враждовали между собой, и случилось так, что во время этой кровавой корсиканской вражды предки официанта спасли будущего императора Франции от неминуемой смерти от рук сторонников Паоли... Или что-то вроде этого... в результате чего впоследствии официант получил имя Наполеона от своей семьи, которая вот уже второе столетие плодилась и размножалась в Аяччо, в той самой узкой и темной, как щель, типично неаполитанской улице с развешанным бельем, где некогда в по-провинциальному большой, но нелепой и запущенной квартире промотавшегося дворянина сеньора Буонапарте, едва успев вылезти из портшеза, отпустить носильщиков и, подобрав юбки, добраться по грязной каменной лестнице до своей квартиры, с криками и воплями среди невообразимой суматохи, среди ночных горшков и фаянсовых тазов, на скрипучей двуспальной кровати красного дерева в стиле одного из Людовиков синьора Буонапарте произвела на свет злого, крикливого мальчишку, будущего императора Франции, умудрившегося залить Европу кровью и наделать много других гадостей. Ему-то было хорошо: имя Наполеон как нельзя лучше подходило к белоснежной горностаевой мантии с черными запятыми хвостиков, простертому скипетру и драгоценной императорской короне. Все возможности красоты и величия, заложенные в этом имени, были исчерпаны. А вот каково-то

пришлось всем другим Наполеонам, расплодившимся с его легкой руки и постепенно вконец измельчавшим и выродившимся? В лучшем случае это были всего лишь жалкие эпигоны. Постепенно теряя все свое величие, это некогда блестящее, кровавое имя в конце концов стало водевильным: авторы маленьких театров с Больших бульваров вроде «Театра де Нувоте», куда обожали водить своих подруг приказчики, описанные Эмилем Золя, чаще всего наделяли этим именем какого-нибудь глуповатого лакея, тайно влюбленного в свою госпожу. Я заметил, что комплекс неполноценности в высшей степени свойствен людям маленького роста, носящим имя Наполеон. Они всегда немного комичны, и сознание этого постоянно держит их в состоянии скрытой ярости. Чаще всего они в конце концов попадают в дурное общество, делаются анархистами, становясь в надлежащее время под черное знамя Ровашоля.

Увидев Наполеона, Кубик сначала попятился к стене, а потом вдруг стремительно выскочил из-под дивана и, утробно рыча — ему даже не сумели как следует сделать аппарат лая, и этот аппарат часто отказывал — и, говоря я, утробно рыча и дрожа мелкой дрожью, он, сверкая своими дьявольскими глазами, впился в лодыжку официанта, порвал черные шевиотовые брюки и трикотажные подштанники и слегка куснул икру Наполеона своими слабыми, совсем детскими зубками.

В течение одного неподвижного мига они — собака и человек, — содрогаясь от бешенства, смотрели друг другу в глаза. О, как они ненавидели друг друга!

«Ровно в 14 часов и одну минуту по астрономическому времени над Москвой будет закрыто 74 процента солнечной поверхности».

Радио 22 сентября 1968 года.

Они были наедине в сумрачном салоне, освещенном несколькими свечами, огни которых бесполезно отражались в огромном глазу померкнувшего телевизора, как бы покрытом пленкой катаракты.

— Ах ты, паршивая собачонка,— прошипел приглушенным басом корсиканец, дрожа и бледнея от негодования.— Ты посмел меня укусить? Да? Меня? Человека? Посмел? Укусить? Так я ж тебе покажу, подлец! — И официант, злобно, хотя и набожно бормоча: «О, санта мадонна»,— стал изо всех сил пинать ногой под диван, пытаясь попасть Кубику в самую морду или, по крайней мере, угодить в живот и отбить внутренности; при этом Наполеон все время оглядывался на дверь, ощерив клыки, из которых один был с золотой коронкой, и на всякий случай улыбался мягкой отеческой улыбкой, которая в случае внезапного появления Мосье и Мадам Хозяев могла означать: «Ах ты, мой милый, нехороший песик, разве можно кусаться?.. Или ты хочешь, чтобы я пожаловался на твое поведение Мосье Хозяину? Ай-яй-яй! Ты же знаешь, дурачок, как это его огорчит! Смотри же у меня, будь паинькой!»

Все это происходило почти в полном молчании, как убийство кинжалом из-за угла, не нарушая глубокой тишины этого огромного отеля; однако если бы можно было поймать и аккумулятировать все нервные импульсы, излучения и сигналы, летящие от одной животной системы к другой, то это был бы уже не просто шум скандальчика, а грохот новейших скорострельных батарей тактического действия или такой брамбахер ядерных устройств, что на месте семизэтажного «Отель де Пари» со всеми его решетчатыми жалюзи, лепными балконами с видом на Средиземное море,— где в это время воровато шныряли посыльные суда, а на горизонте тяжело выступал из воды силуэт утконосого авианосца VI американского флота,— с видом на океанографический музей, где в гигантских полукруглых окнах таинственно белели скелеты китов, и горки старого мертвого жемчуга серебрились, как сухая рыба чешуя, и в подземелье в светящихся аквариумах плавали, поводя усами, морские чудовища,— в один миг должно было возникнуть сернисто-желтое *ничто* с йодоформовыми краями гангренозной язвы, неумолимо покрывая Монакское княжество... И в один миг все бы исчезло, перестало существовать — даже те сухие наивные деревянные кубики на веревочках, которые следовало подкладывать под оконные рамы, в случае сквозняков — надежное старинное средство, которым до сих пор пользовались в этом всемирном отеле, оборудованном по последнему слову техники... А серые деревянные кубики на веревочках не научились ничем

заменить... А чем вы замените хорошее, выдержанное дерево скрипки, фagота? «Не архангельские трубы, деревянные фagоты, пели мне о жизни грубой, о печалях и заботах...»

Однако как ни старались животное и человек — оставшись с глазу на глаз — воевать молчаливо, их напряженно-тихий скандал тотчас же был услышан. За отсутствием времени и свободной бумаги у меня нет охоты описывать, как на пороге салона появились Мадам Хозяйка, Мосье Хозяин и сопровождающие их лица и как все они ужаснулись представившемуся им зрелищу. Мадам, как добрая самаритянка, тотчас же перевязала — скорее символические, чем действительные — раны официанта; хорошенькими пальчиками с несколькими колоссальными солитерами чистейшей воды, каратов по тридцать каждый, она деликатно и отнюдь не брезгливо засучила черные служебные брюки с атласными лампасами и в то же время не забыла погрозить хорошеньким морщинистым мизинчиком затихшему под диваном Кублику.

Что касается самого Мосье Хозяина, то он, по-видимому, не очень одобрял прилив подобного человеколюбия, считая его если не вполне притворным, то, во всяком случае, неуместным, так как Мадам приходилось сидеть на полу и Мосье боялся, что она простудит седалищный нерв: Мосье Хозяин предпочитал более реальные и быстрые действия. Нетерпеливо дождавшись, когда перевязка была закончена, он твердо обнял официанта за талию и энергично повел на свою половину апартаментов, приговаривая: «Не будем, мой друг, придавать этой истории слишком серьезного значения. Возьмите это в виде небольшого пасхального сюрприза. Здесь четыре штучки», — с этими словами он достал из бюро две тысячи новых франков еще не согнутыми, немного липкими, пахучими разноцветными пятисотками, попарно скелотыми особой банковской булавкой, и двумя пальцами подал официанту, который принял их с корректным полупоклоном, как чаевые, а Мосье Хозяин, торопясь поскорее покончить с неприятным инцидентом, распахнул перед официантом все четыре створки гардероба, увешанного набором необходимых мужских костюмов, и сдернул с планки несколько галстуков. Разумеется, я мог бы, как говорят, «со свойственной ему наблюдательностью и мягким юмором» описать эти толстые шелковые галстуки от Ланвена, из которых самый дешевый стоил франков сто двадцать, — но для чего? Кому это

надо? А если вам так этого хочется, то «вот вам мое стило и — так сказать — можете описывать сами».

Один из трех галстуков, протянутых рукою Мосье официанту, был винно-красный, цвета хорошего старого шамбертена, другой — ультрамариновый, как Средиземное море в яркий солнечный сентябрьский день, и третий — жемчужно-серый, как парижское утро. «Дорогой друг, возьмите их себе, они более или менее подходят к любому костюму, и носите себе на здоровье...» Но этого мало. Вернувшись в салон, Мосье Хозяин налил два необыкновенно высоких, строго цилиндрических стакана шотландского виски двадцатилетней выдержки, долил «перье», собственноручно достал специальными серебряными щипчиками с пружинкой из хрустального ведерка ледяной кубик, в тот же миг магически отразивший в себе навсегда освещенный восковыми свечами салон, и опустил его в стакан официанта. «А теперь выпьем». — «Но, мосье, я на работе...» — «Ничего, это я беру на себя», — тонко улыбнулся Мосье, и двое мужчин сделали по глотку.

Все это произошло так неуловимо стремительно, что обласканный официант первое время чувствовал себя вполне счастливым, как человек, которому неожиданно повезло, и лишь через два дня, поделившись своей радостью с земляком, тоже корсиканцем, шофером изящного грузовичка с плетеным кузовом, привозившим дважды в день в ресторан отеля устрицы, фрукты и свежую зелень, был крайне удивлен, когда земляк пожал плечами и заметил: «Вот уж я никак не думал, что ты такой лопух. Надо было содрать с него, по крайней мере, тысяч двадцать, даже тридцать, конечно, новыми. А в противном случае пригрозить скандалом. Закон на твоей стороне! Ты мог потребовать, чтобы он сам, мадам и все их сопровождающие лица и гости были подвергнуты в принудительном порядке прививкам против бешенства и разных других опасных болезней». — «Но собачонка вполне здорова, только у нее паршивый характер...» — заметил Наполеон. «Мало ли что! — закричал земляк-корсиканец. — Надо было требовать через полицию медицинской экспертизы и привлечь мосье хозяина собачки к суду за увечье. Был бы я на твоём месте, клянусь девою Марией, я бы или содрал с него одновременно пятьдесят тысяч новых, или пожизненную ренту за частичную потерю трудоспособности! — все более и более распаляясь, кричал земляк-корсиканец. — А ты, кретин, польстился на четыре пятисотки да на пару

вышедших из моды галстуков от Ланвена. Если об этом узнает твоя Матильда, то лучше не возвращайся в Аяччо, она тебе проломит голову медной ступкой для миндаля...» — «Но я не думаю, чтобы суд...» — начал Наполеон. «Чудак человек! Неужели ты думаешь, что твой мосье допустил бы дело до процесса? Очень ему это нужно! Ты, наверное, понятия не имеешь, сколько у него миллионов. Для таких людей, как он, сто тысяч не играют никакой роли — лишь бы ему не испортили пасхальных каникул и не мешали наслаждаться жизнью. Чем подвергать мучительной экспертизе своего любимого песика и согласиться, чтобы его самого, его мадам и всех его гостей целый месяц каждый день кололи для профилактики в задницы, он бы, не задумываясь, выложил на стол сто тысяч наличными или чеком на швейцарский банк — и дело с концом: пасхальные каникулы спасены, а у тебя в кармане кругленькая сумма, и ты смог бы наплевать на «Отель де Пари», вернуться в Аяччо и открыть где-нибудь на берегу недалеко от «Дю кап» отличную таверну для приезжих американцев, торговал бы себе потихоньку контрабандными форелями, лангустами, серым домашним хлебом, корсиканским сыром и местным беленьким винцом и в ус себе не дул». — «Ты думаешь?» — дрожа, спросил Наполеон. «Ха! Я в этом уверен». — «В таком случае я пойду к этому подлецу, брошу ему в морду галстуки и потребую деньги!» — «Но торопись, потому что мой друг Гастон слышал в баре разговор Арахиса с каким-то американцем, и этот грекпиндос на паре колес клялся, что не пройдет и недели, как он пустит твоего мосье в трубу вместе со всей его лавочкой. А что сказал Арахис — то закон. С этим не шутят. Во всяком случае, поторопись. Впрочем, вряд ли что-нибудь выйдет. Надо было это сделать сейчас же после того, как песик тебя цапнул, а теперь, братец, я думаю, поздно. Что с возу упало, то пропало...» И земляк, хлопнув дверью своего пикапчика, уехал, а Наполеон остался стоять возле служебного входа в отель на тротуаре, как пораженный громом. Неужели он прозевал такой неповторимый, единственный в жизни шанс?

Он видел безупречно постриженные газоны перед главным входом в казино, пальмы, магнолии, кедры, редчайшие породы каких-то тропических деревьев, нежные растения, окунающие свои слабые, декадентские ветви в искусственные водоемы с розовыми лилиями, очень высоким итальянским камышом и лотосом, красные дорожки, кое-

где в укромных уголках пустые скамьи, известные тем, что почти на каждой из них кто-нибудь застрелился, и Наполеон представлял себе всех этих самоубийц, несчастных игроков, которых так равнодушно — вот уже в течение ста лет — одного за другим убивала рулетка, но в его корсиканском воображении не менее живо возникали и другие картины — картины громадных удач, счастья, неожиданно свалившегося с неба в руки бедного человека и в один миг волшебным образом изменившего его жизнь.

Недавно Наполеон дежурил в ночном буфете казино и собственными глазами видел, как один приезжий итальянец из Вентимильи выиграл четыреста тысяч новых франков — что-то восемьдесят тысяч долларов! Сначала ему страшно не везло, он проигрался в пух, у него оставалась всего одна-единственная жалкая десятифранковая фишка, которую он сжимал в кулаке с побелевшими косточками суставов, не решаясь сделать свою последнюю ставку, после которой он делался нищим...

Вот примерно что из себя представляют фишки казино Монте-Карло. Пять франков — голубой кружок, но его ставят главным образом в общих залах, куда пускают туристов и всякую другую шпану. В главных же залах ходят такие фишки: десять франков — белый кружок, двадцать франков — красно-томатный кружок, пятьдесят франков — оранжевый кружок, сто франков — зеленый кружок. Затем начинаются фишки высокого полета: пятьсот франков — уже не кружок, а прямоугольная плитка цвета слоновой кости, тысяча франков — темно-желтый прямоугольник, пять тысяч франков — довольно большой белый прямоугольник с косою красной лентой через всю фишку, напоминающий этикетку шампанского «кордон руж». Затем десять тысяч франков — большой чисто белый прямоугольник и, наконец, двадцать тысяч франков — очень крупный сине-голубой прямоугольник, при одном лишь взгляде на который сладко кружится голова. И все эти фишки были сделаны как бы из прозрачной и твердой, как сталь, легкой пластмассы.

Некоторые веселые игроки называли в шутку прямоугольные фишки котлетками. Это было инфантильно, но, согласитесь, довольно остроумно.

...котлетки, котлетки, котлеточки...

Итальянец из Вентимильи нервно постукивал кулаком по зеленому солдатскому сукну овального стола, не находя в себе сил расстаться с последней иллюзией. Худой сорокалетний мужчина с испитым лицом мелкого собственника из числа тех, кто дома бьет детей, любит выпить стаканчика три анисовой и способен до закрытия стоять в траттории, склонясь над электрическим бильярдом, где, как обезумевший, мечется металлический кубик, то есть, простите, шарик. Теперь его испитое лицо было ужасно: наверное, он уже проиграл все свое имущество: лавочку, клочок земли и, может быть, даже обстановку, платья жены и остаток всех сбережений. На его лице с невыразительными, неподвижными глазами, словно бы отлитыми из темного стекла, был написан ужас, а его жена, такая же, как и он, худая, некогда — даже, может быть, не так давно — миловидная носатая итальянка в черном, очень коротком платье, которое в какой-то мере шло к ее шафранно-загорелому лицу с ввалившимися щеками, иссиня-черным волосам, высокой, но уже растрепавшейся прическе и золотому кресту на шее, который, видимо, должен был принести счастье, так как синьора время от времени незаметным движением страстно прижимала его к сизым губам, — сидела рядом с мужем, прямая, неподвижная, как надгробная статуя.

«Ну, голубчики, вы уже готовы», — злорадно подумал тогда Наполеон, собиравший по столам пустые стаканы и красивые миниатюрные златогорлые бутылочки из-под голландского пива. Однако когда он через некоторое время снова вышел из буфета в игорный зал, то с удивлением заметил, что итальянец все еще держится и возле него даже появилось несколько стопочек белых фишек. Через час или два на столе возле итальянца опять уже ничего не было, и он снова сжимал в кулаке томатно-красную последнюю фишку, упершись неподвижным взглядом во внутренность крутящейся деревянной чашки рулетки с перекрещенными над нею никелированными ручками, где, пущенный выхолонными пальцами крупье в обратную сторону, прыгал по шипам белый шарик, носился, как безумный, туда и сюда по красным и черным клеткам и номерам и все никак не мог найти себе пристанище, пока наконец не упал в тесное стойлице и не застрял там, за-

тих, навсегда утратив свое собственное движение, и неподвижно поехал в обратную сторону, покорно подчинившись движению маленькой карусели, которая стала носить его по кругу, как ребенка в своих легких сапочках...

А еще через час официант увидел бледное лицо итальянца над довольно высокой стеной, выстроенной из самых разнообразных фишек. Потом эта стена постепенно разобралась, подобно тому как разбирается стена замка, построенного детьми из кубиков, — и когда уже перед рассветом Наполеон заглянул в полуопустевший зал, то увидел итальянца, который поднимался из-за стола с еще более ввалившимися, обросшими щетиной щеками и странной, полубезумной улыбкой, с которой он смотрел куда-то вдаль, мимо своей жены, судорожно поправлявшей вавилонскую башню окончательно развалившейся прически.

Вокруг них стояла неподвижная толпа. «Ну что, голубчики? — злорадно подумал Наполеон. — Вот вы и лопнули!» — и ошибся, так как уже все вокруг знали, что итальянец грандиозно выиграл. Сначала он действительно был на краю пропасти, казалось, ему уже ничто не может помочь, но вдруг и совсем незаметно, как это нередко случается во время азартной игры, удача медленно, с большой неохотой повернула к итальянцу свое колесо, он стал понемножку выигрывать, и весь выигрыш тут же незаметно совал в карманы, дав мысленно страшную клятву деве Марии и сыну ее Иисусу Христу, а также всемогущему господу богу не прикасаться к выигранным фишкам до тех пор, пока окончательно не встанет из-за стола. Теперь Наполеон увидел, как они, итальянец и его халда-жена — он впереди, а она на полшага позади, — с неподвижными лицами, как заведенные, прошли через весь обморочно-огромный полупустой зал, остановились возле кассы размена, где их уже с равнодушным видом ждали клерки, и тогда итальянец стал разгружать свои внутренние и наружные, боковые, маленькие, для часов, и задние, для револьвера, брючные и жилетные карманы, — выкладывая на дубовый прилавок множество разноцветных, разнокалиберных фишек, среди которых ярко бросались в глаза пластмассовые котлетки с красной полосой по диагонали, еще более желанные, почти волшебные котлетки цвета средиземноморской волны, не говоря уже о прочей круглой мелочи, в общем напоминающей круглые конторские ластик для пишущей машинки или прессованные таблетки

соснового экстракта, еще хранящие тепло человеческого тела, — все эти портативные аккумуляторы, содержащие в себе громадную денежную потенцию.

Молодые прекрасно и скромно одетые клерки тут же сортировали их, молниеносно выстраивая из них башенки и заборчики, высокие и низкие штабеля, и с корректной ловкостью сбрасывали их в особый ящик, а на их место выкладывали на прилавок пахучие кипы новеньких слипшихся разноцветных франков, скрепленных по тысячам небольшой тонкой банковской булавкой, как бы придававшей им еще больше ценности.

О, эти уголки французских ассигнаций со следами неоднократных булавочных проколов!

Итальянец, стараясь держать себя с достоинством, сначала довольно аккуратно, даже не слишком торопясь, запихивал компактные пачки денег во внутренние боковые карманы, но когда увидел, что это неудобно и долго, то стал их брать сначала под мышку, а потом прямо накладывать на вытянутые руки — и в таком виде, с протянутыми вперед руками, на которых, как на двух брусках, кое-как лежали динамитные пачки денег, — направился к выходу, и они оба — он и она, — он на полшага впереди, а она на полшага сзади, поддерживая пачки, падающие у него из-под мышек, — проследовали, как лунатики, мимо игорных столов, часть которых уже закрывали попонами, как скаковых лошадей, через все громадные залы казино, — хотя и расписанные изысканными фресками в духе Пюви де Шаванна, а может быть, и самого Пюви де Шаванна, — не знаю, не знаю! — несмотря на серые колонны со смугло-золотыми капителями, несмотря на паркет, блестящие под ногами, как великолепные деревянные озера, несмотря на величественную кафедральную тишину или, может быть, вследствие этой какой-то пугающей, шаркающей тишины, отсутствия смеха и музыки, юности и любви, — даже, черт возьми, разврата! — все эти чертоги с распахнутыми дворцовыми дверями создавали чувство какого-то громадного, но старомодного вокзала — например, унылого, старого, полузаброшенного вокзала в Сан-Франциско, откуда уже давно не ходят поезда, а пассажиров по старой памяти везут именно отсюда в автобусе за

город, где и пересаживают в уже готовый трансконтинентальный экспресс с удобными купе, барами, ресторанами, кафетерием и старыми неграми-проводниками в золотых очках и белых перчатках, ласковых и предупредительных, как добрые няньки из хороших домов.

Они прошли через все двери, а затем мимо сухо поклонившегося им ливрейного швейцара, которому, впрочем, ничего не дали, — вышли по каскаду шикарной наружной лестницы прямо в застывший в предутренней летаргии парк и, не заходя в гостиницу, пошли прямо по ярким газонам, облитым зелено-ртутным сиянием газосветных ламп, смешанным с синеватым оттенком приливающего средиземноморского рассвета, мимо белеющих скамеек самоубийц — на вокзал...

Наполеон стоял и смотрел, подавленный, очарованный, полный горького восторга и зависти, но швейцар, выдавший виды старый монегаск, посмотрев не без презрения вслед удаляющимся итальянцам, заметил с мудрой, но недоброй улыбкой:

— Ничего. Они вернутся, — сказал он зловеще. — Можете на меня положиться.

Теперь, когда Наполеон вспомнил об этом, в нем с новой энергией вспыхнула надежда. Нет! Надо во что бы то ни стало вернуть потерянный шанс, который, конечно, больше уже никогда в жизни не повторится. Через несколько дней ему удалось подстеречь Мосье одного, возле лифта. «Мосье, — сказал он решительно, — я не могу рисковать жизнью. Несомненно, ваша собака бешеная. Я требую строжайшей медицинской экспертизы. Я буду настаивать на том, чтобы всей вашей семье и всем лицам, соприкасавшимся с опасной собакой, сделали принудительные прививки, что предусмотрено монакским законодательством. В противном случае...» — «Позвольте, — мягко перебил его Мосье, и его некогда голубые глаза приобрели красивый стальной оттенок, — оставим в стороне монакское законодательство. Все это чепуха. Мне кажется, что мы с вами в расчете, не так ли?» — «Мосье, — сказал официант, — у меня на Корсике семья, жена и дети.

Я должен их обеспечить. Я не прошу многого. Дайте пятьдесят тысяч новых франков, и я замну это неприятное для вас дело».

Увидев резко изменившееся, ставшее зловеще-мраморным, несмотря на некоторую старческую одутловатость и лысину, все еще прекрасное, хотя уже и мучнистое лицо Мосье, Наполеон струхнул и почувствовал холод, распространившийся по его спине и ногам. «Для вас, мосье, эта сумма ничего не составляет, а меня и мою семью она делает обеспеченными до конца дней», — неуверенно, почти жалобно произнес официант, заискивающе глядя в непроницаемые, как у греческой статуи, глаза Мосье. «Безусловно, для меня эта сумма ровно ничего не составляет, — спокойно сказал Мосье, — но тут дело принципа: я не могу позволить себе дважды платить по одному и тому же счету — иначе я не был бы коммерсантом и очень быстро вылетел в трубу. Вы меня поняли?» — «Мосье...» — начал Наполеон, но Мосье резко его прервал: «Довольно. Вы, кажется, решили меня шантажировать? Не думаю, что дирекция отеля захочет держать у себя служащего-шантажиста!» С этими словами Мосье вошел в лифт и, отражаясь в его многочисленных зеркалах, поднялся вверх, а Наполеон на ослабевших ногах дотащился до кафельной уборной, где в низких, очень широких писсуарах лежали, подобно кусочкам сахара, белые дезинфекционные кубики, придавая стерильно чистой уборной элегантный запах перwokлассного лечебного заведения, сел там на теплое сиденье и заскрежетал зубами: «Ах ты, мерзавец... скот... Презренный буржуа... Кровосос... Ну, погоди... Дай бог, чтобы тебя поскорее сожрал со всеми твоими вонючими потрохами Арахис... А потом... О, потом!.. Я всегда говорил, что потом всех вас нужно вырезать до одного или повесить на фонарях... Мы еще с тобой посчитаемся, подонок!»

Бедняга Наполеон даже не подозревал, что в этот самый момент всемогущий Арахис уже нанес Мосье смертельный удар и его предприятию остались считанные дни.

Через некоторое время встревоженные Мосье и Мадам и все сопровождающие их лица спешно отбыли на трансатлантическом американском «боинге», делавшем по дороге из Нью-Йорка в Париж короткую остановку в Ницце.

Предварительно вкусно позавтракав в стеклянном ресторане аэропорта, любуясь плоской песчаной косой, где каждую минуту спускались и поднимались лайнеры почти всех мировых аэролиний, вся компания — Мадам, Мосье и сопровождающие их лица — забрались в самолет и поднялись в воздух, углубившись на мгновение в море, где на миг перед ними предстало божественное туманное видение Корсики, потом как бы опрокинулась над Лазурным берегом с мысом Антиб, Каннами, Сен-Рафаэлем и вдруг внизу справа развернулась белозубая панорама Альп со всеми их знаменитыми вершинами, из которых одна была мучительно знакома по цветным путеводителям и открыткам — кривой конус со срезанным верхом — не то Маттерхорн, не то Монте-Роза, не то Монблан, — и все это было так сухо, белоснежно, божественно, в особенности после глотка ледяного шампанского, которое разносил маленький индонезиец — с виду совсем мальчик, а на самом деле седой старичок в очках, — держа в руке толстую бутылку, до горла завернутую в салфетку. Собачку же, которая не выносила воздушных путешествий, отправили с шофером в Париж — на вишнево-красном спортивном «паккарде» с черными сафьяновыми подушками — с таким расчетом, чтобы она встретила своих Хозяев в Орли, чем вся эта история с Кубиком должна была кончиться — и, безусловно, кончилась бы, — если бы не получила огласку у низших служащих «Отель де Пари» и Наполеон сделался общим посмешищем. Теперь его не называли иначе, чем «этот идиот корсиканец, которого укусила собачонка миллионера и он не сумел содрать с него хотя бы каких-нибудь паршивых ста тысяч новыми». За спиной Наполеона делали непристойные жесты и хихикали в кулак. Об этом наконец узнала жена Наполеона и прислала ему из Аяччо яростное письмо, полное угроз и намеков на то, что он помимо того, что просто дурак, но еще и рогатый дурак, «кокую».

Сатана вселился в Наполеона.

Взяв расчет, он ринулся в Париж, намереваясь совершить что-нибудь ужасное, адское, кровавое, какой-нибудь поступок, от которого содрогнулся бы мир, вселенная, — эта треснувшая в нескольких местах старая чугунная ско-

ворodka, привязанная к хвосту взбесившегося животного, не сообразившего, что лучше всего было бы сидеть смиренно на раскаленной мостовой Галактики, нервно нюхая свою паленую шерсть. Он сразу же, как это часто бывает с провинциалами в Париже, попал в дурное общество, в темную компанию полууголовных типов — алжирцев-эмигрантов, сенегальцев, мусорщиков, длинноволосых юношей в узких сюртуках и дамских сорочках с рюшем на груди и грязными кружевными манжетами, выдававших себя за «хиппи», а на самом деле продавцов наркотиков, некотирующейся валюты и золота, промышлявших также поставкой агентурных сведений для Центрального разведывательного управления, итальянских анархистов и беглецов из социалистических стран, продавших свою родину, проевших и пропивших деньги в разных кабаках и бистро «Левый Берег», подпольных адвокатов, обещавших Наполеону выколотить из Мосье за укусы собаки кругленькую сумму, а пока что вытянувших с официанта последние денежки, оставшиеся у него от ухаживания за обольстительными девчонками с известково-белыми, почти серебряными, порочными лицами, на три четверти занавешенными волосами утопленниц, как бы вырезанными из белого волокнистого дерева, — умевшими брать деньги и ничего взамен не давать... Так что, когда однажды во Франции началась грозная, могучая и молчаливая всеобщая забастовка, охватившая десять миллионов рабочих, то, вместо того чтобы примкнуть к колоннам настоящего организованного пролетариата, Наполеон очутился среди люмпенов, во множестве примазавшихся к честным студентам Латинского квартала. Вконец опустившийся, пьяный, с невымытыми руками, давно уже утративший вид официанта из первоклассного ресторана, он выкрикивал провокационные проклятия, потрясая над головой черным знаменем Ровашоля, за что ему было выдано наличными пятьдесят новых франков и еще обещано впоследствии сто, и его несло вместе с толпой по улицам и переулкам, как по глубоким траншеям, проложенным среди гор давно уже не убиравшегося, разлагающегося мусора, объедков, картонок, оберточной бумаги, стружек, охваченных языками пламени ящиков, в тучах удушливого дыма, где время от времени взрывались петарды, патроны, самодельные бомбы, начиненные гвоздями и битым стеклом, и при их вспышках на темном небосклоне погруженного во мрак Парижа на миг возникали то купол Пантеона, то золоче-

ные пики Люксембургского сада, а за ними — лысая могучая голова Верлена, похожего на Ленина, то силуэт церкви, куда некогда хаживал Данте...

Разрушив и уничтожив все, что находилось внутри театра Одеон, разбрасывая вокруг себя превращенные в лохмотья драгоценные исторические костюмы театрального гардероба, осыпанная рваными позументами и кружевами, толпа ринулась обратно на бульвар Сен-Жермен. В общей свалке Наполеон потерял черное знамя, и кто-то сейчас же повелительно сунул ему в руки портрет «великого кормчего», и он понес его, раскачивая над головой, что издали имело вид тыквы на палке. Против воинственного памятника Дантона поперек бульвара стояла цепь полицейских. Наполеон бросился на нее, выкрикивая с пеной у рта проклятия всем подлецам и их прислужникам, которые лишили его состояния, ограбили и затравили бешеными собаками. Два черных аккуратных ажанчика в коротких пелеринках и белых воротничках проворно выдернули его из толпы, взяли за руки и ноги и запихнули в черную полицейскую машину, стоявшую в сыром узком дворе Кур-де-Маршан, где некогда справа помещалась типография газеты «Друг народа» Марата, а слева против нее во втором этаже жил тихий и аккуратный доктор Гильотен, изобретатель известной машины для гуманных казней. Тем временем Мосье Хозяин, как обычно, прогуливал своего Кубика по тихой улице, и если бы не отдаленная стрельба, не горы мусора и не отсутствие электрического освещения, а также слишком редкое движение автомобилей, то трудно было бы поверить, что где-то в других районах города происходят крупные беспорядки, что мосты через Сену блокированы войсками, для того чтобы восставший народ не перешел на правую сторону и не ворвался в Елисейский дворец, оцепленный Национальной гвардией с лошадиными хвостами на касках...

Кубик метался на своем поводке, крутился, как безумный, нервничал, почти терял сознание от охватившего его непонятого ужаса, тихонько завывал, и Мосье Хозяин отвел его по темной лестнице с остановившимся лифтом на третий этаж, впустил в свою роскошную квартиру, тревожно освещенную несколькими красивыми восковыми свечами, при свете которых Мадам просматривала в салоне старые иллюстрированные журналы, отцепил пово-

док, и Кубик побежал по длинному темному коридору в спальню, и залез там под громадную, низкую супружескую кровать, и затих во тьме, напоминая кучку древесного угля... Я мог бы еще, конечно, рассказать, как Мосье Бывший Мальчик, подавленный, раздраженный, утомленный многодневным отсутствием электрического тока, отсутствием дел и газет, молчанием холодного телевизора, черными мыслями о близком разорении и гибели от руки всевластного Арахиса, для того чтобы хоть немного рассеяться, взял в кухне пустую корзинку, чтобы принести несколько бутылок минеральной воды и хорошего красного вина, и со свечой в руке пошел в домашних туфлях по бесконечно длинной черной лестнице вниз, в подвал, где были расположены винные погреба жильцов этого богатого дома, и там он осмотрел свои драгоценные пыльные бутылки, хранящиеся на бетонных полках, и бутылки минеральных вод из всех стран мира, коллекцию которых он собирал — это было его хобби, — и вдруг он почувствовал себя странно, как будто бы на него внезапно обрушилась страшная тяжесть его годов, и он увидел буквы ОВ, как бы написанные алмазной пылью на каменной стене погреба, и эти буквы завертелись вокруг него, как волчок, и он с трудом удержался на ногах и, обливаясь горячим потом, присел на ящик с немецкой минеральной водой «брамбахер», а в это время Мадам, встревоженная дурным предчувствием, спустилась в погреб, и Мосье Бывший Мальчик увидел со свечой в руке неразборчиволицую фракийскую принцессу — мертвую девочку Саньку! — в своем сверкающем золотом венце. «Что с тобой? Тебе плохо?» — спросила Мадам Бывшая Девочка. «Ничего», — с трудом ответил он и хотел, для того чтобы успокоить ее, произнести слово «Кубик», но рот его был набит какими-то другими стереометрическими фигурами. Вместо слова «Кубик» он произнес слово «Волчок».

Вокруг них продолжали, действительно как волчок, кружиться алмазные буквы ОВ. Затем Мосье пришел в себя и стал подниматься вверх по лестнице за свечой, которую несла в дрожащей руке Мадам.

Криз прошел благополучно.

Не повесть, не роман, не очерк, не путевые заметки, а просто соло на фяготе с оркестром — так и передайте.

Я бы, конечно, сумел описать майскую парижскую ночь с маленькой гелиотроповой луной посреди неба, отдаленную баррикадную перестрелку и узкие улицы Монмартрского холма, как бы нежные детские руки, поддерживающие еще не вполне наполнившийся белый монгольфьер одного из белых куполов церкви Сакре-Кёр, вот-вот готовый улететь к луне... — но зачем?

1967—1968

Переделкино

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ	7
СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ	143
ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ	245
КУБИК	447

Катаев В. П.

К 29 Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 6. Маленькая железная дверь в стене; Святой колодец; Трава забвенья; Кубик.—М.: Худож. лит. 1984.—535 с.

В том вошли повести «Маленькая железная дверь в стене» (1960—1964), «Святой колодец» (1962—1965), «Трава забвенья» (1964—1967), «Кубик» (1967—1968).

К $\frac{4702010200-432}{028 (01)-84}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ КАТАЕВ

Собрание сочинений
в десяти томах

ТОМ ШЕСТОЙ

Редактор *О. Новикова*. Художественный редактор *Е. Ененко*. Технический редактор *Е. Полонская*. Корректоры *Г. Киселева*, *О. Наренкова*

ИБ № 3862

Сдано в набор 08.02.84. Подписано к печати 27.08.84. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,14. Усл.-кр. отт. 28,14. Уч.-изд. л. 28,42. Тираж 150 000 экз. Изд. № ПІ-1640. Заказ № 4—451. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано на Киевской фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24.

